

АЛЬБЕРТО
МОРАВИА

Рассказы

Перевод с итальянского



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1981

И(Ит)
М79

Составление
Л. ВЕРШИНИНА

Вступительная статья
Г. СМИРНОВА

Оформление художника
Ю. БОЯРСКОГО

© Составление. статья, переводы,
отмеченные в содержании *, оформле-
ние. Издательство «Художественная
литература», 1981 г.

М $\frac{70304-259}{028(01)-81}$ 161-81 4703000000

МОРАВИА-НОВЕЛЛИСТ

Многим крупным писателям, художникам, артистам, тонко и проникновенно чувствующим скрытые и тайные пружины окружающей действительности, свойственна порой трудно объяснимая недооценка значения и важности собственного творчества. Чарльз Спенсер, известный всему миру под псевдонимом Чарли Чаплина, создал трагикомический образ «маленького человека», задавленного тисками капиталистического мира. Этот образ, понимаемый именно в этом ключе, навеки вошел в сокровищницу мирового киноискусства. Однако, если верить самому Ч. Спенсеру, он никогда не ставил перед собой такой задачи: просто хотел смешить зрителей. А для этого приглядывался к происходящему вокруг себя, чему-то подражал, что-то придумывал...

Нечто похожее случилось (да и продолжает случаться) с Альберто Пинкерле, итальянским писателем, известным читателям под псевдонимом Альберто Моравиа. Сходство здесь заключается не только в том, что, подобно великому комическому актеру, А. Моравиа предпочитает давать сам объяснения своим собственным созданиям. Поражает, что А. Моравиа чаще всего старается как бы умалить значение, общественное звучание своих романов, повестей и рассказов.

Так, по поводу своего первого романа А. Моравиа, став уже знаменитым писателем, как-то заявил: «Кое-кому хотелось бы знать, почему я не говорю о социальной и скрыто политической тенденциозности антибуржуазной критики, которую многие приписывают моему роману. Отвечаю: я ничего о ней не говорю, потому что ее и не было. Если под антибуржуазной критикой подразумевается явно классовая концепция, то ничего более далекого моему настроению не было в то время. Поскольку я был рожден в буржуазном обществе, принадлежу к нему и сам был в то время буржуа (по крайней мере в том, что касается моего образа жизни), эта книга была для меня скорей всего средством осознания моего состояния. С другой стороны, имея я столь ясное классовое сознание, о котором говорилось выше, то я не написал бы романа».

Подобные противоречия будут сопровождать Моравиа всю жизнь. Его произведения будут относить и к сюрреализму, и к неореализму, и к экзистенциализму. Но Моравиа будет упорно отмежевываться от этих течений, хотя и не будет отрицать их воздействия

на свое творчество, ибо главное в творчестве Моравиа — это его внутреннее сопротивление фашизму, развенчание кризиса и деградации собственного класса, вера в нравственное здоровье своего народа.

* * *

Альберто Моравиа родился в Риме 28 ноября 1907 года. Отец его был художником и архитектором, многие дома в римском буржуазном квартале Париоли построены им. С юных лет А. Моравиа обнаруживает склонность к литературному творчеству. Он пишет стихи, очерки. Вскоре юноша тяжело заболел костным туберкулезом. Болезнь заметно отразилась на его характере, сделала его недоверчивым, ершистым.

«Я приглашался на некоторые вечера в дом Пинкерле, — вспоминал впоследствии член руководства Итальянской коммунистической партии Д. Амэндола. — Именно тогда я познакомился с Альберто Пинкерле... Он подолгу лечился в санатории, и о нем уже тогда шла молва как об усердном пожирателе книг и внимательном наблюдателе. Действительно, он сверлил нас во время танцев своим острым, пронизательным взглядом, не участвуя в наших развлечениях. Я попытался завязать с ним разговор, поинтересовался кругом его чтения, но получил уклончивый ответ. Он показался мне замкнутым и строптивым, поглощенным своей интенсивной внутренней жизнью и жестокой самодисциплиной, предписанной упорной борьбой с болезнью. Поэтому, когда он, под псевдонимом Альберто Моравиа, опубликовал три года спустя роман «Равнодушные», я не удивился».

Творчество Альберто Моравиа охватывает свыше полувека — с 1929 года по наши дни.

С политической точки зрения, начало этого периода ознаменовалось ликвидацией либерального демократизма, приходом к власти фашизма и установлением тоталитарной диктатуры. К 1927—1929 годам деятельность демократических сил в стране была сведена к минимуму. Все политические партии, кроме фашистской, оказались под запретом. Только коммунисты продолжали нелегальную деятельность внутри страны. «Жертвы, которые итальянские коммунисты понесли после принятия «особых законов», сам факт продолжения ими борьбы... как и прежде, — пишет Д. Амэндола, считавший себя в те годы еще либеральным демократом, — все это давало свои политические результаты, оказывало влияние на все круги, даже на тех, кто не хотел принять коммунистическую перспективу диктатуры пролетариата».

Правда, заявления самого Моравиа по поводу влияния, оказанного на него растущим в стране сопротивлением фашизму, весьма противоречивы. С одной стороны, он утверждает, что в начале своей

деятельности он «не занимался политикой, даже не знал, что тогда существовал фашизм. Я просто читал и писал...»¹. Но тут же добавляет: «За спиной семьи Арденго (в романе «Равнодушные») стоит претенциозный Рим квартала Коппедэ, квартала фашистских боссов, полагающих, что с них слезет отпечаток провинциализма, если они будут посещать виллу Валадье, играть в гольф и стремиться попасть в охотничий или шахматный клуб».

С литературной точки зрения, годы фашизма характеризовались, с одной стороны, настойчивыми попытками установить идейную гегемонию нового режима, привести к обособлению национальной культуры, а с другой — ростом оппозиционных настроений итальянской интеллигенции, поиском прямых и косвенных путей критики политического режима, который, по словам Моравиа, «возвел в систему некоммуникабельность» как выражение гигантской «социальной скуки». В 20-е годы в Италии действуют еще такие прогрессивные журналы, как «900» (1926—1929) с участием Малапарте, Джойса, И. Эренбурга и др., «Баретти» (1924—1928) под редакцией П. Гобетти. До середины 30-х годов доживает прогрессивный флорентийский журнал «Солариа» (1926—1936), основанный А. Кароччи. Заслугой последнего журнала является то, что он приковывает внимание своих читателей ко всем прогрессивным произведениям литературы, появляющимся как в Италии, так и за рубежом. В 1929 году он приветствует появление романа «Равнодушные» Моравиа, напечатанного за счет автора.

О романе «Равнодушные» много писали в советской и зарубежной критике. Для наших целей сейчас важно напомнить главные «параметры» этой первой книги писателя, воплотившей в себе многие особенности творческого метода и мировоззрения раннего Моравиа. Прежде всего, по крайней мере когда знакомишься с авторским комментарием к «Равнодушным», кажется, что соображения формального порядка доминировали в авторском замысле. «Я хотел написать повесть, — пишет Моравиа, — с внутренней структурой театрального произведения, с единством места и времени, с минимальным числом персонажей...» Театральность авторского замысла чувствуется и в том, что персонажи его романа, как отмечает советская исследовательница творчества Моравиа З. Потапова, «не развиваются ни вглубь, ни вширь», их число предельно ограничено, читатель сразу же вводится в курс драматической интриги, действие развивается, как цепочка сцен.

В итальянской критике много писалось и о якобы «вневременности» романа «Равнодушные». При этом ссылались на совет самого Моравиа, который он дал в 1965 году итальянскому кинорежиссеру

¹ Интервью журналу «Эспрессо» от 2 августа 1959 г.

Франческо Мазелли, решившему экранизировать это произведение. «Я подсказал ему,— утверждает Моравиа в одном из своих интервью, данных в 1965 году,— перенести действие фильма в наше время». Уже тогда это замечание писателя вызвало множество недоуменных вопросов. Как,— говорили некоторые,— взять эту книгу, словно она только что вышла, и перенести ее героев из 1929 года в 1965 год, сделав вид, что за все это время никакого Гитлера и Муссолини не существовало, что не было массовых казней, партизанской борьбы, народных движений, «холодной войны», атомной и водородной бомбы, потепления в международном климате?

Авторы этих замечаний сбрасывали со счетов два обстоятельства, свойственные творчеству А. Моравиа.

Дело в том, что Моравиа неизменно описывает своих героев на фоне живой, современной ему итальянской действительности. Но конкретными приметами времени в его произведениях чаще всего выступают не те или иные внешние признаки окружающего мира (не будем забывать, что действие романа «Равнодушные» разворачивается в бурные годы прихода фашистов в Италии к власти), а внутренние рубежи, достигнутые к этому моменту буржуазным обществом и его представителями: индифферентность, пустота, бесперспективность. Вот почему «Равнодушные» Моравиа, несмотря на весь тогдашний треск официальных выступлений Муссолини на тему о моральном возрождении итальянцев, очень скоро стал восприниматься в Италии как роман-памфлет, как роман антифашистский.

И во-вторых, сила обобщения нравственного опустошения буржуазии в 20-е годы была у молодого писателя такова, что и в годы так называемой послевоенной «реставрации» капитализма подмеченные ранее автором особенности буржуазного класса оставались в полной силе.

Формальный момент в качестве исходной точки литературного построения, некоторая нарочитость и театральность характерны и для многих ранних рассказов Альберто Моравиа. Приведенный в данном сборнике рассказ из сборника «Грезы лентяя» (1940) представляет собой скорей интеллектуалистское упражнение в области художественной прозы с определенными выходами в область сюрреализма. Но вместе с тем, как справедливо замечает итальянский критик Сангинетти, «Грезы лентяя» наполняют диалектикой сновидения автора и, следовательно... саму его способность к правильному суждению, его способность, наконец, к реалистическому изображению действительности».

Наряду с общежитейскими наблюдениями, внутренним проникновением в жизнь буржуазного общества, сознательным членом которого продолжает считать себя А. Моравиа («Я написал «Равнодушных», потому что находился *внутри* буржуазии, а не *вне* ее»,—

утверждает А. Моравиа впоследствии), в новеллистике писателя со все большей силой начинают проникать элементы критического реализма и разоблачительной сатиры.

Два фактора имели в этом плане огромное значение для Моравиа: его физическая немощь и приход фашизма к власти. «Я придаю столь большое значение своей болезни и фашизму,— писал он в автобиографии,— потому что по причине болезни и фашизма я вынужден был терпеть и делать вещи, которые иначе не стал бы ни терпеть, ни делать».

В 1941 году выходит роман Моравиа «Маскарад». Это — сатирическое произведение, в котором автор высмеивает тоталитарную диктатуру. Несмотря на то что действие в романе перенесено в Южную Америку, читатели сразу нашли сходство в деятельности диктатора Терезо Арденго с событиями в собственном доме и у своих союзников. Не случайно второе издание книги было немедленно конфисковано.

В том же направлении развивается в это время и новеллистическое творчество Альберто Моравиа. Было бы, однако, упрощением сказать, что качественный скачок в его творчестве происходит сразу и бесповоротно. Такого в творчестве А. Моравиа определенно не происходит и в дальнейшем. «Мне кажется невозможным,— писал он в романе «Равнодушные», о его социальной и скрыто политической тенденциозности,— написать роман против чего-либо. Искусство — это внутреннее постижение, а не поверхностное созерцание».

В самом деле, если мы обратимся к двум сборникам его рассказов, вышедших один за другим с небольшим интервалом,— «Несчастный влюбленный» (1943) и «Эпидемия» (1944), то найдем в них весьма разноплановые вещи.

Так, в «Усталой куртизанке» дан глубоко психологический портрет увядающей женщины, уставшей от беспорядочной жизни среди множества мужчин. Женщины, стоящей на краю отчаяния и смерти. Женщины, вынужденной протянуть руку за подающим к своему первому возлюбленному. Правда, этот рассказ, написанный в лучших традициях итальянского гуманизма, неожиданно заканчивается хлесткой иронической поткой, жгучим сарказмом, обнажающим всю низменную суть последнего любовника. Но все же в нем много еще мягкой меланхолии, лиризма и даже сентиментальности (вспомним, к примеру, как Мария Тереза мечтает о сельском домике с садом), которая вскоре почти полностью исчезнет из произведений итальянского писателя, уступив место «брутальному» реализму.

Другой рассказ из того же сборника, «Ошибка», в известной мере возвращает нас с формальной точки зрения к театральной построению первого романа Моравиа. В этом рассказе с первых же строк читатель вводится в суть событий, одно действие быстро сме-

няется другим, каждый из героев является носителем определенных черт характера. Но, в отличие от «Равнодушных», социальная тема уступает место в «Ошибке» плутовской интриге в духе новелл Д. Боккаччо и других итальянских новеллистов Возрождения. Достаточно в этом плане сравнить, например, «Ошибку» с новеллой «Об обманутом трактирщике»¹ Мазуччо из Гвардато, чтобы в глаза бросилось их внутреннее родство. При всей несхожести интриги и тут и там действие основывается на двойном обмане, на остроумном использовании его последствий и т. д.

Однако, если социальная значимость этого рассказа невелика (лишь с большой натяжкой «победу» в поединке торговца Санджорджо и механика Урати можно отнести за счет материального превосходства первого — Санджорджо богат, Урати беден), то с переходом к сборнику «Эпидемия» положение меняется.

Правда, и в этом сборнике есть еще ряд социально мелкотравчатых рассказов, близких к сатирической бытовой юмореске (например, «Дьявол на отдыхе»), но наряду с ними в сборнике появляются качественно новые и, что очень важно, разносторонне новые рассказы.

В сборнике рассказов «Эпидемия» проявляется одна из характерных черт творчества Моравиа: его морализм. Здесь Моравиа выступает как писатель программно-буржуазный: критикуя буржуазное общество, осуждая его недостатки, автор борется все же за спасение его моральных устоев (демократии, религии, свобод, патриотизма, семьи и т. д.). Несмотря на неоднократные заявления А. Моравиа о том, что он отдал большую дань Фрейду и Марксу, его знакомство с последним можно назвать скорее поверхностным, чем глубоким. Как отмечал Э. Сангвинетти, «действуя в духе критически настроенной буржуазии, Моравиа воспринял у Маркса и Фрейда лишь «*parts destruens*» — разрушительную часть». В этом смысле («буржуазно-критическом») многие могли бы, — добавляет критик, — считать себя марксистами.

Морализующая направленность особенно заметна в таком рассказе из сборника «Эпидемия», как «Обжора». В нем писатель прибегает к гиперболизации определенного человеческого порока, доводя его до абсурда. Герой рассказа «Обжора» — нотариус, главная страсть которого — доведенное до крайности обжорство. В этом рассказе слышны отзвуки классической итальянской и европейской литературы. Обжора Моравиа — достойный продолжатель героев Рабле, Мольера, Гольдони.

Но вот перед нами «рождественский индюк» из одноименного рассказа. В нем мы сталкиваемся уже не просто с дидактическим

¹ М а з у ч ч о. Новеллино, XII.

морализированием, а с завуалированной попыткой занять определенную позицию в той политической борьбе, которая столь остро развертывалась в 40-е годы в Италии и во всей Европе.

Центральный персонаж рассказа — индюк со всеми атрибутами его пернатых сородичей: красными бородавками, крыльями, неумной прожорливостью и похотливостью. Это настолько реальный индюк, что торговец Поликарпи-Курчио то и дело порывается определить его на положенное место — на рождественский стол. Но индюк оказывается особенным: он одет во фрак, ведет светский разговор, пристаёт к дочери торговца и добивается от нее «самых больших милостей». Кто же он на самом деле? Собрат «страшного и усатого таракана» из сказки Корнея Чуковского, просто гиперболизированный «бывший официант, выгнанный отовсюду за воровство», или искусно замаскированный бесноватый ефрейтор, прочно укрепившийся в чужом доме? Как бы сюрреалистическая манера письма в этом рассказе дает повод для многих толкований. Но постоянный лейтмотив рассказа: «Такому типу — лучше бы шею свернуть», «В гусятницу его, в гусятницу!» — несомненно воспринимался в 1944 году как призыв к сведению счетов с самоуверенными индюками, выступавшими под именем «дуче» или «фюрера». К этому рассказу близок рассказ «Тщеславный» — о платье, превращающем человека в предмет массового поклонения: «Пиджак на плечах манекена, еще десять минут назад бывший всего лишь пиджаком, теперь — загадка, фетиш, табу, кумир, вещь непостижимая для разума, полная значения и даже отдающая колдовством».

О том, что толкование этих рассказов в антифашистском ключе правильно, говорит и тот факт, что в том же сборнике «Эпидемия» мы находим ряд рассказов, не столь завуалированно направленных против тех или иных сторон фашистской диктатуры. Например, в рассказе «Бегство в Испанию» Моравиа, хотя и переносит действие в античный мир, все же весьма прозрачно говорит о том, что в Испании, как и в Риме, «братья уже не доверяли братьям, друзья — друзьям, высшие — низшим; рвались давние и прочные связи; и каждый мысленно, сам того не желая, уже видел себя — кто в стане преследуемых, кто в стане преследователей».

Но и этого писателю кажется мало. В рассказе «Бесполезный визит» мы сталкиваемся уже с современным персонажем — неким **Муццарини**, редактором фашистского листка (других в то время легально не выпускали). Он специалист (подобно доктору Крючкову из романа Мандзони «Обрученные») в фабрикации ложных обвинений. Поместить в его газете опровержение означало, пишет **Моравиа**, получить «строчку ответа и три строчки комментария **Муццарини**, перевирающие ее и придающие ей противоположный смысл».

«Каморра!¹ — восклицает этот ловкий полемист, игравший с читателями, как кошка с мышками. — Каморра! вот наш девиз! Да, мы каморра, гнусная, нечестивая банда убийц, мы — бандиты... в этом доме все бандиты».

И еще одно убийственное замечание о фашистской прессе: «По видимости они отстаивают истину и добро. Однако истина и добро претерпевают в их руках неуловимое и грозное превращение, подобное тому, какое претерпевают в руках химика невинные и полезные вещества, превращаясь в опаснейшую взрывчатку». Пожалуй, более точной характеристики продажной фашистской прессы и не придумаешь!

Вместе с тем в сборнике «Эпидемия», пожалуй, впервые в такой малой форме, как рассказ, заходит речь о сущности и причинах бедственного положения буржуазного общества, кризиса и деградации которого писатель не может не видеть. И в этих размышлениях итальянского писателя на первый план выходят новые моменты, помогающие ему выйти за узкие рамки буржуазного мировоззрения.

В годы борьбы с фашизмом немалое число представителей демократически настроенных слоев буржуазии выступало с тех же позиций, что и Моравиа: осуждало фашизм, боролось за восстановление буржуазно-демократических свобод, мечтало, по выражению итальянского литературоведа Ф. Лонгобарди, «о реставрации прежних гуманистически-романтических добродетелей».

Но уже в этот период Моравиа задумывается над смыслом жизни господствующего класса. «Жизнь — не количество, а качество», — восклицает одна из героинь рассказа «Близкое знакомство». Как мы видели, Моравиа, наряду с другими своими единомышленниками, борется за восстановление ряда качественных аспектов «буржуазной цивилизации» дофашистского периода. Но достаточно ли этого? К чести писателя следует отметить, что уже с самых первых своих книг он прозорливо видит, что количественные показатели жизни буржуазного класса отнюдь не переходят в качественные. Он инстинктивно чувствует, что человек легче справляется с недостатком, чем с избытком отпущенных ему (или присвоенных им) материальных благ. В уже упоминавшемся рассказе «Бегство в Испанию» Красс, «много лет спустя, став одним из трех виднейших граждан Рима и, несомненно, *богачейшим* из них (подчеркнуто мною.— Г. С.), не мог без чувства острого сожаления вспомнить о времени, проведенном в гроте. Там он ощущал себя почти богом. Здесь, третий в Риме и в мире, он не чувствовал в себе той силы, какая была у него тогда, когда он был одиноким и покинутым всеми

¹ Каморра — тайная бандитская организация в Южной Италии, аналогичная мафии.

изгнанником». Это почти гамлетовское утверждение: человек всеслеплен, даже если он заключен в яичную скорлупу.

Количество материальных благ, отпущенных человеку, является для Моравиа неким общим, хотя и несколько абстрактно понимаемым мерилом, знаменателем противопоставления между богатыми и бедными. Еще в романе «Скука» героя мучает стремление понять подлинный смысл «богатства» и связанных с ним социальных последствий.

«Иногда я задумывался над евангельским изречением, — говорит Дино, герой романа, — легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому попасть в царство божие. И я спрашивал себя, что означает быть богатым. Богатым считается тот, у кого много денег? Или тот, кто рождается в богатой семье? Или суть в том, что люди жили и до сих пор живут в обществе, ставящем богатство превыше всего? Или все дело в том, что в богатство верили, стремясь стать богатыми или сожалея, что утратили богатство? Или потому, что, как в моем случае, человек не хочет быть богатым?»

Богатство в романе «Скука» — главный симптом болезни, имя которой — беспросветное одиночество, отчужденность между людьми, невозможность найти контакт с реальной действительностью.

Чрезмерное количество материальных благ лишает героев Моравиа радости жизни, приводит к неврозам пресыщенности. «До того времени я никогда ничем не рисковала, — говорит героиня рассказа «Банда взломщиков» (сборник «Рай», 1970). — Этим и был вызван мой невроз: ведь что бы я ни делала, деньги заведомо не только ограждали меня от опасности, но устраняли с моего пути малейшие препятствия».

Но «качество» жизни (счастье, свобода, независимость), с другой стороны, находится в прямой зависимости и от бедности человека. «Вечером, — говорит безработный из рассказа «Воры в церкви» («Римские рассказы», 1954), — когда я возвращался в пещеру и при свете масляной коптилки жена, сидевшая на тюфяке, смотрела на меня, и младенец у ее груди смотрел на меня, и двое старших ребят, что играли на земле, смотрели на меня, я, видя в этих четырех парах глаз одно и то же голодное выражение, чувствовал себя и вправду волком в волчьей семье».

Итак, привычный для большинства буржуазных героев Моравиа путь сомнений и низости, на котором «любое действие не бывает оправдано ни верой, ни честью», связаны в его произведениях прежде всего с аномальным распределением благ в той классовой среде, к которой относит себя и сам писатель.

Но где же выход из всего этого? Этот вопрос встает перед писателем с самых первых его произведений. Он понимает, что «прекрасно, когда люди умирают на самом деле, когда убивают, нена-

видят и любят всерьез, когда льют искренние слезы из-за подлинных бед». Только тогда человек становится «живым существом, уходящим своими корнями в реальность, как деревья в землю». Мечта писателя «о трагических и честных временах», о людях, тесно связанных с реальностью, с жизнью, заставляет его все чаще выходить за тесные рамки буржуазного круга. 50-е годы отмечены в творчестве писателя именно такими поисками. В эти годы выходят «Римские рассказы» (1954), роман «Чочара» (1957) и «Новые римские рассказы» (1959).

50-е годы... Это годы, когда еще живы отзвуки движения Сопротивления, движения, объединившего в едином национальном порыве против фашизма разнообразные слои и классы итальянского общества. В рядах партизан действовали бок о бок коммунисты, социалисты, христианские демократы.

В области культуры прямым детищем движения Сопротивления стал неореализм, суть которого, по выражению Ч. Дзаваттини, состояла в «стремлении видеть вещи такими, какие они есть». Неореализм открыл, что предметом художественного изображения могут быть люди и факты сами по себе незначительные, но имеющие, помимо «первого плана», так сказать, «второй план», являющийся единственно достойным для художественного воспроизведения. В это время итальянское кино повествует о таких, казалось бы, рядовых явлениях, как обвал лестницы под тяжестью безработных, о людях, занимающихся похищением велосипедов, и т. д. Но второй план этих кинополотен настолько был значителен, что сразу же выдвинул итальянское кино на мировую киноарену.

Не избегал влияния неореализма и Моравиа. Особенно это относится к его «Римским рассказам», в которых писатель непосредственно обращается к жизни городских низов. Правда, сам писатель отрицал свою принадлежность к этому течению, но вряд ли можно представить его людей труда, занимающихся подлинной работой («Девушка из Чочарии») и тем не менее недоедающих и качающихся, точно пьяные, от неудовлетворенного аппетита («Ромул и Рем») без культурной атмосферы итальянского неореализма.

Впрочем, близость «Римских рассказов» неореализму — близость не только художественная, но и идейная. В центре его маленьких новелл мы редко найдем событие крупного масштаба. Весьма часто это бытовой анекдот из жизни римских бедняков. Но это, так сказать, первый план, не самый главный и не несущий идейной нагрузки. Для писателя гораздо важнее увидеть, что острота голода несравнима с остротой других потребностей («Ромул и Рем»), что голод может сделать человека жестоким, а темнота толкнуть на путь порока. Сочувствие писателя в «Римских рассказах» — на

стороне народа. Он не идеализирует представителей народа, мягко подтрунивает над их невежеством, наивной простотой, верой в доброту и справедливость.

Таковы, например, некоторые герои «Новых римских рассказов»: весельчак Освальдо из рассказа «Банк любви», сметливая и юркая машинистка Пупа из рассказа «Это вполне естественно» и другие. Об Освальдо, подшутившем над скупым владельцем скобяной лавки Джустино и заставившем его принять участие в оплате обильного ужина многочисленной компании, сам автор говорит, что он был настолько же весел в своей бедности, насколько печальным был Джустино в своем богатстве.

Эта тема отягощающей человека собственности, превращения его в раба вещей получает дальнейшее развитие в двух сборниках рассказов Моравиа, относящихся к 60-м годам: «Автомат» (1962) и «Вещь — это вещь» (1967). Действуют в этих рассказах преимущественно представители так называемых «средних слоев» населения: инженеры, адвокаты, владельцы небольших предприятий. Несмотря на свое промежуточное положение в классовом антагонистическом обществе, они также испытывают на себе эксплуатацию, превращаются в своего рода «одушевленные машины», подчиненные неведомой им воле. Так, в рассказе «Механические слуги» журналист, работающий на дому, сравнивает себя со сломанной машиной, нуждающейся в ремонте. Он знает, что этой машиной пользуется журнал, в который он пишет свои статьи, в свою очередь журналом пользуется еще кто-то другой и так далее до бесконечности. Жена журналиста жалуется, что муж взял ее в жены для того, чтобы иметь «прислугу, повариху, секретаршу, стенографистку, машинистку, рассыльную».

Превращение личности в объект эксплуатации и манипулирования со стороны господствующих социальных групп и классов с особой отчетливостью показано в рассказе «Приказывай: я подчиняюсь». Это история курьера Туллио, уволенного из банка. Он чем-то похож на чаплинского рабочего, который после изнурительной работы на конвейере не может больше не совершать конвульсивных движений, словно подкручивая гайки. Туллио чувствует себя безработным не потому, что уволен, а потому, что не получает больше приказаний, благодаря которым он только и ощущает свое существование. Даже у машины в его представлении больше человеческого, чем у него.

Это закабаление личности в условиях капиталистического строя получает определенное психологическое выражение: человек не получает ожидаемых радостей от всего, к чему он стремился. «Посмотри на самого себя, — говорит героиня рассказа «Тре-

ляж», — ты хороший адвокат, дела твоей конторы идут совсем неплохо, ты человек интеллигентный, воспитанный, серьезный, уравновешенный, умный и образованный, ты молод, красив, вдобавок из богатой семьи... пользуешься уважением и авторитетом у своих коллег, у тебя много друзей, ты много занимаешься спортом, у тебя хороший вкус, и тебя радует все красивое, чего же тебе еще нужно?» А надо очень немного, надо, чтобы все эти качества приносили человеку удовлетворение, дарили ему радость жизни. Вот почему адвокат из рассказа «Трельяж» приходит к мысли, что некая-то меньшая или большая часть его существа его не устраивает, а весь он сам себе антипатичен, что вся его жизнь — сплошной самообман, в котором обманщик и обманутый — он сам. От таких людей, утверждает цветонница из рассказа «Серединка на половинку», заранее можно ждать, что они сделают или что они скажут. Это «не уроды... и не красавцы, не высокие — не малорослые, не молодые — не старые: серединка на половинку».

В 70-е годы тема обезличения человека в буржуазном обществе, обличения эгоизма, лжи, культа условности и стандартизации жизни приобретает в рассказах А. Моравиа решающее значение. Это находит свое отражение и в манере его письма: сжатая, суховатая, лишенная какой-либо сентиментальности, она во многом подчеркивает ригористическое отношение писателя к своему классу. Наряду с мотивами отчужденности, бегства от действительности в его произведениях со все большей силой начинает звучать пессимизм, чувство классовой обреченности. В этом смысле в европейской художественной литературе А. Моравиа можно с полным правом назвать последним крупным певцом побежденных.

В последних сборниках рассказов «Рай» (1970), «Другая жизнь» (1973), «Бо» (1976) мы все чаще находим у Моравиа образ какой-то всеобщей лживой коросты, обложившей со всех сторон жизнь человека в современном обществе в Италии. К этой коросте относится все: избитые истины, фальшивые слова, буржуазная благопристойность, предметы комфорта и уюта, размеренность мещанского быта, традиции и условности.

Чаще всего герои последних рассказов Моравиа бунтуют против буржуазных устоев жизни, ищут выхода из тупика отчужденности, стараются обрести утраченный контакт с действительностью. Но удается ли это им?

Герои рассказа «Игра», выросшие на иллюстрированных журналах, комиксах, телевидении, радио, кино и дешевом чтении, в конце концов оказываются побежденными в своей борьбе с надоевшими штампами и прописными истинами. Героиня рассказа «Гром и молния» восстает против традиционности жизни семьи. Ей, воспи-

танной на мифах буржуазного кино, кажется, что счастье — там, где действуют бесстрашные красавицы гангстеры, где льется кровь, совершаются преступления. Но она опускает руки, узнав, что ее благопристойный, но отнюдь не дарящий ей счастья супруг нажил состояние именно гангстеризмом, эксплуатацией проституток, грабежом. Добропорядочная жена из рассказа «Обратная сторона луны» становится соучастницей ограбления банка, чтобы испытать наслаждение риском и опасностью, но и ее жизнь заводит в тупик: бесстрашный гангстер, вовлекший ее в преступление, в мгновение ока становится заурядным лавочником.

И таких метаморфоз мы найдем множество в рассказах Моравиа. Вот почему бунт многих его героев захлебывается, останавливается на полпути, кончается компромиссом. И уж конечно, гласом вопиющего в пустыне раздастся вопль молодой девушки из рассказа «Рай», когда, отбиваясь от монашки, пытающейся прикрыть ее наготу, она дерзко заявляет: «Не я должна прикрывать наготу, а ты — обнажиться. Выставить наружу грудь... зад. Сбросить эту черную хламиду, ходить голой. Разве цветы, деревья, лошади, горы одеваются?»

Вместе со своими героями Моравиа задумывается над аномалией буржуазного мира. «К сожалению, — говорит он устами молодого, но бедного преподавателя из рассказа «Красивее, чем ты», — характерной чертой нашей культуры является то, что вещи, которые она создает, гораздо красивее тех, кто ими владеет и пользуется».

И снова, как и в первых произведениях, перед А. Моравиа встает один и тот же вечный вопрос: где выход? Казалось бы, ответ должна была бы подсказать писателю сама действительность. Он много прожил, много ездил, много видел. Когда в 1944 году он вернулся в освобожденный от фашистов Рим, он искренне заявил, что после утраты христианством своей прогрессивной роли один лишь марксизм способен дать людям надежду на лучшее будущее, без которой невозможны ни настоящая жизнь, ни настоящее искусство. Но в дальнейшем А. Моравиа не раз будет проявлять колебания, менять позиции, взгляды. Особенно это чувствовалось в периоды обострения классовой борьбы как в самой Италии, так и на международной арене. Противник насилия, А. Моравиа бросался в разные крайности: вставал на апокалипсическую точку зрения, предсказывал осквернение всех человеческих ценностей. Не видел только одного: возможностей позитивного преобразования мира. Его последний роман, «Внутренняя жизнь» (1978), заканчивается символической сценой: Дезидерии, героине книги, прошедшей через все искусства осквернения буржуазных ценностей, снится раскаленный,

пылающий шар восходящего солнца. Криво-красное светило неожиданно прорывается вулканической магмой, заливающей всю землю. «В глазах А. Моравиа, — пишет итальянский критик-коммунист В. Спинаццола, — современная цивилизация в своей коллективной совокупности и отдельных индивидуальностях, ее составляющих, представляется жертвой суммы конфликтов, которые могут привести лишь к разрушению, но не обновлению».

Справедливый упрек, но, обращаясь к творчеству А. Моравиа, к его непростой гражданской и идейно-политической позиции, мы, конечно, помним и о других высказываниях писателя.

«Мир — абсолютно необходимое условие для благотворного развития культуры, — говорил А. Моравиа во время посещения СССР в 1972 году. — Мы хорошо помним, что Европа — континент, где в нашем веке зародились две страшные войны. Но не надо забывать, что Европа — это и один из крупнейших центров мировой культуры. Именно здесь возник марксизм, чье влияние распространилось по всей планете. Создание на нашем древнем континенте условий для созидательной мирной жизни и плодотворного обмена культурными ценностями — гуманная и благородная цель».

Этой цели служит прежде всего само творчество писателя, важной частью которого являются его рассказы.

Г. СМЕРНОВ

Рассказы







ГРЕЗЫ ЛЕНТЯЯ

Каждое утро, просыпаясь, Таламоне думает о смерти. Эта мысль приходит сама собой, грустный мистический осадок в глубокой чаше, из которой он пил всю ночь. Как любовники после любовной близости, так Таламоне думает о смерти после сна, своего единственного и наивысшего удовольствия. Он пугает его, этот бесконечный сон упокоенного праха, что однажды навсегда положит предел периодам краткого сна плоти, крови и пота, сна, в котором Таламоне, будь его воля, нежился бы себе и нежился. Он думает: «однажды я перестану жить», — но это все равно, как если бы он сказал: «однажды я перестану спать и видеть сны». Ибо если сон самое большое удовольствие для Таламоне, то в этом удовольствии кроется другое, в тысячу раз тоньше и лакомее, — наслаждение снами. Что произошло, например, в эту ночь, пока он спал? Оставаясь под одеялом, натянутым до подбородка, Таламоне силится восстановить один за другим сны, которые, как освещенный и полный пассажиров поезд в безлюдном ночном пространстве, пронеслись в его памяти на большой скорости, направляясь неведомо куда с их грузом приключений и неожиданностей. Ах, сумеет вернуть то мгновение, когда на глазах у восхищенной толпы он легко парил между голых стен высокой пустой комнаты! Таламоне хватается за этот первый сон, стараясь выудить и дальнейшие, но сон, подобно глубоководной рыбе, дергает с силой крючок, съедает наживку и удирает прочь. Уже поздно, нужно вставать.

«Встаю», — думает Таламоне. И как если бы, сформулировав эту мысль, он тем самым осуществил намерение, Таламоне не только остается в постели, но и убирает под одеяло руку, лежавшую сверху. Дело в том, что когда рассеиваются ночные грезы, им на смену приходят сны, коим Таламоне предается среди бела дня. Ленивому от рождения, ему так и не удалось перейти из детского возраста, щедрого дара природы, в последующие, которые являются плодом опыта и чересчур утомительных усн-

лий; и поскольку он остался ребенком, его поныне соблазняют мысли о насилии, о буйствах, о сверхрешительных поступках, о приключениях. Мысли, не действия, ибо между первыми и вторыми — огромное море лени; праздные мысли, что у других превратились бы в угрызения, в слабые желанья, в яд души, а у Таламоне, изнеженного ребенка, мило претворяются в сны. К тому же, размышляет Таламоне, сладостный вкус сна проявляется прежде всего в жестоких, необычных, грандиозных поступках. Недаром обо всем необычном говорят: это был сон, мне кажется — я вижу это во сне, это кошмар и тому подобное. Одним словом, действовать — значит грезить наяву. Напротив, если предоставить свою жизнь сонному течению совершенно одинаковых дней, неизбежно приходишь к мучительной и рассудочной ясности. «Итак, предадимся снам», — думает Таламоне. Разумеется, ему нет надобности во всех этих оправданиях и самовнушениях.

Таламоне, по-прежнему погруженный в тепло постели, представляет вдруг, как он хватает револьвер, сует его в карман, бежит по улицам, входит в какой-то дом, стреляет, убивает. Да, но кого? Не имеет значения, убивает, и все. Пойдя с самого начала по этому пути, фантазия Таламоне теряется в гуще красочных подробностей: женщина, которую он любит или которая любит его, преступление на почве страсти, арест, суд, тюрьма... В это время будильник, предусмотрительно переведенный Таламоне при первом пробуждении на полчаса вперед, раздражается ненавистным звоном. Таламоне скрепя сердце покидает воображаемую тюрьму, где ему было так хорошо, и встает — теперь уже по-настоящему. Вздыхая, он опускает ноги на пол, пересекает тучным туловищем полосы света, которыми разлинован полумрак комнаты, и идет в ванную одеваться.

Кто не принял бы Таламоне — крупного, сильного, солидного и неторопливого, с глубокомысленным и строгим лицом человека, привыкшего к порядку, и человека со вкусом, за какую-нибудь важную и полную благоразумия персону, из тех, что составляют, как говорится, основу общества? А ведь, по крайней мере, в грезах это шутник, маленький тиран, хам, преступник и не знаю, что такое еще. Вот он в автобусе, стиснутый толпой других служащих, вроде бы бодрствует, а на самом деле спит. Спит и грезит во сне. Он представляет, будто сидит

на месте водителя и неожиданно начинает гнать сломя голову, пропуская одну остановку за другой. Протестующие крики пассажиров, попытки смельчаков остановить его — ничто не помогает. Он мчит и мчит, минует центр города, пронесется на бешеной скорости по мостовым окраинам, выезжает за город. В пустынном месте, где простираются красивейшие дуга, покрытые желтыми цветами, он останавливает автобус и высаживает разъяренных служащих. Но при виде этих лугов, этого солнца, этой красоты они успокаиваются, очарованные, дружно хватают сачки и принимаются ловить бабочек. Огромных белых бабочек, порхающих над этим морем трав и цветов. Гонясь за бабочками, черные служащие очень скоро начинают казаться, насколько хватает глаз, большой растрепанной стаей ворон, налетевших с неба: самые ближние — крупные, с развевающимися полами, на некотором расстоянии — менее различимые в подробностях, самые дальние — черные пятна, перемещающиеся в солнечном воздухе над цветущими полями, следуя за нежным игривым полетом исполинских белых бабочек... Прелестный сон; но автобус на самом деле останавливается. Таламоне выходит, переступает порог, приветствуемый привратником, подобострастно обнажающим голову, тяжело поднимается по лестнице на один марш, входит в кабинет.

Здесь Таламоне работает вроде того, как ночью видит сны. Отрешенный, запертый в коконе волшебной ирреальности, он переделывает многочисленные дела с легкостью, которая его удивляет и в которой есть что-то сверхъестественное; точно как в том сне, когда ему казалось, будто он парит в воздухе и народ внизу, задрав головы, восхищается им. С другой стороны, в его деятельности, при всем ее канцелярском характере, немало стимулов для безудержного воображения. Заходит, например, подчиненный, которого Таламоне по ряду причин справедливо ненавидит, — лиса, подхалим, лицемер, пролаза, трус. «Отрубить ему голову», — с беспощадным хладнокровием думает Таламоне, едва завидев его. И пока он ровным голосом дает указания и вежливо отвечает на возражения, во дворе вырастает эшафот, и молодой человек поднимается на него, сопровождаемый монахом. Этой воображаемой картины ничем не выдает неподвижное лицо Таламоне, продолжающего делать распоряжения почтительному сотруднику. Оно никогда

ничего и не выдаст, ибо Таламоне в своей лени даже не считает нужным показать молодому человеку свою антипатию; более того, из деликатной щепетильности он будет обращаться с ним лучше, чем с остальными сотрудниками. Гораздо лучше, чем с этим вот молодым человеком, у которого открытое умное лицо и появление которого подсказывает Таламоне внезапную мысль: «Сказать ему, что я им доволен, повысить его, обнять». Но молодой человек никогда не услышит похвал — во всяком случае, насколько это зависит от Таламоне, никогда не получит повышения, тем паче не будет заключен в объятия. Скорее ненавистный тартюф, достойный топора в руках палача, добьется, благодаря своим уловкам и Таламоновой инертности, незаслуженного продвижения.

Обедает Таламоне один, у себя в комнате, за столиком, накрытым возле милой сердцу постели. Он ест лежа, подобно древним римлянам, перемежая пищу долгими грезами, глубоко обдумывая вопросы вроде этого: окажись он осажденным в доме, как долго смог бы он держать оборону, если бы у него был хороший пулемет? Или: успел бы он, спасаясь, выскочить на балкон и оттуда спуститься на землю по водосточной трубе, если бы в квартиру вошел лев? Ближе к десерту глаза Таламоне соловеют, веки делаются тяжелыми, он вдруг вытягивается навзничь и засыпает. Вернее даже, не засыпает, не погружается в сон, а дает ему мало-помалу заполнить себя, — так вода набирается на мелком озере в прогнившую лодку. В этот сон долетают мягкие далекие звуки: шелковый шелест автомобильных шин об асфальт, протяжный страстный голос ветра, стрекот затерявшегося в небе самолета. Сон одерживает верх над телом Таламоне, но только не над сознанием. «Кинжал, — бормочет он, грезя о привычных насилиях. — Мне бы кинжал». И стонет и корчится, упиваясь собственным бессильем.

Около четырех часов, словно ужаленный тарантулом, Таламоне вскакивает с постели и, одетый со всем тщанием, отправляется с визитом, коему придает величайшее значение. Речь идет о некоей зрелой вдове, на которой наш кавалер вот уже не меньше года мечтает жениться. Сегодняшний визит, подобно, впрочем, всем предыдущим, должен стать решающим.

Итак, Таламоне выходит из дома и, вообразив, будто купил букет свежих фиалок, не переставая умиляться

этим сном, который ему не удалось претворить в действительность, поднимается на четыре марша по лестнице и звонит у небольшой двери. Ему открывает сама вдова, наблюдавшая за ним сквозь занавески, когда он еще только подходил к ее подъезду. У вдовы старая чистенькая квартира: в чистоте этих низких комнатушек, пахнувших выдержанным деревом, есть что-то музыкальное. Они присаживаются, Таламоне и вдова, на жесткую реповую софу перед подносом с кофе; Таламоне, допив чашечку кофе, смотрит на вдову, а та — на Таламоне. У вдовы, огромной блондинки с детским лицом, маленькая коротковолосая голова, жирные плечи, вздымающийся и опускающийся объемистый бюст, сильная рука, величественные бедра. Завернутая в шелк и воздушные черные покрывала, она кажется в два раза больше, но Таламоне это не смущает, напротив, он сторонник обширных и классически выраженных форм. Как часто бывает у женщин крупного сложения, у нее тонкие щиколотки и запястья и приятный голос, завораживающий Таламоне. Она бы рада создать благоприятную интимную обстановку, но, робея, лишь задает гостю ничего не значащие вопросы о погоде, работе, здоровье и тому подобных вещах. Таламоне отвечает односложно. На самом деле у него давно приготовлены в уме слова, которые ему хотелось бы произнести, однако в своей лени он переступил границы действительности и принялся грезить о будущем так, будто уже произнес их и бракосочетание состоялось. Вот они женаты, вместе живут, вместе едят, вместе гуляют, наконец-то вместе спят, друг подле дружки, головы утопают в огромных удобных подушках, обшитых кружевами, тяжелое одеяло натянуто под самый подбородок. А в других комнатах спят Таламончики обоего пола — и тоже в аккуратных постельках... Это сон, Таламоне грезит наяву и не отдает себе отчета, что он едва отвечает хозяйке дома. А она за своими бесхитростными участливыми вопросами и каменным молчанием визитера видит с горькой досадой близящийся конец визита. Наконец Таламоне поднимается и покидает ту, что на протяжении всего визита была его женой и таковою останется, пусть в фантастических замыслах, неизвестно еще как долго. В прихожей, беря ее руку, Таламоне думает, что вот подходящий момент — сейчас или никогда; и он мысленно бросается на колени, целует

эту маленькую руку. Но ничего этого он не делает и, довольно сухо попрощавшись с вдовой, уходит.

Удовлетворенный тем, как прошел день, Таламоне возвращается домой, ужинает и укладывается в постель.



ОДИНОЧЕСТВО

Перроне и Мосталлино почти ничем не походили друг на друга и тем не менее были неразлучны, хотя, по правде говоря, свела их не дружба, а скорее случай и то, что они вместе развлекались.

На лице у Перроне не найти и следа того оживления и беззаботности, что обычно сопутствуют юности, напротив, на нем всегда лежит печать унылой и хмурой меланхолии. Он слывет человеком цельным, непоколебимым, требовательным к самому себе и к другим; он постоянно и пылко твердит, что в жизни необходимо придерживаться самых строгих нравственных правил. Однако всем хорошо известно, что люди нередко проповедуют именно то, чем сами не обладают.

В действительности же Перроне прежде всего гордец; и самолюбие — та скрытая пружина, что движет его поступками. Самолюбие-то и побуждает его неустанно стремиться к идеалу, а идеал для него — люди с негибаемой волей; однако быть таким для Перроне совсем не просто, и эта обидная неспособность достичь своего идеала, которую он всякий раз обнаруживает в себе, приводит к тому, что он почти всегда мрачен и возбужден.

Перроне — брюнет, как будто опаленный солнцем; напротив, на круглой и бледной физиономии Мосталлино, кажется, постоянно лежит серебристый отсвет луны. В отличие от своего друга, он никогда не бывает грустен и озабочен, он почти всегда весел; однако веселость у него малоприятная, какая-то холодная, несколько наигранная и, как правило, неуместная. Он слегка плешив, носит очки и ростом чуть меньше Перроне; не в пример своему приятелю, он отнюдь не худощав, а скорее даже склонен к полноте, обычно говорящей о некоторой флегматичности и лени.

«Один лишь Мосталлино вечно повторяет своему другу, что тот — вовсе не таков, каким сам себя считает и позволяет считать другим. Пусть же Перроне даст себе волю, говорит Мосталлино усмехаясь, ведь он ничуть не добродетельнее остальных, и тут уж ничего не поделаешь. Такой скептицизм весьма неприятен Перроне, как постоянный насмешливый вызов, и в то же время скептицизм этот побуждает его на деле доказывать приятелю, что тот глубоко ошибается в своих суждениях на его счет. Впрочем, Мосталлино не столько судит и осуждает Перроне, сколько изучает его, как изучают некий феномен. Мосталлино окончил философский факультет и ныне для собственного удозольствия занимается психологией и прочими родственными ей дисциплинами; склонность к анализу и эксперименту побуждает его относиться к людям с почти научной объективностью, но при этом без всякого сочувствия. Перроне буквально снедает самолюбие, Мосталлино же как будто совершенно его лишен. Перроне все время натывается на какие-нибудь житейские препятствия, подобно тому как слишком частый гребень цепляется за малейший узелок. Мосталлино, напротив, легко скользит по жизни, его ничто не трогает и не задевает. По складу своей природы Мосталлино не способен к простым отношениям с людьми: для того чтобы приблизиться к человеку и проникнуть в его сущность, он нуждается, можно сказать, в белом халате экспериментатора; Перроне из гордости старается вести себя так же, любое проявление живого чувства кажется ему неким компромиссом, почти унижением, чуть ли не крахом.

Однажды случилось так, что Мосталлино провел несколько месяцев у себя в имении. Когда он оттуда вернулся, Перроне узнал от общих друзей, что его приятель привез с собой любовницу, девушку из тех мест. Узнал он также, что она принадлежит к низшим слоям общества. И вот эту-то простую девушку Мосталлино поселил в мастерской, предназначенной для художника, — она была расположена на верхнем этаже принадлежащего ему дома. Впрочем, Перроне вскоре услышал эту странную новость и от своего приятеля. Как-то вечером, словно бы вскользь, Мосталлино заговорил с ним о своей возлюбленной. Говорил он о ней своим обычным докторальным тоном, небрежно и слегка иронически. По его словам, она — что-то вроде зверька, ласкового зверька, сотканно-

го из инстинктов и чувственности. Притом девушка красива, прибавил Мосталлино, и это само по себе уже весьма интересно. Бог знает почему Перроне слушал приятеля со все возрастающим мрачным раздражением. Внезапно, быть может для того, чтобы разом покончить с равнодушными и холодными объяснениями Мосталлино, он резко спросил у приятеля, любит ли тот свою подружку. Мосталлино ответил, что он вообще понятия не имеет о пресловутой любви, про которую столько болтают. Если любовь — это удовлетворенное любопытство, удовольствие, приятные ощущения, ну что ж, тогда, пожалуй, можно сказать, что он любит эту девушку. Во всяком случае, прибавил Мосталлино, он задумал необычный эксперимент. При слове «эксперимент» Перроне почудилось, будто чья-то грубая, безжалостная рука растревожила и разбередила его скрытую рану; внезапно его терпение лопнуло и долго сдерживаемое негодование излилось потоком пылких и гневных слов. Он заявил, что Мосталлино следовало бы воспользоваться случаем, который он цинично именуется необычным экспериментом, для того чтобы раз и навсегда избавиться от своей душевной холодности; так или иначе, но он, Перроне, не желает больше, чтобы при нем в таком тоне говорили о женщине. А если уж Мосталлино по-другому говорить не может, то пусть лучше совсем ничего ему не рассказывает. Наконец, рассерженный Перроне умолк и только тут заметил, что дрожит всем телом от какого-то странного чувства, в котором было, пожалуй, больше жгучей ревности, нежели осуждения.

Эта вспышка, казалось, привела Мосталлино в неподдельное изумление. Перроне даже почудилось, что помимо этого изумления его приятель пришел даже в некоторое замешательство: Мосталлино как будто уже и прежде сам отдавал себе отчет в том, о чем теперь так пылко говорил ему Перроне, и в какой-то мере был согласен с тем, что тот говорил. Тогда, смягчив тон, Перроне прибавил, что он, как Мосталлино хорошо известно, — друг ему и только поэтому позволил себе высказать все так прямо и откровенно. Однако к Мосталлино уже вернулась его обычная, немного насмешливая и отчужденная холодность, и он, как будто издали, с любопытством наблюдал за приятелем. Затем он отрывисто сказал, что вопрос, как говорится, исчерпан и больше толковать не о чем. А для того чтобы показать, что он несколько не

сердится, он приглашает Перроне вдвоем отправиться на следующий день в гости к его возлюбленной. Кстати, он ей уже много о нем рассказывал, и она хочет познакомиться с ним.

Откуда в нас порою возникает столь непонятное, но властное предчувствие? На следующий день, одеваясь для того, чтобы идти в гости, Перроне вдруг ощутил твердую уверенность в том, что не только он сам увлечется подружкой Мосталлино, но что и она, если он даст ей это понять, ответит на его чувство. От одной этой мысли ему стало не по себе. И он подумал, что если уступит влечению к этой еще даже незнакомой ему женщине, то тем самым подтвердит скептическое мнение Мосталлино о его, Перроне, добродетельности и силе воли и тогда непременно испытает такое невыносимое унижение, самая мысль о котором для него нестерпима. Таким образом, к неприятному чувству, вызванному соблазном, прибавилось не менее сильное и острое чувство отвращения при мысли, что он может этому соблазну уступить.

Перроне был до такой степени взволнован и растревожен внутренней борьбой, раздиравшей его душу, что, только очутившись возле дома, где жила любовница Мосталлино с удивлением обнаружил, что пришел на целых четверть часа раньше назначенного времени. Он подумал, что Мосталлино скорее всего еще нет, и если он поднимется сейчас наверх, то застанет молодую женщину одну. Несколько мгновений Перроне спрашивал себя, следует ли ему подняться в квартиру или нет, и этот простой вопрос вызвал в нем рой привычных мыслей о силе воли и малодушии, о добродетели и грехе. В конце концов он решил, что появление в квартире раньше назначенного часа, конечно, послужило бы исполнению его невольного желания соблазнить девушку и потому он непременно должен дожидаться Мосталлино на улице. А для того чтобы убить время, Перроне принялся изучать местность вокруг дома.

Улица была только недавно проложена, тротуаров на ней еще не было, и вдоль облицованных мрамором цоколей особняков росла высокая трава. Эта темная улица слегка поднималась в гору, а затем упиралась в небольшую площадь, как бы нависавшую над расположенными внизу кварталами, их фонари распространяли вокруг слабое сияние. Не спеша прогуливаясь по улице, Перро-

не некоторое время брел почти в полной темноте, потом пересек площадь и вдруг оказался на обрыве; и тут его взгляду открылась, как он и ожидал, нижняя часть города. Далеко под ним, в узкой долине, высились, тесно прижавшись друг к другу, длинные ряды зданий городского квартала, населенного простым людом. Дома эти белели в узком темном ущелье, сжато с двух сторон высокими холмами, и ему почудилось, будто весь квартал залит лунным светом, хотя луны в тот час не было, а над домами нависало только яркое звездное небо летнего вечера. Сверху видны были какие-то широкие террасы, на них падали неровные и смутные тени кровель. То здесь, то там вдоль домов двигались темные группы людей, словно духота и зной не давали им покоя. В прогалах между зданиями виднелись пустынные переулки. А чуть повыше кровель, прямо под собой, Перроне различил очень ярко освещенное пространство. То был луна-парк, укрывшийся вместе со своими блестящими огнями в большой складке земли между холмов, издали он походил на сверкающую россыпь драгоценных камней, обнажившихся в результате землетрясения. Приглядевшись, Перроне отчетливо увидел гирлянды разноцветных фонариков, слепящий блеск павильонов, кишение черной толпы. Скрежет карусели и глухой шум голосов долетали вместе с порывами ветра. Громкие звуки выстрелов прорезали этот неясный шум.

Перроне терпеть не мог рассудочности, особенно когда речь шла о чувствах: в любви, по его мнению, не могло быть места расчету. Но теперь, глядя вниз как будто с гигантского балкона, он был вынужден признать, что в самых глубоких тайниках его сознания притаилась некая коварная мысль. Он хотел бы отогнать ее, но не знал, как это сделать. Какой-то внутренний голос нашептывал ему, что следует воспользоваться луна-парком, который так кстати оказался поблизости, и соблазнить возлюбленную Мосталлино. Среди всех этих каруселей, американских гор и тому подобных аттракционов, в шумной и веселой суете ему, конечно же, представится удобный случай остаться вдвоем с молодой женщиной и поволочиться за нею.

«Стало быть, у меня не просто было предчувствие, что любовница Мосталлино мне понравится,— подумал Перроне,— но я уже мысленно готовлюсь ее соблазнить». И он с горечью признался себе, что это его наме-

рение просто отвратительно. Однако соблазн был так велик, так заманчив, что Перроне готов был прийти в отчаяние. Он и сам не отдавал себе отчета в том, что именно самолюбие толкает его на то, что всегда было особенно неприятно ему,— на хитрости, уловки, обман.

Во власти этих мыслей он повернул назад, к дому Мосталлино, и вдруг увидел приятеля, который шел ему навстречу. Мосталлино весело приветствовал Перроне и, когда они поравнялись, догадавшись, что тот пришел раньше времени, упрекнул его за то, что Перроне не поднялся наверх, в квартиру.

— Да ты, пожалуйста, не церемонься с моей подружкой,— прибавил он,— она этого не любит.

В лифте Мосталлино посоветовал приятелю не вести в присутствии молодой женщины слишком сложных и умных разговоров: она необразованна и проста, а потому ничего не поймет. Когда они очутились в холле, перед входом в мастерскую, Мосталлино вытащил из кармана ключ и, не позвонив, отпер дверь. Сердце у Перроне бешено колотилось, он изо всех сил старался взять себя в руки, но от сильного волнения весь трепетал.

Мастерская, как ему показалось, состояла из просторной высокой залы с большими окнами и двух комнат поменьше. Мосталлино обставил квартиру строго, но с известной роскошью. На окнах — широкие светлые шторы, мебель — из неполированного дерева, все предметы обстановки — стол, тахта, радиоприемник — низкие, длинные, как бы намеренно вытянутые. Стол был уже накрыт, и на бледно-желтом светлом дереве, напоминавшем самшит, сверкал хрусталь. В глубине залы был виден камин со сводом из красного кирпича. Прислонясь спиной к этому камину, неподвижно стояла молодая женщина и молча смотрела на вошедших.

Она была среднего роста, стройная, но довольно полная, с нежным, хотя и плотным телом. Ее голова на крепкой шее была откинута назад, цветущее лицо казалось задорным и слегка высокомерным, но вместе с тем чуть-чуть обиженным. Крупные ярко-красные губы были капризно изогнуты, маленький, чуть вздернутый нос подходил на нос породистой кошки, большие влажные глаза с темными зрачками будто притягивали и удерживали взгляд смотревшего на нее человека, как два глубоких, влекущих к себе омута. Но красивее всего были у нее волосы. Толстая, туго заплетенная коса, отливавшая

тусклым золотом, была уложена вокруг головы, оставляя открытыми маленькие, но мясистые уши. Эта золотая коса придавала голове молодой женщины царственный вид, она делала ее похожей на сверкающий венец, украшенный драгоценными камнями. Перроне, наклонившись к ее руке, заметил, что рука эта не слишком красивая, немного красная, чересчур пухлая и не очень чистая. Подружка Мосталлино была одета в дорогое нарядное платье из серебряной парчи. Это узкое, облегавшее фигуру платье у всякой другой женщины непременно подчеркивало бы все рыхлые места и складки жира, у нее же оно только подчеркивало плотность и крепость налитого тела: должно быть, и без платья тело ее было таким же плотным и крепким. Перроне невольно подумал, что она вся как бы отлита из благородного металла, обточенного и отполированного до блеска, вся, начиная с толстой золотой косы и кончая, пожалуй, слишком крупными плебейскими ногами, обутыми в серебряные туфли. Да, вся она была — золото и серебро; и весила она, должно быть, немало, хотя на первый взгляд казалась статной, изящной и хорошо сложенной.

Мосталлино назвал ее имя: Моника Къявикатти; потом произнес несколько лестных фраз по адресу Перроне, отрекомендовав его своим лучшим другом, и внезапно с привычной словоохотливостью принялся рассуждать на те самые темы, которых он незадолго перед тем советовал избегать своему приятелю, ссылаясь на необразованность молодой женщины. Он разглагольствовал о музыке, о литературе, о политике. Моника, как показалось Перроне, была несколько смущена, однако вовсе не оробела, она по-прежнему молча стояла, прислонясь спиной к камину. Перроне невольно приходилось поддерживать разговор. Было очевидно, что Мосталлино, заведя такого рода беседу, хочет, чтобы его приятель понял: в их отношениях, несмотря на присутствие Моника, ничего не изменилось. Перроне и сам этого хотел. Но, странное дело, хотя он изо всех сил старался поддерживать беседу с обычным воодушевлением, он с досадой замечал, что мысли его были далеко. Ему не только не удавалось метко и остроумно отвечать приятелю, но порою он даже запинаясь и умолкал в полном недоумении, словно бы из-за внезапных провалов в памяти. Он ничего не мог поделаться с собою и часто, слишком часто поглядывал на Моника, стоявшую все в той же позе, прислонившись

к камину. Глаза Перроне как будто не подчинялись ему, его взгляд то и дело устремлялся на молодую женщину, даже тогда, когда он пытался заставить себя смотреть на Мосталлино; и как он ни старался сделать эти взгляды хотя бы неприметными, глаза его, напротив, просто вливались в ее красивую фигуру, точно жадные руки, которые жаждут схватить, ощупать и сжать. Но к изумлению Перроне сама Моника под его пылкими взглядами ни разу не вскрикнула и не вздрогнула, как это делает человек, внезапно заметивший, что его ошупывают и стискивают сильные и жадные пальцы. Моника — и это еще больше усиливало его замешательство — казалось, не только не ежилась под его страстными взглядами, а, наоборот, как бы дышала полной грудью и вся раскрывалась, точно распустившийся цветок под живительной струей воды. Правда, она время от времени, встречая алчущие взгляды Перроне, исподтишка смотрела на него умоляющими глазами, словно хотела сказать: «Да не смотрите на меня так, сдерживайтесь хоть немного. Зачем вы так на меня смотрите?» Однако было совершенно очевидно, что и эта немая мольба входила в арсенал ее наивного провинциального кокетства. Одним словом, Моника уже как бы становилась его сообщницей и, казалось, готова была при первом же удобном случае наставить рога Мосталлино. Эта мысль была нестерпима для Перроне; и не желая уступить соблазну при виде Моника, он с гневом и яростной твердостью мысленно поклялся себе никогда не выходить за пределы этой первой молчаливой фазы своего невольного предательства по отношению к другу.

За столом, должно быть разгорячившись от вина, которое Мосталлино все время подливал в ее бокал, Моника принялась болтать без умолку. У нее была довольно приятная манера говорить, непритязательная и лукавая; она без устали щебетала, рассказывала о Мосталлино и о своих отношениях с ним с непосредственностью и бесстыдством, которые поражали Перроне. Она даже не пыталась выдавать себя за жену Мосталлино, пусть незаконную, и ни в чем не вела себя так, как обычно ведут себя жены; напротив, она даже с некоторым вызовом подчеркивала свое положение любовницы, как будто для нее это было дело самое простое и обыкновенное. Моника заявила, что ей до сих пор кажется волшебным сном то, что она живет в такой прекрасной

квартире, что у нее такая чудесная обстановка. Когда горничная, подававшая кушанья, на минуту вышла из комнаты, Моника призналась, что она, по правде говоря, не привыкла к тому, чтобы ей прислуживали. В конце концов из разговора выяснилось, что прежде она была кружевницей и работала на фабрике. Привычный ей с детства говор неумолимо прорывался наружу сквозь ее итальянскую речь, выдавая, из каких именно мест она родом. И вот на этом своем провинциальном диалекте она вдруг принялась подробно рассказывать об одном из недавних эпизодов своей жизни, о том, как брат всячески старался помешать ей уехать с Мосталлино и даже пощечин ей надавал, а под конец, придя в отчаяние, угрозил, что если она станет любовницей этого богатого синьора, то он ее никогда больше на глаза не пустит. Слушая Моника, легко было представить себе, как эта девушка из простонародья в стареньком платьице перебранивается со своими подружками, такими же работницами, как она, или же на улицах населенного беднотой предместья с простодушным кокетством завлекает поклонников. Рассказ Моника необычайно смешил Мосталлино, и он то и дело подмигивал приятелю, будто хотел сказать ему: «Ты только погляди, что за нрав!»

Однако Перроне старался не смотреть на своего друга, его раздражало подчеркнутое бесстрашие Мосталлино: тот держал себя так, будто ставит какой-то опыт.

После обеда Мосталлино, которому, видимо, захотелось похвастаться перед Перроне необыкновенными достоинствами своей возлюбленной, громогласно объявил, что Моника не только умеет прекрасно плести кружева, но и замечательно танцует.

— Еще до того, как мы с нею встретились,— не то всерьез, не то в шутку прибавил он,— Моника уже успела отличиться: она некоторое время выступала на театральных подмостках, там, у себя в провинции, как исполнительница экзотических танцев и была известна тогда под громким именем «Моана ди Монтерей».

Закончив свой рассказ, Мосталлино лениво прибавил:

— Послушай-ка, Моника, покажи нам свое искусство, потанцуй немного.

Перроне бурно запротестовал, сказав, что не хочет утруждать Моника, при этом он втайне надеялся, что молодая женщина поддержит его. Однако она, казалось,

была не только разочарована его отказом, но даже обиделась.

— Ну, если уж твой друг не хочет смотреть,— сказала она, обращаясь к Мосталлино,— зачем же я стану танцевать? Лучше я потанцую для тебя, когда мы останемся одни.

Мосталлино возразил, что не стоит обращать внимание на слова Перроне, он, мол, просто стесняется, а на самом деле умирает от желания посмотреть, как она исполняет восточный танец.

— Это правда?— спросила Моника с какой-то ребяческой надеждой в голосе, исподлобья взглянув на Перроне.— Это действительно так?

Ему поневоле пришлось подтвердить, что Мосталлино сказал правду.

— Ну, тогда поставь пластинку,— сказала явно польщенная Моника своему возлюбленному.

Мосталлино встал и начал крутить ручку патефона. Моника вышла на середину комнаты и повернулась спиной к мужчинам; а когда зазвучала музыка — веселая мелодия какой-то кафешантанной песенки, она начала быстро и ловко вертеть бедрами, при этом ее грудь и плечи оставались неподвижными. То был малопрстойный танец; однако молодая женщина исполняла его не с тем заученным профессионализмом, который приводит в бурный восторг публику на галерке. Ее неопытность заставляла скорее вспоминать о той дилетантской манере исполнения, какая в ходу в компаниях веселящейся провинциальной молодежи: Моника извивалась так старательно, что ее сладострастно изгибающиеся бедра так и ходили то влево, то вправо, и при этом она обнаруживала почти трогательный и наивный азарт. Стараясь следовать ритму музыки, Моника то и дело поворачивала свою увенчанную золотою косой голову, наблюдая краешком глаза за молодыми людьми; лицо у нее покраснело от напряжения, из полуоткрытого рта, казалось, рвался наружу немой вопль сладострастия, ноздри ее трепетали. Мосталлино отбивал такт ладонями и одобрительно посмеивался, но смех его звучал, по обыкновению, искусственно. Перроне был сильно смущен и не решался ни пошевелиться, ни заговорить. Наконец танец кончился, и Моника смеясь плюхнулась в кресло. Мосталлино поднялся с места и с шутовским видом заапло-

дировал ей. Перроне пришлось нехотя сказать, что танец ему очень понравился.

— А я в этом и не сомневалась,— важно проговорила Моника,— он ведь всем нравится.

Немного отдышавшись, она вдруг объявила, что нельзя же весь вечер просидеть дома. О том, чтобы в такую жару пойти в кино, не могло быть и речи. И тогда Моника предложила отправиться в луна-парк. Словом, все складывалось так, как и предполагал, боясь этого, Перроне. Он попытался было воспротивиться, сославшись на то, что в субботу вечером в луна-парке такая толпа, что не протолкнуться. Но молодая женщина закричала, что она обожает толпу, так что напрасно он ставит палки в колеса. И отправилась к себе в комнату за шляпкой...

Они медленно спускались гуськом по новой, еще звеневшей под их шагами лестнице. Мосталлино шел впереди. За ним — Моника. Шествие замыкал Перроне. До его слуха доносились тяжелые и неторопливые шаги приятеля, они гулко раздавались на ступеньках, перемежаясь с легким постукиванием каблучков Моника. Перроне все еще раздирали противоречивые чувства: и хотелось уступить соблазну, и было стыдно ему поддаться. Не раз его рука скользила по перилам, почти касаясь руки молодой женщины, но в последнюю секунду он всякий раз отказывался от своего намерения и отдергивал руку. Они вышли на улицу и начали подниматься в гору, к площади. Моника в смешной шляпке, чудом державшейся поверх косы на ее голове, с голыми руками и плечами шла между приятелями и весело болтала, рассказывая о цыганах, которые в ее родных краях разбивают свои шатры неподалеку от города. Пройдя площадь, они по лестницам, следовавшим одна за другой, стали спускаться к луна-парку. На всех этих лестницах было темно. Мосталлино, как и прежде, шел впереди, Моника, видимо не привыкшая к столь парадному головному убору, сняла свою шляпку и теперь несла ее в руке. Под узким блестящим платьем из парчи мышцы на ее спине играли и перекачивались на каждом шагу, так что спина молодой женщины походила на мощный круп кобылицы. Коса, в полутьме еще сильнее отливавшая золотом, покоилась на красивой молочно-белой шее. И блеск этой косы затмевал в глазах Перроне уже близкую теперь и яркую россыпь огней луна-парка.

Едва они ступили за ограду и очутились в кишасей толпе, их тотчас же оглушил металлический скрежет каруселей. Но Моника впервые за весь вечер, казалось, чувствовала себя как рыба в воде.

— До чего красиво!.. Поглядите только, до чего красиво!.. Пойдем скорее, поглядим!..

Такие восклицания то и дело срывались с ее губ, а сама она носилась от одного павильона к другому, в ее широко раскрытых глазах стоял восторг, красивое лицо покраснелось и выражало крайнюю степень любопытства. Мосталлино, засунув руки в карманы и сдвинув шляпу на затылок, шел вслед за нею с довольным, ленивым и чуть ироническим видом — он походил на отца, решившего поразвлечь свою дочку. Перроне между тем не сводил глаз с Моника. Она стреляла в цель; шутила на своем диалекте с акробатами и клоунами; метко катала шары, сшибая кегли; ловила блестящую игрушечную рыбку удочкой. Она даже вознамерилась испробовать крепость своей руки с помощью силомера. Музыка приводила ее в экстаз, а огни иллюминации ослепляли. Точно восторженная девчонка, она, сверкая парчовым платьем, проворно подбегала чуть ли не к каждой группе людей, к каждому павильону, освещенному ярче других. Шляпка в ее руках уже давно превратилась в измятую тряпку. Солдаты, зеваки, скромно одетые бедняки — все с изумлением глазели на ее золотую косу и серебряное платье. В конце концов Моника и ее кавалеры очутились возле американских гор.

И тут Мосталлино внезапно объявил, что он кататься не станет, потому что страдает головокружениями. Вместо него в гондолу уселся Перроне, в душе которого все еще продолжалась борьба между соблазном и стыдом. Он напряженно сидел рядом с Моникой в тесной гондоле американских гор. Она нервно смеялась, приветствуя преувеличенно нежными жестами Мосталлино, оставшегося внизу. Тот, засунув руки в карманы, улыбался ей и дружелюбно кивал головою.

— Если мне станет страшно, я ухвачусь за вас, — вдруг сказала молодая женщина, поворачиваясь к Перроне.

По сигналу все гондолы с какой-то томящей медлительностью двинулись в путь по рельсам, уходящим куда-то вверх. Одна за другой исчезали из виду головы тех, кто остался внизу, на земле, при этом все размахни-

вали руками и выкрикивали слова напутствия с таким скорбным видом, точно прощались навеки. Стальная гондола, медленно набирая скорость, уходила вверх, и Перроне — быть может, из-за звезд, которые одни только и сверкали в вышине, — вдруг почувствовал себя на седьмом небе от восторга. Сердце у него бешено колотилось, он подумал, что там, наверху, под этими яркими звездами, ничто не помешает ему обнять и поцеловать Монику. Ничто, разумеется, кроме привычного внутреннего протеста, из-за которого этот поступок казался ему недостойным, малодушным и даже предательским... Гондола достигла высшей точки подъема, как будто задумчиво помедлила в неустойчивом равновесии, в то время как передние гондолы уже мчались вниз, затем и сама устремилась вслед за ними. И Перроне почудилось, что не мертвая холодная масса стальной гондолы заставляет их лететь к земле в темном, свистящем вокруг пространстве, а живой слиток золота — тяжелая золотистая плоть Моники. Достигнув нижней точки своего пути, гондола вновь начала подниматься со все возрастающей быстротою и с каким-то почти грозным вызовом.

— А вот теперь будет страшнее всего, — прошептала Моника.

Они все неслись и неслись вверх, потом увидели, как другие гондолы, словно стрелы, помчались вниз, сопровождаемые протяжными веселыми криками, которые почему-то вдруг показались Перроне зловещими и гибельными.

И пока их гондола, в свою очередь, стремительно падала вниз, а звезды над головой как будто гасли одна за другою, он невольно подумал, что все эти пары, как и он сам, несутся навстречу собственной гибели, которой они одновременно и страшатся и жаждут.

— Они там целуются... — снова прошептала Моника с какой-то странной раздумчивой интонацией.

Перроне поднял глаза и увидел в летевшей перед ними гондоле двух обнявшихся людей — мужчину и женщину. И в это мгновение резкий толчок отбросил и прижал его к Монике, словно побуждая последовать примеру той нежной парочки. Однако он сдержался, а гондола, заскрежетав под действием как будто возросшей силы тяжести, вновь понеслась к небу.

Третий и последний спуск — самый долгий и стреми-

тельный — заставил Монику сделать неожиданное движение. Она вдруг тесно прижалась к Перроне, говоря, что ей страшно смотреть на землю. Поэтому, когда гондола опять отвесно начала падать вниз, Перроне сидел напряженно выпрямившись, а Моника уткнулась головой в его колени. Одна его рука свисала вдоль тела, он осторожно положил эту руку на голову молодой женщины и стал легонько гладить ее по волосам. Туго закрученная толстая коса Моники походила на канат. Его пальцы соскользнули на ее шею к завиткам, что выглядывали из-под косы, но внезапно он отнял их, будто обжегшись. Потом Перроне скосил глаза и увидел крутые и такие манящие бедра Моники, обтянутые парчовым платьем: сзади они раздваивались, и у него вновь промелькнуло сравнение с мускулистым крупом кобылицы, которое впервые пришло ему на ум, когда он спускался по лестнице вслед за молодой женщиной. Перроне с усилием опустил голову и вдохнул запах, исходивший от ее косы, здоровый и терпкий запах, напоминающий аромат леса, — так пахнут волосы совсем юных женщин, не употребляющих духов. В тот же миг он почувствовал, что гондола выпрямилась, замедлила ход и вслед за тем остановилась. «Я устоял», — с горьким удовлетворением подумал он. Первый, кого он увидел внизу, на деревянном помосте, был Мосталлино.

После катания на американских горах Моника, взяв обоих молодых людей под руки, устремилась к карусели, уже совершенно потеряв голову от возбуждения. Конический павильон карусели возносил к небу свой увенчанный флажками шпиль в самой отдаленной части луна-парка, возле темного, почти совсем лишнего растительности склона холма. У входа стоял на страже бледный юноша со сведенным судорогой лицом, блестящий и нарядный черный костюм делал его похожим на балетного танцора. Ладьи на карусели, подвешенные к подвижным толстым металлическим перекладинам, были сделаны в виде фантастических коней, громадных хищных птиц, драконов и разных других животных — домашних и диких. Юноша молча продавал билеты, брови у него были нахмурены, а лицо неприветливо. И тоже не произнес ни слова, парочки усаживались в ладьи с таким видом, будто им предстояла тягостная разлука, что составляло странный контраст с ярко раскрашенными

и причудливыми по форме ладьями, которые пока что неподвижно висели в воздухе; на лицах людей, сидевших среди всех этих чудищ из папье-маше, было написано нетерпеливое ожидание. Перроне и Моника забрались в последнюю, еще не занятую ладью: ей была придана форма огромного черного кота с торчащим кверху хвостом; и вдруг с какой-то дьявольской поспешностью юноша в черном отбросил в сторону катушку с билетами, захлопнул решетку, позвонил в надтреснутый колокольчик и разом привел в движение какие-то рычаги, вделанные в столб карусели. Она закружилась.

Издавая жалобный скрип, карусель кружилась все быстрее и быстрее, напоминая вертящийся кринолин; и ладьи, разлетавшиеся в стороны под действием этого вращения, неслись теперь в темном и душном воздухе. На первом же повороте Моника взяла Перроне под руку, ее ладонь бессильно и томно повисла. Этот жест вызвал раздражение у молодого человека.

— Но вы ведь любите Мосталлино? — крикнул он.

Она слабо пошевелила рукой, как будто хотела сказать: «конечно, конечно», и со смехом взглянула на него. Теперь ладьи неслись почти в горизонтальном положении, точно их гнал вперед бешеный косой вихрь.

— А почему вы об этом спрашиваете? — спросила Моника, стараясь перекричать шум, и Перроне показалось, что ее голос звучит где-то позади, словно ветер относит его как шарф.

— Сам не знаю! — прокричал он в ответ.

Моника опять рассмеялась; и, вперив в него красноречивый взгляд, игриво пощекотала его ладонь своим острым ноготком. Затем, когда ладья пролетала мимо холма, молодая женщина наклонилась вперед, подставив свою шею губам Перроне. Ее жест был совершенно понятен; но Перроне, уже решивший было покончить с этой игрой и поцеловать Моника, вдруг будто окаменел от привычного чувства внутреннего протеста. Она немного подождала поцелуя, потом, не глядя, словно ища затылком его губ, резко подняла шею. У самого рта Перроне оказалась ее коса, нежная и вместе с тем тугая, как канат; но и на этот раз он устоял против соблазна.

— Я сделала вам больно? — громко спросила Моника, поворачиваясь и глядя на Перроне.

Между тем визг железа уже ослабевал, становился тише; карусель остановилась.

Вслед за каруселью наступил черед павильона ужасов — «ада». На фасаде этого павильона красовалась афиша, на ней можно было разглядеть множество черных и сухопарых чертей с вилами в лапах, изображены они были на фоне красных языков адского пламени; афиша приглашала желающих прокатиться в крошечном мраке и сулила разного рода сюрпризы и ужасы — то был один из самых популярных аттракционов луна-парка. Между тем Перроне готов был прийти в отчаяние, ибо вдруг понял, что его удерживают от соблазна вовсе не высокие нравственные устои, которыми он так кичился, а жалкий страх, боязнь того, что, отважившись на любовную интрижку с Моникой, он навсегда унизит себя в глазах Мосталлино; и поэтому Перроне внезапно решил отбросить прочь все сомнения, всю нелепую щепетильность и поразвлечься в свое удовольствие.

«Когда мы очутимся в этом аду, я ее непременно поцелую», — подумал он, покупая билеты. Они с трудом втиснулись в подвесное кресло, почти сразу же тронулись с места, стукнулись о какую-то дверцу, укрепленную в нижней части павильона, и почти тотчас же очутились в полной темноте.

И вот они, оба в аду. Пока кресло совершало свой круг, скрежеща железом и ударяясь обо что-то во мраке, где пахло машинным маслом и затхлостью закрытого помещения, Перроне невольно говорил себе, что после механического рая американских гор тут и в самом деле был жалкий, низкопробный ад, вполне подходящий для таких грешников, как он. Кресло, казалось, с невероятной быстротою несло вперед, обо что-то ударяясь на поворотах; и на каждом шагу во тьме возникали шутовские сюрпризы этого загробного мира из папьемаше.

Тут — долгий жалобный стон; там — скелет с воздетыми руками, выхваченный из мрака вспышкой магния; через несколько метров, в нише, — озаренная красным светом маска с оскаленными зубами; еще дальше — издевательский хохот закутанного в простыню привидения. И все это — в крошечной тьме, где то и дело слышался глухой шум от падения чего-то тяжелого и раздавались приглушенные взрывы сатанинского смеха.

Теперь Моника больше не прижималась к Перроне, она как будто выжидала. «Да, разумеется, она выжидает, — подумал он, — она уверена, что тут, в темноте,

наконец-то воспользуется плодами этого вечера, отмеченного ее кокетством». И мысль о том, что он станет всего лишь игрушкой в руках молодой женщины, оказала на него теперь такое же влияние, какое прежде оказывала щепетильность в отношении друга. «Нет, я не сделаю того, чего хочется этой женщине», — решил Перроне и снова как бы окаменел.

Еще один призрак, еще один грубый взрыв злобного хохота, и наконец — струя свежего воздуха: здоровенный мужчина в рубашке с закатанными рукавами притормаживал у выхода движение кресел.

— Нет, не понравился мне этот ад, — сказала Моника.

Она первая поднялась с места и пошла к выходу.

Но Мосталлино куда-то исчез; и Моника тут же объявила, что искать его бессмысленно, что они его раньше или позже все равно встретят, а теперь лучше пойти чего-нибудь выпить: она умирает от жажды.

Они вошли в какой-то бар, с виду ничем не отличавшийся от многочисленных павильонов. На стенах — выцветшие драпировки, прилавок темного дерева до странности пуст: ни стаканов, ни бутылок. Могло показаться, что это вовсе не бар, а какой-то очередной павильон с аттракционами, и не было бы ничего удивительного, если бы из-за занавеса, висевшего позади прилавка, вдруг появился паяц в трико из блестящего шелка с напудренным мукою лицом.

Они уселись в полумраке, который время от времени освещали быстро вертящиеся огни карусели. Официант принес пиво, Моника уткнулась носом в свою кружку и почти тотчас же подняла голову, с трудом переводя дыхание: глаза у нее смеялись, губы окаймляла пивная пена.

— Кто знает, где теперь Джорджо... — задумчиво проговорила она.

— Кто знает, — как эхо откликнулся Перроне.

Она снова отхлебнула немного пива; затем спросила:

— А почему вы всё стараетесь меня соблазнить?

— Что вы такое говорите?

— Да, вы все время стараетесь меня соблазнить, — повторила она серьезно, — а я не знаю, как мне устоять... ведь вы мне нравитесь.

Перроне сделал невольное движение и опрокинул свою кружку.

— Какой вы нервный, — мягко упрекнула его Моника.

— А ведь когда я сошлась с Мосталлино, — весело и беззастенчиво заговорила она после недолгого молчания, точно рассказывала о ком-то другом, — я поклялась себе, что с этим теперь навсегда покончено. Но знаете, это сильнее меня... уж очень мне нравятся мужчины... А потом, отчего мужчины ведут себя со мною совсем не так, как с другими женщинами?.. Я бы хотела, чтобы меня уважали, а выходит все наоборот... Вот вы, к примеру, только-только со мной познакомились... а уже стараетесь меня соблазнить...

Казалось, ей очень нравится говорить вот так — совершенно откровенно, нисколько не стыдясь.

— Я и не думал вас соблазнять, — резко сказал Перроне.

— Как это не думали! — возразила она с притворным негодованием. — А там... на карусели?..

— Повторяю, я и не думал вас соблазнять!

— Отчего вы не хотите признать правду?

— Да не соблазнял я вас!

— А вот и Джорджо! — воскликнула молодая женщина.

В бар, ухмыляясь, вошел Мосталлино и принялся упрекать их за то, что они скрылись. Однако он не стал даже слушать объяснения Перроне и, не присаживаясь, предложил идти домой. Через несколько минут все трое уже взбирались по неосвещенной лестнице вдоль склона холма.

Когда они одолели добрую половину этой лестницы, то очутились на площадке, где стояла скамья. Отсюда открывался вид на луна-парк и на расположенный внизу городской квартал. Моника заявила, что она устала, и без долгих разговоров опустилась на скамью. Молодые люди уселись рядом с нею.

Внезапно она сказала, что вид отсюда просто восхитительный. И в ее голосе прозвучал вызов, заставивший Перроне вздрогнуть. Немного посидев, Мосталлино встал и направился к перилам — полюбоваться открывавшейся внизу панорамой. И тут Моника спросила у Перроне, видит ли он прожектор, светящийся над холмом, позади городского квартала. Он ответил, что никакого прожектора не видит. И в самом деле, над груп-

памн зданий выступали темные линии холмов, там и сям светились огоньки, но прожектора не было и в помине.

— Как же вы его не видите? — удивилась Моника. — Поглядите-ка вон туда.

Перроне повторил, что ничего не видит.

— Да вон там, внизу, — настаивала молодая женщина.

И наклонившись, она уперлась локтем в его колено, указывая рукою на мнимый прожектор. Припав головой к груди Перроне, она всей своей тяжестью давила на его ногу.

— Да вон там же, внизу, — твердила она, вертя своей округлой рукою перед самым его носом, словно втайне хотела, чтобы он ощутил ее аромат.

Вдруг Моника коварно сдвинула локоть, на который опиралась всем телом; Перроне не сдержался и невольно вскрикнул от боли.

— Это там, внизу, — вновь упрямо повторила Моника.

— Ничего я там не вижу.

— Да вы что, ослепли?.. Внизу!

— Ай!

— Внизу, говорю я вам.

— Ну, так кто же кого соблазняет? — пробормотал Перроне.

Моника насмешливо посмотрела на него снизу вверх, медленно выпрямилась.

— А жаль, — чуть слышно произнесла она. — Такой чудесный прожектор... с тремя лампочками.

Перроне весь напрягся и сжался, но ничего не ответил. Потом встал со скамьи, поднялась и Моника, и все трое опять пошли вверх по лестнице.

У самого подъезда Мосталлино вдруг объявил, что забыл ключи от дома. С минуту они обсуждали, как же теперь поступить. Звонок к швейцару не работал; о том, чтобы криками разбудить спавшую горничную, нечего было и думать. Наконец Мосталлино решил, что пойдет и позвонит по телефону из расположенного неподалеку гаража. Он ушел. Перроне и Моника вновь оказались вдвоем.

— Вот видите, — сказала молодая женщина, как только Мосталлино исчез за углом дома, — как нарочно, все складывается так, что мы то и дело остаемся наедине.

Она рассмеялась и отошла немного в сторону.

— А я знаю, почему вы так себя ведете, вы это делаете ради Джорджо,— прибавила она после паузы, опустив глаза в землю; теперь она стояла на самом краю тротуара и упиралась обнаженной рукою в фонарный столб.— Но только поймите, что все это зря... я ведь не люблю Мосталлино... и если это произойдет не с вами, то все равно произойдет с кем-нибудь другим... ведь это сильнее меня...

— Все это чепуха... на свете нет ничего, что было бы сильнее нас...

— А все-таки это сильнее меня,— упрямо повторила Моника.

И принялась объяснять, что ей нравятся решительно все мужчины, все без исключения — красивые и безобразные, молодые и пожилые. Она не может и никогда не могла противиться ухаживанию любого. Потому-то она и сошлась с Мосталлино: он ведь так холоден и так хорошо владеет собой, вот она и подумала, что он будет держать ее в узде. А вышло все наоборот: оттого, что Мосталлино так уверен в себе и так спокоен, в нее будто бес вселился. Вот, к примеру, позавчера к ним пришел водопроводчик, колонку для горячей воды починить, такой красивый черноволосый малый...

Моника не закончила фразу и с притворным смущением посмотрела на Перроне.

— Ну и что? — спросил он в смятении, все еще не веря своей догадке.

— Я и не смогла устоять,— закончила Моника, опустив глаза.

«Выходит, она еще доступнее, чем я предполагал,— подумал Перроне.— Какой-то водопроводчик!» Его охватило бешенство, но он не мог толком понять, что это — ревность или негодование.

— Поздравляю,— прошипел он.

— Ничего не поделаешь,— пробормотала она виновато.— Это сильнее меня.

— Расскажите обо всем Джорджо... пусть он хорошенько подумает.

— Да ну его... не говорите мне о Джорджо...

— Это еще почему?

— Я ведь ему с самого начала все про себя выложила,— пояснила Моника,— и другой на его месте, узнав, что я такая от природы, глаз бы с меня не спустил... А он, напротив, заявил, что излечит меня, предо-

ставив, как говорится, полную свободу... он, видите ли, думает, что коли я буду себя чувствовать свободной, то сама стану сдерживаться... а я ему сто раз повторяла, без конца твердила, что со мной такие опыты до добра не доведут... да только все напрасно... у него ведь на все свои взгляды, вот он и хочет понять, верны они или нет... Вот, к примеру, послушайте... Ведь все, что было нынче вечером... и американские горы, и карусель, и павильон ужасов... а потом эта скамейка, и теперь ключи... все это он нарочно подстроил. Перед самым вашим приходом у меня было предчувствие, что вы мне непременно понравитесь, и я ему об этом сказала... А он даже бровью не повел... И знаете, что он мне ответил? Что хочет поймать двух зайцев сразу, это его собственные слова... вот он и решил нас обоих испытать...

«Стало быть, все это была игра», — с досадой подумал Перроне. Выходит, Мосталлино, по обыкновению, решил поиздеваться и унижить его, дать ему почувствовать свое превосходство. Перроне знал о маниакальном пристрастии своего приятеля к различным экспериментам, но надеялся, что подвергать испытанию их дружбу Мосталлино не станет. «Ну, такое поведение дружеским не назовешь», — сказал себе Перроне, — а потому и я могу теперь не испытывать никаких угрызений совести». И он решил поступить наконец так, как уже много раз порывался, но сдерживал себя: он подошел к Монике, обнял ее за талию и крепко прижал к себе ее сильное молодое тело. Оказавшись в его объятиях, она также тесно прильнула к нему. Но Перроне и на этот раз не сумел преодолеть самое главное препятствие — свое внутреннее сопротивление. В последний миг, когда Моника уже подставила губы, как бы отдавая себя ему во власть, он внезапно отпрянул от нее. Молодая женщина разочарованно открыла глаза и с удивлением посмотрела на него.

— Но почему? — спросила она с неподдельной грустью.

— Так.

— Может, вы боитесь, что нас кто-нибудь увидит? — снова спросила она с живостью, которая покорила Перроне. — Но кто, по-вашему, может пройти тут в такой поздний час?

Перроне промолчал.

— Дайте мне вашу руку, — попросила Моника.

Он протянул руку. Она схватила ее и провела его ладонью по своей щеке, потупившись с выражением какой-то ласковой кошачьей покорности. Потом вдруг сильно впилась в нее зубами, пристально глядя на него при этом по-ребячески расширенными глазами, которые, казалось, посветлели и стали больше от злости.

— Ай! — невольно вскрикнул Перроне.

В эту минуту послышались чьи-то шаги, и Перроне быстро убрал руку. На тротуаре появился Мосталлино.

Он пояснил, что ему пришлось долго стучаться в уже запертую дверь гаража. Потом ждать, пока горничная проснется и подойдет к телефону.

— Она вам еще не бросила ключи? — спросил он.

Не успел Мосталлино закончить фразу, как окно на верхнем этаже распахнулось, кто-то высунулся из него, и белый пакетик упал к их ногам. То были завернутые в бумагу ключи. Перроне хотел тут же распрощаться. Однако Мосталлино настоял на том, чтобы приятель поднялся в квартиру вместе с ними: они выпьют по рюмке ликера, а потом оба пойдут домой. Моника умоляюще посмотрела на Перроне, и он не нашел в себе сил отказаться.

Как только они очутились в мастерской, Моника направилась прямо к креслу, с размаху бросилась в него и воскликнула:

— Ах, до чего я устала!

Она и в самом деле, казалось, изнемогала от усталости, а по ее томному виду можно было предположить, что Перроне не только не устоял перед ее кокетством, как это было на самом деле, но что, напротив, оба они уступили своим желаниям. Мосталлино сказал, что пойдет приготовить какое-нибудь питье, и направился в соседнюю комнату, притворив за собой дверь.

— Вот видите, — воскликнула Моника, указывая на захлопнувшуюся дверь, — он все еще продолжает свой опыт.

Она произнесла эти слова без всякой злости, а скорее даже печально, и Перроне послышалась в них укоризна.

— Вы на меня сердитесь? — спросил он, подходя к молодой женщине.

Она с изумлением повернула голову, и на ее лице засветилась надежда.

— Нет... Да и на что мне сердиться?

— На то... что я вас тогда не поцеловал.

— Скажете тоже,— прошептала она с деланной стыдливостью,— да я уже и думать об этом забыла.

— Вы мне очень нравитесь,— сказал Перроне.

Он все еще стоял возле Моника и теперь осторожно погладил ее по щеке. Она покорно опустила глаза, как уже сделала это незадолго перед тем, вся трепеща от желаний. Но как и прежде, он вновь почувствовал, что внутренний протест отрезвляет его и как будто удерживает руку. Он перестал гладить ее. С минуту она сидела с закрытыми глазами, все еще чего-то ожидая; потом открыла их и с удивлением увидела, что Перроне по-прежнему неподвижно стоит рядом с нею.

— Вы мне очень нравитесь,— снова сказал он,— но я никак не могу решиться... это сильнее меня.

Он вдруг заметил, что повторил слова, недавно произнесенные Моникой, и прикусил губу.

— Ага, значит, и вы теперь поняли, что есть кое-что посильнее вас,— сказала она со злорадством.

В эту минуту в комнату возвратился Мосталлино, держа в руках поднос, на котором стояли три бокала.

Протиснувшись между своей возлюбленной и приятелем, которые были явно чем-то отвлечены и смущены, Мосталлино старательно наполнил бокалы и подал каждому. Затем с шутовской торжественностью повернулся к молодой женщине и сказал:

— А теперь, Моника, давай обсудим, как прошел эксперимент.

— О, просто великолепно,— ответила она, не глядя на него и потулившись.

Однако Перроне заметил, что нижняя губа у нее задрожала.

— Что значит «великолепно»?.. С какой точки зрения?..— настаивал Мосталлино, притворяясь встревоженным.

— Просто великолепно... он устоял... устоял... теперь ты можешь быть доволен... можешь считать, что у тебя хороший друг.

Она резко поднялась и вышла из комнаты.

— Обиделась... Но это пройдет,— невозмутимо проговорил Мосталлино.

И своим обычным докторальным тоном он принялся объяснять Перроне то, что тому было уже известно. Моника, сказал Мосталлино, почему-то была убеждена, что Перроне ей непременно понравится, и призналась

ему в этом. Тогда он решил подвергнуть испытанию и любовницу и друга: Монику — для того, чтобы излечить ее от недостойного поведения, предоставив полную свободу, а его, Перроне, — для того, чтобы установить, в самом ли деле он такой верный друг, каким кажется. Эксперимент удался, и он, прибавил Мосталлино, может теперь поздравить себя с собственной пронизательностью.

— Все это прекрасно, — произнес наконец Перроне, не выказывая ни малейшего удивления, — ну, а если бы я не устоял... Как бы ты тогда поступил?..

— Да никак... просто устранился бы... и оставил тебе Монику.

— Ну, так только говорят...

— Почему?.. Думаешь, я на это не способен?

— Отчего же... Но ты меня не понял! — внезапно взорвался Перроне. — Считаю, что твое поведение в высшей степени отвратительно... речь не обо мне... я говорю о Моники... она ведь нуждается в любви, а не в психологических экспериментах... ты же к ней относишься как к подопытному животному... Позволь тебе сказать, что ты ведешь себя возмутительно.

— Неужели? — с притворным изумлением ответил Мосталлино. — А по-моему, она, напротив, должна быть польщена моим доверием.

— Да вовсе не это нужно женщине... ты ведь оскорбляешь ее своей отчужденностью... это просто бесчеловечно!

Однако, выкрикивая эти слова, Перроне вдруг почувствовал, что приятель не в состоянии понять его.

— Она все равно тебе изменит, — внезапно прибавил он.

— Не думаю, — невозмутимо сказал Мосталлино.

— Но почему, скажи, почему ты так обращаешься с нею?.. — настаивал Перроне. — К чему эта холодность?.. Все эти ухищрения?..

— Каждый ведет себя как умеет, — ответил Мосталлино, пожимая плечами. — Таков уж я, и принимайте меня таким!

Тем не менее он был, казалось, несколько смущен словами Перроне и избегал его взгляда.

— В конце концов, что ты выигрываешь, ведя себя так?.. — спросил Перроне. — Ты оскорбил Монику... мог оскорбить и меня...

— О господи, хватит, довольно... Будем считать, что

это была всего лишь шутка,— сказал Мосталлино, внезапно нахмурившись.

— Но к чему такие шутки?.. Вечно ты шутишь... и почти всегда неудачно.

— Что я могу тебе сказать?.. Это сильнее меня.

Услышав такой ответ, Перроне онемел. Стало быть, и для Мосталлино, который держит себя столь независимо, как и для него самого, как и для Моника, существует нечто такое, что сильнее их. Именно это угнетает их всех, мешает им общаться друг с другом, заставляет его самого замыкаться в собственной гордости, Мосталлино — в надменной холодности, а Моника делает рабой ее вожделий. Потому-то они и ведут себя не как живые люди, а как марионетки, которым придана только одна гримаса, и они вечно повторяют ее, как марионетки с однообразными движениями, у которых, даже когда они сталкиваются друг с другом, деревянные руки и ноги не шевелятся, висят неподвижно.

И тут в комнату возвратилась Моника; она уже совсем успокоилась. Перроне встал с места, собираясь уходить, вслед за ним поднялся и Мосталлино. Все трое остановились возле двери.

— Да обнимитесь же,— с усилием проговорил Перроне, увидя, что его приятель протягивает молодой женщине руку.

Моника с восторгом последовала этому призыву и бросилась на шею своему возлюбленному; но из-за спины Мосталлино она устремила умоляющий взгляд на Перроне, а когда он на прощанье пожимал ей руку, незаметно вложила в его ладонь какой-то небольшой холодный предмет: ключи от квартиры.

«Это и впрямь сильнее ее»,— подумал он, против воли сжимая ключи в руке.

На улице между приятелями возник спор: начавшись с событий этого вечера, он тут же перешел в плоскость чисто теоретическую. Перроне утверждал, что всякий человек, лишенный души, которая одна только соединяет и сближает его с другими, становится жертвой какой-нибудь мании, послушным рабом своих инстинктов, словом, обрекает себя на жизнь самую примитивную и низменную. А так как нет ничего более одинокого, нежели человек, лишенный души, то одиночество неизбежно становится уделом таких людей и мешает им общаться друг с другом. Лучшее тому доказательство — все, что

произошло с ними этим вечером. Такие люди, быть может, и хотели бы ближе сойтись между собою, однако из-за неспособности к подлинному душевному общению, которое должно бы соединить их, они остаются замкнутыми в скорлупе собственной личности, своего «я», подобно тому как средневековые рыцари были закованы в свои железные доспехи. И они трое также обречены, они вечно будут делать одно и то же: Мосталлино — экспериментировать и все вышучивать, он, Перроне, — постоянно морализировать, а Моника — жадно накидываться на мужчин.

Выслушав Перроне, Мосталлино, в свою очередь, спросил, что именно его друг понимает под душою. И тут Перроне, который до тех пор говорил без запики, пришел в замешательство.

— Душа — это то, что принадлежит всем вместе и никому в отдельности, душа — это любовь, душа — это мысль, душа — это свобода, душа — это бог, — залепетал он.

По мере того как Перроне предлагал все эти определения, Мосталлино с усмешкой бросал ему в лицо имя богослова или философа, которому принадлежало то или иное определение. И спор в конце концов превратился в блестящий, но бесстрастный поединок двух эрудитов. Перроне ощутил гнев, но сердился он теперь скорее не на Мосталлино, а на самого себя, на собственное бессилие. И он невольно подумал, что уж одно, по крайней мере, не подлежит сомнению: сколько бы они оба еще ни прожили, истинная душевная близость между ними не возникнет.

Приятели распрощались на углу улицы. Оставшись один, Перроне долго смотрел на ключи, лежавшие на его ладони. И ему ясно представилась Моника, ждущая его там, наверху, в своей квартире: она горит от нетерпения, она готова принять его, юное ее тело трепещет от страсти; и ему вдруг захотелось вернуться обратно. Но тут он мысленно представил себе, как поднимается по лестнице, охваченный тайным вожделением, которое всегда было ему столь ненавистно, и снова понял, что не может пойти навстречу заигрываниям молодой женщины. Как раз в эту минуту он проходил мимо поросшего травой пустыря между двумя недостроенными домами. Он сжал ключи и швырнул их в высокую траву. Потом с облегчением вздохнул и направился к автобусной остановке.

СКВЕРНАЯ ЗИМА



Я всегда с трудом переносил шум бегущей в темноте воды, когда к тому же вокруг со всех сторон шумит дождь. Потоки, бурлящие ночью под громкий свист бешеного ветра, металлический грохот морских валов, по которым упорно хлещет дождь, злое клокотание в железной решетке водостока где-то в темном полузатопленном переулке, режущий слух, назойливый рокот воды, в то время как с небес на землю обрушивается ливень, — все это раздражает и возмущает меня как непозволительное буйство природы. А уж немолчный говор бесчисленных городских фонтанов превращается дождливыми ночами в сущее наваждение, он неотступно преследует меня.

И тогда мне чудится, будто город — это огромное тело какого-то великана в последней стадии распада, а из чудовищного этого тела под воздействием переполняющего его влагой потопа сочится и брызжет в самых неожиданных местах обильная жидкость, от которой эта гигантская туша разбухла и отяжелела.

Помню, что гнетущий шум воды особенно терзал меня во время необыкновенно дождливой зимы 19... года. В ту пору я постоянно пребывал в унынии, хотя, по правде говоря, веских причин к тому у меня, казалось бы, не было, ибо еще осенью я обручился с девушкой, которую любил или, по крайней мере, думал, что люблю; подобная тягостная меланхолия нередко рождается от смутного сознания совершенной тобою и угнездившейся в твоей жизни ошибки — она точит тебя, как шашель точит дерево; и как бывает во время таких приступов меланхолии, когда все наши чувства болезненно обострены и мы замечаем многое из того, что прежде ускользало от нашего внимания, вода, бегущая по земле под назойливый аккомпанемент дождя, заставляла меня напряженно прислушиваться к производимому ею шуму и рокоту; сперва она, словно некое незнакомое явление, даже пробуждала во мне любопытство, но уже вскоре из-за владевшей мною ипохондрии шум этот превратился в сущее наваждение. Я бежал от него и в то же время сам его искал. Случалось, я шагал в темноте под дождем

по тротуару какой-нибудь улицы и бормотал вполголоса:
— Вот пройду еще три плиты и непременно услышу рокот воды.

И в самом деле, журчание, рокот или какой-либо иной звук, рожденный водою и доносившийся уж не знаю откуда, заставлял меня разом останавливаться, и по моему телу пробегала дрожь от тоски и отчаяния.

Должен признаться, прежде я никогда не замечал, что в нашем городе столько фонтанов и фонтанчиков, водостокков, канав и канавок, ручьев и ручейков. И отовсюду била или струилась вода! Только я уходил от одного такого проклятого места, как почти тотчас же оказывался возле другого. А дождь между тем все лил и лил, непроницаемый и равнодушный.

Каждый вечер, поужинав в одиночестве в захудалом пансионе, я отправлялся пешком к расположенной неподалеку вилле, где жила моя невеста. Семейство Сквернозимо — да, именно такой была фамилия этой девушки — еще несколько лет назад было довольно многочисленным. Но сперва умерли ее дед и бабка, затем скончался отец, старшая сестра вышла замуж и уехала в провинцию, и теперь на вилле обитали только моя невеста Клара и ее матушка. Некогда их вилла была построена в предместье, но мало-помалу город со всех сторон обступил ее, и теперь она оказалась в квартале, где стояли самые обычные и заурядные дома. Построена вилла была очень добротна, но ныне вид у нее был уже весьма мрачный: серые потрескавшиеся стены, полинявшие облезлые ставни, ее окружал узенький сад, в котором гигантский черный плющ разбросал повсюду свою ползучую листву. На первом этаже виллы находились две или три залы, обставленные пышно, но безо всякого уюта, — в них стояли, к примеру, огромные диваны с позолотой и многочисленными завитушками, всюду бросались в глаза почти театральные драпировки — с помощью таких драпировок буржуазия в свое время пыталась соперничать в роскоши с историческими дворцами, издавна принадлежавшими знати; зато во всех остальных комнатах стояла просто старая рухлядь, не имевшая никакой ценности, вся мебель была там разрозненная и плохо подобранная. Клара и ее матушка заперли на ключ парадные залы, куда теперь никто не входил, а сами почти весь день проводили в небольших комнатах верхнего этажа. Семейство Клары

и всегда-то не отличалось особым достатком, теперь же и вовсе находилось в стесненных обстоятельствах

Я попадал в дом через просторную и почти лишенную обстановки прихожую, затем одолевал два марша широкой, очень чистой, но довольно унылой лестницы и, дойдя до второго этажа, входил в застекленную дверь, будто подстерегавшую мой приход. После этого я шел длинным и совершенно пустым коридором. В конце этого коридора виднелась всегда широко распахнутая дверь комнаты, сквозь нее падал свет, и в этом свете мне всегда была видна мать моей невесты, склонившаяся над шитьем: она вечно сидела за каким-нибудь рукодельем, ниспадавшим складками на ее колени и на пол. В комнате стоял круглый стол, на нем она держала корзинку с ножницами, иглками и нитками, был там и столик поменьше, а на нем — зеркало; убранство комнаты довершал довольно жесткий диван с мягкой спинкой. Я здоровался со старушкой, усаживался на диван и ожидал прихода Клары. Вскоре в глубине коридора появлялась ее высокая негнушаяся фигура, чем-то напоминавшая призрак; при этом походка у нее была какая-то неуверенная, так как она носила туфли на очень высоких и тонких каблуках. Клара приближалась медленно, то и дело прикасаясь к стене, на ходу она слегка раскачивалась, словно тень, что колеблется от дрожащего язычка пламени горящей свечи; входя в комнату, она почти никогда не здоровалась со мной и не улыбалась, но лишь подносила платочек к носу или же обращалась с несколькими словами к матери. Эта холодность и сдержанность были, пожалуй, самыми характерными чертами Клары; она была по-своему хороша, но ее холодная и бесчувственная красота была лишена всякого обаяния: при взгляде на это бледное лицо и на руки с нежно-голубыми прожилками невольно возникала мысль о мраморной статуе. Опускаясь на диван рядом со мной, Клара почти не наклоняла стан, а лишь слегка сгибала колени, и сидела она прямо, точно палку проглотила; и так вот, сидя рядом со мной, почти не прикасаясь к мягкой спинке дивана, она проводила долгие вечера, только изредка произнося ничего не значащие фразы. Я не помню случая, когда бы она откинулась на спинку дивана или хотя бы немного изменила позу. А уж если ей приходило в голову положить ногу на ногу, что, кстати также происходило весьма редко, то событие это служило

для меня чуть ли не развлечением: я с интересом наблюдал, как она медленно, едва заметно и очень осторожно переносит под длинной юбкой одну ляжку на другую, не опуская глаз и не прекращая разговора, если она в это время о чем-нибудь говорила. Затем рукою — у нее была крупная, мягкая и нежная белая рука — она тщательно разглаживала складку на юбке, натягивая ее до середины икры и заботливо придавая ей аккуратный вид. Я позволил себе сказать «ляжка» и «икра», хотя эти грубые слова, пожалуй, неуместны, коль скоро речь идет о ее ляжке и о ее икре, потому что чрезмерная стыдливость моей невесты мешала не только замечать, но даже допускать мысль, что она сложена так же, как другие женщины. Иногда, в часы досуга, я пытался представить себе Клару обнаженной, но только приходил в ярость, так как совершенно не был способен на это и не мог даже вообразить ее иной, не такую, какой она была всегда — то есть наглухо застегнутой до самого горла, сдержанной и непроницаемой. В ту зиму виллу почти совсем не отапливали, в комнатах было очень холодно, и Клара часто простужалась; носовой платочек, который она постоянно держала за манжеткой, также служил причиной множества ее жестов, необычайно медленных, стыдливых и осторожных. Едва заметным движением она подносила к ноздрям батистовый платочек и беззвучно сморкалась в него. А к каким только уловкам не прибегала она, чтобы незаметно убрать платочек подальше от носа и затем засунуть его под манжетку. Трепеща от внутреннего жара, я сидел возле нее, такой холодной и неприступной, и часто спрашивал себя, что может быть общего между нами и не принадлежим ли мы с нею к двум совершенно чуждым и враждебным друг другу расам.

Голова у Клары была довольно крупная, она казалась такой особенно потому, что моя невеста закручивала свои густые черные волосы в тугий узел, стянутый на затылке. Лицо у нее было миловидное, белое и чистое, без малейшего следа пудры или губной помады — она их никогда не употребляла; глаза — большие, но маловыразительные. Без сомнения, невыразительность ее лица и глаз во многом зависела все от той же преднамеренной сдержанности: если ей надо было повести зрачками, то делала она это так медленно и осторожно, как будто хотела прежде удостовериться, в самом ли

деле предмет, на который она устремляет взор, того заслуживает, и убедиться, что ее взгляд никем не может быть дурно истолкован. То же самое можно было бы сказать и о ее улыбках, таких редких и слабых, что трудно было даже понять, улыбается ли она потому, что ей в самом деле весело, или же только из желания сделать приятное своему собеседнику.

Перед тем как познакомиться с Кларой, я, надо признаться, вел весьма беспорядочную жизнь. И быть может, именно то, что она была так непохожа на женщин, с которыми я в ту пору часто встречался, а вовсе не подлинное и глубокое увлечение породило во мне иллюзию, будто я в нее влюблен. Действительно, такое нередко случается: то, что мы принимаем за чувство привязанности, на самом деле — всего лишь следствие тоски, жажда перемен, стремление к идеалу или что-либо еще, столь же далекое от любви. Накануне нашего знакомства я был близок к отчаянию, и Клара показалась мне тогда яркой звездой среди царившего вокруг кромешного мрака, на короткое время она пробудила во мне искренний восторг, который я ошибочно и принял за любовь. Не долго думая, уступив минутному порыву, я попросил ее руки. Предложение мое было принято, и свадьбу решили сыграть через несколько месяцев, с тем чтобы сделать нужные приготовления. И вот все эти скатерти и простыни, над которыми неустанно трудилась мать Клары, были как раз теми, на которых после свадьбы мне предстояло есть и спать. Однако именно тогда, когда все, казалось, уже идет на лад, я вдруг стал раскаиваться в том, что так поспешно сделал предложение.

Я попросил руки Клары, в сущности совсем не зная ее; поначалу, видя, как она сдержанна и холодна со мною, я приписывал это тому, что между нами еще не возникла душевная близость. Но теперь, когда после помолвки прошло уже три месяца и все это время я ежедневно проводил по нескольку часов в обществе Клары, ее неизменное равнодушие и бесстрастие начали пугать меня. «Как смогу я, — не раз думал я в эти томительные вечера, исчерпав все попытки поддержать обычную беседу, не говоря уже о попытках установить хотя бы малейшую близость между нами, — как смогу я провести всю жизнь рядом с этой неподвижной, холодной и бесстрастной женщиной?» Меня мучило раскаяние в собственной опрометчивости; и как часто случается в подоб-

ных обстоятельствах, ступив однажды на стезю сомнений, я довольно скоро погрузился в самое глубокое и беспросветное уныние, ибо я ни в чем не знаю середины и необыкновенно легко перехожу от бурной радости к безнадежной скорби. Общение с Кларой, с которой мне не о чем было говорить и которая, со своей стороны, тоже ничего мне не говорила, приводило меня в полное отчаяние. И когда я оставался один в своей комнате, в пансионе, мне под влиянием жгучего сожаления порою хотелось разбить голову о стену. «Теперь все кончено, — думал я и при этом ломал руки, рвал на себе волосы. — Я сам себя навеки замуровал... я уже как будто умер и погребен... никогда больше не смогу я жить по-настоящему... никогда больше и сам не буду никого любить, да и меня никто не полюбит». Окажись на моем месте другой человек, более волевой и решительный, он нашел бы выход из положения: придумал бы какой-нибудь предлог для отказа от помолвки или же порвал бы с Кларой безо всякого предлога, открыв ей свои истинные чувства. Но я человек безвольный, и мне свойственна почти болезненная нерешительность; поэтому поступить таким образом я был не в силах; и хотя с каждым днем во мне росло сознание необходимости расстаться с Кларой, я не находил в себе мужества заговорить об этом с нею или с ее матушкой. С тревогой я понимал, что так никогда и не обрету этого мужества, и если не произойдет какое-либо чудо — все кончится тем, что я женюсь на Кларе.

Между тем вместе с сожалением во мне росла неприязнь к моей невесте; а вернее сказать, досада и ожесточенное желание как-нибудь расшевелить ее и вывести из равновесия. Часто я спрашивал себя, из чего же она — из плоти или из камня? И на протяжении всех этих долгих, казавшихся мне нескончаемыми вечеров меня не раз охватывало безумное стремление громко крикнуть, грубо выругаться, что-нибудь сломать или ударить Клару, с тем чтобы увидеть, как она под влиянием отвращения, изумления или негодования станет походить на живого человека. Как я уже говорил, больше всего меня приводило в отчаяние то, что я не испытывал к ней даже тени плотского желания; и как я ни прищипывал свою фантазию, мне так и не удавалось представить себе, какова она без своих строгих, дурно сидящих на ней платьев. Есть ли у нее грудь с двумя сосками, как у всех женщин? Какой у нее живот? Какие ноги? Теп-

лая ли у нее кожа, перекатываются ли под этой кожей мускулы и бежит ли под нею горячая кровь, или ее кожа походит на окаменевший пергамент, как у мумии? Все эти и подобные вопросы терзали мой ум, пока я ерзал на жестком диване, изо всех сил пытаюсь поддержать угасающий огонек нашей вялой беседы. И быть может оттого, что я столько времени проводил рядом с Кларой, мне порою начинало казаться, будто и сам я уже не такой, как все остальные люди, будто я перестал быть существом из костей и плоти, а превратился в некий призрак, которого раздирают противоречивые чувства, призрак, неспособный вновь стать человеком с обычным лицом и телом. Это ощущение ирреальности нередко заставляло меня сильно страдать, мне порою чудилось, будто меня окутывает плотная пелена фальши, которую уже никогда не сбросить, и никакой надежды на избавление нет.

И вот однажды вечером, когда я в самом дурном настроении брел по улице, где была расположена вилла Клары, — а стояла она на пересечении этой улицы с поперечной, — я вдруг отчетливо услышал сквозь шум дождя негромкий, но упорный рокот воды, что, казалось, бежала где-то под землю. Я сделал шаг вперед, и звук струящейся воды стал слышен еще яснее, а когда я прошел чуть дальше, он сделался столь явственным, как будто вода журчала прямо у меня под ногами. Охваченный сомнением, не видя поблизости ни фонтана, ни водостока, я повернул вспять и вновь услышал тот же шум бегущей воды. Теперь я находился против наружной стены виллы, тут шум воды был слышен сильнее, он, казалось, звучал особенно громко; чуть подальше рокот этот затихал, а затем и вовсе прекращался.

И тогда я впервые обратил внимание на то, что вилла выходит на улицу не только двумя рядами окон первого и второго этажа, но также и пятью узкими серповидными отдушинами, пробитыми над самой землей: именно сквозь эти отверстия свет, судя по всему, проникал в подвал дома. Я зажег карманный фонарик, стал пристально разглядывать отдушины и обнаружил, что они окружены плохо побеленной невысокой каменной оградой, — это свидетельствовало о том, что подвал довольно глубок и свет, должно быть, проникал туда, падая вертикально между каменной этой оградой и наружной стеной виллы: приблизительно так свет попадает в узкие

тюремные оконца, которые кое-где называют «волчья пасть». Шум воды яснее всего доносился из третьей отдушины, находившейся как раз посредине; по обе стороны от этого отверстия он слышался слабее, но все же его еще можно было различить даже на углу улицы. Я погасил фонарик и со все возрастающим раздражением некоторое время еще вслушивался в этот монотонный шум, который, казалось, гулко перекатывался под широкими промерзшими сводами подвала; темнота сгущалась, дождь усиливался, и я поспешил на виллу со своим обычным вечерним визитом.

Я застал мать Клары на ее постоянном месте — в комнате, расположенной в самом конце коридора; она сидела, склонившись над широкой простынею, которая негнушимися складками ниспадала на ее колени, а оттуда сползала на пол. Она вышивала большую монограмму и, не поднимая головы, сказала мне довольным тоном, от которого меня бросило в дрожь, что это — простыня для брачного ложа. Я нагнулся, пощупал простыню, и вдруг мне показалось совершенно невыносимым, что это полотно вскоре будет лежать под нашими — моим и Клары — сплетенными в объятии телами. Вскоре, стараясь держаться прямо, но слегка покачиваясь на высоких каблуках, упрятав нос в платочек и опустив глаза долу, появилась моя невеста. Ее неторопливая походка, говорившая о том, что она никуда не спешит, ибо уверена, что я никуда не денусь, и этот вечный платочек у носа привели меня в сильное раздражение. Однако я и виду не подал, а Клара спокойно опустилась на диван рядом со мною. Ее мать, как всегда, сидела к нам спиной, словно подчеркивая этим, что она за нами не наблюдает; но как раз перед нею, на столике, стояло большое зеркало, и она могла, когда ей заблагорассудится, следить за каждым нашим движением.

Я почувствовал гнев и тревогу и колебался между желанием добиться большей близости с Кларой и желанием тотчас же разорвать помолвку. После нескольких ничего не значащих фраз я сжал руку девушки в своей и одновременно попытался погладить ее другой моей рукою. Сперва Клара не противилась, но оставалась все такой же сдержанной и невозмутимой; потом со своей обычной медлительностью неторопливо высвободила свою руку и убрала ее; при этом она даже не взглянула

на меня, не сделала ни малейшего движения, но своим молчанием и равнодушием дала мне понять, до какой степени она не одобряет моего поступка. Столь явное недоброжелательство вновь привело меня в ярость, и я свистящим шепотом спросил у нее:

— Ведь мы жених и невеста... отчего же ты не позволяешь мне даже погладить твою руку?

— Дело вовсе не в том, — ответила она, — просто у тебя ужасно холодные руки.

То была явная ложь; я постоянно пребывал в лихорадочном возбуждении, и потому руки у меня всегда были очень горячие. Этот ее ответ окончательно убедил меня в том, о чем я уже и прежде догадывался по многим признакам: никогда я не смогу добиться настоящей душевной и физической близости с Кларой, она вечно будет находить способ держать меня на расстоянии.

— Но когда мы поженимся, — вновь спросил я вполголоса, — тогда-то я хоть смогу пожимать и гладить твои руки?

Она поднесла платочек к самому носу и промолвила:

— Поговорим лучше о чем-нибудь другом, хорошо?

Наступило короткое молчание; мать Клары сделала резкое движение, простыня зашуршала; и тут я, движимый навязчивым желанием растормошить и разбудить свою невесту, проговорил:

— Твоя мама сказала мне, что это — простыня для нашего брачного ложа... Ты бы хоть об этом подумала.

Клара, должно быть, решила, что я тронулся в уме: мой шипящий голос и мое искаженное лицо, нависавшее над ее плечом, могли только утвердить ее в этой мысли. Затем она медленно-медленно нагнулась и приподняла край простыни, спросив при этом у матери:

— Мама, тебе еще много осталось?

— Уже почти закончила, — ответила та, не поворачивая головы.

Итак, Клара даже не удостоила меня ответом! Я подумал обо всех тех случаях, когда она и в будущем станет прибегать к этой тактике умолчания, и от гнева с такой силой стиснул зубы, что они громко заскрипели. Дождь между тем все стучал и стучал о ставни, и я внезапно вспомнил о шуме воды в подвале, который услышал незадолго до того, как вошел в дом.

— Кстати, отчего так шумит вода у вас в подва-

ле? — спросил я. — Слышно даже, когда проходишь мимо ваших окон.

Клара с недоумением воззрилась на меня. Я повторил свой вопрос, точно описав место и характер шума.

— А, это, должно быть, шумит вода в чане для стирки белья, — ответила она спокойно.

— Нет, вода бурлила слишком громко, — настаивал я, — падая в чан, она не может производить такой сильный шум.

— Чан у нас очень большой, — ответила девушка, — он занимает чуть ли не половину подвала... да и кран там приделан очень высоко.

Я снова подумал о том, что надо отказаться от помолвки. Но здесь, в присутствии матери моей невесты, я не решался заговорить об этом. И мне вдруг пришло в голову, что в каком-нибудь другом месте, например в подвале, я наконец обрету мужество, которого мне не доставало.

— Знаешь, — сказал я с озабоченным видом, — думаю, тут дело не в кране... слишком уж сильно шумела вода. Скорее там какая-нибудь поломка... должно быть, лопнула труба... и ваш подвал может затопить.

— Поломка, — медленно протянула Клара, — почему ты думаешь, что там произошла поломка?

Теперь у меня был нужный предлог. Встревоженная мать Клары отложила свою работу, обернулась и посмотрела на меня в некоторой растерянности. Я повторил свои доводы с необычайным жаром, сам удивляясь тому, откуда у меня появилось такое красноречие. На самом деле я изо всех сил старался осуществить свою бредовую мысль. «Там, в подвале, — думал я, — мне удастся произнести слова, которые я никак не могу произнести на втором этаже!» Однако Клару я, казалось, не убедил, и она молчала. В конце концов на помощь мне пришла мать, она велела дочери прислушаться к моим словам.

— Послушай, — сказал я с удовлетворением, поспешно вставая с дивана, — не хочешь же ты, чтобы из-за этого ливня и в самом деле произошла какая-либо авария... шум воды действительно был очень громкий.

Клара ничего не ответила, поднялась и пошла впереди меня по коридору. Она медленно двигалась в привычной полутьме их дома, слегка покачиваясь на ходу,

прямая как жердь, а я плелся за нею по пятам сначала до конца коридора, а затем — вниз по лестнице. Как только мы оказались на лестнице, я попытался заговорить с Кларой. Я твердил себе, что наконец-то мы остались вдвоем и что второго такого случая, пожалуй, больше не представится. Однако достаточно было мне взглянуть на свою невесту, и я почувствовал, что слова замирают у меня на губах.

— Клара... — с трудом выговорил я, когда мы уже шли по второму лестничному маршу.

— Что ты хочешь? — спросила она, не оборачиваясь и не снимая руки с окованных медью перил.

Я шел за нею следом, совсем вплотную, почти упираясь носом в ее нежную и вместе с тем крепкую шею, и вдруг мне безумно захотелось стиснуть эту белую шею и заставить Клару замолчать навсегда: ведь она столько раз намеренно хранила оскорбительное для меня молчание! Но я не поддался столь мрачному соблазну.

— Давно ли построена ваша вилла? — спросил я.

— Лет пятьдесят тому назад, — ответила девушка.

— Оно и видно, — откликнулся я, с видом знатока проводя рукой по стене.

В прихожей Клара отперла маленькую дверь, скрытую листьями пальмы, и показалась короткая лестница с массивными ступеньками, как будто высеченная в толще стены. Клара зажгла фонарь с красным стеклом и стала спускаться впереди меня по ступенькам. Узкая лестница была такая крутая, что голова моей невесты покачивалась почти на уровне моего живота; и опять я не решился заговорить, но зато меня вновь охватило ужасное искушение наброситься на Клару и разом закончить с нею в этом узком и тесном как склеп помещении.

И вот мы наконец в подвале. Уже с лестничной площадки я увидел низкое помещение с несколькими прямоугольными столбами, подпиравшими своды. Подвал был пуст; на влажном цементном полу вытягивались едва заметные тени от этих столбов; под мрачными сводами раздавался рокот воды, который и привлек мое внимание еще на улице. Этот ровный и жалобный шум тут, в подвале, звучал особенно зловеще.

— Это наш подвал, — спокойно сказала Клара, оставившаяся и глядя вниз.

Я молча спустился по последним ступенькам и пошел к тому месту, откуда доносился шум. Клара двинулась следом за мною. Миновав ряд столбов, я увидел огромный чан, о котором говорила моя невеста. Он был именно такой, каким она его описывала: очень широкий и длинный, занимавший чуть ли не половину подвального помещения. Чан был вделан в цементный пол и почти не выступал над его поверхностью, и мне вдруг пришло в голову, что он похож на бассейн для гиппопотама в зоологическом саду: такая же черная вода, из которой, мнилось, вот-вот появится лоснящаяся спина толстокожего чудовища, то же самое впечатление опасной глубины... По одну сторону чана виднелась скамеечка из темного гранита, и при взгляде на нее воображение рисовало фигуру стоящей на коленях прачки, которая полощет белье в этом темном водоеме. Что же до шума воды, то все дело было в железном кране — он и вправду был врезан в стену на большой высоте. Надо признаться, вода струилась не так уж обильно, и производимый ею громкий шум объяснялся тем, что падала она в чан с высоты, а также эхом, которое рождали холодные своды подвала...

— Вот и чан... Теперь ты успокоишься? — спросила Клара.

Я ничего не ответил, но, почти не отдавая себе в этом отчета, обнял ее за талию. И с изумлением ощутил под рукою не гибкий девичий стан, а что-то жесткое, твердое и шероховатое: на ней был, видимо, корсет или гипсовая повязка. Клара, слегка повернув ко мне голову, спросила: «Что это на тебя нашло?» И тут же, как всегда медленно и невозмутимо, попыталась высвободиться: она была уверена, что стоит ей притронуться ко мне рукой, и я тотчас же выпущу ее из объятий. Однако я еще сильнее прижал Клару к себе и, не говоря ни слова, схватил ее другой рукою за волосы, стараясь пригнуть ее голову так, чтобы наши губы встретились. Они и в самом деле встретились, но только упрямец так сильно сжимала рот, что я ощутил под своими губами лишь два холодных и твердых мясистых валика. Упорство девушки привело меня в дикую ярость. Я уже хотел крикнуть: «Помолвка разорвана... мы больше никогда не увидимся», но вместо этого неожиданно для самого себя с силой оттолкнул это неподвижное, будто деревянное тело. Клара упала навзничь, зацепилась за край

чана и издала легкий крик, который только усилил мою ненависть к ней: несмотря на владевший ею страх, крик этот был исполнен умеренности и, как мне показалось, самодовольства; затем послышался глухой и сильный удар — это она стукнулась головой о гранитную скамеечку. И тут же я увидел, как Клара боком погрузилась в темную, даже не вспенившуюся воду, и почти тут же на поверхности показались одна ее ладонь и щека, чуть блеснувшие в полумраке. Я кинулся в чан и, скользя по мыльному дну, с трудом вытащил девушку из воды и понес ее к лестнице. Она, видимо, была в обмороке; проходя с ее бесчувственным телом под низкими сводами, в царившем вокруг полумраке, я внезапно с такой силой ощутил вкус преступления, что меня вновь охватил сильный соблазн повторить, теперь уже сознательно, свое первое, почти инстинктивное движение и опять бросить Клару в чан, из которого я ее только что вытащил. То было ощущение одновременно неистовое и сладостное, походившее на неодолимую жажду обладания женщиной. А быть может, это и была любовь, а вернее, та чудовищная страсть, которая родилась во мне из-за холодного равнодушия моей невесты; да, то была любовь, обернувшаяся ненавистью, когда человек готов пойти даже на преступление, лишь бы удовлетворить свое желание.

Клара пришла в себя той же ночью, уже в постели, и сразу же избавила меня от постыдного страха, сказав со своей обычной интонацией, что она случайно поскользнулась в подвале. Когда девушка очнулась, ее мать немного успокоилась после первоначальной тревоги и, уловив минуту, упрекнула меня за неуместную настойчивость, приведшую к столь роковым последствиям. Я тоже испытал минутное облегчение, но теперь мысль о скорой свадьбе ужасала меня едва ли не больше, чем мысль о том, что я чуть было не совершил непредумышленное убийство. Сжимая в своих руках руку Клары, которую она, как бы подтверждая мои опасения, теперь больше не отнимала, я с тоской говорил себе, что жизнь моя кончена.

Я был в таком отчаянии от мысли о близкой женитьбе, что когда день спустя состояние Клары вопреки ожиданиям вдруг резко ухудшилось и у нее началась агония, я вторично испытал какое-то постыдное облегчение. Те два дня, пока Клара была еще жива, я сидел у изголо-

вья умирающей вместе с ее матерью и сестрою, приехавшей из провинции. И часто, испытующе глядя на неподвижное лицо моей невесты, я спрашивал себя, о чем она сейчас думает, и всякий раз, как и прежде, приходил в иступление, и мне вновь хотелось заставить ее заговорить; однако, как и раньше, невозмутимость Клары, которую, казалось, не могла поколебать даже близкая смерть, точно замораживала меня. Достаточно было мне уловить взгляд, которым она молча просила у матери подать ей питье, и я отчетливо понимал, что Клара и в самом деле ни в чем не переменилась. Возможно, попроси я у нее прощения, как мне того иногда хотелось, она и теперь, умирая, сделала бы вид, будто не слышит меня, или же уклонилась бы от прямого ответа. Именно эти соображения заставляли меня до самой последней минуты испытывать острую неприязнь к моей несчастной невесте.

Она умерла, как жила: достойно и бесстрашно. Казалось, сама смерть и та не могла изменить выражение ее лица, по-прежнему холодное и неприступное.

В день похорон Клары впервые не было дождя; а еще через день установилась вполне сносная погода, сырая, но мягкая: серенькое небо, казалось, устало изливать потоки воды на землю. Я вышел немного пройтись возле дома и с огромным удивлением, почти с растерянностью вдруг обнаружил, что при мысли о своей умершей невесте испытываю только одно — чувство невыразимого облегчения: так или иначе, а жениться мне не пришлось.

И внезапно я подумал о том, какое великое счастье — жить; впервые за долгие месяцы я вновь ощутил сокровенный аромат жизни, сотканый из светлой грусти, надежды и чувства избавления.

Мать Клары искала встречи со мной, должно быть для того, чтобы вместе оплакивать смерть дочери. Но, сославшись на то, будто горе не позволяет мне предаваться столь печальным воспоминаниям, я сумел уклониться от этого. И все же Клара заняла место в моем сердце; да и как могло быть иначе?.. Что же до шума воды, то я совершенно избавился от этого наваждения. И теперь, когда в дождливые дни до моего слуха доносятся говор фонтана или журчанье ручья, я не обращаю на это никакого внимания... Так вот я и живу, малопомалу забывая все пережитое.



КОНЕЦ ОДНОЙ СВЯЗИ

анным ноябрьским вечером Лоренцо, богатый и праздный юноша, быстро ехал в автомобиле к себе домой: он знал, что там его уже добрых полчаса ждет любовница. Погода внезапно испортилась, пошел надоедливый дождь, то затихавший, то начинавшийся вновь, поднялся неприятный резкий ветер — куда бы ни поворачивала машина, ветер каким-то образом умудрялся дуть прямо в лицо, и это приводило Лоренцо в ярость; впрочем, дело было не только в дурной погоде: вот уже много месяцев его терзала жестокая бессонница, ночью он спал всего несколько часов, затем просыпался и уже не смыкал глаз до самой зари; и все это время Лоренцо не мог избавиться от беспричинной тревоги, гнетущего страха и чувства полной безысходности.

— Пора покончить со всем этим, — то и дело бормотал он, ведя машину по городским улицам.

В тот день малейший пустяк причинял ему острую, почти нестерпимую боль, такую, что хотелось кричать: то вдруг стеклоочистители переставали ходить вверх и вниз по мокрому стеклу, то под его лихорадочно напряженной рукой вдруг застревал рычаг коробки скоростей, то громко и назойливо гудели напиравшие сзади автомобили.

Да, пора покончить... Но, собственно, с чем? Именно на этот-то вопрос Лоренцо и не мог бы ответить. Всякий раз, пытаясь отыскать причину своих страданий и мысленно обозревая собственную жизнь, он вновь и вновь убеждался, что ни в чем не испытывает недостатка и ничего не хотел бы изменить в ней, что у него есть все, чего он желает, и даже больше того.

Разве он не богат? Разве не пользуется своим богатством, как ему заблагорассудится?

Дом, автомобиль, путешествия, модная одежда, развлечения, карточная игра, отдых на море, избранное общество, любовницы... Порою с досадой, но не без тщеславного удовольствия он перебирал в уме все, чем владеет, и каждый раз приходил к выводу, что источник его тягостного состояния следует искать в каком-то физиче-

ском недуге. Однако врачи, к которым он обращался с тайной надеждой в душе, сразу же разубеждали его, они в один голос твердили, что он здоров, абсолютно здоров, они не находили у него ни малейших признаков болезни. И вот так, безо всякой видимой причины, жизнь превратилась для Лоренцо в жестокую и неизбежную муку. Каждый вечер, укладываясь в постель на исходе пустого, унылого дня, он клялся самому себе, что «уж завтра непременно избавится от этой пытки». Однако наутро, когда он пробуждался после тяжелого, не приносившего бодрости сна, ему достаточно было лишь приоткрыть глаза, и он тут же понимал, что вновь наступивший день будет мало чем отличаться от всех предшествующих. Ему достаточно было обвести взглядом свою спальню, в которой все предметы как будто хранили отпечаток его страданий, и он отчетливо сознавал, что и в этот день жизнь не покажется ему ни более ясной и обнадеживающей, ни более понятной и легкой, чем неделю или месяц назад. Тем не менее он вставал, облачался в халат, распахивал окно, бросал скучающий взгляд на улицу, уже залитую ярким светом позднего утра, затем, словно надеясь, что горячая и холодная вода смоет чары зловещего колдовства, подобно тому как она смывает пот и дурные ночные испарения, он запирался в ванной комнате и приступал к своему туалету. По мере того как усиливалась его необъяснимая тоска, он уделял этому занятию все больше времени и внимания. Целых два часа проходили так, в тщетных усилиях; в эти часы Лоренцо не раз хватался за зеркало и испытующе разглядывал свою физиономию, как будто надеялся, что выражение глаз или вновь появившаяся морщина помогут ему постичь истинные причины происшедшей в нем перемены.

«Ведь это мое всегдашнее лицо, — думал он с раздражением, — точно таким оно было и тогда, когда я чувствовал себя счастливым, то же лицо, что нравилось женщинам, которых я любил, то самое, что улыбалось или становилось печальным, выражало ненависть, зависть, желание, — словом, жило своей напряженной жизнью; а вот теперь, бог знает почему, все для меня, видимо, кончено». Однако, несмотря на то, что Лоренцо и сам с горечью понимал, как бессмысленно убивать столько времени на уход за собственным телом, а быть может именно потому, что это занятие было простым, почти механическим и не требовало никакой работы ума, эти два

часа были единственной порою дня, когда ему удалось не думать о своих терзаниях и об отчаянном своем положении. Впрочем, он хорошо сознавал это («еще одно доказательство, — иной раз рассуждал он, — что я теперь всего лишь тело без души, жалкое животное, которое только и делает, что лижет свою шерсть») и намеренно затягивал утренний туалет. Однако раньше или позже все же приходилось покидать ванную комнату. Только тогда для него, собственно, и начинался день, а вместе с тем — жестокая пытка.

Квартира Лоренцо находилась в первом этаже нового особняка, стоявшего в самом конце не совсем еще застроенной улицы: она брала свое начало от пригородного проспекта и уже через несколько домов упиралась в пустырь. Кроме особняка, где жил Лоренцо, все дома на этой узкой улочке были еще не заселены либо вообще только строились; улица пока даже не была замощена, и вместо мостовой на ней лежала утоптанная грязь, пересеченная глубокими затвердевшими колеями, — их проложили грузовики, которые подвозили к строительным площадкам песок и камень; дорогу освещали всего два фонаря, они возвышались в самом ее начале, поэтому в тот вечер Лоренцо, обогнув громадную, никогда не высыхающую лужу, мешавшую проезду, и различив в самом конце мокрой и чуть поблескивавшей темной улицы огонек, горевший приблизительно там, где находилась его спальня, понял, что, как он и предполагал, любовница уже пришла и ждет его. Едва лишь он подумал об этом, как в нем вспыхнуло сильное и необъяснимое раздражение против этой женщины, хотя она ни в чем не была виновата и пришла на свидание, которое он сам же ей назначил; и одновременно у Лоренцо появилось предчувствие, что вскоре произойдет нечто такое, что будет иметь самые серьезные последствия. Им овладело бешенство, в голове у него зашумело; он изо всех сил стиснул зубы, остановил машину возле подъезда, резко захлопнул дверцу и вошел в дом.

На стоявшем в пустой передней желтом мраморном столике, в стиле Людовика Пятнадцатого, рядом с коротким зонтом и дамской сумочкой лежал какой-то странный сверток, ошетинившийся острыми углами. Лоренцо из любопытства развернул бумагу, в которую был упакован сверток, и увидел игрушечный паровозик из жести: перед тем как отправиться на свидание, его лю-

бовница, которая уже восемь лет была замужем и имела двоих детей, как хорошая мать, купила эту игрушку, чтобы вечером, когда, усталая и томная, она возвратится домой, к ужину, вручить ее своим малышам. Юноша снова завернул паровозик в бумагу, повесил непромокаемый плащ и шляпу и направился прямо в спальню.

С первого же взгляда он заметил, что молодая женщина, желая скоротать время ожидания, приготовилась сама и все приготовила так, чтобы он, вернувшись домой холодным и дождливым вечером, сразу же почувствовал себя покойно и уютно. В спальне горела только одна лампа возле изголовья, его возлюбленная укутала ее в свою рубашку из розового шелка, чтобы свет был теплее и мягче; на столике стояли чайник и чашки; шелковый халат Лоренцо был аккуратно разложен на кресле, а его бархатные домашние туфли стояли тут же, под креслом: казалось, и халат и туфли ждут только знака, чтобы облечь его тело и обуть ноги, — так заботливо и тщательно они были приготовлены и размещены. Дурное расположение духа, в которое Лоренцо привели эти почти супружеские знаки внимания, усилилось еще больше, когда он увидел, что молодая женщина, желая встретить своего возлюбленного достойным образом, вздумала облачиться в его ночную пижаму. Она лежала в постели поверх красивого желтого покрывала, и небрежно надетая, плохо застегнутая пижама в широких синих полосах, слишком тесная для ее полных круглых бедер и чересчур пышной груди, вынуждала ее лежать в неудобной, малопристойной позе, что составляло неприятный контраст с ее длинными черными волосами и мягким, чуть апатичным выражением лица. Все это Лоренцо заметил сразу, обведя комнату быстрым недобрим взглядом. Затем, не проронив ни слова, он сел поверх покрывала на постель.

Некоторое время оба молчали.

— Дождь все еще льет? — спросила наконец молодая женщина, безмятежно глядя на юношу с присущим ей ленивым любопытством.

При этом она свернулась калачиком, словно смутно почувствовала жестокость, притаившуюся в неподвижных застывших глазах Лоренцо.

— Все льет, — ответил он.

Вновь наступило молчание; она задала еще три или четыре вопроса, он отвечал ей отрывисто и резко.

— Да что с тобой? — спросила она, придвигаясь к краю постели и прижимаясь к Лоренцо. — Что-нибудь случилось? — вновь спросила она, и в ее красивых, но маловыразительных черных глазах промелькнула легкая тревога.

Теперь, когда она была совсем рядом, трепещущая и взволнованная, но даже не подозревавшая о его душевных страданиях, Лоренцо почувствовал, что не в силах произнести ни звука: горло его болезненно сжал мучительный спазм, он словно бы онемел.

«Быть может, все дело в этой проклятой пижаме, которую ей взбрело в голову натянуть на себя?» — подумал он. И ответив, что с ним ничего не случилось, он принялся поспешно и неловко стаскивать с нее пижамную куртку в широких синих полосах.

Решив, что юноша хочет раздеть ее, чтобы удобнее было ласкать, и весьма довольная тем, что можно приписать тревожившее ее молчание Лоренцо охватившему его сильному желанию, молодая женщина торопливо сбросила пижаму и, теперь уже совсем голая, улеглась в постели в той же позе пассивного ожидания, в какой Лоренцо застал ее, войдя в комнату. По-прежнему не произнося ни слова, он уселся рядом с любовницей и начал ласкать ее со своим обычным отсутствующим и озабоченным видом, почти не глядя на женщину, как будто думал о чем-то постороннем. Он рассеянно погружал пальцы в ее черные волосы, спутывая их и тут же вновь приводя в порядок, а в это время раскрытая ладонь другой его руки осторожно скользила то по ее обнаженной груди, словно он хотел ощутить спокойное дыхание, размеренно приподнимавшее ее, то по животу, словно ему хотелось обнаружить под этим плотным белым покровом биение страсти; на самом же деле ему казалось, что он прикасается к чему-то неодушевленному, к манекену; и продолжая ласкать молодую женщину, он ясно сознавал, что не только не испытывает любви к этому красивому телу, но даже не ощущает ни блаженного отдыха, ни желания; и такая непреодолимая отчужденность болезненно усиливалась в нем из-за тревожных и вопрошающих взглядов, которые то и дело бросала на него любовница, — так обычно смотрит на врача больной, лежащий на узкой железной койке. Потом Лоренцо вдруг вспомнил, с какой холодной и равнодушной брезгли-

востью его кот, всякий раз, когда ему уже больше не хочется есть, отворачивает морду от предлагаемой пищи.

— Зверь насытился! — воскликнул он с торжеством и с иронией. — И больше не хочет!

— Какой зверь, Ренцо? — с тревогой спросила молодая женщина. — О чем ты?

Лоренцо ничего не ответил на этот вопрос, он только посмотрел на нее еще острее и жестче из-за нестерпимой муки, что поднялась со дна его души; затем глаза его остановились на руке молодой женщины — движением, полным истомы и волнения, как будто инстинктивно ища защиты, она прикрыла ею свою грудь. Рука у нее была довольно красивая, только, пожалуй, чуть крупная, не слишком полная и не слишком жилистая, белая и гладкая, а на безымянном пальце блестело золотое обручальное кольцо, широкое и массивное.

Некоторое время Лоренцо молча смотрел на кольцо, смотрел на цветущее обнаженное тело женщины, лежавшей в неловкой напряженной позе поверх желтого покрывала, потом внезапно вся злоба, скопившаяся в тайниках его сознания за эти последние столь тягостные месяцы, разом прорвала слабую плотину воли и затопила все его существо.

— Что это у тебя за кольцо? — спросил он любовницу.

В замешательстве она опустила глаза на свою руку, прикрывавшую грудь.

— И о чем ты только думаешь, Ренцо? — спросила она с улыбкой. — Разве не видишь, что это обручальное кольцо?

Опять наступило короткое молчание; Лоренцо тщетно пытался подавить странное и жестокое чувство, охватившее его. Потом вдруг спросил, понизив голос:

— И тебе не стыдно? Скажи, и тебе не стыдно так вот лежать голой на моей постели, тебе, замужней женщине, матери двоих детей?

Скажи он ей, что уже рассвело и показалось солнце, это поразило бы ее не больше. С боязливым и горестным изумлением молодая женщина приподнялась, села на постели и взглянула на юношу.

— Что ты хочешь этим сказать? — спросила она.

Чувствуя, что теперь он и в самом деле больше не в силах сдерживаться, Лоренцо только яростно помотал головой и ничего не ответил.

Немного погодя он вновь принялся повторять:

— И тебе не стыдно? Ты никогда не спрашивала себя, что подумали бы твой муж и дети, если бы увидели тебя здесь, на моей постели, совершенно голой, и если бы они могли понаблюдать за тобой, когда мы сплетаемся в объятии и краска заливает твое возбужденное лицо, если бы они видели, как ты извиваешься всем телом и какие позы принимаешь? Что бы они подумали, услышав слова, которые ты при этом иногда произносишь?

Казалось, молодая женщина испытывает скорее не стыд, о котором говорил Лоренцо, а чувство страха. Она поджала под себя ноги, приподнялась и села в постели, при этом движении длинные черные волосы вновь упали ей на грудь и рассыпались по плечам; затем, преодолевая смущение, она растерянно и умоляюще приложила свою нежную руку к щеке юноши.

— Да что это с тобой? — снова спросила она. — Почему ты задаешь мне такие вопросы? Что-нибудь случилось?

— Случилось! — ответил Лоренцо, резким движением головы сбрасывая ее руку.

Ничего не понимая, совсем растерявшись, молодая женщина ненадолго умолкла, внимательно глядя на него.

— Но я же тебя люблю, — проговорила она, поняв, как ей казалось, истинную причину его раздражения. — Может, ты думаешь, что я не люблю тебя?

Ее искренность была очевидна; но при этих словах Лоренцо почувствовал, что он совершенно не способен изъясняться без фальши на расплывчатом и туманном языке любви, и это еще больше углубило пропасть, уже возникшую между ними. Он долго с искаженным лицом смотрел на нее, не шевелясь и не говоря ни слова. «Самое скверное, что я-то тебя не люблю», — хотелось ему ответить. Но вместо этого он встал и принялся ходить взад и вперед по комнате, погруженной в полумрак. Время от времени он бросал быстрый взгляд на молодую женщину, лежавшую на постели, и всякий раз, когда его глаза останавливались на ней, он замечал, что она испуганно меняет позу: то прикрывает лоно, то встряхивает волосами, то кладет руку на свои тяжелые бедра и при этом неотрывно и боязливо следит за тем, как он молча меряет большими шагами спальню.

«И она меня любит, — думал он между тем. — Как

смеет она говорить, будто любит меня, если она даже отдаленно не представляет себе, каково мне сейчас и что со мною происходит!»

От горького чувства у него пересохло в горле, он резко остановился возле позолоченного шкафчика, выдержанного в том же вычурном стиле, в каком была выдержана вся мебель в комнате, открыл его, достал оттуда бутылку и налил себе стакан содовой воды. Он уже поднес было стакан ко рту и приготовился выпить, но тут молодая женщина добродушно проговорила мягким и немного вульгарным тоном:

— Ренцо! Скажи правду: кто-то дурно говорил обо мне и ты ему поверил? Скажи правду, Ренцо, ведь так?

Услышав эти слова, он поставил стакан, который перед тем поднес к губам, и долго-долго смотрел на любовницу; увидя ее растерянное и умоляющее лицо, спутанные волосы, беспомощно рассыпавшиеся по груди и плечам, всю ее белокожую и полную красивую фигуру, скорчившуюся на постели, он вдруг понял, что она не могла бы яснее дать ему почувствовать всю свою душевную слепоту и полное непонимание того, что происходит. Ничего ей не ответив, он выпил содовую воду и поставил пустой стакан на шкафчик.

— Одевайся, — сказал он отрывисто. — Лучше будет, если ты оденешься и уйдешь отсюда.

— До чего же ты злой, — проговорила молодая женщина присущим ей ленивым и рассудительным тоном, и в ее словах прозвучала уверенность в том, что поведение Лоренцо вызвано дурным настроением, которое, конечно же, скоро пройдет. — До чего ж ты злой и несправедливый! Я и сама думаю, что мне лучше уйти.

Отбросив волосы за спину уверенным и привычным движением, она слезла с кровати и уже собралась направиться к креслу, на котором была сложена ее одежда. В ее словах и в поведении не было ничего, кроме невозмутимого, почти животного спокойствия, которое вообще было ей свойственно. Однако раздраженному Лоренцо почудилось, будто в них таится дерзкая и презрительная ирония; и он вдруг почувствовал недоброе желание унижить и наказать ее. Он быстро подошел к креслу, где лежала одежда молодой женщины, схватил в охапку все ее вещи и, медленно кружа по комнате, стараясь отыскать самые укромные и труднодоступные уголки, стал швырять на пол одну вещь за другой.

«Чтобы собрать их, ей придется немало повозиться», — со злорадством подумал Лоренцо; ему казалось, что для его любовницы, вставшей с постели совершенно нагой, не может быть ничего унизительнее и постыднее, чем эти смехотворные и трудные поиски разбросанной одежды.

— А теперь подбирай все это! — крикнул он, поворачиваясь к постели.

Донельза пораженная, но по-прежнему сохраняя спокойствие и теперь решив, что она до конца поняла истинные мотивы раздражения Лоренцо, молодая женщина несколько мгновений смотрела на него, не произнося ни звука. Потом сказала:

— Да ты просто спятил.

И выразительно покрутила пальцем у виска.

— Нет, я не спятил, — ответил Лоренцо.

Он подошел к лампе возле изголовья постели, сорвал розовую рубашку, в которую была укутана лампочка, и забросил рубашку под кровать.

Взоры любовников скрестились. Затем молодая женщина равнодушно пожала плечами, слезла с постели и, нагибаясь в разные стороны, безо всякого стыда начала кружить по комнате, подбирая с пола вещи, которые разбросал Лоренцо. Глубоко уйдя в кресло, юноша внимательно провожал ее глазами; он видел, как ее светлая и легкая фигура кружит по полутемной комнате: женщина то пригибала голову так низко, что ее ягодицы приподнимались, то проворно опускалась на корточки, почти касаясь носом пола, причем ее волосы разлетались в разные стороны; в особенно неудобном месте она наклонялась набок, задирая ногу в воздух, а грудь ее при этом свисала; и Лоренцо внезапно подумал, что наказал-то он скорее не свою любовницу, а себя самого: в то время как она, судя по всему, не испытывала ни стыда, ни чувства унижения, а одну лишь досаду, в нем ее неловкие движения и позы, похожие на движения и позы неуклюжего животного, убивали не только желание, но и всякое чувство человеческой симпатии. Все потеряно, думал он с тоскою, теперь ему уже никогда не избавиться от владевшего им отвращения и разочарования; никогда больше не сможет он любить женщину, он уподобился теперь человеку, увязшему в зыбучем песке: малейшая его попытка возродить угасшую страсть приведет лишь к тому, что он еще глубже погрузится в трясину

холодной жестокости и уже привычного равнодушия. Он весь ушел в эти мысли, и ему почудилось, будто его любовницу уже окутала зловещая атмосфера разрыва; хотя она, стоя по другую сторону кровати, все еще неторопливо надевала на себя одну деталь туалета за другой, ему казалось, что на самом деле она теперь уже где-то далеко-далеко.

— До свидания, Ренцо, и мой тебе совет — полейся, — сказала она наконец твердо, но довольно добродушно уже с порога спальни.

Минуту спустя в передней раздался грохот захлопнувшейся двери, и только тогда Лоренцо, стяхнув горестное оцепенение, понял, что он остался один.

Он еще долго сидел не шевелясь, упорно созерцая желтое покрывало, на которое падал свет лампы: посреди покрывала была отчетливо видна впадина — она осталась от тела еще недавно лежавшей тут женщины. Наконец он встал, подошел к окну и распахнул его. Дождь кончился, и, высунувшись из окна теплой, душной комнаты и вобрав в себя свежий воздух зимнего вечера, он почувствовал, что его голова, прежде походившая на клетку, полную злобных гарпий, сразу же освободилась от них, но оставалась пустой и оскверненной. Лоренцо стоял неподвижно, и глаза его различали на темной, точно окутанной дымкой строительной площадке прямо под окнами его дома кучи мусора и отбросов, репейники и какие-то медлительные и осторожные тени — должно быть, то были голодные коты; до его ушей доносился с недалекого проспекта глухой шум, автомобильные гудки, скрежет трамвая, но мысль его спала, и ему чудилось, будто он существует только потому, что еще не утратил слуха и зрения.

«Вон те коты, как и я, даже, пожалуй, лучше меня слышат те же звуки и видят те же предметы, — думал он, глядя на белевшие в темноте кучи мусора и отбросов и на быстро и ловко скользившие по ним силуэты котов. — Так в чем же разница между мной, человеком, и этими котами?»

Вопрос этот вдруг показался ему абсурдным, но он тут же подумал, что дошел до такого состояния, когда абсурд и действительность так тесно переплетаются между собой, что их уже невозможно порою различить.

— Как я несчастен, — чуть слышно прошептал он,

все еще не отходя от подоконника. — Отчего, отчего я так несчастен?

И внезапно ему пришло в голову, что, пожалуй, лучше всего было бы покончить с жизнью, ставшей теперь столь пустой и непонятной, ему вдруг показалось, что совершить самоубийство необыкновенно легко, что он вполне созрел для этого: так созревший плод сам падает в протянутую руку. Однако помимо чувства презрения к акту, на который он всегда смотрел как на проявление малодушия, помимо смутного чувства долга, ему почудилось, что его удерживает от самоубийства странная в его нынешнем положении и неожиданная надежда.

«Ведь я теперь не живу, — внезапно подумал он, — мне просто все это снится; и этот кошмарный сон не может продолжаться так долго, чтобы я поверил: он — не кошмар, а реальность; в один прекрасный день я проснусь, и передо мной снова предстанет мир с солнцем и звездами, зелеными деревьями и синим небом, с женщинами и красотой; мне надо только потерпеть: пробуждение непременно наступит».

Между тем вечерний холод все больше пронизывал Лоренцо, в конце концов он почувствовал озноб, закрыл окно, опять подошел к креслу и опустился в него, не сводя глаз с пустой, освещенной лампой постели.



УСТАЛАЯ КУРТИЗАНКА

н плечом захлопнул дверь и, в упор глядя на любовницу, неторопливо прошел в комнату. По дороге сюда он старался представить себе Марию Терезу отцветшей, с отвисшей грудью, с дряблым от жира, трясущимся животом и полными, бесформенными бедрами. Словом, Марию Терезу на пороге старости, которую не жалко будет бросить теперь, когда у него не осталось денег, чтобы ее содержать. И пока он, засунув руки в пустые карманы, уныло бродил по улицам, этот окарикатуренный его злым воображением портрет увядающей любовницы придал ему решимости.

Но сейчас, расположившись в гостиной на удобном диване и держа любовницу на коленях, он понял, насколько картина, нарисованная им для того лишь, чтобы легче было расстаться с Марией Терезой, далека от истины. В один миг пропало отвращение к ее телу, которое он злорадно представлял себе вялым, бесформенным, а главное, пропала решимость хладнокровно с ней порвать. А ведь он все обдумал заранее: «Мария Тереза, я пришел тебе сказать...» Как и прежде, им и на этот раз овладело желание, он все смотрел и смотрел на ее лицо, строгое и тонкое, и видел, что ошибся... Не было в нем ни усталости, ни одутловатости. Мария Тереза обернула голову, словно тюрбаном, полотенцем, ее продолговатое лицо казалось схваченным слоем румян. Она только что приняла ванну и была в мокром махровом халате, таком же, какой накидывают на плечи уставшему боксеру после поединка... Ее безмятежное лицо светилось скрытым торжеством... Она явно не стыдилась своей наготы и не боялась произвести невыгодное впечатление. (Халат сполз с ее плеч, но она и не пыталась его поправить. Слегка наклонив голову, она закуривала сигарету, не подозревая о его жалких потугах мысленно представить ее себе молодящейся старухой.) Ее невозмутимое бесстыдство словно говорило — годы бессильны против тела, обожествленного стольким золотом и столькими обожателями. Она была так мало похожа на искусственно созданный им образ, что он почувствовал себя глубоко несчастным. «Я последний раз с нею», — невольно с горечью подумал он, жадно лаская ее покорное тело.

Хоть он сам себе в этом не признавался, он любил бы ее сильнее, куда сильнее, и в то же время с примесью жалости (ты состарилась, бедная моя Мария Тереза, но у тебя остался я), если бы ощущал под нервными руками кожу более морщинистую и дряблую. Тогда он всю свою любовь излил бы на несчастную женщину, которую не без отвращения держал бы на коленях и прижимал к груди. И верно, опавшая грудь, при каждом вздохе словно пытавшаяся обрести былую упругость, полные, мягкие ягодицы, давившие ему на колени, широкая, заплывшая жиром спина — все подтверждало, что для Марии Терезы лучшие дни миновали. Пришел конец твоей красоте и молодости, думал он, глядя на нее. Но стоило ему оторвать взгляд от ее расслабленно-

го тела, как он различал в полутьме суровое, чеканное лицо, оттененное яркими румянами.... Он не верил тогда своим глазам и снова испытывал глупую, ребяческую ярость при мысли, что придется отдать другим любовникам эту еще столь желанную женщину... Усталый, разочарованный, он несильно оттолкнул ее и сказал:

— Нам пора. Одевайся.

Она сразу поднялась и театральным жестом запахнула халат так, точно это была горностаевая мантия.

— Нет, не буду одеваться,— ответила она помедлив.— Сегодня мы ужинаем дома... И потом... потом... у меня для тебя новость. Она улыбалась и, казалось, заранее чему-то радовалась. Улыбка была смущенной, но и злорадной, словно она, опередив его, первая собиралась дать ему отставку. Он не удержался и спросил с беспокойством в голосе, что же такое с ней произошло. После некоторого колебания она ответила, что ждет крайне важного телефонного звонка.

«Всего-то», — облегченно подумал он, будто и в самом деле испугался, что любовница, которую он решил бросить, расстанется с ним первая.

А кто же тот человек, который должен ей позвонить, спросил он немного погодя. Один мужчина, когда-то он очень ее любил, опять не сразу ответила Мария Тереза. Когда? Много лет тому назад. И добавила, что встретились они вчера на улице случайно, узнали друг друга, вспомнили прежние времена. Она узнала, что он весьма разбогател, то ли получил наследство, то ли сам нажил деньги, она толком не поняла. Но он уже не слушал ее, вновь охваченный бессмысленной, черной ревностью. Значит, была другая Мария, думал он, молодая, стыдливая девушка, без этой усталой улыбки, без вечно распахнутого халата, и другие любили ее задолго до него!

Он вздрогнул, услышав, как захлопнулась дверь: Мария Тереза вышла из комнаты. Минут десять он просидел в полном оцепенении, десять минут нестерпимого, мучительного ожидания.

Наконец она вернулась, неся на подносе чай... Пока она расставляла на столе посуду и раскладывала печенье, он не проронил ни слова. Молчал, не сводя с нее глаз, и невольно улыбался, испытывая щемящую нежность от того, как старательно она все делала — уже не любовница, а заботливая хозяйка. Она спросила, сколь-

ко ему положить сахару, и ему вдруг ужасно захотелось его обнять. Но он только сказал в ответ:

— Два куска, дорогая, два куска.

Тепло крепкого, горячего чая растопило сковавший его холод. Он жевал поджаренные хлебцы и большими глотками пил чай, не отрывая взгляда от Марии Терезы, склонившейся над чайником, из которого валил пар... Он и она продолжали молчать, и так же как испаряются капельки влаги на намокшем плаще, просыхающем над печкой, постепенно испарилась и его досада.

Когда они допили чай, уже совсем стемнело. Но они по-прежнему молча сидели в серой полутьме, уставившись на опустевшие чашки. Потом Мария Тереза встала, зажгла лампу и пересела к телефону, откуда, словно из черного рта сивиллы, должен был донестись голос ее юности.

Он тоже поднялся и начал прохаживаться по комнате. В углу стоял секретер, он осторожно выдвинул один из ящиков и рассеянно заглянул в него. В ящике лежали фотографии, валялись в беспорядке, как попало, точно карты после игры, когда все уже закончено и подсчитано. Живо заинтересовавшись этим ворохом лиц, он подсел к секретеру.

— Смотри-ка, смотри-ка, сколько мужчин, моих предшественников, — проронил он, беря пачку пожелтевших фотографий и подняв глаза на Марию Терезу.

Молча, ничем не выказывая, что ей неприятна эта бесцеремонность; Мария Тереза продолжала смотреть на него спокойным, безразличным взглядом, который причинял ему не меньшую боль, чем скальпель, вонзившийся в свежее обработанную рану. «Между прочим, оставаться совсем уж спокойной ей не следовало бы», — с досадой думал он. Другая на ее месте вырвала бы у него фотографии из рук и поспешно спрятала их обратно в ящик. Ведь все эти бескровные лица глядели на нее словно отощавшие узники, которые наконец-то увидели свет. Она погребла их в секретере и в памяти, но и это ее не спасло. Сейчас эти ожившие мертвецы, верно, казались Марии Терезе неотделимыми от тех лет, которые они провели рядом с ее молодым телом. Все они, прожитые годы и эти мужчины, лежали сейчас у него на руке и обвиняли ее, Марию Терезу. В чем? Да в том, что она уже не та, прежняя. Свидетели и судьи заняли свои места, можно было открывать процесс.

Обвиняемая, узнаешь ли ты этого человека? Тебе было восемнадцать, когда ты его встретила. Тогда твои волнистые волосы были зачесаны высоко надо лбом, накрахмаленный стоячий воротничок плотно обтягивал тонкую шею и подбородок, прекрасная, юная грудь, закованная в корсет из китового уса, являла свое розовое изобилие даже сквозь бесчисленные кружева твоей блузки. Твой задник покачивался и изгибался под складками юбки. Твоя походка была упругой и быстрой, нескромные взоры никак не проникали выше твоих полусапожек, зашнурованных на икрах. А в то же время в дымных и живописных кафешантанах под печальные и чарующие звуки канкана балерины ритмично вскидывали ноги в черных чулках до самого лба. И тогда становилось видно, что и пышные, густые, белоснежные кружева не в силах скрыть красоты ног, стянутых у бедер красными подвязками. Восемнадцать лет! Твои щеки не знали тогда румян, а розовели лишь от стыда. Пухлые губки не были накрашены, но все равно алели и притягивали взгляды мужчин. Незинные глаза не ведали атропина и накладных ресниц, и только темные круги под ними выдавали первую любовную усталость... С этим мужчиной ты танцевала последний вальс и первое танго. А с тем? И вон с тем?

Он взял несколько фотографий и стал по одной показывать их Марии Терезе, спрашивая имена и даты. Сейчас он вел себя так, словно перед ним была подсудимая, которая не сознается в совершенном преступлении, и ей приходится предъявлять вещественные доказательства. И Мария Тереза, точно преступница, не желающая признать своей вины, вытягивала шею, пристально вглядывалась в забытые, выцветшие от времени лица, и одно за другим покорно называла имена слушающим, недовольным тоном. Это Б.— театральная актриса, теперь она снимается в кино, а вон тот — граф, погибший на войне, ну а этот — банкир, он то ли разорился, то ли умер, толком она не знает. Под конец он кончиками пальцев выудил из пачки фотографию обрюзгшего мужчины, с тяжелыми веками, одетого во фрак. А это кто такой? Официант?

Впервые на ее равнодушном, апатичном лице промелькнуло легкое волнение.

— Это — миланский промышленник, — с оттенком сожаления ответила она. — Самый богатый из всех. — И,

мечтательно глядя вдаль, добавила:— Он подарил мне виллу, красивую двухэтажную виллу с садом.— Она зачарованно смотрела прямо перед собой, словно увидела все более четко проступающие очертания своей прежней каменной виллы.— Да, да, если бы я сберегла все, что мне дарили, я была бы сейчас богата,— словно обращаясь к самой себе, проговорила она после минутного молчания.

Он ничего ей не сказал... Эти сожаления об утерянном богатстве казались ему чудовищными. «Всю свою жизнь только и знала, что сокрушаться о растроченных на удовольствия деньгах,— думал он,— и жалеет лишь о том, что не была достаточно дальновидна и скупа». Внезапно она встала, прошептала: «Как холодно»,— и, зябко поежившись, подошла к печке и прислонилась к ней.

Суд закончился. Обвиняемая, тебе нечего добавить? Нет? В таком случае убирайся, ты приговариваешься, да, приговариваешься к беспощадной старости, к морщинам, седым волосам, угасшим страстям и к заледневшим воспоминаниям. Все для тебя кончилось: виллы, любовники, празднества, новые платья и улыбки. Ты потонешь в пепле своего прошлого, Мария Тереза, как корабль в ночи.

Он снова принялся рыться в ящике. Там лежали японские фотографии, бесстрастно непристойные и оттого превращавшие эту непристойность в некий ритуал, порнографические фотографии из тех, что продаются в портах и в сомнительных предместьях больших городов, старые цветные открытки с изображением улиц и площадей Парижа, Берлина, Вены, Петербурга, фотографии множества людей, которые с годами сошли с ума, разорились, бесследно исчезли, были зверски убиты. На фотографиях же они еще были полны жизни, молоды, они прогуливались по улицам в шляпах, под зонтиками, ездили в каретах, запряженных парой коней. И наконец, в ящике лежали пачки любовных писем, написанных вычурным почерком и какими-то странными, поблекшими чернилами, перевязанные выцветшими ленточками.

На эти реликвии он лишь небрежно взглянул, а вот миниатюрный пистолетик с ручкой, инкрустированной перламутром, вытащил и взвесил на руке.

— А эта штучка тебе зачем? — спросил он.

— Чтобы защищаться,— невозмутимо ответила она,

неторопливо отводя голову от дула, которое он в шутку приставил ей к виску.— Впрочем, я уверена, что умру не своей смертью,— с радостной покорностью судьбе добавила она.

В голосе ее звучала твердая уверенность. Ей, усталой, разочарованной искательнице приключений, явно хотелось бы погибнуть, как погибают героини современных трагедий. Лишь это ей и оставалось — умереть, как в криминальных романах: номер третьеразрядной гостиницы, рассвет, опрокинутая мебель, необрушенная, в пятнах крови постель, отпечатки пальцев, невыносимый запах духов, тяжкого сна и насильственной смерти. А потом короткие заметки в газетах — такой ее ждет конец.

Рассказывая об этом, Мария Тереза переводила взгляд с любовника на пистолет, и ее сверкающие, обольстительные глаза хотели, казалось, соблазнить саму смерть... Наконец она перестала говорить о себе и рассказала историю своей подруги, которая два года назад была убита при загадочных обстоятельствах.

Она низко опустила голову и, глядя на ноги, с глубоким вздохом, мелодраматично заключила:

— Вот и меня ждет такая же участь.

— Что за нелепая идея, Маритэ!— воскликнул он и, засунув пистолет в ящик, сел с нею рядом и обнял ее за талию. Нет, сказал он, стараясь ее успокоить, но и уязвить побольнее, она умрет не насильственной смертью, а — в своей кровати, от болезни, старая и одинокая. Не стоит обманываться, она вовсе не роковая женщина. Впрочем, роковых женщин больше нет, их можно увидеть разве что в кинофильмах. Оскорбляя Марию Терезу недобрыми словами, он пытался ее обнять, но она, с трудом скрывая раздражение, упрямо его отталкивала.

— Теперь ты еще и гадости говоришь,— процедила она сквозь зубы.

Она встала и достала из шкафа бутылку коньяка и рюмку.

— Да, да, старая и одинокая,— упрямо повторил он.

В ответ она спокойно пожала плечами и, прищурившись, чтобы дым от сигареты, точно приклеившейся к нижней губе, не попадал в глаза, откупорила бутылку, налила себе коньяку и выпила. И в этот миг тоненько зазвонил телефон.

Мария Тереза неторопливо поставила рюмку и взяла трубку.

— Кто говорит? — мгновенно спросила она и разочарованно протянула: — А, его секретарь. — Затем умолкла и стала слушать с растерянным, тревожным видом, точно ища убедительные доводы. — Значит, с ним лично я поговорить не смогу? — спросила она наконец. — Даже минуту, всего одну минуту? — Но, очевидно, секретарь уже положил трубку. — Одну-единственную минуту. — И медленно опустила трубку, задумчиво глядя прямо перед собой.

— Ну, получила то, что хотела? — спросил он.

Мария Тереза вздрогнула и с любопытством на него взглянула, словно увидела впервые, но ничего не ответила. В рюмке осталось немного коньяка, Мария Тереза допила его, посмотрела на дно и, сказав: «Надо приготовить ужин», — поднялась. Оба, сначала она, а затем и он, вышли из прокуренной гостиной.

В темном коридоре он обнял ее за плечи, прижал к себе и поцеловал. Ему показалось, что она немного оттаяла и вернула ему поцелуй если и не с любовью, то с нежностью, как человек, который, нуждаясь в утешении, прибегает к самым привычным для него жестам. Ему даже показалось, что она дрожит. Но когда они пришли на кухню и она нагнулась над плитой, чтобы зажечь конфорку, лицо ее приобрело обычное, задумчивое и строгое выражение.

Они впервые ужинали дома, и он, не подозревавший о кулинарных талантах Марии Терезы, представлял себе, что это будет холодный ужин из купленных в магазине закусок. Велико же было его удивление, когда он увидел, что Мария Тереза сразу принялась стряпать. Похоже, в кухне обычно ничего не готовили. Облицованные белой плиткой стены нигде не потемнели и не потрескались, на плите не было заметно даже следов копоти, три медные конфорки словно вообще не знали, что такое огонь. Ни соли, ни перца, ни сахара, ни корицы, ни шафрана никогда не брали из фарфоровых баночек, выстроившихся в ряд на полочках; с крючков, словно шляпы с вешалки, свисали начищенные до блеска медные и алюминиевые кастрюли. Кухня была девственно чистой и холодной. Легко можно было вообразить себе пустой в обеденные часы дом, хозяйку, которую всегда куда-то приглашали, а повара и слуг она не держала. Это была идеальная кухня, какие выставляют в витринах хозяйственных магазинов. Для полного сходства не

хватало лишь механической эмалированной повари-
хи с неподвижным лицом сиделки, которая мелкими
шажками автомата переходит от одной конфорки к
другой.

Спокойно, точными и уверенными движениями опыт-
ной хозяйки, Мария Тереза в этот вечер сама приго-
товила ужин. Суп из мелко нарезанных овощей, два об-
валянных в сухарях и поджаренных бифштекса, шпинат,
картофель, и на третье шоколадный пудинг, который
Мария Тереза приготовила еще утром и поставила в хо-
лодильник. Сидя за столом с мраморной доской, посреди
залитой белым, слепящим светом кухоньки, он расте-
рянно смотрел, как Мария Тереза, засучив рукава, с су-
ровым и сосредоточенным видом возилась у конфорок.
Вот она взяла щепотку соли, осторожно бросила в бу-
льон, а потом попробовала его на вкус с деревянного по-
ловника, попробовала теми самыми крашеными губами,
которыми несколько минут назад в коридоре прильнула к
его губам. Пока она готовила ужин, ее слабо завязанный
халат то и дело распахивался. Он смотрел, как эта на-
гая женщина наклонялась над кастрюлями с разлива-
тельной ложкой в одной руке и с вилкой — в другой, под-
ставляя грудь клубам пара, и как на живот ее падали
розовые блики от горящих конфорок. Лампа освещала
середину комнаты, и сверкающие плитки пола словно
вбирали в себя отблески лучей. Комната казалась кубом
белого света с двумя любовниками внутри, похожими на
два хорошо сохранившихся трупа в глыбе льда. Мария
Тереза приходила и уходила, а он сидел за столом и не
отрывал от нее глаз. Он был поражен и даже оскорблен.
Время от времени его взгляд падал на плиточный пол,
и ему мерещилось, будто на этой шахматной доске он
потерял свою королеву с прекрасным суровым лицом. Он
не почталъон или портье, чтобы весело наливать себе
в стакан вино и сажать на колени поварику в передни-
ке, с половником в руке. Нет, не эту женщину он любил.
Но тут Мария Тереза села за стол, не забыв похвастать
своими кулинарными способностями.

Не глядя друг на друга, они в полном молчании ста-
ли ужинать. Посмотреть, как она готовит,— можно по-
думать, что ничем другим она никогда и не занималась,
сказал он наконец.

— Я в жизни чем только не занималась,— ответила
Мария Тереза глухим голосом, не подымая глаз от блю-

да. Ее халат снова распахнулся, и при каждом ее движении грудь подпрыгивала, словно зверек, живущий своей собственной жизнью.

Опять надолго воцарилась тишина.

— Я тебе уже говорила, что синьор, которому я звонила, очень меня когда-то любил,— наконец вымолвила она, вытерев рот салфеткой и положив ее на голые колени.— Откровенно говоря, он был первым... мне тогда было шестнадцать.

И тут он снова ощутил смутную ревность, в этот раз смешанную, однако, с острой, пронзительной жалостью. Выходит, это все-таки правда. Марии Терезе было шестнадцать лет, и она знала цветущую пору юности: она смеялась, плакала, танцевала, любила, наслаждалась своей молодостью. А теперь она молча собирала дрожащими пальцами крошки хлеба и казалась усталой.

— Он невероятно богат,— добавила она,— но отказал мне даже в тех небольших деньгах, которые я у него попросила.

Он смотрел на нее и чувствовал, что должен огорчиться, точно произошло несчастье, вот только не знал, какое именно.

— Так, значит, тебе нужны деньги? — помолчав, ласково спросил он.

Она расхохоталась, громко, хрипло, презрительно.

— Нужны ли мне деньги? — повторила она, давясь горьким смехом.— Конечно, нужны... нужны позарез!

— Но зачем? — настаивал он.— Чтобы закупить платьев, путешествовать?

Она слегка смешалась и отрицательно покачала головой: нет, деньги нужны ей, чтобы уехать из города куда-нибудь на природу. Она устала жить этой беспорядочной жизнью, среди такого скопища людей. Ей хотелось бы поселиться в маленьком городке, ну, скажем, там, где она родилась, жить одной, в небольшом домике с садом. Она наклонила голову и потеряла голое плечо щекой.

При слове «сад» он прервал ее и недоверчиво улыбнулся: сад? Тогда и цветы? Да, ответила она, и цветы, а что здесь особенного?

— Нет, ничего,— сказал он и, поднявшись, принялся расхаживать по кухне.

— Но раз он не хочет дать мне денег, придется обо-

тись без них, — заключила она звонким, дрожащим голосом.

Ужин кончился, Мария Тереза тоже поднялась, собрала тарелки и с грохотом опустила их в раковину... Он стоял и с грустью смотрел на возлюбленную, а она, прочищая зубы острыми крашеными ноготками, без малейшего отвращения пристально следила за тем, как струя смывает со дна тарелок застывшую подливку и другие остатки ужина.

Потом, уже поздним вечером, он вдруг увидел, что она повернулась к стене и сжалась в комок, словно готовясь уснуть. Он пожелал ей приятных сновидений и встал, чтобы уйти. Она принадлежала ему больше двух месяцев, и теперь, когда у него кончились все деньги, ему оставалось лишь расстаться с ней. Но в тот миг, когда он осторожно высвободил руки и ноги из-под простынь, он вдруг заметил, что она плачет. Она уже не лежала, свернувшись калачиком, а лежала на спине, словно маленькая обиженная девочка, заслонив глаза рукой. Тень не давала ему разглядеть слезы, но блик света падал на поддрагивающие уголки рта, сведенного гримасой боли. Она плакала беззвучно, ровно и тихо, и слезы текли так, как вытекает кровь из тела смертельно раненного.

Он посмотрел на нее, потом отвел ее руку от глаз и спросил, что с ней. Ничего, ответила она, с ней ровным счетом ничего не случилось, просто она думала о том телефонном звонке. Она склонила голову на плечо, жестом ослабевшего, покорившегося судьбе человека, и упрямо повторила:

— Со мной ровным счетом ничего не случилось.— Но секунду спустя, с горечью смежив веки так, точно она увидела себя стоящей на углу улицы и протягивающей руку за подаванием, добавила:— И все же тяжело впервые выпрашивать себе на жизнь.

Он не знал, что ответить. Смотрел на ее лицо, вновь ставшее суровым и чеканным, как на медали, на закрытые глаза, которые словно призывали сон, на белое полное плечо, прикрытое прядями коротких волос на затылке... Ему казалось, что она ничего не сказала, он не верил своим глазам и ушам, ему хотелось снова увидеть гримасу боли, услышать ее плачущий голос. Но Мария Тереза лежала совершенно неподвижно. Он глядел на нее, и ему казалось, что он видит лицо самой жизни,

в какой-то момент заговорившее, выдавшее себя, а сейчас вновь немое и застывшее.

Смотрел он на нее недолго. Потом, с трудом выпрямившись, пошел в ванную, оделся и на цыпочках вернулся в комнату.

— Я ухожу, Маритэ,— прощай,— громко сказал он.

— До завтра,— ответила она, не открывая глаз.

Он вышел из спальни в коридор и стал спускаться по лестнице, открыл дверь парадного. На пороге он остановился в нерешительности, прислушиваясь к ударам колокола ближней церкви, гулко отдававшимся на опустевших улицах. «Половина одиннадцатого, — подумал он, — еще есть время, чтобы заскочить на часок в кино». Идея эта ему понравилась и даже привела в восторг, он и сам не знал почему. Сейчас он испытывал жадную потребность поскорее очутиться в темном зале, наслаждаться любовными приключениями и пейзажами дальних стран. «Ну ее к дьяволу, эту Марию Терезу», — подумал он и, стараясь подавить глубокую, щемящую грусть, закрыл дверь парадного и направился к центру города.



ВОЗВРАЩЕНИЕ С ОТДЫХА

се люди, большинство сами того не подозревая, окрашивают часы, дни и годы в изменчивые тона своего настроения. У многих утро вызывает беспокойство, а ночь — радостное чувство или же наоборот. Некоторых месяцев они ждут с нетерпением, других — боятся. Времена года, в зависимости от обстоятельств, кажутся им благоприятными или неблагоприятными. Даже годы, пока сохраняется у человека память и надежда, делятся на счастливые и несчастные, спокойные и бурные. Эта способность — наделять особым свойством обычную смену времен — наиболее ярко проявляется в молодости, когда любой миг кажется новым, пока не переживешь его вторично, и неповторимым, едва он пролетел. В зрелом возрасте, особенно в старости, острота чувств притупляется, уступая силе привычек, и в конце концов исчезает. Но Тарчизио, человек благородного происхождения, быть может, потому, что он и в со-

рок с лишним лет жил, как и в двадцать, в приятном бездельи и не следовал мудрости людей деловых о том, что время — деньги, по-прежнему сохранял способность придавать времени особое значение. Для него, как и в юности, каждая минута дня, каждый день месяца и каждое время года все еще имели свое лицо, доброе или злое. Так для игрока, даже когда он проигрывает и партия близится к концу, карточные валеты, дамы и короли сохраняют свое особое выражение. Тарчизио миновало уже сорок пять лет, и он бесповоротно проиграл свою игру. Любой другой на его месте уже ничего не ждал бы от оставшихся лет, возможно и долгих, но почти не имеющих ценности, в точности как плохие карты, которые остались у игрока на руках, когда лучшие уже брошены на стол. И все-таки Тарчизио упрямо не расставался с надеждой, и в зрелые годы он остался таким же мечтателем, как и в далекие годы ранней юности. Важнейшим в жизни событием для Тарчизио было начало зимы. В отличие от многих людей, для которых это — самое печальное и унылое время года, для него зима была порой самых радужных и невероятных надежд. Как и большинство его приятелей, он летом уезжал из города к морю или в деревню. С раннего детства возвращение в город было для Тарчизио тем же, чем для других бывает Новый год, — подлинным началом, временем ожидания и радостных предчувствий. Когда кончались бесцветные и бездумные дни отдыха, он всякий раз с удовольствием предвкушал, как, вернувшись в город, начнет новую жизнь, точнее, в переменах чужих судеб отыщет возможность для изменения своей. Именно эта смутная надежда, а не снобизм и не привычка заставляла Тарчизио посещать салоны и клубы: надежда, что поиски эти приведут к чудодейственным переменам, которых втайне так жаждала его засохшая, истосковавшаяся душа.

Каждый год с приближением зимы Тарчизио охватывало мрачное и в то же время волнующее предчувствие близких свершений. Для него зима была порой сердечных и горестных встреч одних людей с другими, лихорадочного обмена духовными ценностями, столь же дорогими и экзотическими, как шелка и пряности купцов древности. Тарчизио не понимал, что сотня людей, с которыми ему удастся встретиться за зиму, как и он, судорожно барахтаются в мутном болоте, словно рыбы, вы-

тянутые безжалостной сетью на берег. Он упрямо надеялся, что встретит кого-то, кто поможет ему вырваться из плена невыносимой скуки. Этим чудесным случаем для него была сначала девушка, на которой он собирался жениться, но затем нашел слишком убогой для созданного его воображением идеала, а впоследствии — многочисленные друзья, обманувшие его доверие, и женщины, от которых он напрасно ждал огненной страсти. И наконец — священник, весьма популярный в светских кругах, сумевший на несколько месяцев вселить в него надежду, обрести покой в обращении к богу. Но уже после первых проповедей Тарчизио обнаружил, что желанные им чудеса не имели ничего общего с религией. Испытав очередное разочарование, он с удвоенной силой принимался за тщетные поиски счастья. Тарчизио ждал чуда извне и ничего не ждал от себя, и потому у него всегда хватало надежд и фетишей — стоило рухнуть одному, как он легко находил другой. Но в этот, сорок шестой год своей жизни Тарчизио, едва сев в поезд, который вез его в город, ощутил не только обычное, нетерпеливое ожидание нового, но и мрачное, грозное предчувствие.

«Сейчас или никогда более... сейчас или никогда более», — казалось, вызванивали рельсы в монотонном грохоте колес.

Как всегда в начале зимы, поезд был полупустым и словно невесомым. В купе вместе с Тарчизио ехал злобный, добродушный провинциал, одетый с иголки, краснощекий и косматый. Он с важным видом курил трубку и то и дело вставал и поправлял в багажной сетке свои красивые, сверкающие чемоданы. После долгих робких попыток ему удалось, наконец, завязать с Тарчизио беседу. И тут выяснилось, что косматому молодому человеку всего восемнадцать лет и он впервые едет в столицу, намереваясь поступить в университет. С прорывающим сквозь напускное хладнокровие радостным волнением он засыпал Тарчизио вопросами о городе, о людях, о здешних нравах, допытываясь, не знает ли он такого-то и такого-то, людей совершенно Тарчизио неизвестных, на помощь которых молодой человек весьма рассчитывал.

Возможно, в другое время Тарчизио не понравилась бы неуместная фамильярность юноши, но сейчас эта встреча произвела на него совсем иное впечатление.

Тарчизио, упорно не терявший надежды, постепенно стал суеверным. Этот полный воодушевления и горячего интереса к его городу юноша показался ему как бы зеркальным отражением его собственной души, а сама случайная встреча — таинственным знаком свыше: без страха принять самые невероятные предзнаменования. Сдержанно и вежливо отвечая юноше, Тарчизио внезапно почувствовал странное возбуждение. Ледяной воздух, который вместе с брызгами дождя залетал в купе из темноты через раскрытое окно, не только его не охлаждал, но, наоборот, возбуждал еще сильнее. В такие минуты Тарчизио ощущал обычно неодолимое желание говорить с самим собой, обращаться к себе с бессмысленными словами, в которых выливалось его лихорадочное волнение.

Поезд уже приближался к городу, как вдруг паровоз пронзительно засвистел и остановился.

— Приехали? — в наступившей тишине тревожно спросил юноша, вскочил и схватился за чемоданы. Тарчизио его успокоил: скорее всего поезд остановился в открытом поле. Под тем предлогом, что надо бы взглянуть, где они находятся, он вышел в коридор и прильнул к окну.

Как он и сказал юноше, поезд действительно встал в открытом поле. Вагоны охватывала непроглядная мгла дождливой ночи, и желтый огонь окон освещал лишь короткий отрезок железной дороги, черные сверкающие рельсы, змеившиеся во тьме, да белесые каменные плиты насыпи. Недоступные лучам света, невидимые кусты шелестели с металлическим призвуком. Ночь была полна шорохов, вздохов и слабого шума налетающего волнами ветра. Вдруг паровоз вновь засвистел и тронулся с места. Тусклый свет, застывший в узких вагонных окнах, все быстрее заскользил по насыпи, монотонно и мрачно затарахтели колеса, но их стук тонул и глохнул в шуме ночного дождя. Тарчизио блаженно подставлял лицо редким, но хлестким, как удары бича, каплям и снова и снова бормотал слова, лишённые всякого смысла.

Наконец, когда в густой тьме возникли первые красные огни города, его возбуждение спало и он вернулся в купе. Юноша вытаскивал из багажной сетки чемоданы, явно смущенный своим недавним волнением и тем, что машинально сжимал в зубах уже потухшую трубку.

Тарчизио сел на свое место в углу и невольно улыбнулся, подумав, до чего же он, с виду такой сдержанный и спокойный, в сущности похож на этого простодушного и смешного провинциала.

Когда Тарчизио сошел на перрон и в редкой, куда-то спешащей толпе пассажиров направился к выходу, то суеверно отметил несколько мелочей, которые истолковал как счастливые предзнаменования. У носильщика, который нес чемодан юноши-провинциала, номер на бляхе был счастливым; и еще — когда он стал искать в карманах свой билет, к нему сзади подбежала стройная, грациозная блондинка, вся в черном, положила ему руку на плечо и воскликнула: «Джулио!» Поняв, что ошиблась, она извинилась, и ее покрасневшее от смущения лицо чудесно гармонировало с золотистыми волосами и траурным одеянием. Толпа пассажиров тоже понравилась Тарчизио. Как обычно, это были люди ему незнакомые, но в них не чувствовалось тупой растерянности, присущей тем, кто раньше времени возвращается с отдыха. Нет, эти люди ездили по делам или с какой-то другой важной целью. Среди них он вполне мог, вернувшись, испытать приятную иллюзию прибытия в незнакомый город, где он сам тоже незнакомец. А когда он вышел с вокзала, большие белые фонари, похожие на свисающие с садовых деревьев ночные плоды, блеск асфальта, по которому скользили огни автомобильных фар, розоватое зарево в облачном небе над огромным городом — все показалось ему праздничным, таинственным и многообещающим.

У него даже мелькнула мысль, стоит ли сразу идти домой; не лучше ли оставить чемодан в камере хранения и немного побродить под сводами привокзальной площади, среди солдат, женщин, спортивного вида юношей и других таких же случайных прохожих, как он. Грех не насладиться этой теплой, пробуждающей чувственность ночью и тут же запереться в своем заплесневелом доме. Тем более что площадь — еще вся в сверкании огней и многолюдье. Но после короткого раздумья он отказался от этой идеи.

Спустя минут десять, когда он всунул маленький ключ в новый замок, врезанный в парадную дверь рядом с большущим старым замком, то вдруг вспомнил, что телеграммой предупредил слугу о своем приезде.

Ему заранее стало не по себе при мысли об ожидав-

шей его раболепной встрече. Он решил проникнуть в дом тайком, чтобы дорогие его сердцу иллюзии не улетучились при первом же пустяковом и все же тягостном столкновении с ненавистной действительностью. Он вошел в темный подъезд и, не торопясь, стал подниматься по широким, пологим ступеням лестницы. Его легкие шаги не отдавались эхом под каменными сводами, и ему казалось даже, что он — тень среди теней и, словно тень, парит над каменными ступенями, по которым в разные времена так часто ступали его ноги.

В прихожей ему все же пришлось зажечь свет. Зеркало, вставленное между двумя декоративными панелями с выцветшими и закопченными лесными пейзажами, вернуло ему на мгновение собственный образ — темное, изборожденное глубокими морщинами лицо, поседевшие виски, — и образ этот показался ему нелепым и даже карикатурным. Невольно он подумал, что недавнее возбуждение и то, как бесшумно и осторожно проник он в подъезд, — не что иное, как подспудно сохранившаяся с юности любовь к игре. Возможно, и все его предчувствия — тоже лишь последние отблески этого далекого страстного увлечения...

«А не поджечь ли мне дом?» — вдруг с полной серьезностью спросил он себя, точно желая доказать, что это — не игра и он вовсе не притворяется, а по-настоящему страдает. Но на этот раз в зеркале отразилось лицо яростное, со сверкающими глазами, и он даже испугался. Вполне удовлетворенный этим немым свидетельством остроты своих чувств, он больше уже не помышлял о поджоге, хотя секундой раньше в воображении живо увидел, как из всех окон дома вырываются красные, страшные языки пламени. Он потушил в прихожей свет и через боковой ход прошел в коридор.

Этот коридор, напоминавший застекленную клетку и огибавший весь внутренний двор, днем бывал светлым и теплым, точно оранжерея, благо стекла позволяли лучам солнца подолгу его прогревать, не пропуская в то же время зимой холодный воздух. Но сейчас коридор, с его невысокими потолками, плохо выкрашенными балками, темными окнами и вереницей черных, запертых дверей, показался Тарчизио мрачным и убогим. Прежде этот же, такой удобный коридор позволял ему, тогда еще зеленому юнцу, потихоньку выскальзывать из дому и возвращаться незамеченным. Вспомнив о тех давних

побегах. он невольно бросил взгляд на предпоследнюю дверь, дверь комнаты, где раньше жили его родители, и посмотрел, не пробивается ли случайно через щель свет. Дверь, как и полагалось, оставалась темной, но к своему удивлению и испугу он увидел полоску света, проникавшую из-под двери соседней комнаты, скорее всего из столовой.

Тарчизио поставил свой чемоданчик на пол, подошел к двери столовой и прислушался. Но дверь не выходила прямо в столовую. Между столовой и коридором был темный закуток, в котором нетрудно было спрятаться. Он осторожно взялся за ручку и бесшумно отворил дверь. Когда он очутился в закутке, то обнаружил, что вторая дверь приоткрыта и в щель можно разглядеть почти всю столовую.

Раньше даже, чем белую, с позолотой столовую в неоклассическом стиле, он увидел овальный стол, стоявший посредине. Нарядная, кружевная скатерть свисала почти до самого пола. За столом, похоже, сидели двое. Одного из них Тарчизио видел очень хорошо, это был его молодой слуга по имени Рамиро. Второго Тарчизио не видел вовсе и даже не слышал его голоса. Но слуга к кому-то обращался, и Тарчизио понимал, что, значит, есть и второй. Рамиро служил у него уже два года. Увидев, что слуга сидит за столом на его месте, Тарчизио по странной ассоциации вспомнил о другом случае, когда он за ним подглядывал. Случилось это однажды, когда Тарчизио, выйдя из столовой, вернулся туда, чтобы взять забытый на столе портсигар. Он бесшумно ступил на порог и вдруг увидел своего слугу, который стоял перед зеркалом в элегантном фраке из белого пике. На ладони он держал серебряный поднос и отрабатывал плавные, как бы танцевальные движения, глядя на себя с глубоким, неподдельным восхищением. Он вытягивал руку и вертел поднос, отступал, делал шаг вперед, поворачивался, рассматривал себя в зеркало через плечо, сам себе улыбался, придавал лицу выражение то подобострастное, то довольное, то испуганное, то растерянное, то изумленное, то вопросительное, то легкомысленное. Словом, не зная, что Тарчизио за ним наблюдает, он репетировал роль слуги. «Наконец-то вижу человека, который доволен своим положением», — подумал Тарчизио. Он негромко кашлянул, прежде чем войти в столовую, и тем самым прервал эту лакейскую

пантомиму. И вот теперь этот слуга, столь довольный, что он слуга, сидел на его месте за обеденным столом. Хотя Тарчизио за два года видел Рамиро каждый божий день, сейчас ему показалось, что он видит его впервые.

Тарчизио сразу поразила удивительная кротость его лица, которое в профиль, с ниспадающими на лоб курчавыми белокурыми волосами и слегка обвислыми уголками рта, весьма напоминало мордочку ягненка. Белое, с розовыми пятнами, оно имело выражение глупо-сосредоточенное. За разговором Рамиро бросил взгляд в сторону двери, и Тарчизио увидел, что глаза у него приобрели водянисто-голубоватый цвет, а взгляд их был неприятным, воспаленным и блуждающим; слуга был пьян. Удивил Тарчизио и жалкий, растерзанный вид Рамиро, который был не в накрахмаленном фраке, а в дешевом летнем костюмчике из тонкой ткани. Плечи у Рамиро были узкими и покатыми, на впалой груди веревкой болтался галстук, и весь он походил на бедного паренька, надевшего чужой костюм. Тарчизио впился в него взглядом, и вдруг слуга, положив руку на высившуюся посреди стола фьяску вина, обиженно и с испугом посмотрел в сторону невидимого собеседника... И тут смуглая, маленькая пухлая рука с крашеными, почти черными ногтями, явно женская, потянулась к нему, сжимая пальцами большой, грубый стакан.

— Ну, наливай же,— произнес низкий, с хрипотцой женский голос.

— Но зачем, Дирче, зачем? — ответил Рамиро жалобно, по-прежнему не отнимая руки от фьяски и не решаясь ее открыть.

— Зачем! Никогда не спрашивай зачем.

— Ты и так много выпила, — продолжал слуга, покачивая головой. — Не хочу, чтобы потом тебе стало плохо.

Все это он говорил с видом печальным, раздумчивым и недовольным. Скрипнул резко отодвинутый стул, и вдруг в поле зрения Тарчизио оказалась фигура женщины. Невысокая, с густыми блестящими волосами, разметавшимися по плечам, она в своем мужского покроя пальтеце из скверного, синеватого материала выглядела со спины школьницей. Но шелковые чулки с черным швом, змеившимся по бледным, крупным икрам, ясно говорили, что перед ним женщина. Качнув-

шись, она резко подалась вперед, наклонила фьяску, наполнила до краев стакан, пригубила его и поставила на стол. Затем подошла к Рамиро, который жалобно протестовал, наклонилась над ним сбоку и прижалась к его лицу, ища губами его губы. Тарчизио увидел, что лицо у нее мертвенно-бледное, глаза выпуклые, черные, а взгляд такой же стеклянный и мрачный, как у разрубленных на куски козлят, свисающих с мраморных полок мясных лавок. Ноздри прямого, маленького носа плотно раздувались, и дырочки в них были как запекшаяся кровь. Толстые губы в жирной, густой помаде тоже напоминали сгустки запекшейся крови. Тонкая прядь волос, подрагивая словно змея, ниспадала ей на лицо. Тарчизио невольно подумалось, что это — голова мертвеца. Между тем эта женщина была живой, и то, что от нее веяло ледяной стужей, очень ее красило. Она прижималась бледным лицом к белому, нежному лицу Рамиро и губами неуклюже искала его неподатливые губы. Внезапно Рамиро решился, с судорожной отвагой обхватил ее за голову и крепко обнял. Поцелуй был недолгим. Потом Дирче легко подпрыгнула и села на стол — полы ее пальтеца распахнулись, и Тарчизио увидел ярко-зеленое шелковое платье. Какое-то время она и Рамиро оставались неподвижными, Дирче смотрела в пол, а слуга, свесив голову, словно застыл в глубокой задумчивости. Наконец Дирче поднесла руку ко рту, точно желая подавить зевок.

— Ну, что, спать пойдем? — сказала она.

— Куда? — еле слышно спросил Рамиро, так и не пошевелившись.

— Сам знаешь куда, — воинственно, с явным намеком ответила Дирче, пожирая возлюбленного глазами.казалось, этот взгляд жег Рамиро лоб, словно свет слишком яркой лампы. Он покачал головой, точно желая избавиться от него.

— Почему?.. Что за нелепая идея! — простонал он.

Но Тарчизио уловил в его жалобном тоне постыдное и неодолимое желание.

— Потому что мне приятно, — неторопливо, словно втолковывая ему урок, ответила Дирче.

— Что тебе приятно?

«Теперь уж, — подумал Тарчизио, — нет сомнения, что Рамиро сгорает от желания и то, что нравится этой Дирче, нравится и ему, может быть даже больше, чем ей».

— Что в ней особенного? Разве это не такая же кровать, как все другие?

— Может, и такая же... только я всегда этого хотела,— твердым и недовольным голосом ответила Дирче, разглядывая ногти. — Я тебе с самого начала сказала... Хочу пообедать за его столом и поспать в его постели.

— Я еще понимаю — за его столом,— с облегчением сказал Рамиро, точно в споре постепенно могла улечься враждебность Дирче.— Тебе, видно, не терпелось посмотреть дом... столовую... но кровать...

— Признайся лучше, что тебе смелости не хватает,— небрежно бросила она.

При этих словах глуповатое лицо слуги побагровело от гнева.

— Ну вот, опять эти твои разговоры о храбрости,— плюхнувшись на стул, процедил он сквозь зубы.— Ты мне без конца твердила, что я трушу. И тогда я привел тебя сюда, доказал, что смелости мне не занимать... Теперь ты заставляешь меня спать в его постели, опять же упирая на храбрость. А в итоге что случится? Да то, что ты скажешь, будто у меня недостает храбрости... ну, к примеру, украсть... и мне придется стать вором, чтобы доказать тебе обратное... Нет, я тебя раскусил,— заключил он с комической яростью.— На этот раз ты меня не проведешь!

Все это он произнес блеющим голосом. «Красный, злой, с рассыпавшимися по лицу белыми кудряшками, он сейчас удивительно похож на барана, который упирается и не хочет идти вперед», — подумал Тарчизио.

— Что бы ты там ни говорил, а храбрости-то у тебя и нет,— ответила Дирче.

— Потому что я и не хочу ее иметь, эту твою храбрость.

— Нет ее у тебя, и все тут.

— Говорят тебе, есть! Просто я не хочу.

— Все враки!

— Раз я говорю есть, значит, есть.

Теперь они оказались рядом, друг против друга. Рамиро в бешенстве вскочил на чоги, но Дирче на него даже не глядела. Опустив припухшие, блестящие веки, она, похоже, о чем-то размышляла.

— Ну, ладно,— сказала она наконец.— Раз так, до-

кажи, что не боишься, сделай что-нибудь такое, что могло бы тебе повредить... К примеру,— она подняла глаза и посмотрела на него,— запусти стаканом в это зеркало.— И показала пальцем на дверь, за которой прятался Тарчизио. На двери висело большое зеркало в раме. Рамиро посмотрел на возлюбленную с изумлением, потом засмеялся и снова сел. Он явно считал, что она шутит,— столь невероятным было ее предложение.

— Клянусь, не знай я тебя так хорошо, я бы решил, что ты сумасшедшая! — каким-то дурашливым тоном воскликнул он.— Вот, к примеру... скажи... почему я должен разбить зеркало?!

Он говорил теперь так, словно нашел, к счастью, тему, далекую от реальности, и готов, даже рад, о ней поспорить, лишь бы снова не столкнуться вплотную с этой неприятной реальностью.

— Почему, я объясню тебе потом,— ответила Дирче.

— Зеркало я уж точно не разобью, — словно обращаясь к себе самому, воскликнул Рамиро. И с таким видом, точно он придумал нечто весьма остроумное, весело добавил:— Болтать-то ты горазда. А вот хватит у тебя самой храбрости разбить зеркало?!

Дирче, казалось, только этого и ждала, лицо ее искалось от ярости.

— Я, я, смотри,— повторила она звенящим голосом. И прежде чем Рамиро сумел ей помешать, схватила со стола стакан и с неожиданной быстротой швырнула его в дверь. Тарчизио даже показалось, что она нарочно запустила стаканом в него. Он услышал, как стакан с грохотом упал, и у него мелькнула надежда, что зеркало уцелело. Но сразу же вслед за тем на пол посыпались осколки. В столовой наступила тишина. Тарчизио с бьющимся сердцем, в смятении приник глазом к щели и увидел своего слугу, который вскочил со стула и ошеломленно смотрел на дверь. Дирче так и осталась сидеть и секунду спустя сказала:

— Видишь, у меня хватило смелости разбить зеркало?!

— Ты разбила зеркало,— дрожащим голосом повторил Рамиро.— Что мне теперь... делать?

— Испугался, да? — радостно воскликнула она.

— Во́все я не испугался! Просто...— Он побагровел и от гнева даже стал заикаться. Внезапно его добродушное лицо посуровело и приняло смешное выражение не-

преклонной решимости.— Вставай, Дирче... идем отсюда! — воскликнул он, схватив девушку за локоть и обращаясь к ней с той же повелительной, отеческой интонацией, с какой, верно, говорил бы с неисправимо упрямым ребенком.— Идем, Дирче... идем домой... уже поздно, мать может заметить, что тебя нет...

— Да не хочу я отсюда уходить! — запротестовала Дирче. Однако, к удивлению Тарчизио, который не подозревал в маленьком Рамиро такой силы, ей пришлось слезть со стола.

— Ну, веди же себя хорошо,— убеждал ее Рамиро,— идем домой... Мы еще успеем к последнему автобусу.

— Не хочу домой,— отчаянно отбиваясь, крикнула она с искаженным от ненависти лицом.

Однако по всему было видно, что Рамиро настроен решительно.

— Нет, пойдешь,— сказал он и рывком подтащил ее к порогу. Тарчизио увидел, что они борются. Дирче то цеплялась за косяк двери, то хватала возлюбленного за нос или впивалась ногтями ему в щеку, пытаясь его поцарапать, но Рамиро хладнокровно и неумолимо тащил ее из столовой.

— Раб,— воскликнула она, наконец уступив силе,— ты раб! — И они с шумом исчезли за дверью.

Некоторое время Тарчизио напряженно прислушивался. Потом, убедившись, что те двое ушли, покинул свое убежище.

На столе, за которым он много лет подряд обедал в одиночестве, царил полнейший беспорядок. Рамиро не захотел выставить хрустальную и серебряную хозяйскую посуду. «А может, это Дирче нарочно в знак презрения ко мне раскидала на великолепной скатерти грубую кухонную посуду»,— подумал Тарчизио. Если не считать белой льняной скатерти, стол был накрыт, как в трактирчике. В центре, вместо блюда из саксонского фарфора, возвышался большой керамический сотейник, желтый и блестящий, на дне которого лежали остатки фрикасе. Рядом с ним стояла кривобокая фьяска вина, оплетенная почерневшей соломой. Фрукты, купленные у зеленщика на углу улицы, выкатились из бумажного кулька, словно из деревенского «рога изобилия». На тарелках, под скрюченной апельсиновой кожурой, виднелись кружки жира, оставленные хлебными шариками. Скатерть была в синих и красных пятнах от вина и по-

мидоров. Пятен было так много, что Тарчизио пришло на ум, что это тоже работа Дирче, еще один знак ее презрения к хозяину дома.

Тарчизио, внимательно осмотрев стол, повернулся и стал разглядывать разбитое зеркало. Стакан угодил как раз в середину, и верхняя часть уцелела, а вот нижняя, кроме острого куска в углу, осыпалась вниз. В верхней части зеркала отражалась в ржавом, тусклом свете лампы его фигура, но лишь до плеч, и он напоминал сейчас призрак. Ниже начиналась старинная рама из выдержанного дерева с обнажившейся красной тканью в проемах. Между двумя планками тянулась густая, ворсистая, светло-серая паутина, но паука, который ее ткал, нигде видно не было.

Тарчизио, возможно, потому, что жизнь его была небогата серьезными событиями, привык искать и находить скрытые связи между редкими происшествиями, которые с ним случались. Поэтому он сразу заподозрил связь между сценой, свидетелем которой стал, и охватившей его недавно в поезде горячей надеждой. Но какова эта связь, понять ему не удавалось. Вдобавок его крайне удивило собственное безразличие к тому, что он увидел и услышал. Ему не только не пришло в голову выйти из убежища и приказать этим двум убираться вон из его дома, но, глядя на них, он даже необъяснимым образом испытывал необычное, приятное волнение. И хотя он не признавался в этом даже себе самому, его почти разочаровало, что те двое не легли в его постель, как того желала Дирче. «Этот Рамиро — законченный глупец, — к собственному изумлению подумал он, когда тот не захотел удовлетворить прихоть Дирче. — Девушка права, приятно, когда к любви примешивается немного приключений... А провести вместе ночь в моей кровати — самое настоящее приключение». Что же до разбитого зеркала, то это Тарчизио вообще не тронуло. Впрочем, все, что случилось, касалось лишь Рамиро и Дирче, он тут был ни при чем. Что еще он мог сделать, кроме как подглядывать за ними в щель? Взять и показаться им, непринужденно, с видом доброго дядюшки, успокоить их и потом вместе с ними выпить? Или же повести себя как грозный хозяин — выгнать влюбленных? Обе эти роли были ему противны — слишком уж легко их было сыграть.

В этом водовороте смутных мыслей ему подумалось,

что не мешало бы перекусить. Он сел на стул, на котором прежде восседал слуга, вынул из кулька яблоко и начал его очищать. Делал он это прежде всего, чтобы сохранить достойный вид и тем доказать себе самому, что выйдет с честью из неловкого положения, справиться с которым он в действительности не мог. Но положив в рот яблочную дольку, он почувствовал спазм в горле, и дольку пришлось выплюнуть. Нет, он вовсе не голоден.

«Хороший сон прогонит эти темные мысли,— подумал он, вставая из-за стола.— В сущности, я просто устал с дороги. Зря я в поезде возбуждал себя пустыми надеждами, а теперь напрасно строю всякие иллюзии. Незачем ни надеяться, ни отчаиваться. Я Тарчизио, вернувшийся с отдыха, вот и все. Мой слуга — болван, а Дирче — распушенная девчонка. Стоит ли о них столько думать? Ведь не впервой мышам раздолье, когда кот далеко». Стараясь на ходу подбодрить себя подобными рассуждениями, Тарчизио вышел из столовой.

Он прошел по коридору до места, где тот поворачивал под прямым углом. Здесь, среди нескольких больших дверей, была маленькая дверь, ведущая в ванную и в спальню. Тарчизио открыл ее и зажег свет. Его глазам предстала просторная, но убогая ванная комната. Лампочка без абажура, свисавшая с архитрава, бросала желтоватый свет на серые стены в бесчисленных темных пятнах сырости. В старой ванне с пожелтевшей эмалью застыли серые тени. Одну стену полностью занимал трехстворчатый шкаф из неполированного дерева. Пол был выстлан красными ромбовидными плитками, которые шатались и разъезжались под ногами. Все еще стараясь успокоиться, унять расхившиеся нервы, Тарчизио поставил в угол чемодан и, наклонившись над ванной, поднес горящую спичку к газовой колонке, прокопченному цилиндру, закрепленному над подставкой. Несильный гул, и двадцать четыре белых и фиолетовых языка пламени внезапно вспыхнули в темной комнате. Тарчизио открыл старый латунный кран. Вода потекла обильной струей. Но собираясь на дне ванны, она не смывала серую тень, а словно растворялась, бесследно в зеленоватой патине.

Покуривая сигарету и постепенно отогреваясь, Тарчизио долго смотрел, как стекает вода. С грустной улыб-

кой лакомки он предвкушал купание в горячей воде — последнее наслаждение из множества утраченных навсегда. Он растянется во весь рост на дне ванны, и из воды будут торчать, словно десять веселых островков, десять пальцев ног. Потом он станет задумчиво разглядывать свое тело, белое и длинное, с тоненькими, редкими волосками, разглядывать так, словно это — бескровное тело утопленника, которое колышется и покачивается на волнах. В бурлящей воде, следя, как над поверхностью лениво клубится темный пар, он забудет все свои горести.

Мысли эти настолько его отвлекли, что он все делал машинально — вынул из шкафа махровую простынь и бросил ее на спинку плетеного кресла, стоявшего возле ванны, расстелил на полу коврик, положил в мыльницу новый кусок мыла. Затем открыл дверь, выходящую в спальню, чтобы взять халат. И тут его ждал новый сюрприз. Сквозь занавеси пробивался свет. Закрывать дверь было уже поздно. Он лишь отпрянул назад и потушил лампу в ванной комнате. Потом, опасаясь, что шум воды выдаст его, выключил и воду. И стал смотреть. Стоявшая на ночном столике большая лампа с красным абажуром прорезала в густой тьме воронку рыжеватого цвета, которая отбрасывала бледные, округлые блики на изголовье и добрую половину кровати. Тарчизио увидел, что возле кровати спиной к нему стоит Дирче. А на самой кровати, утопая с головой в подушке и свернувшись под одеялом калачиком, лежит Рамиро. Тарчизио заметил, что волосы слуги разметались по лицу, а счастливые глаза зачарованно смотрят на возлюбленную. Девушка стояла против света и казалась еще более темной, чем на самом деле. А вот на бело-розовое лицо Рамиро луч света падал отвесно, и оно расплывалось белым пятном.

Вдруг Рамиро заговорил.

— Ну, скоро ты? — нетерпеливым и радостным голосом сказал он. — Чего ты ждешь? Я так вмиг разделся.

Его валявшаяся в беспорядке на полу у кровати одежда: брюки, свернутые кренделем, с белыми трусиками в них, туфли, один здесь, другой там, — все говорило о том, что Рамиро торопился.

До Тарчизио донесся смех девушки.

— Что за спешка, — ответила Дирче, растягивая сло-

ва.— Разве любовницы твоего хазяина раздевались втропях?..

— У моего хазяина нет любовниц,— сказал Рамиро, смачно, с удовольствием потягиваясь.—

— Тем хуже для него.

Не меняя своей смелой, манящей позы и не отступая от края постели, Дирче закинула руки назад, чтобы расстегнуть на шее платье. Потянула пальцами за складки и сдернула платье вниз. Теперь обнажились ее смуглые плечи с ниспадавшими на них густыми, черными волосами и жалкого вида зеленая сорочка. Сквозь прозрачную газовую ткань тело казалось темным, массивным. Тарчизио поразило, какие у Дирче мощные бедра при узкой талии.

— Разве я не красива? — спросила она. И, закинув руки за голову, лениво потянулась, выгнула грудь, приняв позу статуи у фонтана.

— Сейчас, сейчас.— заторопилась она, увидев, что Рамиро сердито сморщился и готов крикнуть на нее. Одним движением бедер она сбросила платье, Тарчизио увидел, как сначала одна ее нога, потом другая высвободились из вороха материи; она подняла одеяло, оперлась коленом о кровать и нырнула темным телом в белоснежные простыни.

— Как здесь хорошо, правда? — воскликнула она. В тот же миг свет погас. С минуту Тарчизио сидел неподвижно, уставившись во тьму. Ему стало неприятно, что он не сообразил вовремя оторвать взгляд от раздевавшейся молодой женщины. Но еще менее приятно было бы вмешаться и внезапно предстать перед влюбленными. Прежде в столовой его появление было бы нелепым, а теперь — просто неуместным. Он — на пороге спальни, а эти двое, жалкий слуга и его замарашка-любовница, голые, торопливо собирают с пола одежду. Тарчизио подумал, что ему остается лишь уйти. Он прогуляется по кварталу, немного проветрится. Потом либо вернется, либо позвонит по телефону, чтобы Дирче успела одеться и уйти. Тарчизио вернулся в ванную комнату и оттуда прошел в коридор. Миновав его, он спустился по парадной лестнице и вышел из дома. Во влажном ночном мраке неторопливо пошел по улочке, на которой стоял его дом. Эта улица старинного квартала была темной и узкой. При каждом его шаге бесчисленные коты, бродившие по булыжной мостовой и затаившиеся

у порогов домов, спасались бегством в ближние переулки.

Тарчизио заметил, что первое приятное ощущение ночной свежести и свободы уже исчезло, и сейчас он шел, волоча ноги, по мокрой, булыжной мостовой, без всякого любопытства и душевного подъема... Он подумал, что неплохо бы покурить, и завернул в табачную лавку. Два человека о чем-то беседовали у стойки, и Тарчизио показалось, что они смотрят на него с любопытством. Он закурил сигарету, точно так же как раньше в столовой, чтобы сохранить достойный вид, он начал очищать яблоко. И вновь острый спазм в горле помешал ему глубоко затянуться. Выйдя из табачной лавки, он бросил сигарету на мостовую. Красные искры рассыпались во мгле.

Так, блуждая по улицам, Тарчизио незаметно добрался до речной набережной. Он облокотился о парапет и стал смотреть вниз. Стиснутая темными каменными стенами, река текла с поразительной быстротой. унося вдаль свои бурливые воды, переливавшиеся в лучах фонарей желтым свегом. Взгляд Тарчизио упал сверху на цепочку крыш речных барачков. От одного из этих барачков через реку тянулся стальной кабель, прикрепленный к медному кольцу под парапетом. Над самой его головой дерево протягивало к реке свои ветви. Чуть поодаль, под другим таким же деревом, прислонившись к парапету, стояла влюбленная парочка. Они о чем-то беспрерывно шептались, и это действовало Тарчизио на нервы.

Внезапно он подумал, что в двадцать лет сюрприз такого вечера его бы позабавил. В восторге от неожиданного приключения, он бы пошел и разбудил одну из своих подруг. И они бы вместе посмеялись над наглостью слуги и его любовницы. А может, он бы отправился беспечно бродить по пустынным улицам города и добрался бы до самых холмов, до полей, воображая себя бездомным бродягой и забавляясь этой мыслью. Тогда он еще был способен на подобные сумасбродства. Весь промокнув от росы, он ждал бы рассвета на скамье пригородного сада. И порадовался бы, что ночной патруль принял его за бродягу. Но теперь у него не было девушки, которой можно было бы рассказать об остром возбуждении, охватившем его, когда он через приоткрытую дверь ванной комнаты следил за теми двумя. Жен-

щины его юношеских лет стали либо солидными матерями семейств, либо ожесточившимися старыми девами. Они встретили бы его с удивлением и вначале приняли бы за ненормального, а потом возмутились бы его рассказом и посоветовали прибегнуть к помощи полиции.

Не тянуло его больше и бродить до рассвета по улицам. Он знал, что нести вперед его будут лишь усталые ноги, а не бесшабашное безумие. Он и в самом деле будет бездомным бродягой, без всякой надежды отыскать жилье, и ночной патруль по праву отведет его в полицейский комиссариат.

Словом, он был совсем не таким, каким рисовался себе в мечтах в купе поезда. Тогда он надеялся на чудо. Но стоило ему очутиться вне дома, на улице, и он сразу ощутил себя потерянным. Сейчас он испытывал лишь одно желание — рухнуть на кровать и отдохнуть, спокойно, бездумно. Ну, а утром он волен вновь грезить наяву. Так чего же он все-таки хочет? Как можно скорее лечь спать, потому что он устал и его клонит ко сну. Впервые Тарчизио подумал, что ему далеко за сорок и время безумств миновало.

Куда большими безумцами, чем он, были его слуга и Дирче, которые спали обнявшись в его постели. Впрочем, безумство — состояние, присущее не возрасту, а душе. А душа, которая ощущает весь груз прошедших лет, никогда по-настоящему не предавалась безумству.

Погруженный в тяжкие раздумья, Тарчизио и не заметил, как снова очутился на своей улице у ворот своего дома. Почти машинально он вынул из кармана ключ, открыл дверь и вошел. Поднимаясь по лестнице, он с нижней площадки увидел, как из тени на миг вырвалась женщина с холодным, темным лицом и ярко блестящими глазами. Это была Дирче. В своем большущем синем пальто она вновь стала похожей на школьницу. Едва не столкнувшись с ним, Дирче, громко постукивая каблуками и наклонившись вперед, еще быстрее начала спускаться в полутьме по лестнице. Немного спустя грохот захлопнутой с силой парадной двери гулко отозвался под сводами.

В прихожей дверь ему открыл Рамиро, держа в руке телеграмму. Он сказал, что телеграмму принесли совсем недавно, подняв его с постели.

Тарчизио ничего ему не ответил и прошел пря-

мо в спальню, даже не заглянув в столовую. Всегда будет время, подумал он, услышать, какую басню себе в оправдание придумает Рамиро про разбитое зеркало.

Спальня оказалась в полном порядке. Постель была приготовлена, одеяла откинута, пижама, с расправленными рукавами и свисающими вниз штанами, лежала на покрывале. Тошнотворно угодливый слуга крутился рядом. Спросил, не хочет ли он с дороги поесть, помыться в ванной, хорошо ли ему ехалось. Тарчизио с удивлением понял, что не испытывает к нему ничего, кроме жалости. И постарался побыстрее его отпустить. Когда он разделся, ему пришло на ум, что под этими же простынями темнокожая, потная Дирче прижималась нагим телом к нагому телу любовника. Но к своему изумлению обнаружил, что испытывает не отвращение, а какое-то мрачное удовольствие.

Ему даже втайне захотелось найти в кровати знак или след, оставленный теми двумя. Поправляя подушку, он такой след нашел — черный, под черепаху гребень, каким женщины обычно закалывают волосы.

Он взял гребень и понюхал его. В действительности гребень ничем не пах, но Тарчизио все же показалось, что он ощущает запах волос Дирче, горьковатый, как у дикой полыни, но с примесью дешевого одеколона.

Когда он потушил свет, у него возникла иллюзия, будто он в поезде: взволнованно подставляет лицо дождю и ветру, замороженно глядит на летящие из-под колес искры. Какой надеждой наполнилось тогда его сердце! И какую пустоту в сердце почувствовал он позже, когда стоял на набережной и смотрел на быструю речную воду! Его все сильнее одолевал сон, и постепенно оба видения — он, в летящем поезде, преисполненный надежд, и он же, грустно облокотившийся о парапет, — все больше путались. Парапет превратился в окошко вагона, а река — в рельсы. И эта путаница была новым, пусть печальным, но наслаждением.

От этих видений его отвлек хруст, с которым упрямый жучок вгрызался в дерево шкафа. Прислушиваясь к этому сухому, отчетливому хрусту, говорившему о том, что целые полчища жучков пожирают мебель, Тарчизио незаметно сомкнул веки, и ему показалось, что из глаз его катятся слезы. Но может быть, он и ошибся. С этим сомнением он, наконец, и заснул.



ОШИБКА

екий Урати, механик по профессии, побыв дней десять на одной вилле слугой, твердо решил пробраться туда как-нибудь ночью и стащить все, какие там есть, драгоценности. Урати никогда прежде не имел неприятностей с полицией, но десять дней работы слугой, как он сам стал говорить, заставили его раскаяться в своей честности. На украденные деньги можно будет безбедно прожить, нигде не работая, несколько лет. Этой идеей он поделился со своим приятелем Лопресто, простым, неотесанным парнем. Коренной горожанин, Урати во всем старался подражать буржуа, и если бы не натруженные, мозолистые руки с черными, обломанными ногтями, его вполне можно было бы принять за студента или молодого служащего. Больше того, его тонкое, смуглое лицо с прямым носом и коротенькими усиками сильно напоминало лицо одного знаменитого киноактера. Лопресто же был крестьянином, и огрубевшими у него были не только руки, но и лицо, на котором навсегда застыло удивленное, тупое выражение, как у многих людей, привыкших к физическому труду, но не привыкших думать. Урати сказал Лопресто, что им выпала счастливая возможность разбогатеть без всякого труда и риска, и объяснил ему свой план. Урати и прежде имел на Лопресто большое влияние. Своим безапелляционным тоном и наглостью он легко убедил, вернее сбил с толку Лопресто, который попробовал было возражать, но все как-то не к месту, и под градом насмешек Урати почти сразу же сдался.

Вилла, где раньше служил Урати, стояла на вершине холма, в гористой местности неподалеку от аристократического предместья. Урати, хоть и хвастал перед Лопресто своими мнимыми подвигами, на самом деле был трусоват, и совершить кражу его подвигло не только множество ценных вещей, лежавших в гостиной и в столовой, но и то, что на вилле жили одни женщины, старая хозяйка, ее дочь и две служанки. Урати, который хорошо знал привычки этих женщин, сказал приятелю, что после полуночи на виллу можно пробраться совершенно спокойно — все уже будут спать. У него остался

ключ от входной двери. Они войдут, обчистят комнаты нижнего этажа и незаметно улизнут,— объяснил он Лопресто. Но Урати ошибался. Месяц тому назад старая синьора продала виллу, и теперь она принадлежала некоему Санджорджо, торговцу.

Коренастый, широкоплечий, похожий на гориллу, с выпадающими на лоб клокочьями черных и ломких, как у покойника, волос и с лицом огромным, желтым и круглым, Санджорджо лишь казался человеком добродушным. В действительности два или три раза в году на него нападали приступы бешенства, и в такие минуты, совершенно потеряв рассудок, он способен был на любой непоправимый поступок, вплоть до убийства. Санджорджо прекрасно знал за собой эту роковую особенность и страшился ее.

Однако, если не считать этого проклятого свойства характера, Санджорджо был честным и добрым человеком, по природе своей даже сентиментальным. Он так любил детей, что в полуденные часы специально приходил в городские сады — посмотреть, как они играют. Уже много лет подряд он лелеял мечту о жене, которая бы его любила и которую он бы мог засыпать подарками и ласками. В детях, в жене он испытывал острую, болезненную потребность. Время шло, и одиночество становилось все нестерпимее. Он был богат, и богатство его росло с каждым днем. Но ради чего и кого он работает? Санджорджо водил лишь деловые знакомства, и когда ему стало невозможно, он при посредстве деловых людей в конце концов женился на дочери своего бухгалтера по имени Джильда. Белокурая, тоненькая, сдержанная, она, казалось, обладала всеми качествами, которыми наделял Санджорджо женщину своей мечты. Простодушный и не разбиравшийся в психологических тонкостях, Санджорджо, женись, думал, что Джильда его любит или по крайней мере со временем полюбит. Он отчаянно нуждался в женской нежности, но совершенно не понимал женского характера и в браке рассуждал примерно так же, как в торговых делах. Он заплатил, договор составлен, значит, жена принадлежит ему... Но Джильда сразу после свадьбы, когда они приехали вечером на виллу, которую Санджорджо купил лишь ради нее, без обиняков объявила, что не любит его и вышла за него замуж, только чтобы уйти из опостылевшего отцовского дома. И добавила, что он должен

оценить ее честность и не требовать проявления даже в мелочах нежных супружеских чувств, в которых она твердо намерена ему отказать. Она будет для него компаньонкой, помощницей, другом, заключила она, но женой — никогда. Джильда, быть может под влиянием прочитанных романов, искренне верила, что Санджорджо примет ее признание если не с радостью, то, во всяком случае, с пониманием. И еще, что он восхитится ее смелостью и прямоотой куда сильнее, чем огорчится крушением своих стремлений и надежд. Как всегда бывает, когда человек очарован собственной идеей и не замечает, насколько она оскорбительна для другого, Джильда забывала, что Санджорджо женился на ней не затем, чтобы иметь при себе компаньонку. Впрочем, Санджорджо не только не оценил это запоздалое и внезапное признание, но и не поверил ни единому ее слову.

Подозрительный по натуре, он решил, что Джильда обманула его совсем по другим, тайным причинам, что у нее еще до свадьбы был любовник, которому она, несмотря на замужество, решила сохранить верность.

Жестоко разочарованный, снедаемый подозрениями, Санджорджо после бурной сцены, не выдав все-таки своей ревности, объявил Джильде, что раз она так понимает брак, он с этого же вечера вернется к прежнему образу жизни. А пока что он завтра же уедет в город М. по делам, которые отложил из-за свадьбы. В действительности Санджорджо вовсе не собирался в столь длительное путешествие. Он был уверен, что жена воспользуется его отсутствием и приведет в дом любовника, и хотел застать их врасполох.

И вот на следующий день после злосчастной свадебной ночи Санджорджо уехал, вернее сделал вид, будто уезжает. В момент отъезда с ним случился первый приступ ярости. Он попросил жену, провожавшую его до дверей, поцеловать его на прощание. Джильда отказалась, с упрямой и наивной педантичностью напомнив ему их недавний уговор. Санджорджо и слышать не желал о всяких там уговорах и теперь почувствовал себя не только обманутым, но и униженным; стиснув зубы, он мрачно поглядел на Джильду и молча удалился.

Он отправился в ближний кинотеатр и там просидел весь вечер. Пока он смотрел, ничего не видя, на экран, его бешенство росло. Когда же события фильма невольное захватывали его, бешенство становилось еще сильнее.

В эти минуты Санджорджо заранее возмущался тем, что может безразлично отнестись к измене жены, и от этой мысли его гнев разгорался еще больше. Так бывает, когда человек, чтобы согреться, всякий раз бросает в потухающий, слабеющий костер все, что ему попадает под руку, вплоть до квартирной мебели.

Выйдя из кино, Санджорджо обнаружил, что забыл на кресле перчатки. Он вернулся назад и попросил разрешения их поискать. Но то ли кто-нибудь их уже унес, то ли служитель плохо осветил ряд, но только перчаток он не нашел.

Это происшествие, а может, в еще большей степени тот факт, что он при своем трагическом положении расстраивается из-за пустяка, окончательно распалили его неистовую бессильную ярость. По пустынным улицам предместья он пешком потащился к дому.

Зимняя ночь была очень холодной, дул колючий ветер. На ясном небе белым светом сияла полная луна. Кое-где лунный свет был до того ярким, что отчетливо проступали цвета: зеленый — окон, красный — кирпичей, хоть и приглушенные ночной изморозью. Но Санджорджо это редкое по красоте полнолуние, длившееся уже больше недели, не успокаивало, а, наоборот, распалило в его душе гнев. Ветер леденил голые, без перчаток руки и застывшие колени, и вконец растерявшийся Санджорджо думал, что яркая луна должна греть так же сильно, как солнце, и инстинктивно жался к краю дорожки, где свет луны, казалось, был ярче всего. Однако холод не уменьшался, и Санджорджо испытывал от этого все возрастающую ярость. Так, обуреваемый гневом и чувствуя себя глубоко несчастным, Санджорджо подошел к одинокому холму, на котором стояла его вилла.

На фоне прозрачного неба она показалась ему совершенно черной — лишь в окне на втором этаже горел желтый свет. Это было окно в комнате жены, и Санджорджо на миг подумал, что его подозрения нелепы. Но в ту же самую секунду внезапно зажегся желтый. Прямоугольник на первом этаже у входной двери. Санджорджо увидел, как в этом желтом прямоугольнике света возникла черная фигура и призывно махнула рукой. Мгновение спустя другая черная фигура выступила из тени, отбрасываемой фасадом виллы, и тоже вошла в дверь. Свет погас. Но сразу же вслед за этим зажглось окно в гостиной первого этажа.

В первый момент Санджорджо заподозрил жену, надеясь все же в глубине души, что он ошибается. Затем, увидев свет на втором этаже, решил, что жена ему не изменяет, и в то же время, ослепленный гневом, невольно желал, чтобы она была ему неверна... Сейчас, увидев, как отворилась дверь и жена позвала мужчину, он похолодел от ужаса.

Да, он подозревал ее, но подозрение, которое внезапно стало реальностью, кажется людям чем-то новым и даже дьявольским — своего рода чудом наоборот. Санджорджо вдруг показалось, что ему впервые открылась вся жестокость Джильды. К вилле вела зигзагообразная дорожка с четырьмя удобными площадками, которые соединялись между собой вырубленными между ними ступенями. Санджорджо, задыхаясь, вне себя от ярости, стал подниматься по этим отвесным ступеням, залитым ярким лунным светом.

Он решил, что это его неверная жена, трепеща от счастья, позвала в дом любовника. На самом же деле он увидел Урати, который, незаметно прокравшись на виллу и убедившись, что там все спят, позвал сообщника, стоявшего на стреме.

Пропустив Лопресто в прихожую и закрыв дверь, Урати на миг засомневался. Нет, это точно была прихожая той самой виллы, где он служил слугой. Тот же сверкающий мозаичный пол, те же четыре колонны из серого и красного мрамора, по две с каждой стороны, с кремового цвета капителями; а вон там, в глубине, — белые ступени спиральной лестницы, которая ведет с нижнего этажа на второй... Но куда делись стулья, кресла и столы, стоявшие здесь прежде? И потом, почему вопреки обыкновению лестница и прихожая в столь поздний час освещены? В конце концов Урати решил, что просто хозяйка сделала кое-какие перестановки, и, успокоившись, велел сообщнику идти за ним.

Он знал, что в гостиной на столиках валяется множество безделушек и ценных вещей. Рядом с гостиной была столовая, где лежали серебряные блюда и приборы. Урати надеялся очистить обе эти комнаты и затем скрыться. Велико же было его изумление, когда он зажег люстру в гостиной и увидел, что, прежде полная дорогих вещей, она превратилась в ледяную музейную залу. Санджорджо, в предсвадебной спешке, купил у мебельщика целиком обставленную комнату, какие порой

выставляют в витринах, взял и перевез ее на виллу. Это была гостиная в стиле Людовика Пятнадцатого. С того времени как носильщики мебельной фабрики выгрузили ее, Санджорджо не успел добавить туда ни единой безделушки. Вся эта позолоченная мебель выглядела здесь такой же унылой, как прежде в магазине. Даже более унылой и пустой. Ведь в витрине вещи стояли впритык и потому казались чуть более живыми. А тут, на голом полу, в окружении голых белых стен, они стояли в самых разных местах, на таком большом расстоянии друг от друга, что невозможно было представить себе, что кто-то сидел на этих стульях и в креслах и вел беседу.

Урати с первого взгляда сообразил, что произошло. Понял он и другое — среди всего этого показного великолепия — завитков из позолоченного дерева, зеркал в рамах, плотных гардин — не отыщешь и не унесешь даже золотой булавки. Он разочарованно сказал Лопресто, ослепленному этой золотистой мишурой, что в доме наверняка сменились хозяева. И раз прихватить тут нечего, лучше, пожалуй, больше и не пытаться и поскорее улизнуть.

В столовой Урати ждала еще большая неожиданность. Начать с того, что, когда он повернул выключатель, свет не загорелся. Тогда, сделав несколько шагов, Урати зажег спичку. При дрожащем свете он увидел, что столовая вообще пуста. На полу бугрились пятна извести, стены, похоже, были выбелены совсем недавно, в углу стояли малярные принадлежности: ведро с краской, кисти, банки и прислоненная к стене переносная лестница. Спичка потухла, и столовая снова погрузилась во тьму.

— Давай попытаем счастья на втором этаже, — в растерянности предложил Урати.

Но Лопресто постепенно стал понимать, что кроется за хвастливыми обещаниями Урати и в какое опасное дело он ввязался. Он сказал Урати, что на второй этаж не поднимется, а положит его внизу, в гостиной.

Сказано это было тоном твердым и в то же время жалобным, словно он внезапно осознал, в какую авантюру его втянул Урати, и теперь из честности предпочитает упрекать не его, а себя самого. С минуту оба они, стоя в полоске света, падавшей из гостиной на грязный, пыльный пол столовой, спорили вполголоса. Лопресто не соглашался подняться наверх вслед за Урати.

Напрасно Урати уговаривал его не бросать друга в трудный момент. Наконец убедившись, что не помогают ни насмешки, ни оскорбления, ни просьбы, ни приказанья, Урати весьма зло сказал, что заберется на второй этаж сам. С величайшей осторожностью он на цыпочках поднялся по переносной лестнице и проник в маленькую прихожую, куда выходили все двери комнат второго этажа. Тут он на миг заколебался. Похоже, все двери были заперты и лишь одна была слегка приоткрыта. Но вот Урати решительно направился в эту комнату, спокойно зажег свет, и первое, что ему бросилось в глаза, был сверкавший золотом, большой, плоский портсигар на ночном столике из серого мрамора. В этой комнатке, обставленной случайной мебелью, спал Санджорджо до окончательного переустройства виллы. Урати сунул портсигар в карман, потушил свет и вернулся в прихожую.

Найдя золотой портсигар, Урати приободрился и теперь окончательно уверился, что в доме никого нет. Через прихожую он прошел к противоположной двери, где, как он знал, находилась гардеробная. Неторопливо, стараясь не производить ни малейшего шума, открыл дверь, проник в гардеробную и зажег там свет.

Он увидел, что гардеробная осталась такой же, как во времена его службы: сплошные стенные шкафы с выкрашенными белым дверцами. В центре, как и прежде, стоял большой стол. На столе — электрический утюг, только шнур отключен.

Урати бросил взгляд на вторую дверь гардеробной и увидел, что она приотворена и сквозь щель пробивается свет. Он поспешно погасил лампу и прищипнул глазом к щели.

Перед ним была полностью обставленная спальня, и, что еще важнее, по всем признакам в ней кто-то был. На низкой, пышной постели лежало смятое покрывало, а на подушке — женская рубашка из розового шелка с расправленными рукавами. На стульях тоже висело нижнее белье. Возле кровати, на туалетном столике с овальным зеркалом, стояли бесчисленные флакончики и коробочки.

Урати до того осмелел, что даже позабыл, с какой целью он пробрался на виллу. В эту минуту его ничего больше не интересовало, как только подглядывать в щель за женщиной в спальне. Женщины вообще были

сильнейшей страстью Урати. Она требовала больших денег, и лишь поэтому он отважился заняться воровством. Сейчас он был вне себя от радости, что ему удастся поглядеть на красивую, молодую женщину в самые ее интимные моменты.

Немного спустя дверь ванной комнаты открылась и в спальню вошла Джильда, сразу же попав в поле зрения Урати. На Джильде был легкий голубой халат, очень длинный и широкий, волочившийся по полу, словно королевская мантия. Халат был распахнут, и под ним не было ни сорочки, ни нижней юбки. На стройных ногах в шелковых выше колен чулках красовались туфли на высоком каблуке. Сквозь прозрачную шелковую ткань тело Джильды, худое и белое, казалось мертвенно-бледным.

Она распустила волосы, которые днем носила уложенными вокруг головы. Эти рассыпавшиеся по плечам волнистые, белокурые волосы казались Урати золотым шлемом. Из-под шлема виднелось личико с детским острым подбородком, круглыми голубыми глазами, тонким носом и красными, полными губами. Обычно лицо ее имело выражение холодное и презрительное, но сейчас светилось самодовольством. Джильда подошла к зеркалу и, повернувшись лицом к Урати, принялась себя разглядывать. Какой-то миг она пребывала в нерешительности, а потом, приподняв рукой волосы, изогнула длинные ноги и застыла в небрежной позе манекенщицы на демонстрации мод. Урати ждал от нее иного жеста, более интимного что ли, и теперь был разочарован.

Джильда смотрела на себя с удивлением и жалостью, и похоже, больше ей ничего и не надо было. Сцена, случайным свидетелем которой стал Урати, была своеобразным ежедневным ритуалом. Другие перед сном молятся, читают, предаются мечтам, а Джильда проводила полчаса перед зеркалом, словно изучая себя и раздумывая. На самом деле она ни о чем не думала, а лишь безмерно изумлялась собственной красоте. Она ничем не интересовалась, кроме себя самой, и охотно провела бы у зеркала всю жизнь.

Урати подождал с минуту, не оторвется ли эта женщина от зеркала. Потом увидел, что ничего не происходит, и решил уйти. Портсигар был неплохой добычей, все могло сложиться и хуже. Он оторвался от щели и на пыпочках, как и прежде, выбрался в прихожую и на

чал спускаться по лестнице. При этом он так старался не оступиться, что взглянул на нижнюю прихожую, лишь когда был на середине лестницы. Тут он увидел Санджорджо, вышедшего из гостиной.

Урати до того изумился и растерялся, что снова помчался на второй этаж, грохоча башмаками. Одолев несколько ступенек, он понял, что его шаги гулко отдаются в затихшей вилле, но было уже поздно.

Санджорджо услышал шум и бросился за Урати. Не зная, где бы спрятаться, Урати забежал в гардеробную. И тут ему, подгоняемому страхом и грозной опасностью, пришла в голову идея, показавшаяся ему удачной. Урати сказал себе, что вор попадает в тюрьму, а вот застигнутый врасплох любовник обычно спасается бегством. К тому же в суд чаще всего подают на вора, а не на любовника жены. И Урати подумал, что если он удачно притворится любовником женщины, увиденной им в спальне, ему удастся избежать ареста.

План этот целиком отвечал характеру и склонностям Урати, скорее хитрого и тщеславного, чем смелого. Джильда, несмотря на тревожность момента, успела ему понравиться. Его хитроумное притворство было и своего рода мстостью за то, что он не смог завладеть ею, как завладел портсигаром. Однако нельзя было терять ни секунды. Урати, который оставил пальто в кустах возле виллы, снял пиджак и, подняв край ковра, сунул его под стол. Он полагал, что любовника должны застать полураздетым, как он это видел в кино. И раз он сейчас в рубашке — значит, тот, другой, должен решить, что он предавался любви. Не успел он переодеться, как в гардеробную влетел Санджорджо.

Урати сообразил закрыть дверь, которая вела в спальню Джильды. Так что она, бедняжка, не могла услышать лживого признания Урати, подтвердившего все подозрения Санджорджо. Санджорджо увидел молодого, темноволосого, красивого мужчину в рубашке, без пиджака. Сразу же решив, что это и есть любовник Джильды, он ринулся на него.

Не ожидавший этого Урати отскочил в сторону и, обежав вокруг стола, встал прямо напротив Санджорджо. Оба тяжело дышали и хранили злобное молчание. Но потом Урати, напряженно следя за каждым движением врага, стал умолять отпустить его с миром. Куда более ловкий в притворстве, чем в кражах, он избрал

тон просительный, жалобный и в то же время таинственный и нерешительный. Тон молодого человека из хорошей семьи, который, очутившись в трудном положении, не знает, может ли он ради своего спасения пожертвовать добрым именем любимой.

Урати несколько раз повторил, что он не вор, а лишь человек, случайно оказавшийся на вилле. Он не был даже уверен, муж ли той красивой женщины этот мужчина, и для начала пытался нащупать почву. Но тут Санджорджо прервал свое грозное молчание и глубоким, тихим голосом сказал, что ничего ему не сделает: он лишь хочет знать, с какого времени у них связь. Урати понял ослепление Санджорджо и возликовал — теперь он спасен. Стыдливым голосом, запинаясь, он ответил, что уже семь месяцев. Он совсем приободрился и, желая позабавиться, хотел было добавить, что Санджорджо должен ему обещать, что даже пальцем не тронет жену, но не успел. Санджорджо, не обращая больше на него внимания, бросился к двери спальни, открыл ее и исчез.

Джилда, которая ничего не слышала, наглядевшись на себя в зеркало, вернулась в ванную комнату — взять крем, которым она перед сном мазала лицо. Теперь с коробочкой в руке она возвратилась в спальню. Халат на ней распахнулся, обнажив по-детски хрупкое тело. Она очень удивилась, когда увидела, что муж, который уехал в другой город, сидит на краю постели, опустив руки на колени и уставившись в пустоту.

— Как ты здесь очутился? — с изумлением, но вполне спокойно спросила она.

Это спокойствие окончательно убедило Санджорджо, что его жена способна на самую изощренную ложь. Ведь она говорила невиннейшим тоном, который для человека подозрительного — верный признак гнусного коварства. Санджорджо решил притвориться еще более спокойным, чем она. Вот только цели и намеренья у него были совсем иные.

Даже не пошевелившись, он еле слышно спросил, не удивляет ли ее его внезапное появление. А сам не спускал с нее глаз. Впервые увидев ее почти нагой, он подумал, что совсем недавно другой обнимал это стройное тело. Джилда поймала его взгляд и недовольным, сердитым жестом запахнула халат. Хотя Санджорджо и дал себе слово сохранять хладнокровие, сейчас его зата-

ившаяся ярость едва не выплеснулась наружу. Но он сдержался и более громким голосом повторил вопрос, не удивило ли ее, что он так быстро вернулся.

Джилльда понимала, что муж ее ревнует и потому внезапно вернулся назад. Но она не догадывалась о силе ярости Санджорджо и по-прежнему считала его жалким человеком, нудным и безвредным. Она ответила, что отлично понимает причину его возвращения, и весьма удивлена, что он все еще надеется. Она же ему уже сказала однажды и может лишь повторить: она готова быть ему другом и больше никем. Но для этого он должен ей верить. Все это она говорила, стоя у зеркала и втирая четыремя пальцами крем в лицо. Халат у нее вновь распахнулся. Санджорджо повторил глухим голосом: «А, другом...» На минуту он замолк. «Моим другом и чьей-то любовницей». Голос у него прерывался, и он не смог даже выразить весь свой сарказм. Джилльда пожала плечами. И сказала, что если он собирается и дальше говорить в таком тоне, то лучше ему уйти. Впрочем, она его предупреждала: он не должен заходить в спальню без стука и, уж во всяком случае, — ночью.

Для Санджорджо это было уже слишком. Он встал, схватил жену за руку и спросил, кто же тогда мужчина, которого она спрятала в гардеробной. Джилльда с удивлением повторила его слова и жестом показала, что муж, похоже, сошел с ума. И грубо попросила оставить ее в покое. Сказано это было с нескрываемым отвращением. Прежде чем она успела что-либо сообразить, она очутилась на кровати, Санджорджо, прерывисто дыша, навалился на нее и сжал ей горло. Джилльда испугалась и тоненьким голоском стала звать маму. Но Санджорджо медленно, отчетливо, отделяя каждый слог, сказал, что настал для нее миг приготовиться к смерти. Джилльда закатила глаза и начала вырываться. И тогда Санджорджо затолкнул ее голову под подушку.

Когда Санджорджо пришел в себя, он сел подле убитой жены и, тяжело дыша, неотрывно глядел на ее красивое мертвое лицо. Потом с великим трудом поднялся и подошел к окну.

Он и сам не знал, что теперь делать. Но когда он огляделся вокруг и увидел, что в комнате мирно горит свет, а на стульях там и сям висит одежда жены, его охватил панический, безумный страх. Ему даже показав-

лось, что воздух полнится чуть слышными голосами и что, если открыть окно, эти ехидные голоса исчезнут, растают в ночи. Он подошел к окну, распахнул его и с облегчением ощутил, что ум его, в момент преступления внезапно оцепеневший, теперь пробудился и он снова обрел способность рассуждать. Он сказал себе, что совершил акт правосудия и ему не в чем раскаиваться. Он с удивлением обнаружил, что и сейчас, когда жена мертва, все еще ее ненавидит.

Вспомнил о своих давних мечтах создать семью, мирно зажить с любящей женой и сокрушенно обхватил голову руками.

Теперь ненависть сменилась жалостью к себе и даже к жене. Он обратился к ней так, словно Джильда еще была жива и могла его услышать.

— Зачем ты так поступила? Ведь мы могли быть такими счастливыми!

Он был весь погружен в свои печальные мысли, как вдруг в ночи раздались один за другим два выстрела, эхом отозвавшиеся в долине. Стреляли где-то поблизости. У Санджорджо, он и сам не знал почему, вдруг пробудилась надежда. Он отпрынул от окна и выбежал из комнаты.

Когда он слетел на нижний этаж, в прихожей зазвонил звонок. Инстинктивно ища путь к спасению, Санджорджо подошел и распахнул дверь. И очутился лицом к лицу с патрульным, который явно был взволнован еще сильнее его самого. Не успел Санджорджо и слово сказать, как полицейский вытащил золотой портсигар, чей-то свадебный подарок, и спросил, не ему ли он принадлежит. В тот же миг Санджорджо понял свою чудовищную ошибку и одновременно — как надо держаться, чтобы спастись.

Полицейский, который, похоже, стремился скорее оправдаться, а не обвинять Санджорджо, сказал, обращаясь к кому-то на площадке виллы: «Вот видишь».

Санджорджо высунулся и увидел второго полицейского, который держал за руку незнакомого человека. А на земле у стены виллы скорчившись лежал человек, казавшийся в белом свете луны черным пятном, в котором Санджорджо сразу узнал того незнакомца из гардеробной. Он был в рубашке, а рядом валялся пиджак.

Полицейский взволнованным голосом объяснил, что он пытался сопротивляться и в схватке был убит. В ту же секунду Санджорджо ощутил настоящую боль в сердце. Он крикнул, что это — убийца его жены. При этом он думал даже не о своем спасении, а о подлой лжи Урати.

Но полицейскому важно было узнать, что убитый был не только вором, а еще и убийцей. Не теряя времени даром, он вошел в дом, а за ним — второй полицейский, крепко державший Лопресто за руку.

Когда они оказались в спальне Джильды, Санджорджо бухнулся у кровати на колени и, схватив руку убитой, поднес ее к глазам. Он решил, что этим жестом еще лучше докажет свою невинность. И вдруг он разрыдался. «Так значит, это был сплошной обман», — думал он. Теперь он понял все: невинность жены, собственную ошибку, невольную жестокость Урати. Он испытывал чувство сильнейшего отчаянья. Словно незримый враг с редкой находчивостью, неотступно преследовал его до тех пор, пока не погубил.

Тем временем в дом набился народ. Санджорджо, он и сам не помнил как, вдруг очутился в одном из золоченых кресел гостиной... Через раскрытую дверь он видел, что в прихожей суетятся люди в штатском и полицейские. На рассвете приехали родственники и увезли его к себе. Санджорджо как был, не раздеваясь, рухнул на кровать в темной комнате и сразу заснул. И ему приснилось, что он невиновен. Но к полудню он проснулся и понял, что он по-прежнему тот самый Санджорджо, который задушил жену, хоть и был теперь полностью уверен, что вину свалили на мертвого Урати.

В этот день за столом родственники говорили вполголоса и проявляли о нем особую заботу.

«Графинчик с оливковым маслом для Тино... Передайте соль синьору Санджорджо... Хочешь еще жаркого?»

После обеда жена его ближайшего родственника отвела его в сторону и сказала, что теперь он должен решить, как заново построить жизнь. Санджорджо ответил, что он так и сделает. А про себя подумал, что отныне жизнь его не может быть ни старой, ни новой.

Немного спустя Санджорджо распрощался с родными и уехал.



олезнь длилась месяца два, и, как только Танкреди немного окреп, родители решили отвезти его к морю. Они подыскали виллу на побережье и сразу стали готовиться к отъезду. Но мальчик мрачно глядел на предусмотрительно уложенные чемоданы, на одежду, еще не успевшую пропитаться острым запахом нафталина. Эти преждевременные каникулы не вязались с его инстинктивным стремлением к раз и навсегда заведенному порядку. К тому же вынужденный перерыв в учебе, хотя продолжать ее он был не в состоянии, представлялся ему почти что несчастьем, прыжком в неизвестность. На самом деле он не отдавал себе отчета в том, что для него детство кончилось и начинается беспокойная, трудная юность. Когда он заболел, то был курчавым, капризным, вспыльчивым мальчиком, а поднялся с постели слабым, вялым и полным безотчетного беспокойства пареньком с коротко остриженными и гладко зачесанными на худом затылке волосами. Раньше он не ведал, что такое отвращение, страх, угрызения совести, а теперь очень многое вызывало у него омерзение. Страх не оставлял его ни на миг и сделался его постоянным спутником. Его беспрестанно мучили угрызения совести, хотя он никак не мог припомнить, в чем же собственно провинился. Между тем для матери он оставался прежним маленьким Танкреди, и в дороге она обращалась с ним как с ребенком. Танкреди это бесило, и он сгорал от стыда. Едва они приехали к морю, мать, обожавшая играть в карты, тут же нашла других любителей этой игры, а его доверила служанке Веронике. Служанка должна была следить за ним и водить на пляж. Первые дни она ходила с Танкреди к морю, потом начала присматривать за ним менее старательно, а вскоре и вовсе перестала им заниматься. Танкреди остался один и получил полную свободу.

Вилла, крайняя в этой стороне побережья, представляла собой массивное трехэтажное здание в стиле «либерти», с покатой шиферной крышей и продолгова-

тыми окнами, с мансардой и далеко выступающими балконами с резными перилами.

По всему фасаду шла яркая цветастая роспись — змеящиеся стебельки кувшинок, раскинувших во все стороны свои зеленые и красные побеги. Ножки кувшинок словно выростали из-под земли, а сами кувшинки сплетались вокруг окон, и под самой крышей распускались огромные цветы. Вилла принадлежала антиквару, другу семейства Танкредди, который уступил ее на время в обмен за оказанные ему услуги. На вилле хранились все самые неказистые вещи, самые грубые подделки, на которые не нашлось покупателей, так что она постепенно превратилась в своего рода склад.

На первом этаже в некоторых комнатах стояли лишь четыре шкафа, по одному на стену, в других — только столы, большие и маленькие и точно бы предназначенные для баррикадных боев. Многие комнаты были забиты всякой мелкой рухлядью — шкафчиками, этажерками, диванчиками. На третьем этаже, в заставленных мебелью гостиных, зеркала всех размеров в золоченых рамах словно перебрасывали друг другу зеленые блики. В спальнях две, три, а то и четыре кровати стояли рядом, точно в больничной палате. В прихожих и коридорах громоздились мраморные бюсты, сундуки и военные доспехи, на стенах чернели большие картины семнадцатого века. Вдоль лестницы висело множество гобеленов свинцового цвета с изображенными на них волоокими, изнеженными созданиями. Повсюду — темнота, затхлость и холод. Комнаты были, казалось, населены диковинными тенями и шорохами. Сюда, на виллу, не доносился шум моря и не проникал яркий прибрежный свет, так как антиквар, не зная, куда деть свои старинные в свинцовых переплетах стекла, вставил их в окна. Терпкий, густой запах старого дерева, запах плесени и мышей царил в этих комнатах, загроможденных мебелью, расставленной так, словно кто-то по странной, непонятной прихоти твердо вознамерился отразить любое вторжение людей. Для матери Танкредди все это создавало серьезные неудобства, а уж содержать виллу в чистоте было просто невозможно. К тому же сохранить в целостности эти музейные редкости и чего-нибудь, не дай бог, не разбить — поистине огромная ответственность, не без внутреннего удовлетворения повторяла она. Самому же Танкре-

ди, хоть он и не ждал заранее ничего хорошего, ви-ла показалась не только неудобной, но и пугающе мрачной. При этом он испытывал, однако, и тревожную, смутную радость, какую вызывает страх, когда он перестает быть чем-то необычным и становится нормальным состоянием.

Когда и как этот панический страх угнездился в его душе, Танкреди и сам не знал. Возможно, это был страх перед смертью, сохранившийся со времен болезни, даже и после выздоровления, а может, он возник при расставании с детством, когда Танкреди вдруг почувствовал, что у него мало сил для предстоящих испытаний. Им постоянно владело беспокойство, смутное предчувствие беды, словно повсюду его подстерегала ловушка. И над всем царствовала тайна, разгадать которую он был не в силах. Такое состояние души, наверное, прошло бы, поселись они в другом месте. Но темный дом, обставленный самым невысшим образом, точно создан был, чтобы распалить печальное, болезненное воображение. Как всегда бывает в подобных случаях, Танкреди влекло все, что еще глубже погружало его в мир ужасов. Вдобавок от него ускользнуло, что атмосфера таинственности и страха царил лишь на вилле и в окружающем ее саду. За садом же тайна ослабевала и постепенно вообще улетучивалась. Очень скоро нелепой кабинке на пляже, покосившемуся тенту и песку, который он долгими часами, глядя на пустынное море, просеивал через сжатые в кулак пальцы, он стал предпочитать дом и огороженный стеною сад.

Мало-помалу он освоился в своем мирке. Больше всего его привлекали комнатухи и мансарды на верхнем этаже — своеобразные кельи, которые своими выбеленными потолками и полами из нетесаных досок напоминали зернохранилища, и вообще всякие другие сухие, уединенные места. В некоторых комнатах почти все пространство занимала одна-единственная огромная кровать, а ее, казалось, только что свернутый кем-то матрац наводил на мысль о древней трагической любви, гайна которой навеки погребена под слоем пыли и плесени. Черные картины, чаще всего без рам, висели на стенах от самого потолка до пола, и мифологические герои, яростно сражавшиеся с мраком и тучами, казались непомерно большими для этих низких

келний... Танкреди разворачивал матрацы, зарывался в них с головой, ложился на спину, задира л ноги и так грезил долгими часами, мечтательно глядя на святых Антониев, преклонявших колена пред темными мадонами, на хищных Юдифей, восседавших на обезглавленных Олофернах, и на пышнотелых Данай, которые до того потемнели от времени, что уже не различишь ни постели, ни балдахина, ни подушек, ни божественного дождя золотых монет, так что непонятно, кого, собственно, они ждут, возлегая в соблазнительной позе. Больше даже, чем аллегорический смысл этих картин, Танкреди привлекало в них несовершенство живописи: застывшее выражение лиц, неестественность поз, непропорциональность частей тела. В сущности, ему не так уж важно было, откуда взяты эти сюжеты, из мифологии или священной истории: главное, он мог дать волю фантазии и вообразить, будто испытывает ужас перед этими героями, во что в конце концов сам начинал верить.

И вот однажды, когда он лежал на спине, его вдруг поразила картина на противоположной стене, словно отразившая его собственную позу. Видимо, это была копия картины Караваджо, запечатлевшая падение святого Павла с коня на одной из улиц Дамаска. Яркий, дымный свет, напоминавший вспышку молнии, освещал нагое, изможденное тело святого, падавшего навзничь, задрав ноги и широко раскинув руки. На лице у святого было написано полнейшее изумление. Остальная часть картины была как бы погружена во тьму, но все-таки можно было различить седло, гриву и голову коня и рядом — юного, невозмутимого стреляющего, словно явившихся сюда из другого, более спокойного мира. Танкреди эта картина вдруг понравилась как-то по-особому, точно он увидел ее впервые. Лежал Танкреди почти в том же положении, что и святой на картине, и возможно, еще и поэтому ему показалось, что он понимает не только само происходящее, но и его глубинную суть. Голова запрокинута, ноги задраны вверх, — размышлял Танкреди, — ощущение головокружения, будто спиной падаешь в пропасть, а в глазах — свет молний. А потом возникает глубочайшая вера, и мир, прежде такой простой, начинает как бы двоиться. Небесный свет озарил нежную душу святого, которая была сокрыта за внешней грубостью. Так

думалось, вернее туманно грезилось, Танкреди, отдавшему своим сокровенным мыслям. Внезапно он нащупал в кармане что-то твердое и вспомнил, что днем раньше сделал из сосновой ветки и велосипедной резины рогадку, о которой давно мечтал. Желания и мысли его с детской быстротой изменились, и ему неудержимо захотелось испытать свою новую игрушку в саду. Задумано — сделано, он спрыгнул с постели, бегом спустился по лестнице и выскочил из дому. Но едва он очутился в окружавшем виллу саду, влажная духота убила в нем всякую отвагу. Он уныло поплелся к пролому в ограде, через который каждый день пролезал на соседний участок. Подойдя к пролому, он стал пробираться сквозь кусты ежевики, уже примятые им прежде, в прошлые его вылазки. Вдруг одна из веток зацепила его за рукав и задержала. В своем уединении Танкреди привык наделять вещи разумом, и этот пустяк показался ему скверным предзнаменованием. «Не хочешь, чтобы я туда шел,— прошептал он, выдирая из рубашки колючки.— Скажи, почему ты не хочешь?»

Со стороны сада ограда была вкопана в землю, а вот с другой стороны она была куда более высокой. Танкреди взобрался на самый верх ограды, осторожно повернулся, свесил ноги и, прижимаясь грудью к каменной поверхности, соскользнул на землю. Сад был окружен глухой оградой с трех сторон, а с четвертой, как раз напротив виллы, белела гладкая, без единого окна стена соседнего дома, вернее тыльной его части. Таким образом ограда и стена надежно укрывали Танкреди от чьих-либо глаз, разве что кому-нибудь на вилле внезапно вздумалось бы выглянуть в окно и верхних окон, чего еще никогда не случалось.

Сад, весь изрытый, неровный, с возвышениями и впадинами, был усеян мусором и отбросами. В углу довольно большое дерево склонялось своими ветвями через ограду до самой дороги, густой приморский кустарник там и сям выделялся черными пятнами на песке. В этот безветренный день хмурое и серое небо, предвещавшее бурю, гасило желтизну песка и жнивья... Влажное тепло проникало в свежие кучи мусора, от которых исходил гнилостный запах.

Едва Танкреди ступил за ограду, как с ним произошло обычное для него превращение. Движения его сделались осторожными, он шел на цыпочках и испу-

ганно озирался вокруг. В какой-то мере это была игра, но внутреннее беспокойство подсказывало ему, что он лишь притворяется, будто играет, а на самом деле опасность вполне реальна, хоть он и не знал точно, в чем и где она кроется. Но разве не об опасности говорил куст ежевики, схвативший его за рукав? Танкреди поднял глаза и увидел, что на небо напоздает темная туча с размытыми дымчатыми краями. Туча надвигалась со стороны сосновой рощи и ползла к морю, поднимаясь все выше и выше. Сейчас она походила на криво и косо поднятый театральный занавес, отчего и все небо казалось кривобоким.

Внезапно в полнейшей тишине Танкреди с грохотом споткнулся о консервную банку... Одним ударом ноги он отшвырнул банку. Потом старательно, но без воодушевления вынул из ямы острые камешки, собранные днем раньше, подошел к холмику возле ограды, сел на землю, положив камни меж ног, и принялся стрелять из рогатки. Мишенью ему служила консервная банка, поставленная на верхушку ограды. Всякий раз, когда камень попадал в банку и она падала, Танкреди методично заменял ее другой. Попасть в круглые, маленькие банки было нелегко, но чем чаще камешки поражали цель, тем сильнее увлекался Танкреди игрой, которую начал без особой охоты. Вдруг, когда он, подняв камешек, вскинул глаза, чтобы получше прицелиться, он увидел большого светло-серого кота, казавшегося почти голубым на фоне хмурого, темного неба. Кот осторожно пробирался по верху ограды и был сейчас как раз за консервной банкой. «Вот возьму и попаду в него», — подумал Танкреди. Он был уверен, что промахнется, да и вовсе не хотел попадать в кота. Несильно натянув резину, он выстрелил — так, из чистого озорства. Но его руке словно передалось подрагивание камня, и он отчетливо понял, что камень угодил не в консервную банку, а во что-то живое и мягкое — в кота. Танкреди испуганно вскочил с холмика и осторожно приблизился к оградке. Казалось, удар пригвоздил кота к месту, он застыл, удивленно повернув к Танкреди мордочку. Приглядевшись, Танкреди увидел, что только один кошачий глаз светился зеленым светом и изумленно на него тарасился. Второй казался потухшим, а тоненький крестик крови на мордочке по контрасту, казалось, еще резче оттенял хрустальную прозрачность

уцелевшего, широко раскрытого глаза. Таким же прозрачным, круглым и выпуклым стеклышком был и другой глаз, который Танкреди выпущенным из рогатки камнем разбил на мелкие кусочки.

Необъяснимый ужас охватил Танкреди. Еще больше, чем сгусток крови на серой шерстке, его испугала неподвижность кота, словно окаменевшего на своих четырех лапах, и взгляд уцелевшего глаза. Танкреди не так даже испугался, что кот бросится на него, как боялся мстительной кошачьей преданности, заранее себе представляя, до чего это будет тяжело.

В самом деле, кот смотрел на него не с ненавистью, а скорее с изумлением. Казалось даже, что к изумлению уже примешивается странная, нежная привязанность, словно после выстрела из рогатки, навсегда сделавшего кота одноглазым, между ним и Танкреди возникла нерасторжимая связь. Вдали глухо прогремел гром.

«Прочь, — крикнул коту Танкреди, — убирайся прочь!» — и замахал на него руками. Кот с горестным удивлением во взгляде отпрянул назад, он точно вопрошал: «За что ты меня гонишь?» Обезумев от ужаса, Танкреди наклонился и схватил камень. Но когда он выпрямился, кота уже не было, а на ограде торчала лишь консервная банка.

Весь дрожа, испытывая непонятное отвращение, Танкреди бросил рогатку и пошел к пролому. Небо мрачно нависало над землей. Когда Танкреди перебрался через ограду, в свой сад, он заметил, что в густой листве почти совсем темно, как перед дождем. В сумеречной мгле слышалось жужжание мошкеры. Через частую черную решетку кухни до Танкреди донесся запах недомытой посуды и потухшего огня. Танкреди знал, что в этот час кот обычно забивался в угол очага, под колпаком. Подходя к кухне, он очень боялся, что кот его там уже поджидает. Он был уверен, а почему — и сам не смог бы объяснить, что кот станет неотступно за ним ходить и, чтобы от него избавиться, придется его убить. Но и после того, как он убьет кота, страдания не прекратятся, ведь его вечно будет мучить совесть. А он предчувствовал, что агония кота будет долгой и мучительной. Все же Танкреди набрался храбрости и, нагнувшись, попытался хоть что-то разглядеть во тьме. Потом промчался через кухню, на ощупь открыл дверь и проник в коридор, который вел из кухни в столовую.

Но в коридоре его уже ждал кот. Он с отвращением почувствовал, что кот трется о его голые ноги, и с воплем бросился вон из узкого, темного коридора.

В столовой тоже было темно и пусто. Танкреди больше не доверял этой обманчивой тишине и, хотя кот не появлялся, по-прежнему дрожал от страха. Он осторожно вышел из столовой, торопливо проскочил через прихожую и, дрожа всем телом, словно всадник, теряющий власть над своим конем, судорожно отыскал выключатель, зажег свет и огляделся. Первым, кого он увидел, был кот, который сидел под стулом. Кот испуганно тараторил на него уцелевший глаз, что никак не вязалось с его прежними робкими попытками завязать дружбу. Танкреди с бьющимся сердцем попятился к лестнице и стал спиной, вслепую, подыматься по ступенькам, покрытым ковром. Кот тут же вылез из своего убежища и последовал за ним, нахально вскинув морду. Танкреди добрался до лестничной площадки, на которой стоял столик со всевозможным старым оружием. Он хотел схватить пистолет или кинжал и швырнуть им в кота. А тот продолжал взбираться за ним наверх, глядя на него как бы со смутной надеждой. Танкреди нащупал сзади столик, схватил пистолет и, зажмурившись, кинул им в кота. С грохотом посыпались вниз осколки стекла: пистолет угодил в дверь столовой. В ужасе Танкреди повернулся и бросился бежать.

Он бегом одолел две лестничные площадки и влетел в коридор на третьем этаже. Из двух окон в конце коридора на красные плитки пола падал слабый свет. И вот в этом тусклом свете Танкреди увидел кота, который настороженно крался по коридору, его вздыбленная на спине шерстка казалась в тонких лучах розовой. Танкреди одним прыжком очутился у двери, схватился за ручку и стал наблюдать за действиями кота. Зверек, похоже, его не заметил, он неуверенно двигался в тусклом свете, шерстка у него дыбилась, а хвост стоял трубой.

Кот словно любовался собой на блестящем лаком полу. Внезапно он отскочил в сторону, точно играл с собственным отражением. Тут он увидел, наконец, Танкреди и сразу с доверчивым спокойствием засеменил к нему. Танкреди, все это время подглядывавший за ним, поспешно укрылся в комнате и тихо, бесшумно притворил за собой дверь.

Комната, в которой он оказался, мало чем отличалась от других комнат третьего этажа. Почти всю ее занимала огромная кровать из орехового дерева с серым полосатым матрацем, показавшимся Танкреди особенно желанным в этой угрюмой, полутемной комнате с низким потолком. На ночном столике стоял подсвечник из голубого стекла, а вот на стенах, как ни странно, не висело ни одной картины. Танкреди сел на край кровати и, подняв голову, на секунду прислушался к хрусту и пугливому шуршанию мышей, обосновавшихся между потолком и крышей. Приободрившись, он уже собрался растянуться по привычке на постели, как вдруг в полной тишине до него донесся какой-то странный шум. Кто-то тихонько, еле слышно, говорил, точнее спорил. Звук проникал из соседней комнаты, дверь в которую была приотворена. Долгое время Танкреди прислушивался не шевелясь к этому шепоту, который здесь, в комнате с низким потолком, казался нереальным, потусторонним, словно внезапно заговорила старинная мебель, а не два человека. Потом один из голосов прозвучал громче, и стало ясно, что он принадлежит мужчине. Танкреди загорелся любопытством, он встал, подошел к двери и прищелкнул глазом к щели.

Вначале он увидел лишь комнату, очень похожую на ту, в которой был сам. Он даже узнал на противоположной стене картину: падение с коня святого Павла, казавшуюся в предгрозовом свете особенно мрачной, бледно-синей. Кровать, на которой он недавно сам грезил, глядя на картину, была пуста, и непонятно было, откуда же доносился шепот, тоже вдруг стихший. Но вся комната имела сейчас вид обжитой и даже уютной, словно в темном, спертom воздухе остался след людей, только что бывших здесь. Как раз мысль о том, что своим вторжением он посягнет на чью-то заветную, тщательно оберегаемую тайну, помешала Танкреди войти в комнату и вызвала у него, когда он подглядывал в щелочку, неведомое доселе чувство постыдного, жгучего любопытства. Он все смотрел, и вдруг раздался жалобный, пронзительный и резкий скрип — так скрипит разошедшаяся дверь с несмазанными петлями, когда ее закрывают с бесконечными предосторожностями. Не оставалось больше никаких сомнений — кто-то выходил из комнаты, стараясь производить как можно меньше шума. Но дверь выдавала его своим протяжным, тонким

скрипом. Но и этот скрип внезапно прекратился. Наступила тишина, а затем, словно не было больше нужды осторожничать, оставшийся в комнате человек рухнул на кровать. Застонали пружины, заскрипело старое дерево. А потом над матрацем возникли две ноги, точно бы пытавшиеся достать до сетки постели. Голые, матово-белые, эти ноги двигались тяжело, но плавно, словно жаждали отдыха. «Ноги Вероники», — невольно подумал Танкреди, вспомнив о белом, холодном лице, голубых глазах и белокурых волосах служанки матери. Длинные, стройные, слегка согнутые в коленях, ноги эти, казалось, никак не могли найти себе покоя; они все вздымались медленно и трудно.

За спинкой кровати по стеклу слухового окна стекали темные струйки дождя:

Ноги больше не поднимались и не опускались. Охваченный нестерпимым, все растущим чувством стыда, Танкреди с пылающим лицом отошел от двери и снова сел на край кровати.

Он не знал, что и думать об увиденном, и был сильно взволнован и растерян. На первый взгляд не произошло ничего необычного. Да, но почему Вероника спала не в своей комнате? И этот шепоток, этот мужской голос? Танкреди заметил, что, задаваясь этими вопросами, снова испытывает такой же стыд, какой обжег его, когда он подглядывал в дверную щель.

Досадуя на себя, он решил не думать больше обо всем этом. Поднялся с кровати, сел на пол перед слуховым окном и спокойно, с глубоким наслаждением стал следить за дождем, хлеставшим по стеклу. В спальне уже было почти темно, Танкреди подумал, что кот, верно, ждет его в коридоре. Здесь, в комнате с низким потолком, под защитой огромной кровати, Танкреди чувствовал себя в безопасности. Он устроился поудобнее, уткнулся подбородком в колени и долго смотрел, как льет дождь. Постепенно его одолел сон, он встал и лег на постель. Матрац, хоть и был жесткий и тощий, показался ему после дощатого пола совсем мягким. Лежа на спине, он с минуту разглядывал потолок, прислушиваясь к шелесту дождя и мышинной возне под крышей. Под конец веки его отяжелели, и он заснул.

Спал он долго, без сновидений, а когда проснулся, то увидел, что уже темно. «Уже вечер, но еще не время ужинать», — решил Танкреди и так и не поднялся с

постели. Откуда-то с потолка, почти прямо над его головой, доносился настойчивый, упорный хруст, с каким обычно мышшь вгрызается в сухое, очень крепкое дерево. У хруста был свой ритм, он то ослабевал, то усиливался, а порой и совсем стихал. «Ага, мышшь убежала», — с облегчением подумал было Танкреди, и вдруг хруст возобновился с еще большей силой и ожесточением. Вдруг на Танкреди сверху упало что-то белое, скорее всего кусок штукатурки. Он испуганно дернулся, отыскивал на столике лампу, зажег ее и огляделся вокруг.

Как он и предполагал, отвалился кусок штукатурки. В потолке зияла черная дыра, небольшая, неправильной формы, с такими тоненькими краями, что нетрудно было догадаться, насколько мышшиная нора в глубине больше самой дыры. Упав вся поврежденная штукатурка, обнажилась бы, наверное, огромная мышшиная галерея. Танкреди не отрывал глаз от потолка, как вдруг увидел, как из дыры высунулось что-то мягкое, набухшее. Темное пятно шевелилось, внезапно сверкнул красный, злой глаз грызуна. Всего на миг, но для Танкреди и этого было более чем достаточно. Дрожа всем телом, он вскочил с кровати, и, не раздумывая, бросился в соседнюю комнату звать Веронику. Она уже не лежала в постели, а, низко согнувшись, сидела на табурете и что-то шила.

— Вероника, там мышшь, — дрожащим и почему-то счастливым голосом воскликнул он.

Вероника молча взглянула на него, потом отложила шитье и пошла за ним, вернее, обогнав его, направилась в соседнюю комнату.

— Там, наверху, — сказал Танкреди, пугливо остановившись на пороге и показывая на потолок.

Служанка посмотрела на дыру и, по-прежнему не говоря ни слова, вернулась в свою комнату и вскоре появилась с метлой. Она взобралась на кровать и, держа метлу за прутья, стала шарить ручкой в дыре. Хладнокровие Вероники придало Танкреди храбрости, и он шагнул через порог в комнату. Ручка с глухим шумом царапала края дыры.

— Я ее задела. Это точно — мышшь! — радостно воскликнула Вероника. Но тут метла вырвалась у нее из рук, и вниз упало что-то большое и темное. Сама Вероника свалилась на постель спиной, раскинув ноги и прижимая обеими руками юбку к животу.

— Мышь на меня прыгнула, вот сюда! — кричала она, судорожно извиваясь, и ее голые ноги выскользнули из-под юбки. Танкреди увидел, что это те же самые ноги, которые совсем недавно, подрагивая в истоме, опускались на этот же матрац. Однако мыши на этих белых ногах не было видно, и Танкреди заподозрил, что она пробралась Веронике под одежду. Вот только как ей это удалось?! «А может, мышь спряталась под каким-нибудь стулом?» Тут Танкреди со страхом подумал, что разъяренная мышь может укусить его в ногу, и вскочил на стул.

Вероника все еще отчаянно дергалась, Танкреди, боясь нечаянно коснуться пола, в ужасе перепрыгнул с одного стула на другой. Сердце его бешено колотилось, он хотел добраться до двери и позвать на помощь, но стало совсем темно. И тут Танкреди, потный и дрожащий, проснулся. Он не лежал в постели, на которой заснул, и не стоял на стуле, как ему померещилось, а сидел на полу. Хотя он уже понял, что приключение с мышью было всего лишь сном, его по-прежнему не отпускал страх, и он стал судорожно искать дверь или лампу. Но комната словно успела преобразиться, вытянутыми руками он натыкался на стены, на незнакомые углы. Ему казалось, что он не на самом верхнем этаже, а глубоко под землей, замурован в гробнице. Наконец, дверь распахнулась, дрожащий свет свечи прорезал тьму, в которой он метался, и на потолке отпечатались две тени.

— Он здесь, — раздался радостный возглас матери. — Я тебя уже целый час ищу... С чего тебе вздумалось прятаться тут в темноте?..

Танкреди, дрожащий, со слезами на глазах, зажмурившись, бросился искать защиты у матери и Вероники.

— Наверно, он грозы испугался, — сказала Вероника, глядя его по голове. — Он весь дрожит... ну перестань... чего ты плачешь?

— Мышь, — пролепетал Танкреди, — мышь...

— Какая еще мышь? — рассеянно переспросила мать. — И чего ты только пропадаешь где-то по целым дням!

Танкреди снова пролепетал «мышь», а сам, еще не придя в себя от страшного сна, невольно прислонился плечом к лону Вероники, словно желая удостовериться, не прячется ли там в самом деле мышь. Ноги служанки

показались ему странными. Конечно, это были те же самые ноги, которые он увидел через дверную щель, но сейчас они были совсем иными. Тогда ее ноги показались ему словно изнемогающими от непосильного труда; была в них какая-то нервность, а сейчас он чувствовал, что они крепкие, мускулистые, похожие на два красивых точеных столбика.

Вконец растерявшийся от этих путаных мыслей, он покорно дал женщинам себя приласкать. Потом, на ходу вытирая глаза, поплелся следом за матерью и Вероникой. Они вышли из комнаты и начали спускаться вниз. И тут вилла внезапно погрузилась во тьму: из-за грозы перегорела одна из пробок.

— Перестань хныкать,— сказала Танкреди мать, которая со светской невозмутимостью шла за служанкой, несшей свечу.— Лучше возьми свои инструменты, нам нужна твоя помощь...

Танкреди хорошо разбирался в машинах и в электричестве, и по установившейся с давних пор традиции к его помощи прибегали в простейших случаях, когда можно было обойтись без механика или электрика.

— Хорошо, мама,— послушно ответил он.

— Мы искали тебя по всему дому,— необычно мягким голосом сказала Вероника.— Какой же ты неугомонный!

Но Танкреди подумал, что намекает-то она на сцену, за которой он следил сквозь щель, и явно не хочет, чтобы он рассказал об этом матери. С гордостью, чувствуя себя сообщником Вероники, он промолчал.

Когда они спустились на первый этаж, Танкреди отправился в свою кладовку за инструментом и вскоре сказал, что теперь он готов. Распределительный щит находился под лестницей, рядом со шкафом, на котором, словно на чердаке, лежало множество пришедших в негодность сломанных вещей. Вероника отыскала переносную лестницу и приставила ее к стене. Она придерживала ее левой рукой, а в правой держала свечу. Мать придерживала лестницу с другой стороны и тоже держала в руке свечу. Подбадриваемый этими двумя ангелами-хранителями, Танкреди стал взбираться по лестнице, прихватив свечу, которую намеревался поставить на шкаф.

Добравшись до самого верха, он наклонил свечу таким образом, чтобы воск стекал вниз, и как умел укре-

пил ее на пыльном краю шкафа. В дрожащем свете его глазам предстала куча всякого старья: бронзовая лампа, множество деревянных колец для штор, настоящая коллекция пыльных бутылок всех размеров, креслице без ножек с разодранным сиденьем, из которого торчала вата. Приладив, наконец, свечу, Танкреди наклонился и попросил мать подать ему отвертку и еще два инструмента, которые он, перед тем как подняться, положил на стул. Мать протянула их ему, но в тот самый момент, когда Танкреди, выпрямившись, собрался вывинтить винт, какой-то шелест заставил его обернуться. Он увидел, что откуда-то вынырнул серый кот и, осторожно нащупывая лапой путь, тараша уцелевший глаз и вздернув синюю губу, через ворох хлама направляется к нему.

При виде кота Танкреди охватили ужас и неудержимый гнев. «Сейчас я его убью», — подумал он и замахнулся на кота отверткой. В тот же миг раздался сухой треск, из распределительного щита вырвался язычок пламени и Танкреди, ослепленный, с жалобным криком опрокинулся назад. Свечи потухли, и во тьме он почувствовал, что его, словно мертвеца, за руки и за ноги несут в столовую. Он еще слышал голос матери, приказавшей Веронике: «Сюда». Но кровь уже отлила от висков и ушла из тела; в то самое мгновение, когда зажегся свет, сам он закрыл глаза и погрузился в леденящую тьму.

Два дня спустя в круглой беседке на берегу моря мать Танкреди рассказывала приятельницам:

— В первое мгновение я испугалась, решив, что он сильно ушибся... а он даже не опарапался, лишь потерял сознание. От страха... Но признаюсь, на секунду я и сама страшно перепугалась... Но что удивительно, как мы потом узнали, замыкание-то вызвал наш домашний кот. Бедняга неизвестно уж каким образом запутался в проводах. Словом, его убило током. Он, можно сказать, принял вместо Танкреди, разряд на себя... На всякий случай я категорически запретила сыну притрагиваться отныне к проводам. Эти мальчишки такие неосторожные.

— Ужасно неосторожные, — подтвердила одна из приятельниц.

— Тасуйте карты, — сказала мать Танкреди. И игра началась.



БЕГСТВО В ИСПАНИЮ

ой же ночью, когда палачи Марья и Цинны стали обходить кварталы Рима, убивая граждан, Красс бежал. Ему было всегда двадцать лет, но, с тех пор как он родился, гражданские распри не утихали можно сказать, ни на мгновение. Несмотря на молодость, он был опытнее иных стариков, ибо у него развилось нечто вроде шестого чувства, предупреждавшего его об опасности в тех темных и страшных дебрях, в какие превратилась политическая жизнь Рима. На его глазах людей убивали только за то, что они были богаты или бедны, назывались римлянами или италика-ми, солдатами или горожанами, или за то, что, случайно оказавшись на месте схватки, не успели вовремя убежать; и Красс понял, что время, в которое он живет, — это новый Сатурн, жадно и жестоко пожирающий своих детей, и что в том страшном хаосе, где героизм и трусость равно ведут к смерти, не может быть других разумных устремлений, кроме одного — выжить. Потом, когда это жестокое и несчастное поколение захлебнется в крови и настанут новые времена, кто знает, не появится ли возможность посвятить себя делам более свободным и более человечным.

Многие, устав жить в постоянном страхе либо презрев опасность, сами выходили навстречу своим палачам, но Красс, только завидев на горизонте новый вал грозной бури, предпочел бежать. Он еще успел увидеть, как убивали отца и брата, несколько дней провел скрываясь, пока, наконец, взяв нескольких слуг и трех друзей, не добрался однажды ночью до гавани в Остии, где его ждал маленький корабль, тотчас распустивший паруса и взявший курс на Испанию.

Грустно отплывать вдаль от родины, еще грустнее бежать из отечества, спасаясь от безжалостной смерти, когда дом твой разорен, а семья уничтожена. Стояло лето, море было спокойно, небо ясно, и средиземноморские ветры дули так плавно и ровно, как будто это путешествие было спокойной морской прогулкой. Однако для Красса все кругом окрасилось в один цвет — цвет его мрачных и тревожных дум. Он знал, что в мире нет

ничего, кроме Рима, и что за пределами Рима есть только пустыни и леса, населенные негостеприимными народами, и бегство его казалось ему лишенным смысла, а сам он представлялся себе мышью, мечущейся в огромной мышеловке.

Стоило ему подумать о Риме, как его охватывало неукротимое бешенство при мысли о людях, потребовавших смерти для его близких и сейчас, с тем же преступным упорством, требовавших смерти для него самого. Так, впадая то в ярость, то в безразличие, сменяющиеся жаждой мщения, он прибыл, наконец, в Испанию.

У него не было иллюзий, он знал, что обстановка в Испании немногим отличается от той, что он оставил в Риме; и все-таки его поразило, что страх перед Марием намного обогнал его корабль: в Испанию уже проникли смятение, подлость и предательство, которые он успел хорошо узнать в Риме: не спасала ни дальность расстояния, ни другое небо, ни отсутствие прямой угрозы: братья уже не доверяли братьям, друзья — друзьям, высшие — низшим; рвались давние и прочные связи; и каждый мысленно, сам того не желая, уже видел себя — кто в стане преследуемых, кто в стане преследователей. Среди этой паники Красс не посмел объявить о своем приезде и, покинув гавань, куда пристал его корабль, в отчаянии побрел вдоль берега моря.

Весь день он видел перед собой только небо, море, песок да прибрежный кустарник, от которого рябило в глазах, и слышал только мерный шум волн, набегавших на берег. К закату, приблизившись к подножью горы, мысом выдвинутой в море, он вспомнил, что где-то здесь есть пещера, которую он посещал в один из своих наездов в Испанию, и что, сам того не подозревая, он вступил во владения некоего Вибия Пациака, близкого друга его отца и всего их дома. Он решил провести ночь в пещере и, повстречав неподалеку рыбаков, передал с ними послание своему другу, в котором выражал надежду на то, что тот его не выдаст и не откажет ему в гостеприимстве на все время, что Марий будет находиться у власти. После этого, войдя в пещеру, он стал с нетерпением дожидаться ответа. Ответ не замедлил явиться: через тех же рыбаков друг просил его оставаться пока в пещере, куда ему ежедневно будет доставляться пища, и ждать извещения о том, что горизонт прояс-

С того дня для Красса началась необычайная жизнь — одинокая, но наполнившая его душу восторгом. Первое время он опасался, что, изгнанный из Рима, отлученный от гражданской деятельности, которой посвятил себя чуть не с детских лет, он почувствует себя мертвой и ненужной вещью, подобной тем легким и дырявым обломкам, которые море выбрасывает на песок после бури. Но по мере того как шли дни, он все сильнее ощущал в себе некую радостную и пьянящую силу, какой не испытывал никогда прежде, даже во времена наибольших политических успехов в Риме. Что это было? Безумная сила молодости, не ведающей ни усталости, ни печали? Или сокровенная сила преследуемого и разбитого жизнью человека, который, потеряв все, рассчитывает только на самого себя? Или таинственная сила какого-то Плутонова божества, обитающего в пещере, которое, как земля — гиганту Антею, помогает ему в минуту опасности? Этого Красс не знал, но он ясно чувствовал, что перед этой горестной, но возбуждающей силой отступает всякий страх и всякая печаль. Какую глубокую радость испытывал он, прислушиваясь к однообразному шуму волн, разбивающихся о прибрежные камни. Какое несравненное ощущение чистоты охватывало его по утрам, когда у выхода из пещеры ему ударял в глаза блеск моря, освещенного солнцем. Как доверчиво он засыпал, вслушиваясь в ропот подземной волны, которая, перекатив через камни, с журчанием откатывала назад; как легко пробуждался. Открывая глаза, он почти верил, что за ночь с ним произошло чудесное превращение и на теле его выросли плавники и хвост тритона. Ибо человеческому существу не дано ощущать в себе эту сверхъестественную легкость и силу.

Сознание могущества, радостного и легкого, особенно наполняло его при мысли о Риме, одно воспоминание о котором еще недавно ввергало его в отчаяние. Теперь лица его врагов, преследовавшие его как наваждение, отделились и потускнели; ощущение своего превосходства и то чувство жалости, которое видящий испытывает по отношению к незрячим, не оставляли в нем места для ненависти, и все вокруг виделось ему в ярком свете, а не в мрачных тонах злобы и бесплодных терзаний.

Не иначе как божественным изволением вся эта кро-

вавая расправа вдруг разрешилась для него в единую гармонию, которой не вмещала необъятность морских горизонтов. Марий и Цинна, патриции и плебеи, римляне и латины предстали ему теперь как ряд случайностей: не они подчинили себе рок, а рок двигал ими: они же исчезнут, будут сметены после того, как послужат орудием некоего более обширного замысла. Как миражи пустынь и мраморных городов, рождаясь на востоке и отражаясь в песках пустыни и волнах моря, плывут по воздуху до тех пор, пока не разобьются о береговые скалы, так теперь этот замысел на краткое время являлся его взору, точно повисая между морем, небом и шумом волн. И там, внутри, он угадывал очертания собственной судьбы, судьбы своей родины и всего мира. В такие мгновения он ощущал себя не человеком, а богом.

Дно широкой, глубокой и высокой пещеры было на три четверти покрыто тонким и холодным песком и на четверть — чистой и темной морской водой; выход из нее был завален двумя огромными камнями, над которыми оставалось лишь узкое отверстие. Каждый день у этого отверстия слуги Вибия ставили корзину с пищей. Красс не мог их видеть, но они ясно различали его фигуру на дне пещеры. По прошествии некоторого времени они сообщили хозяину, что беглец, должно быть, повредился в уме. Ибо они своими глазами видели, как он, сидя у воды, разговаривает сам с собой или застывает на выступающем из воды камне, не замечая, что его захлестывают волны. Волосы его всклокочены, глаза блестят, движения странны. Обеспокоившись, Вибий послал узнать, хорошо ли он себя чувствует и не нуждается ли в обществе. На что Красс отвечал, что никогда не чувствовал себя лучше, что же до общества, то оно у него есть, и самое разнообразное.

Наконец, через восемь долгих месяцев до Вибия дошла весть о смерти Цинны и быстром падении Мария, и он в сопровождении слуг отправился к пещере, чтобы возвестить Крассу о том, что заключению его в пещере пришел конец. Рассказывают, что Красс сначала не узнал его и не понял, кто такие Марий и Цинна, о которых торжествующий друг что-то прокричал ему через отверстие у входа. Но затем, очнувшись, вышел из пещеры и последовал за Вибием на его виллу.

Из Испании, борясь с неверной фортуной, Красс переехал в Африку, а оттуда — в Италию. Но еще много

лет спустя, став одним из трех виднейших граждан Рима и, несомненно, богатейшим из них, он не мог без чувства острого сожаления вспомнить о времени, проведенном в гроте. Там он ощущал себя почти богом. Здесь, третий в Риме и в мире, он не чувствовал в себе той силы, какая была у него тогда, когда он был одиноким и покинутым всеми изгнанником. И от того предчувствия тайны не осталось и следа, так что под конец и все это приключение его юности стало казаться ему сном.



СМЕРТЬ ЛУКАНА

огда Лукан узнал, что ему сохранят жизнь, если он назовет имена сообщников по заговору Пизона, тот риторически-условный стоицизм, которого он держался с первых дней следствия, спал с него как шелуха и он почувствовал, как внутри его мягко поднимается нестерпимая дурнота. В первых порывах отчаяния он представлял себе, как гордо будет отвечать судьям, как достойно будет держаться все время следствия и суда, какие стихи продекламирует перед смертью, какой ореол силы и доблести будет окружать его безвременную смерть, он представлял себе современников и потомков и все, что в агонии могло измыслить его тщеславие, но только не то, что ему позволят спасти жизнь ценою предательства. Смерть виделась ему фатально неизбежной, и он всеми силами старался смягчить ее и украсить риторикой, которою владел с таким мастерством; в его насильственном смирении сама эта риторика казалась ему подлинным криком души, исторгнутым из нее крайней опасностью. Но сейчас смерть, которую он не успел задрапировать по последней и общепринятой моде, показалась ему надежным убежищем, теплым и уютным гнездом рядом с теми сомнениями, которые поднялись в нем после предложения судей; риторический образ мужественной кончины больше не тошил его тщеславия. В дни беспросветного мрака, следовавшие за раскрытием заговора, он уже видел себя изъятым из жизни, перенесенным в серые загробные края, где бродят те самые тени, которым он желал под-

ражать. Но теперь коварное и хорошо рассчитанное обещание судей, возбудив в нем надежду и желание жить, возлагало на него бремя более тяжкое, чем сама жизнь: бремя совести, совершающей выбор. В той смертной ночи, из которой его вырывало обещание судей, был только ужас, но в той новой заре, которая как будто занималась для него, было нечто худшее, чем ужас: необходимость поступать так, как будто он был зрелый муж, а не светский человек, обладатель разнообразных талантов, всеми ласкаемый и сопровождаемый хором похвал, каким он являлся прежде. От него требовался выбор, и тут его природные дарования не могли прийти ему на помощь: едва ли не ради игры вступив в этот заговор, он был теперь в таком же положении, как те, что замыслили его и в случае успеха достигли бы высшей власти над Римом. Всею своею легкомысленной, пустой и суетной жизнью он не был подготовлен к этому беспощадному выбору; горько ощущая несправедливость судьбы, Лукан бессилён был охватить сознанием всю важность, всю значительность предложенной ему дилеммы; он видел перед собой не события, не людей, но условные тени, чуть ли не более далекие от него, чем призраки Цезаря, Брута и Помпея, выведенные им в его «Фарсалии». «Моя мать, мои друзья», — твердил он себе, но мать и друзья оставались бледными и бесплотными существами, ценности которых он никак не мог ощутить за пределами того мира неподвижных и затверженных нравственных правил, из которого заимствовал персонажей своих поэм. Предать друзей, мать, внушал он себе, — это подло, это недостойно. Но где, в каком мире это подло и недостойно? В том, где он жил до сих пор? Или в театральном мире трагедий дяди Сенеки? Самая суть поступка ускользала от него: он не сознавал, что потеряет, совершив его, но ясно чувствовал, что мог бы приобрести. Фальшивым и условным казался ему долг, который он должен был исполнить; истинной и человеческой награда, которую он получил бы, нарушив долг. Перед матерью и друзьями он чувствовал себя стоическим персонажем трагедии, гордо выпрямившимся в своей красиво лежащей тоге, протянувшим вперед руку и открывшим уста, дабы нечто изречь; перед жизнью, которую он получил бы в обмен на предательство, он чувствовал себя самым собой, Луканом, тем Луканом, у которого дыбом вставали волосы от смерт-

ного страха, у которого не осталось слез, чтобы плакать, голоса, чтобы кричать, грязным и оборванным, тем Луканом, которому было страшно, который не хотел умирать.

«Величайшим» назвал он в «Фарсалии» страх смерти. Может быть оттого, что он чувствовал этот страх, образы матери и друзей оставались бледными и холодными, тогда как жизнь казалась многоцветной и радостной. Особенно солнце, милое солнце, палящее летом, утомленное и красноватое осенью, живящее весной, желанное в суровую зиму, — оно ждет его за стенами темницы и для него, совершившего предательство, будет светить так же, как для самого благородного из людей. И земля улыбнется ему своими реками, текущими из голубых гор к морю, своими лесами, полными птиц и кротких зверей, своим широким небом, по которому под ветром бегут облака. По этой земле он еще пройдет, если останется жив. Но еще милее, чем солнце и земля, достаточным оправданием жизни даже для человека обесчещенного казалось ему ремесло поэта. Кто, думал он, не совершил бы наихудшего из предательств, если бы был уверен, что напишет потом поэму, столь же прекрасную и совершенную, как поэмы Гомера? Собственным воображением создавать героев, сражения, богов, чудесные подвиги, из самых глубин души извлекать слова, вслушиваться внимательным ухом в их звучание, читать с чувством, обсуждать с тонким пониманием, раздумывать над ними без конца; а потом декламировать их, принимать аплодисменты, выслушивать похвалы и критику, отовсюду слышать свое имя; что может быть прекраснее в мире? Уж конечно, не бесплодная и пыльная слава добродетельного стоика, ибо один стих Вергилия стоит больше, чем вся неколебимая твердость Катона. Сейчас Лукану всего двадцать семь лет, и если он останется жить, то напишет стихи прекраснее Вергилиевых, а это — внушал он себе — полностью оправдывает любое предательство.

Среди таких мыслей, ощущая в теле ту же мучительную разбитость, Лукан провел день. Вечером вернулись для допроса судьи. «Аттилла, — сказал он, — моя мать Аттилия — сообщница Пизона». Один из судей, сидя, записывал, другой допрашивал, третий сжимал в руке меч. И после того как Лукан назвал имена матери и друзей, тот, что держал меч, произнес: «Обещание не

будет исполнено. Ты осужден на смерть». Услышав эти слова, Лукан понял, что потерял сразу и доброе имя, и мать, и жизнь; он бросился на колени перед судьями, он кричал, он умолял. Но уже дверь захлопнулась, а из коридора слышались удаляющиеся шаги судей.

На другой день, декламируя свои стихи об умирающем солдате, Лукан протянул хирургу запястья. Ему было двадцать семь лет, и солнце продолжало сиять в небе, звезды продолжали свое извечное движение. Он знал, что умирает из-за бессмыслицы, к тому же совершив предательство, которого никогда не искупит поэтическое величие. И кто вспомнит о нем? Грамматики и риторы? Прочитав первые строки, он взглянул на вены, на тоненькие ручейки растекающейся крови, похожие на ярко-красные корешки какого-то ядовитого растения, до ногтей окрасившие все десять опущенных книзу пальцев. Продолжая декламировать, он понял, что открытые вены не заживут никогда и что в них никогда не вернется кровь, стекающая каплями с пальцев, голос его задрожал, и по нему словно бы растекалась влажная горечь. «Смотрите, — хотелось ему закричать, — смотрите, как я умираю». Но в стихах смерть уже была описана, да и времени не оставалось. Так окончилась краткая песнь, а с нею угасла и его жизнь.



ТЩЕСЛАВНЫЙ

гром, меж тем как прислуга энергично распахивает ставни, первый взгляд Танкреди к часам — время для него, живущего в праздности, не существует, и не к завтраку, поставленному рядом на стуле, — Танкреди равнодушен к еде, и даже не к небу, видному за окнами, — для Танкреди погода если и имеет значение, так лишь в связи с его тщеславием, то есть с необходимостью одеваться теплее или легче, облачаться в шегольское пальто с хлястиком либо в светлый плащ; нет, первый взгляд его мутных еще глаз обращен к но-

вому костюму, который портной принес накануне вечером, а Танкреди, вернувшись домой поздно ночью, увидел разложенным на постели.

Сейчас, похожий на пугало, костюм надет на манекен посреди комнаты, и Танкреди, с той же поспешностью, с какой юная мать, едва проснувшись, просит принести ей в постель сына, велит прислуге придвинуть к нему костюм, дабы можно было без напряжения смотреть на него и щупать. Изучение оброчы продолжается минут двадцать; впрочем, было бы неверно приписывать это объяснимой требовательности знатока и заказчика. На самом деле Танкреди рассматривает и ощупывает костюм не для того, чтобы увидеть, нет ли какого дефекта: еще во время многочисленных примерок он имел возможность придирчиво проверять, пядь за пядью, шов за швом, работу портного; в данном случае созерцание совершенно лишено критических целей, можно даже сказать, что он как бы и не видит костюма, это скорее не изучающий взгляд, а смущенно-восторженный и влюбленный. Одним словом, в прекрасно отутюженном костюме с пустыми рукавами и воротником, прилегающим к шее аккуратного усеченного манекена, Танкреди отражается, точно Нарцисс в своем озере; и не столько работа портного, сколько расплывчатое и неясное отражение собственного тщеславия заставляет его, не сводя широко открытых глаз, тянуться к неподвижному, насмешливому пиджаку без головы.

Меж тем кофе остывает в чашке, время идет, вернее летит, пиджак на плечах манекена, еще десять минут назад бывший всего лишь пиджаком, теперь — загадка, фетиш, табу, кумир, вещь, непостижимая для разума, полная значения и даже отдающая колдовством. Как от него оторваться? Танкреди рассуждает: «Передо мной коричневый пиджак в крупную зеленую клетку, ничего больше». Что-то не столько в пиджаке, сколько в нем самом остается для него неведомым и потому притягательным. Наконец, глубоко вздохнув, он стряхивает с себя оцепенение, быстро проглатывает кофе и, поднявшись с постели, переходит в ванную.

Говорят, Иммануил Кант в родном Кенигсберге совершал каждое утро прогулку по бульвару, в конце которого росло некое дерево, и когда это дерево срубили, великий философ пришел в такое расстройство, что не

мог обрести в тот день привычной ясности мысли. Если взять другой город и другое действующее лицо, можно сказать, не боясь ошибиться, что Танкреди был бы конечным человеком, не посвящай он каждый день утреннему туалету те два-три часа, в течение которых, точно пианист, берущий перед концертом несколько аккордов, он возвращается к своей исключительности, иначе говоря — к своему тщеславию. В то время как он подставляет тело хлещущему душу, вытирается и, вытершись, бреется и затем чистит зубы, пудрится, причесывается, наводит лоск; одним словом, в то время как он методично, но с мучительной сосредоточенностью, словно священник, готовящийся к службе, постепенно, с нарастающим напряжением, приближается к главной минуте — минуте облачения, все в нем — и душа, и тело — оживает, хорохорится, возбужденное приливом глубочайшего самодовольства. Кровь в венах движется быстрее, легкие неясные мысли роятся в голове, как жужжащие пчелы, мускулы начинают играть под кожей, будто у чистокровного скакуна, глаза, полуприкрытые мокрыми взлохмаченными волосами, все еще затуманенные сном, просыпаются, сияют, смотрят. И что же они видят? Ничего, кроме Танкреди, — во всех зеркалах, больших и маленьких, полутемных и ярко освещенных, высоких и низких, они не видят ничего, кроме Танкреди. Только Танкреди. Спину, затылок, лицо, ноги, грудь, руки и опять лицо Танкреди. Снедаемый искушением, подобно человеку, который на улице или в другом общественном месте замечает, что ему улыбается красивая женщина, и колеблется между смущением и желанием, не зная, улыбнуться в ответ или нет, Танкреди борется с собой некоторое время, наконец сдается, становится перед зеркалом и смотрит на себя. Нет ни одного квадратного миллиметра собственного лица, что не казался бы ему очаровательным и значительным, его лицо — тайна, кто разгадает ее? И вот уже, не выдержав, он чмокает зеркало: получай, думает он, получай, ничего не поделаешь, это сильнее меня, получай, красавчик, симпатяга, получай этот поцелуй, твоя взяла. Напряжение снято, Танкреди воротово оглядывается, словно испугавшись, что за ним наблюдают, возвращается в комнату и начинает одеваться. Сорочка, трусы, носки, галстук, костюм, наручные часы, портсигар, зажигалка, бумажник, булавка, туфли, шляпа, перчатки — все эти вещи не взяты Танкреди и не

определены на свои места: нет, они сами, обладая собственной жизнью, прыгают со всех сторон на это голое тело и в мгновение ока покрывают его, одевают, украшают. Такою легкостью, воздушностью, гармонией отмечена заключительная часть утреннего ритуала. Так быстро и блаженно проходит время. Таким чудом представляется Танкреди, что он вдруг одет с ног до головы, и сам не знает, как это вышло. Несомненно, то был экстаз, состояние транса, мистическая отрешенность. Иначе не объяснишь эту волшебную легкость, это исступленное забвение, это неосознанное нарушение законов времени и пространства. Правда, Танкреди не занимается самоанализом. Уже поздно, до часа дня он должен прогуляться, зайти в несколько магазинов, показаться на людях. «Эбэ! — кричит он. — Эбэ!» И быстро выходит из комнаты.

Какая разница между дорогим автомобилем, гарденией в петлице и женщиной? Похоже на загадку, притом из самых глупых; однако это обыкновенный вопрос. Разница большая, огромная, неизмеримая; если взять автомобиль, цветок и женщину, то первый будет минерального происхождения, второй — растительного, третья — животного. И потом, душа, черт возьми, у гардени и машины ее нет, но у женщины-то душа есть, хотя, случается, это оспаривают, но кто? — разочарованные в любви, неисправимые женоненавистники, ярые позитивисты, люди, говорящие назло. Разумеется, никто не собирается относить Танкреди к их числу; и все же не подлежит сомнению, что для него в ту минуту, когда он выходит из дому, его жена Эбэ, цветок в петлице и машина, в которую он садится, составляют единое целое, стоят в одном ряду, объединенные общим уделом. И каков этот удел? Отнюдь не печальный — удел украшать Танкреди, придавать вес его особе, удовлетворять его тщеславие. Машина выезжает, катится по асфальту, от дерева к дереву, в ясных лучах солнца. Вот фешенебельная улица, чета выходит из машины и прогуливается. Многие оборачиваются и смотрят на Эбэ, такую нарядную, такую молодую, такую хорошенькую. Эти взгляды, вместо того чтобы вызвать у Танкреди ревность, окрыляют его, обволакивают, доставляя удовольствие, пьянят. Чего еще желать, помимо коричневого костюма на себе в крупную зеленую клетку и красивой жены, с которой идешь под руку, что может

быть прекраснее в мире? Напыщенный, сиплый павлин, когда он распускает хвост на газоне и при этом медленно поводит головой, глядя, восхищаются ли им, павлин, я считаю, наверняка не так доволен, как Танкреди.

Уже первый час, и люди возвращаются домой — все, кроме Танкреди, который, войдя в магазин мужского платья и усадив жену в сторонке на стул, растерялся в выборе галстука. Жена сидит как на иголках, хочет домой, да и продавец, вначале такой вежливый и настойчивый, молчит и нетерпеливо поглядывает на часы, но Танкреди колеблется. Полоски нравятся ему не меньше, чем горошек, одноцветные галстуки — не меньше пестрых. Радуга галстуков, рассыпанная продавцом на прилавке, вся кажется ему прекрасной, подходящей, привлекательной. В таких случаях сделать выбор — значит чем-то пожертвовать, обделить себя, отказаться. Жадная улыбка возбужденного тщеславия, полная нерешительности и восхищения, блуждает в уголках губ Танкреди, его капризные пальцы скользят по шелку, ему бы нужен любой довод, один-единственный, пусть нелепый, чтоб поколебать чаши этих жестоких и сладостных весов, но он его не может найти. Наконец, поспешно, чуть ли не с закрытыми глазами, ибо нелегко совершать несправедливость, он выбирает, платит, выходит из магазина вслед за нетерпеливой женой.

Утро окончено. Танкреди возвращается домой. Но когда он едет по прекрасной асфальтированной улице в мягких золотистых лучах осеннего солнца, он замечает на ветровом стекле в калейдоскопе облаков и бегущих навстречу деревьев собственное изображение. Изображение, голубое там, где отражается небо, зеленое, где отражается листва, улыбается ему, и Танкреди, тотчас побежденный, не может не улыбнуться в ответ. На блестящем чистом стекле меняются деревья, дома, облака в небе, а изображение остается. Милое эфемерное изображение! Танкреди хотелось бы, чтобы дорога продолжалась вечно.

Тем временем машина Танкреди удаляется, яркие блики света играют на радиаторе и время от времени слепят глаза, — удаляется по серой асфальтовой ленте вдоль густых деревьев, делается все меньше, наконец пропадает. Улица, залитая солнцем, остается пустынной.



ОБЖОРА

кабинете нотариуса зеленые и оранжевые нотариальные книги, стопами сложенные там и сям на стульях и на столе, будучи оставлены в покое, превратились в бумажные горы, сцементированные пылью и заброшенностью. Клиенты давно уже забыли сюда дорогу, но нотариуса это не беспокоит, небольшая рента позволяет ему обходиться без этих назойливых нарушителей его самых заветных радостей.

Раннее утро, нотариус только что позавтракал, посуда еще на столе, бритая красноносая голова торчит из воротничка, по-старомодному высокого и крахмального, одной рукой нотариус придерживает газету, закрывшую половину письменного стола и свисающую ему на колени, другой нашаривает в выдвинутом ящике коробку, тащит из нее хрустящее печенье, подносит корту и торопливо жует, озираясь, словно боится, не увидит ли его кто. Идет дождь, слабый влажный свет проникает в окно, прикрытое занавеской в цветочках, у нотариуса за отсутствием клиентов, казалось бы, нет другого дела, кроме как дожидаться далекого еще часа обеда. Так он и бывало, пока его обжорство робко ограничивалось полостью рта и едой в определенные часы и не распространилось еще на весь организм и на целый день. Но с годами он нашел способ, когда не ест, заниматься хотя бы тем, что он будет есть. И вот он отодвигает газету, вскакивает, отряхивая с себя крошки печенья, снимает с вешалки, помимо шляпы и пальто, кошелку — с такими кошелками кухарки ходят за провизией. Он берет кошелку под мышку с деловым видом, точно это адвокатская папка, нахлобучивает на голову шляпу и, важно ступая, выходит из дома.

По улице он идет не спеша, растрawляя душу сомнением, вопросом, наполняющим его сладостным нетерпением: рыба или мясо? Болтливой и ничего не смыслящей кухарке нотариус поручает покупку макарон, хлеба, фруктов, сам же берет на себя второе блюдо и, когда нужно, деликатесы. Так что же — рыба или мясо? Каждое утро это сомнение возбуждает в нотариусе азартную дрожь, как будто мясо или рыбу он собирает-

ся не покупать в магазине, а добывать на охоте или ловить сетями в море. Робинзон на своем острове, гадая, с чем отправляться на промысел — с острогой или стрелами, наверняка испытывал точно такой же трепет.

Вот рыбная лавка — ее выдает запах чешуи и соли; нотариус заходит, смотрит, изучает, в считанных корзинах одна мелочь, голубая и дряблая, на прилавках лежит несколько кефалей, мерланов и других крупных рыбин сомнительной свежести, раскрытые красные рты застыли в подобии жалобной гримасы. Видно, ловили в бурю, думает нотариус и, качая головой, выходит на улицу. Лучше зайти в мясную с ее холодными мраморными панелями.

Здесь, среди светлых и кроваво-красных туш, разрубленных на четверти, висящие раздельно на железных крюках и широко, с мрачным бесстыдством, распяленные на толстых перекрещенных прутьях, нотариус вправе позволить себе колебаться, имея возможность самого разнообразного выбора: ему могут отрубить на розовой колоде одним ударом топора прекрасный бифштекс с косточкой, или завернуть в желтую хрустящую бумагу темный лоснящийся кусок печени, либо взвесить на латунных чашах гроздь морщинистого желтоватого рубца, а то еще лучше — ведь нотариус великий любитель ассорти из отварного мяса — подобрать жирную свиную ножку, покрытую щетиной, шершавый кончик языка и правую сторону телячьей головы с целым ухом, напоминающим ослиное, с глазом и даже несколькими зубами. Делая покупки, нотариус становится на цыпочки перед высоким мраморным прилавком мясника, без отвращения переворачивает руками рубец, почки, печенку, при ударах топора не моргает, не морщит носа от мясной вони.

Нагрузив кошелку свертками, он направляется в ближайшую гастрономическую лавку. В этой лавке, похожей на пропитанную жирным запахом пещеру, под висячими сталактитами копченых окороков, сальных свиных ножек, распухших от фарша, колбасных батонов с косточками на концах, среди голов пармезана, сложенных черными колоннами, и желтеющих пирамид сливочного сыра, нотариус делается в два раза придиравее и строже. Ибо это не только место, где продаются соблазнительнейшие деликатесы, но и место наи-

более беззастенчивых махинаций. Следует хорошенько открыть глаза и ноздри, нельзя ни в коем случае полагаться на заверения лавочника, выглядывающего из-за красного агрегата для резки; нотариус слушает его весьма подозрительно, скорчив самую кислую гримасу на свете. Наконец он просит отрезать ломоть зеленовато-мраморной горгонцолы, покупает несколько черных маслин и немного маринованных овощей к вареному мясу и уходит.

Вернувшись домой, нотариус вручает кошелку кухарке, после чего удаляется в свой кабинет почитать газету и погрызть печенья. Но не проходит полчаса, как он поднимается и, крадучись, направляется к кухне, чтобы наказать кухарку быть особенно внимательной при приготовлении некой приправы. Кухарка, несмотря на долгую привычку, недовольно встречает эти поучения и нередко огрызается: она сама знает, как ей готовить, и вовсе не нуждается в советах. На что нотариус, всплившись, отвечает оскорблениями. «Сплетница, гусыня!» — побагровев, кричит он сердитым тоненьким голоском. Надзор надзором, а позднее, около двенадцати, начинается снятие пробы. Нотариус поднимает крышки, сует нос в окутанные паром кастрюли, обмакивает хлебный мякиш в томатный соус и отправляет в рот. Или торопится прожевать поскорее огненную картофелину. «И чего вы за стол садитесь, — выходит из себя кухарка, — раз вы уже покушали?» Нотариус возмущенно пожимает плечами, пытается извлечь пальцами из дымящегося бульона телячью голову, обжигается, покидает, чертыхаясь, кухню.

Так, в этом нетерпении, в этой ходьбе взад-вперед, в этих перепалках, в этих дегустациях проходит полдня. Наконец настает самая значительная минута, когда в кипящую воду засыпается рис или макароны — смотря какой сегодня день. Этой минуты нотариус, по давнему обычаю, сохранившемуся с той поры, как он еще работал, ждет в кабинете. Едва начинают звонить полуденные колокола, кухарка должна постучать в дверь и спросить, можно ли «засыпать». Нотариус снисходительно вынимает из кармана часы и отвечает, что можно. Через полчаса выстраданный и перепробованный обед подается на стол.

За столом, хоть он и обедает в кругу семьи, нотариус держится так, будто он нем, глух и слеп. Отгорожен

от близких стен. Посторонний. Нотариус не только не заботится о том, чтобы его участие в разговоре не ограничивалось мычанием и жестами, но и, зачастую, о том, чтобы соблюдать элементарные правила приличия. Полное наслаждение пищей требует соответствующих ужимок и звуков, которые со стороны могут показаться неподобающими, но для него являются наилучшей приправой; более того, без них, возможно, вообще не имело бы смысла есть. Чавкать и хлюпать губами, есть с ножа, облизывать со всех сторон ложку, разговаривать с полным ртом, жадно искать на блюде лучший кусок, наклоняться над самой тарелкой, загораживая ее рукой, будто из страха, что тарелку отберут, — подобная распушенность улучшает для нотариуса вкус пищи по меньшей мере настолько, насколько раздражает его соотрапезников. А это немало. Часто кто-нибудь из них выговаривает ему, на что нотариус реагирует то презрительно, то уклончиво, то насмешливо, а то и вовсе пропускает упреки мимо ушей. Он, конечно, чувствует, что действует другим на нервы; но он раз и навсегда решил ни с кем не считаться, когда речь идет об удовлетворении его самой упорной страсти. Что такое хорошие манеры и прочие условности в этом роде для человека, который, подобно ему, должен прокормить ненасытное чудовище? Нотариус непоколебим.

Пообедав, выпив кофе, он опять удаляется в свой кабинет. Тут он засыпает, сидя в кресле, голова с красным носом клонится набок, рот полуоткрыт. Это не сон в полном смысле слова, хотя нотариус и похрапывает, это дремота, время от времени рука погружается в ящик за печеньем, которое он не доедает, и крошки падают с губ на галстук. Но вдруг он просыпается — резко, мгновенно, точно его осенило, решительно встает и выходит из кабинета. Крадучись, отражаясь причудливой тенью на темных стенах коридоров, он пробирается в кладовку, квадратную комнатку с полками по стенам, зажигает желтую лампочку и набрасывается на еду. С той минуты, как он поднялся из-за стола, прошел какой-нибудь час, но разве это имеет значение? Его устраивает любая еда в любое время: вековая корка сыра, немного холодной фасоли в застывшем соусе, недоеденный салат под майонезом, остатки маслянистых слипшихся макарон. Закрывшись в этой камерке с кислым запахом плесени и жира, нотариус судорожно отщипывает, откусывает, про-

бует, жует, глотает, чудно жестикулируя, чудно прищелкивая языком и хрустя челюстями, еще более чудно вращая глазами. Пороки превращают человека в нелюдима, поэтому нотариус так любит таинственность, поэтому ему милее втихомолку давиться здесь, в кладовой, чем есть за столом в кругу семьи.

Вечером, за ужином, повторяется та же картина, те же ужимки, что за обедом. Чего еще желать? Нотариус счастлив. Те, кто его знает, говорят про него, такого цветущего, крепкого, бодрого, что он наверняка доживет до глубокой старости.



СКУПОЙ

е в пример многим скупым, которые невольно проявляют эту свою страсть в каждом поступке, превращаясь в конце концов в живое и законченное ее воплощение, Туллио скрывал свою скупость под маской человека совсем не скупого, даже щедрого, и никогда не выказывал ее, кроме тех редких случаев когда ему волею жестокой необходимости приходилось раскошелиться. В облике Туллио не было и следа той черствой и хищной подозрительности, какую обычно приписывают скупым. Он был среднего роста, склонен к полноте и имел вид довольный и благодушный, свойственный людям, которые привыкли жить без забот, ни в чем себе не отказывая. И в поведении своем он был прямой противоположностью традиционному типу скупого: радушный, приветливый и словоохотливый, с непринужденными манерами, он обладал широтой, которая заставляла думать о щедрости, хотя, как это нередко бывает, у Туллио широта проявлялась лишь во взглядах и общих словах, которые денег не стоили. Кроме того, говорят, что скупые, одержимые своей страстью, не способны интересоваться ничем, кроме денег. Но если поверхностный интерес к искусству и культуре считать достаточным доказательством щедрости, то Туллио был сама щедрость. Он никогда не произносил слово «деньги», и даже больше того — на устах у него неизменно были лишь слова самые благородные и бескорыстные.

Он прилежно читал все новые книги известных писателей, регулярно следил за газетами и журналами, не пропускал ни одного нового кинофильма и театральной премьеры. Злые языки скажут, что книги он всегда мог у кого-нибудь одолжить, а газеты и журналы взять у себя в клубе и что ему не составляло труда достать контрамарку на любой спектакль. Но что там ни говори, а все же у него были эти духовные интересы, которые он всячески старался выставить напоказ. По вечерам у него часто собирались друзья — адвокаты, как и он сам; они до поздней ночи говорили о политике или обсуждали животрепещущие проблемы литературы и искусства. Но этого мало: он слыл человеком, у которого под неприкрытым добродушием и сердечностью скрывается характер серьезный, строгий и даже аскетический, человеком необычайно совестливым, который даже в мелочах поразительно щепетилен. А если так, все это плохо вяжется со скупостью. Ведь скупость, как известно, легко заставляет молчать совесть и не признает никаких проблем, кроме одной, чисто практической: как жить, тратя поменьше денег.

Таков был Туллио. Или, вернее, таким он стал. Потому что эта сердечность, мягкость, широта и разносторонность интересов, теперь сделавшиеся лишь видимостью, некогда были главными его качествами. В самом деле, одно время, лет десять назад, когда Туллио был двадцатилетним юношей, он так увлекался театром, что даже подумывал бросить адвокатскую карьеру и попробовать писать комедии. В то время моральные проблемы вставали перед ним по самым, казалось бы, незначительным поводам, вследствие чего он много думал о себе и о своей жизни. И наконец, в то время он щедро тратил деньги на себя и на других. Но теперь он сохранил с прежним Туллио лишь внешнее сходство. Незаметно для него самого год за годом скупость разъедала самые корни, питавшие этот первый и единственный расцвет его жизни.

Есть люди, которые, страдая каким-нибудь пороком, сначала борются с ним, а потом, по слабости, не могут устоять и, внушая себе, что никто их порока не замечает, предаются ему со страстью. А некоторые, наоборот, целиком оказываются во власти своего порока и сами совершенно не видят его. Когда Туллио начала одолевать скупость, он не мог устоять. Вероятно, вначале он пробо-

вал ей сопротивляться, а потом, поддавшись сладкому и неодолимому соблазну, начал понемногу прикапливать деньги. Его близкие это заметили, но, надеясь, что все уладится само собой, молчали, чтобы не обижать его. Он же вообразил, что это прошло незамеченным, и стал скряжничать, не на шутку, по-настоящему. На это окружающие тем более обратили внимание, но, думая, что теперь уж дело зашло слишком далеко и беде все равно не помочь, снова промолчали. Туллио в то время было лет двадцать пять, и с тех пор он предался своей страсти без удержу, так что его вскоре совершенно заслуженно стали называть скупым.

Именно тогда, в двадцать пять лет, Туллио начал придерживаться мудрого правила никогда не выходить из дому, имея в кармане больше пяти или шести лир. Таким образом, он никак не мог потратить много, даже если бы по слабости ему и захотелось. В этом возрасте его начали одолевать страхи, навязчивые мысли, суеверия, присущие скупости. Одно из этих суеверий состояло в том, что он признавал только круглые числа. Скажем, он шел в кино с приятелем и видел, что билет стоит пять лир шестьдесят пять чентезимо. Обычно он приставал к приятелю до тех пор, пока тот не выкладывал из своего кармана эти шестьдесят пять чентезимо, которые так некстати портили прекрасную круглую сумму в пять лир. Кроме того, он всеми правдами и неправдами всегда старался отказаться от угощения и даже от стакана воды, опасаясь, что потом придется отплатить за это. Свидания он всегда, в любую погоду, назначал на улице и расхваливал уличные скамейки, называя их самым удобным и укромным местом для беседы. Если же он все-таки бывал вынужден зайти в кафе, то прикидывался больным, хватался за живот и, ссылаясь на нездоровье, уверял, что не в состоянии ни есть, ни пить. Но нередко он сам выдавал свое притворство, так как, едва выйдя из кафе, сразу веселел и начинал оживленно разговаривать. Он бывал недоволен, когда его приглашали обедать или завтракать без предупреждения, потому что в таком случае ему не удавалось сэкономить на еде дома. Всякий раз, как ему по какой-либо причине приходилось путешествовать, он, едва приехав в чужой город, прежде чем подняться в свой номер, спешил обзвонить из вестибюля гостиницы всех своих знакомых, даже тех, которые были ему чужды или неприятны, в на-

дежде, что его пригласят в гости и он сэкономит на обеде. Обычно он не курил, хотя это доставляло ему удовольствие, но охотно брал сигарету, когда его угощали. С женщинами он всегда много говорил о чувствах, хорошо зная, что они, когда любят, бескорыстны и удовлетворяются комплиментами, ночными прогулками, ласками и тому подобными не требующими особых затрат пустяками. Он твердил, что любовь чужда корысти. И там, где есть корысть, не может быть любви. Он с гордостью говорил, что испытывает настоящий ужас перед продажной любовью. Он хочет, чтобы его любили за его достоинства, а не за то, что можно от него получить. Словом, он с самого начала ставил себя так, что ему не приходилось тратить деньги и делать подарки, доказывая свою любовь. Однажды у него был роман с немолодой и некрасивой вдовой, который продолжался несколько месяцев. Он притворялся, будто любит ее, но в душе сознавал, что сохраняет ей верность лишь потому, что не так-то легко найти другую женщину с квартирой, куда он мог бы приходиться когда захочется. Таким образом, подлинной основой его любви была экономия денег, которые пришлось бы платить, снимая комнату. Если любовница просила пойти с ней в театр или пообедать в ресторане, он соглашался. Но потом звонил по телефону и отказывался, ссылаясь на какую-нибудь важную причину. И мало-помалу она привыкла ничего у него не просить. Она знала его скупость, но, так как была уже немолода, хотела прежде найти другого любовника, а потом уж порвать с ним. Их холодные и порочные отношения длились почти полгода, а потом она отвергла его с таким откровенным и оскорбительным презрением, что всякий раз, как Туллио вспоминал эту женщину и роман с ней, у него портилось настроение. Чтобы как-то оправдать свою скупость, он постоянно жаловался. Всякого, кто изъявил желание его слушать, он уверял, что экономический кризис, охвативший весь мир, особенно отразился на его делах. Адвокатская практика, объяснял он, приносит теперь лишь ничтожный заработок. Если бы работать не было долгом каждого, он без колебания бросил бы свою профессию. При этом он лгал, потому что благодаря постоянной экономии и расчетливому ведению хозяйства он с каждым годом становился все состоятельней. Но так как он заводил эти бесконечные и нудные жалобы при всяком удобном случае, ему

не только верили, а даже сочувствовали. Одевался он скромно, квартиру снимал неважную, автомобиля у него не было, и люди, которые мало его знали, хоть и готовы были усомниться в его искренности, но не находили для этого причин.

Он жил в старой части города, в доме, который не ремонтировали по меньшей мере лет сто. Две колонны, украшавшие подъезд, давно почернели, и, так как лифта не было, наверх приходилось подниматься по холодной и темной лестнице с большими пролетами и такими низкими ступеньками, что она казалась наклонной плоскостью. На огромные, как вестибюли, лестничные площадки выходили черные, словно уголь, двери; некогда красные, они с годами покрылись темным блестящим налетом. А переступив порог квартиры, вместо красивых, ярко расписанных залов и мраморных полов, подобающих такому большому особняку, посетитель видел прихожую, коридор и комнаты, правда большие и высокие, но убого обставленные старой, ветхой мебелью, захлапленные всяким скарбом. Все было окутано пыльной темнотой, которую не мог разогнать слабый дневной свет, проникая сквозь узкие окна в толстых стенах, выходившие в переулок, куда солнце заглядывало лишь на несколько часов в день. Здесь всюду было так мрачно и убого, потому что квартал, где стоял особняк, давно обеднел; богатые люди переехали в новые районы города, и теперь в особняках и в маленьких жалких домишках жила лишь беднота. Квартира Туллио не была исключением из общего правила. Как и во всем особняке, комнаты здесь были загромождены сундуками, шкафами, всевозможной мебелью темного дерева, обветшавшей и неудобной, неизвестного стиля и эпохи, какую обычно покупают на аукционе или же получают по наследству. Только в одной комнате хозяева попытались бороться с этой мрачностью, делавшей квартиру похожей на лавку старьевщика, — в гостиной, которую мать Туллио, когда она еще распорядилась в доме, обставила по своему вкусу. Эта гостиная была похожа на приемную банка или министерства, с массивной мебелью в духе ложного Ренессанса, со стенами, обитыми искусственным дамассе¹, и с двумя огромными картинами, на одной из которых была изображена буря на море, а на другой —

¹ Узорчатая шелковая ткань. (Примеч. переводчика).

вершина каменистой горы, стадо овец и пастух. Эти картины, по ее словам, достались ей совсем даром, особенно если принять во внимание, какие они большие, сколько на них пошло краски и холста, а также еще одно достоинство, не из последних: как все на них похоже нарисовано. Впрочем, бедная женщина, у которой было мало знакомых, никогда не устраивала здесь приемов, для которых эта гостиная была предназначена. Лишь изредка там собирались друзья Туллио, и тогда им, вдесятером, удавалось, выкурив множество сигарет и наделав беспорядок, придать комнате жилой вид: стулья сдвигались с места, в воздухе плавал дым. Но на другой день мать Туллио открывала окна и снова расставляла стулья ровными рядами вдоль стен, после чего гостиная еще больше становилась похожа на зал банка или приемную министерства.

Они с матерью жили вдвоем — отец умер, когда Туллио был еще ребенком. Мать его была маленькая, шуплая женщина, забитая и худосочная, которая в юности, возможно, не была лишена жеманной грации, но потом всю жизнь казалась изможденной и хилой. В пятьдесят лет от ее былой грации не осталось и следа, но глаза по-прежнему были красивые, хоть и с темными кругами, в них светилась доброта и собачья преданность. Видимо, она состарилась раньше времени. Под этими кроткими и печальными глазами торчал длинный старческий нос, желтый и унылый; у сморщенных губ на давно увядших щеках залегли две глубокие морщины. Она вечно была нездорова, страдала мигренью и жаловалась, что ей свет не мил. Но большей частью она страдала не от нездоровья, а от слезливой чувствительности, безудержной и постоянной; она без конца плакала, молитвенно складывала руки, умилялась и сюсюкала. Чувствительность ее была до того сильной, иступленной и упорной, что, по всей вероятности, являлась следствием какого-то физического расстройствa, возможно, базедовой болезни. Она была религиозна, что выражалось в пристрастии к молитвам, четкам, обетам, картонным образкам, серебряным медальончикам в форме сердечек, проповедям и благотворительным делам, и изливала всю любовь своего неизменно кровоточащего и робкого сердца на сына. О душе его она заботилась, как принято, поминая его в своих молитвах, когда бывала в какой-нибудь из жалких церквушек, где полным-полно раскрашенных дере-

ванных статуй, пыльных облачений и прочего благочестивого хлама; зато о его теле пеклась всякий раз, как видела сына, то есть чаще всего за обедом, потому что в остальное время дня Туллио всячески избегал своей плаксивой и надоедливой матери. Они обедали не в огромной столовой, которую было трудно и дорого отапливать, а в комнатке, собственно говоря, представлявшей собой часть коридора, отделенную перегородкой с матовой застекленной дверью. В этом чулане, освещенном сонным матовым светом, едва помещался овальный деревянный столик, пожелтевший, источенный червями, и — зимой — латунная жаровня с раскаленными углями. Впечатление было такое, что здесь они ели временно, готовясь к переезду на новую квартиру. Мать и сын сидели друг против друга. Туллио ел с аппетитом, а она едва прикасалась к еде и не сводила глаз с сына. Когда он с ней заговаривал, она отвечала, но рассеянно и часто невпопад, следя лишь за тем, есть ли у Туллио аппетит, полна ли его тарелка, хорошее ли у него настроение. Едва он съедал одно блюдо, она приказывала подавать следующее. «Поддай же синьору адвокату, — говорила она служанке укоризненно, — не видишь разве, у него пустая тарелка!» В тех редких случаях, когда Туллио что-нибудь не нравилось, она сокрушенно всплескивала руками: «Как! А я-то думала, тебе понравится! Я приготовила это для разнообразия! Ах, какая жалость! Что же ты будешь есть? Два яйца? Яичницу из двух яиц?» И начиналось долгое разбирательство, кто виноват в том, что блюдо получилось неудачное, — она или служанка. Сколько бы ни съел Туллио, матери всегда казалось, что он ест мало, что он худой и что у него нет аппетита. Будь ее воля, она бы откормила его, как на убой, и все равно жаловалась бы, что он худой, бледный, хилый. Туллио, который был скуп, но не бессердечен, охотно принимал ее заботы. На еду он даже готов был потратить чуть больше, чем было необходимо; помимо всего прочего, питание представлялось ему своего рода прибылью: питаясь, он укреплял себя и прибавлял в весе. Охотно подчиняясь этой приятной материнской тирании, он мало-помалу стал настоящим обжорой. Однако он не очень-то тратился на эту страсть, которая скрашивала его скардность.

В общем, мать с сыном жили душа в душу. Туллио каждый день уходил на несколько часов в свою контору,

а мать занималась хозяйством и благотворительными делами. Между ними установилось то идеальное взаимонепонимание, которое так часто бывает в семьях, где, живя бок о бок, родители и дети равным счетом ничего не знают друг о друге. Мать думала о Туллио только одно — что он хороший. Но в этом слове заключались для нее все добродетели, и она вкладывала в него столько чувства, что можно было подумать, будто это его качество представлялось ей не только достоинством, но отчасти и недостатком; в самом деле, сын казался ей наивным и беззащитным в этом коварном мире, полном хитрецов и мошенников. Что касается Туллио, он с полным бесчувствием удовлетворенного эгоизма вовсе ничего не думал о своей матери, кроме того, что она его мать. Иначе говоря, человек весьма ему полезный, который заботится о нем, кормит его, обстирывает, гладит одежду, убирает квартиру. Человек, к которому его привязывают очень крепкие узы. При этом он всячески избегал проявлений привязанности. Дома он только спал и ел, мать о нем заботилась и, как видно, глубоко восхищалась им, — чего же еще желать? Словом, Туллио относился к матери так же ласково, как некоторые относятся к своим домашним туфлям, таким изношенным и сплюсненным, что забылся самый их цвет и форма. К тому же она, не будучи скупой, никогда не тратила слишком много и в расходах целиком зависела от него, так что согласие между ними не могло бы быть полнее.

Жизнь Туллио была похожа на некую крепость, к которой он каждый год пристраивал новую башню, новый бастион. Туллио очень остро чувствовал непрочность существования в наши бурные времена: повсюду войны, революции, банкротства. Однако когда Туллио сравнивал спокойную жизнь, которую он вел, богатея с каждым годом, оберегаемый матерью от малейших затруднений, занимаясь надежным и скромным делом, сохраняя свои давние и милые привычки, когда он сравнивал все это с жизнью большинства других людей, то мог только радоваться и считать себя счастливым. Жить так, как хочется, становилось с каждым днем все трудней. И все же ему это удавалось, он ни в чем себя не стеснял, и это было поистине удивительно в мире, где столько лишений.

Только одного не хватало ему для полного счастья или, вернее, для полной уверенности в себе — женской любви. Мы уже говорили, что Туллио в своей скупости

не делал исключения и для женщин. И то ли из-за этой малопривлекательной его страсти, то ли по какой-либо другой причине, но ему было необычайно трудно влюбиться и заставить полюбить себя. Начиная с тринадцати лет, когда во многих людях впервые просыпается потребность любви, его романы были столь немногочисленны, что их можно было счесть по пальцам. И какие это были романы! Иногда ему с трудом удавалось ненадолго увлечь грубых и простых женщин, которые были глупы, холодны и лживы, но вскоре самое воспоминание о них исчезало в медленной чередке пустых дней, как ручеек в песках. Однако чаще всего даже эти презренные и голодные женщины не хотели с ним близости, и Туллио тщетно пускался на унижительные ухаживания, делая один промах за другим и негодую. Кончалось это ссорой, и тогда он понимал, что не только не любит женщину, за которой ухаживал с таким упорством, но, мало того, ненавидит ее всей душой. Часто он спрашивал себя, почему его отношения с женщинами с самого начала всегда проникнуты духом неискренности и фальши, расчетов и низменных желаний, духом, который обрекал эти отношения на печальный конец. Чего ему не хватало, чтобы возбудить к себе привязанность, как другие? Он не безобразен и, несомненно, даже привлекательней многих своих счастливых соперников. Он не глуп, умеет красиво говорить, много знает, и у него как будто нет отталкивающих физических недостатков. В чем же дело? Почему отношения с женщинами даются ему так трудно и только ценой лжи? Одним словом, почему, едва дело касается чувств, у него сразу появляется такое ощущение, что он бьется и задыхается, как рыба, выброшенная из воды? Чем больше Туллио думал об этом, тем меньше понимал.

Лишенный возможности любить и быть любимым, он иногда чувствовал себя глубоко несчастным. И особенно по вечерам, когда, вернувшись домой после целого дня усердных и бесплодных ухаживаний, он видел мать, которую волновал его аппетит, цвет лица и которая старалась во всем ему угодить. И тогда на мгновение все его благополучие казалось ему пустым, отвратительным, никчемным, он с радостью отдал бы и вкусные блюда, которые стряпала кухарка, и теплую фланель, в которую кутала его мать, и все другие жизненные блага за слад-

кую, недостижимую иллюзию взаимной любви, на которую он был не способен.

— Что с тобой, почему ты не ешь? Может быть, у тебя расстроился желудок? Тогда надо его прочистить,— говорила ему по вечерам мать, видя, что Туллио упорно отодвигает от себя кушанья, которые она приготовила ему. И Туллио, злой и разочарованный, с трудом сдерживался, чтобы не нагрубить ей. «Пустая у меня жизнь,— думал он в такие вечера.— Да, я сладко ем и мягко сплю, но ведь это доступно всякому. А любовь, самое важное,— любовь, которая одна может быть целью жизни и которую ничто не заменит,— ее-то у меня и нет». Когда он думал так, на глаза его навертывались слезы и он казался себе самым несчастным и обездоленным человеком на свете. Такие минуты уныния, к счастью, бывали у него редко, но все же этого было достаточно, чтобы вселить в его душу пренеприятные сомнения. Пока он не нашел женщины, которая полюбила бы его, говорил он себе, здание его счастья не завершено. Туллио чувствовал, что, подобно тому как в дом с сорванной крышей попадают потоки дождя или заползает туман, так через трещину, образованную любовными неудачами, в его жизнь всегда будут проникать растерянность и сомнение и ему будет казаться никчемным то благополучие, которое он создал с таким трудом.

Но на тридцатом году жизни Туллио вдруг показалось, что ему наконец улыбнулось счастье. В эту пору он подружился с некими Де Гасперисами, мужем и женой, чье дело он взялся вести как адвокат. Это были люди настолько разные, что более неподходящую супружескую чету трудно было себе представить. Де Гасперису, которого звали Валентино, было под сорок. Это был высокий, здоровый, слегка сутулый человек, неизменно одетый в светлый спортивный костюм, его сухое угреватое лицо, изрезанное глубокими морщинами, было непроницаемым и вместе с тем оцепенелым, как у людей, закостеневших в неисправимом пороке,— у пьяниц, развратников и картежников. Низкий и бледный лоб, маленькие, глубоко посаженные глаза, красный пористый нос делали его похожим на одного из тех угрюмых и жалких существ, каких часто можно увидеть у стойки бара с рюмкой в руке или за столиком с колодой карт. Сло-

вом, у него был вид самого закоренелого холостяка. Поэтому Туллио очень удивился, когда он пришел в контору с женщиной, которую представил как свою жену.

Элена — так ее звали — была лет на шесть или на семь моложе мужа и вступила в ту пору жизни, когда у женщины начинается вторая молодость, еще более сладостная и любвеобильная, чем первая. Она была высокая, крупная, с пышными, хотя уже несколько увядшими формами, и в ее серьезном и холодном лице нежность черт была как бы скована упрямой строгостью. Но ее гордая осанка, ослепительная белизна кожи, чистый и гордый свет, которым лучились глаза, и высокий безмятежный лоб сразу поразили Туллио своей красотой. Он словно был ослеплен, и все то недолгое время, пока супруги пробыли в конторе и Де Гасперис объяснял существо дела, Туллио не сводил взгляда с его жены. Она сидела, опустив голову, с серьезным видом и ни разу даже не подняла глаза на Туллио.

Когда Де Гасперисы ушли, в конторе остался острый аромат, в котором, казалось, смешался запах давно сорванных и измятых цветов и замерзших паров эфира. Этот аромат и воспоминание о милом и серьезном лице, упорно склоненном вниз, привели Туллио в мечтательное и задумчивое настроение. До самого вечера он не мог работать. Наконец, вернувшись домой, он после долгих колебаний решил позвонить своему клиенту под каким-то благовидным предлогом. Тот, словно угадав его желание, без церемоний пригласил его к себе. С этого и началась его дружба с Де Гасперисами или, вернее, его любовь к Элене.

Де Гасперисы жили на далекой окраине, в своего рода павильоне, окруженном густым и запущенным садом. Павильон, который раньше, видимо, служил студией художнику, был мрачный, просторный и казался временным жильем. Здесь была только одна большая комната, куда через окно с мутными стеклами проникал хмурый и скупой свет. Днем комната бывала погружена в холодный полумрак, который словно покрывал все слоем серой пыли; вечером при свете нескольких ламп темнота пряталась по углам и вверху, среди косых балок потолка. Де Гасперисы завесили стены тяжелой серой материей, которая спускалась от середины стен до самого пола, — она не была прибита внизу и натянута, а спадала свободно, широкими, отбрасывавшими тень складками, словно

кулисы в театре, и казалось, что там, за нею, не стены, а пустота. Комната была обставлена красивой старинной мебелью, которая давала основание думать, что супруги знали лучшие времена. Но теперь они, видимо, бились в нужде, прислуги у них не было, им приходилось самим готовить, и за ширмой была небольшая плита, несколько тарелок и сковородок; он неизменно носил все тот же светлый костюм, а у нее было всего два платья: одно — черное с глубоким вырезом, другое — коричневое шерстяное. Несмотря на это, они каждый вечер принимали гостей, или, вернее, муж каждый вечер играл в карты с тремя своими приятелями и приглашал еще Туллио, чтобы жене не было скучно.

Вечера эти были тихие, овеванные грустью, которую как бы источали широкие складки занавесей, где печально таилась темнота, и казалось, занавеси эти всегда слегка колыхались от движений хозяев дома, создавая странное и неприятное впечатление. У окошка, за столиком, покрытым зеленой скатертью, сидели Де Гасперис и его трое приятелей: Варини — худощавый блондин в сером костюме, с длинным бледным лицом и маленькими голубыми, как барвинок, глазами; сорокалетний Пароди — коренастый, белокурый, живой, пышущий здоровьем и грубым весельем, и, наконец, Локашо — маленький, похожий на расстриженного священника, черный как смоль, небрежно одетый, со смуглым, напоминавшим баранью морду лицом и редкими встрепанными волосами, которые пучками росли на его грязной лысине. Эти люди, такие непохожие друг на друга, играли в мрачном молчании; было ясно, что их ничто не объединяет, кроме карт, которыми они часами шлепали по зеленой скатерти; мало того, в их напряженных и сосредоточенных лицах было холодное упорство, жадное и подозрительное опасение, так противоречившее интимной семейной обстановке, которую Де Гасперисы, и особенно жена, старались создать на своих вечерах. Их лица, слова, жесты никак не вязались с этой обстановкой, они скорее подходили для игорного дома, и этого не могла смягчить светская церемонность, которую Де Гасперис еще сохранял, несмотря на свою бесшабашность. С его женой все, приходя, здоровались преувеличенно почтительно, то ли потому, что чувствовали в ней какую-то враждебность, то ли потому, что ее красота заставляла их робеть. Но сев за карты, они сразу словно забывали

о ее существовании. И только между двумя партиями бросали украдкой через плечо взгляды в сторону камина, где она сидела, разговаривая с Туллио.

Да, это были вечера, полные неловкости и печали. Но для Туллио в них было нечто необычайно привлекательное, подобное горькому очарованию единственной подлинно прекрасной и грустной музыкальной ноты, которая настойчиво повторяется в хаосе бессвязных звуков,— присутствие Элены. В этой убогой обстановке, среди этих людей она была особенно хороша, она казалась жертвой и вместе с тем главной причиной разорения семьи и этих странных отношений. И кроме того, она, видимо, постоянно занимала мысли всех четверых мужчин. Туллио смутно это чувствовал, хотя ни их, ни ее поведение не давало для этого никаких оснований. Но без сомнения, она вела бы себя точно так же, если бы вместо денег эти четверо мужчин каждый вечер ставили на кон ее душу и тело. Зная это, она безропотно и печально ждала бы у камина воли победителя.

Но все это были лишь домыслы. Наверняка Туллио знал только одно — что он очарован этой женщиной, восхищен ею. И каждый вечер для него был как сказка. Обычно говорил почти все время он; женщина то ли из робости, то ли из сдержанности молча слушала. Он говорил о всякой всячине и был счастлив этой возможностью после стольких лет молчания, жалких расчетов и мелочного благоразумия. Но темы этих разговоров всегда были общие и далекие от всякой интимности. Он говорил о книгах, спектаклях, идеях, людях, обо всем, что приходило в голову, никогда не выходя за рамки светской беседы, и только необычайный жар, с которым он разговаривал, мог бы выдать внимательному наблюдателю переполнявшее его чувство. Крайняя сдержанность женщины не давала ему высказать то, что было у него на душе. И хотя каждое утро он решал про себя быть откровеннее и объяснить в любви, вечером он, сидя перед Де Гасперис, чувствовал, как его опять сковывает робость, и помимо воли снова заводил те же общие разговоры, что и накануне.

Все это было для него тем затруднительней, что, кроме сдержанности и молчаливости, у этой женщины была еще одна особенность. Она была не только холодна и неразговорчива, но к тому же постоянно испытывала мучительное чувство стыда. Туллио, не сводившему с нее

глаз, казалось, что она все время стыдится, и не чего-нибудь определенного, а всего вообще, стыдится с давних пор. Стыдится мужа, пьяницы и картежника, троих его приятелей, своего более чем скромного платья, дешевых сигарет, которыми она угощала Туллио, жалкого убожества своего жилища и сотни других вещей. Видимо, душа у нее была нежная и чувствительная, как кожа у некоторых рыжеволосых людей, которая от солнца краснеет и трескается, но никогда не грубеет. Должно быть, она стыдилась то одного, то другого всю свою жизнь.словно целый мир был создан лишь для того, чтобы оскорблять и унижать ее. Но теперь, в нужде, замужем за таким человеком, она дошла до крайности: стыд жег ее постоянно, и не было никакой надежды на облегчение.

Ее стыдливость прежде всего проявлялась в том, что она удивительно легко краснела. Довольно было Туллио сделать какой-нибудь щекотливый намек или задать чуть нескромный вопрос, как кровь заливала ей шею и лицо, обычно бледное и холодное, и, вся вспыхнув, она немела. Вид у нее при этом был до того страдальческий, что, казалось, она краснела не только внешне, помимо воли, но и, так сказать, внутренне, сознательно. Особенно явно ее чувствительность проявлялась в отношении к мужу и его приятелям. Было очевидно, что, несмотря на свою скромную одежду, убогое жилье и жалкий вид гостей, она твердо решила держаться так, словно на ней великолепное бальное платье и сидит она в блестящем зале с расписным потолком и мраморным полом, а на месте этих троих игроков, одетых в коричневое и серое, три церемонных аристократа во фраках. Под этим вечным стыдом, этим возвышенным чувством собственного достоинства она ревниво хранила не какие-либо благородные принципы или моральные переживания, а неизменную и сияющую, как мираж, мечту о блестящем обществе, к которому — таково было ее непоколебимое убеждение — она принадлежала по рождению и призванию и которое среди всех унижений и бедности маячило перед ней как цель, быть может недостижимая, но, без сомнения, достойная любых усилий и любой жертвы. Она мечтала о красивых туалетах, драгоценностях, автомобиле. ее интересовало лишь мнение света, ее сдержанность и стыдливость были вызваны отсутствием элегантности и роскоши. Впрочем, достаточно

было посмотреть, как она встречала троих приятеле мужа, величественная, гордая, нарочито медлительная и сдержанная в движениях, как она томно и снисходительно протягивала Туллио и всем остальным красивую округлую руку, чтобы понять, каким совершенным образом следует она в своем поведении. И как должна она страдать и стыдиться, видя, что эти ее благородные манеры некому оценить по достоинству, что их воспринимают с безразличием, небрежностью или еще хуже — с легкой насмешкой. Но больше всего она, вероятно, стыдилась, когда игроки оставляли карты, Туллио умолкал и все собирались посреди комнаты вокруг стола, на котором стоял поднос с несколькими бутылками и ведерко со льдом — единственная роскошь, которую здесь могли себе позволить. Ясно было, что эти минуты для нее священны; эти бутылки, бокалы, кусочки льда блестели перед ее взглядом, как язычки восковых свечей на алтаре; легкий звон хрусталя и бульканье вызывали у нее тот же почти мистический трепет, что у набожного человека — звяканье чаш и шелест священных облачений. Но подходить к этому столу, смешивать коктейли, предлагать напитки, любезно разговаривать с этими тремя игроками, у которых лица еще бледны и искажены азартом, а в глазах горит алчный огонь, было для нее поистине нестерпимым унижением или еще хуже — кощунством. И все же мужественно, с бестрепетным достоинством принимала она каждый вечер это неприятное общество. Держа в одной руке бокал и положив другую на бедро, она разговаривала с тремя игроками и мужем, улыбаясь, щетно расточая кокетливые и лукавые взгляды, поддерживая беседу. Из троих приятелей ее мужа Варини был наименее груб. Но он был зато азартнее всех и, напуская на себя холодный, пренебрежительный, скучающий вид, не скрывал своего безразличия к разговорам, которые велись вокруг подноса с напитками; и словно жилище Де Гасперисов в самом деле было лишь игорным домом, ему, видимо, очень хотелось поскорее вернуться к картам. Впрочем, ему почти всегда не везло, он много проигрывал и от этого бывал рассеян и неприятно мрачен. Де Гасперис тоже проигрывал, но старался одолеть свое невезение, как, вероятно, и пристрастие к спиртному, — молча, с холодным упорством человека себе на уме. Выигрывали остальные двое — Пароди и Локашо. При этом они так радовались, что раздражали не только

жену Де Гаспериса, но и Туллио. Пароди громко разговаривал, смеялся, похлопывал по плечу своих партнеров и даже пел; на Локашо же выгрыши оказывали несколько иное действие: сначала он держался робко и церемонно, но потом, разойдясь, пускался в откровенности, в которых провинциальная наивность смешивалась с грубой хитростью и жадностью неотесанного горожанина. Ему не верилось, что он удостоился играть с Варини и другими двумя, что его угощает такая красивая и тонкая женщина, как Де Гасперис; он был наверху блаженства; иногда он доходил до того, что, разговаривая, засовывал большие пальцы под мышки. Один раз он даже вынул из кармана пачку семейных фотографий и стал их показывать: мать, сестры, племянники. В некотором отношении он был все же приятнее Пароди; тот считал себя человеком воспитанным и светским, а на деле смахивал на развезжего торговца или цирюльника. Локашо же был человек без претензий; с мрачной скромностью он признавал, что он прост и невежествен, и верил только в деньги, приобретенные тяжким трудом. Но под этим упрямым смирением скрывалось не меньшее тщеславие, чем у Пароди. Варини не скрывал своего презрения ни к Пароди, ни к Локашо. Он разговаривал с ними редко и всегда с оттенком легкой и мрачной насмешки. Напротив, Де Гасперис, совершенно непроницаемый, не обнаруживал никаких чувств, лишь отпускал короткие реплики или хмыкал, слушая своих приятелей молча и рассеянно. А ведь скорее он, а не Варини должен был с презрением и негодованием относиться к двум остальным, потому что они никогда не упускали случая приволокнуться за его женой. Ухаживания Пароди, очевидно, раздражали женщину больше всего. С веселым нахальством он брал ее за руку и что-то нашептывал ей на ухо; все его разговоры были пестрым набором избитых любезностей, двусмысленностей, неприличных намеков; всякий раз, когда он смотрел на эту красивую женщину, взгляд у него становился тяжелым и грубым, словно он касался ее руками. Локашо, то ли мало изощренный в светских делах, то ли из робости, ограничивался тем, что при всяком удобном случае старался подойти к ней поближе, словно для того, чтобы вдохнуть ее аромат. Он, казалось, восхищался болтовней Пароди и смотрел на него не без зависти и досады. Но неспособный противостоять этому каскаду

острот и пошлостей, он тупо и упрямо хвастался своей карьерой и деньгами, и ясно было, что весь этот поединок происходит из-за жены Де Гаспериса. Трудно было представить себе положение более неприятное для нее, чем то, когда рядом с ней были эти двое: один — со своими далеко не безобидными шуточками, другой — с грубыми деревенскими уловками. В их обществе ее еще больше обычного терзал все тот же вечный стыд.

Гости всегда расходились очень поздно. В первый раз Туллио, усталый, видя, что уже за полночь, а игроки и не думают уходить, встал. Но женщина его удержала и сказала, краснея: «Останьтесь, а то мне придется одной дожидаться, пока они кончат...» Туллио, удивленный, не подумав, спросил ее, почему она не уйдет спать. Она снова покраснела и, указывая на широкий диван в конце комнаты, ответила, что, к сожалению, не может это сделать, вот ее постель; там она ляжет, когда уйдут гости. Эти слова, сказанные с досадой и стыдом, впервые прозвучали искренне среди всех общих фраз, которые она до сих пор говорила. С тех пор Туллио не уходил, пока игроки, отложив карты, не начинали рассчитывать. Иногда при этом вспыхивали жестокие и неприятные споры, которые задевали деликатную чувствительность женщины. Она избегала смотреть в их сторону и со светским безразличием старалась искусственно оживить вялую и сонную беседу. Потом, когда все четверо вставали, она тоже поднималась и шла прощаться с ними, томная, вся сияя улыбкой. Но в глазах ее при этом нередко таилось бешенство.

Почти месяц отношения между ней и Туллио оставались все теми же — в рамках светской и не очень близкой дружбы. Теперь уж сам Туллио, когда он, как ему казалось, лучше узнал Де Гаспериса, не хотел объясниться ей в любви и легко завоевать победу, на что сначала рассчитывал. Видя, какая она гордая, но в то же время беззащитная и униженная, он стал почитать ее идеалом чистоты и считал достойной жалости; это пришлось ему по душе, потому что соответствовало праздным измышлениям, с помощью которых он убеждал себя, что он не таков, каков есть на самом деле. Ему казалось, что она недоступна для легкомысленных и наглых ухаживаний, как другие женщины; что обычная супружеская измена со всякими уловками не для нее; что такая, как она, должна войти в жизнь мужчины п.

тайно, а открыто и торжественно. Словом, он думал не столько о ласках, поцелуях и прочих нежностях, сколько о том, чтобы вырвать ее из рук ветреного мужа и его сомнительных приятелей, из этого убожества, из этих соблазнов, увезти ее отсюда, создать для нее новую жизнь — одним словом, спасти ее. Мысль о том, что ее нужно спасти, все чаще приходила в голову Туллио и еще больше разжигала его желание, которое было тем сильнее, что ему мучительно казалось, будто здесь угрожают ее чистоте. Но спасти от чего? Этого он сам толком не знал. Как водится, он представлял себе Де Гасперис подобной белому целомудренному цветку, брошенному в грязную лужу. И, как водится, грязной лужей была нужда, в которой, он видел, она бьется. Он должен подобрать цветок из грязи, должен беречь его и лелеять.

Эта мысль — спасти Де Гасперис — все больше овладевала Туллио. Но она скорее была похожа на приятный и несбыточный сон, чем на практический план, который надо привести в действие. В нем заговорило все, что могло восстать против скупости, все, что оставалось в его душе щедрого и смелого. Но он вовсе не желал, чтобы этот сон стал явью. И хотя Туллио не признавался себе в этом, он нашел именно то, что искал столько лет: любовь чистую и достойную его лучших мечтаний, далекую и, быть может, недостижимую цель, благодаря чему он мог теперь без особых затрат заполнять свои пустые вечера. Заботливая мать, хороший стол, удобная квартира вместе с любовью к Де Гасперис делали его жизнь полнокровной. Теперь, благодаря этой неопределенной и мужественной мысли о спасении, у него было все и будущее казалось особенно многообещающим именно потому, что было сплошь подернуто неверной дымкой.

Но сны, и особенно сны великодушные, имеют одно опасное свойство: они вызывают порывы, нередко переворачивающие все вверх дном в душе людей, которые хотели бы удержать их в пределах невинной и бездеятельной фантазии. Обуреваемый мыслью спасти Де Гасперис от опасностей, которыми она, как ему казалось, окружена, он уже почти чувствовал себя ее спасителем. И однажды вечером, когда, не зная, о чем еще поговорить, он молча смотрел на женщину, она вдруг показалась ему красивее и печальнее обычного. Никогда еще эти белые, округлые,

медлительные руки, эти тяжелые, крепкие груди, которые при каждом движении вздымались под шелковым платьем, эти сильные ноги не вызывали в нем такого желаяния, никогда печальное выражение красивого и гордого лица не казалось ему столь достойным жалости. Желание и сострадание, эти два чувства, которые он испытывал к ней с самого начала, слившись воедино, оказались в тот вечер сильнее всегдашнего благоразумия. И вдруг, опьяненный, охваченный мгновенным порывом, он стал таким, каким всегда воображал себя: пылким и готовым на все ради любимой женщины. Голоса игроков у него за спиной стали вдруг невнятными и далекими, словно доносились из густого тумана. Камин, кресла и все остальное, что раньше, окружая эту женщину, как бы отделяло ее от него, словно было отметено прочь внезапным порывом ветра, и теперь она в сверкающем ореоле одиночества была к нему ближе, чем когда-либо. Туллио неожиданно наклонился и сжал ее руки.

— Я все, все понимаю, — пробормотал он и удивился своим словам, он был сам не свой. — Но почему вы терпите? Почему бы вам не уехать со мной?.. Я люблю вас... Мы будем жить вместе, далеко от всех этих людей...

С недоумением он увидел, что это предложение не удивило Де Гасперис, как будто его делали ей не в первый раз. Нисколько ни смутившись, она сжала ему руки и мгновение молча смотрела на него серьезным и печальным взглядом, не лишенным, как ему по крайней мере показалось, нежности.

— Это невозможно, — сказала она наконец, качая головой. — Невозможно... Но все равно спасибо... Я вижу, что вы настоящий друг.

Ответ был решительный. Но самое удивительное, что, даже если бы это был отказ не бесповоротный, а мягкий, сулящий успех после новых настояний, у Туллио все равно не хватило бы духу повторить свое предложение. Едва он произнес эти благородные и опрометчивые слова, давний, закоренелый эгоизм сразу вызвал в нем неодолимый и низкий страх: а вдруг она согласится, вдруг возьмет и скажет просто: «Хорошо, уедем вместе... Я тоже тебя люблю и хочу с тобой жить». Этот страх открыл ему глаза на то, что он, если бы знал себя лучше, должен был понять с самого начала: этот план спасения женщины был для него всего только сном,

и в душе он твердо, хоть и бессознательно, желал, чтобы все так и осталось сном. С ним происходило то же самое, что с теми хвастунами, которые без конца говорят о войне и рвутся в бой. В известном смысле и они искренни, но не способны перейти от слов к делу. Так что, когда действительно начинается война, их охватывает страх и они умоляют всех и каждого, чтобы их послали куда-нибудь в тыл. Точно так же и Туллио, обманутый своим тщеславием, предался этим мечтам о побеге и спасении женщины. Но теперь, видя, что по собственной вине он чуть не оказался вынужденным исполнить свои хвастливые обещания, которыми лишь забавлялся, он понял, что никогда не принимал их всерьез и дорого дал бы, чтобы вообще не говорить этого.

Страх его был так силен, что в тот миг, когда она сжимала ему руку и молча глядела на него, он решил совсем порвать с ней откошения, ставшие опасными, и больше сюда не приходить. Но потом, дома, обдумывая происшедшее, он вспомнил, как твердо и серьезно она отказалась, и это его успокоило. Он продолжал ходить к Де Гасперисам, стараясь, однако, не возобновлять разговора о том, что произошло в тот вечер. Но теперь именно благодаря этому случаю смущение и сдержанность, которые до тех пор разделяли их, исчезли и женщина стала относиться к нему с той приветливостью и доверием, которых он одно время так жаждал и без которых теперь охотно обошелся бы. Он избегал не только упоминаний о своем предложении, но даже самых отдаленных намеков, которые могли бы вызвать Де Гасперис на разговор о ее затруднениях. И все же уловки его оказались тщетными, потому что женщина, почувствовав, что может на него рассчитывать, не хотела лишиться отдушины, которая была ей так необходима, и Туллио после короткого и обманчивого возврата к прежним сдержанным отношениям не знал, куда деваться от ее откровенности. Сначала это были только вздохи, намеки, недомолвки. Он благоразумно уклонялся от ответа. Но однажды он, зная, что она была приглашена в гости, спросил, почему она отклонила приглашение. Она тотчас же с горькой искренностью ответила, что не могла пойти, потому что у нее только одно вечернее платье, то, которое на ней, слишком старое и поношенное для такого приема. При этих словах Туллио онемел, он не знал, как

быть. Да, она несчастна, он чувствовал это с самого начала, и одно время в своих благородных фантазиях он видел в этом лучшего союзника своим планам. Но теперь, когда она высказалась с такой откровенностью, он испугался. Как будто долгом его было тотчас купить ей новое платье. Он постарался увести разговор в сторону и стал ее уверять в туманных выражениях, что она немного потеряла, отказавшись от приглашения, все эти светские развлечения — пустое дело. Но женщина его не слушала. Она была вне себя, хотя внешне сохраняла спокойствие и, утратив всю свою замкнутость, вовсе не намерена была дать себя утешить такими доводами. Этот прием, на который по вине мужа она не могла пойти, был последней каплей, переполнившей чашу горьких унижений. Благоразумные убеждения не могли успокоить ее старую обиду, так что она даже не потрудилась возразить Туллио и, не обращая внимания на тот явный испуг, с которым он принял это проявление доверия, обрушила на него целый поток жалоб. Вот уже десять лет, как она борется, чтобы отучить мужа от мотовства. В начале супружества они были богаты, уважаемы, имели друзей, но муж становился все беспечней, и вот деньги, друзья, уважение — все исчезло, и они оказались здесь, в жалкой лачуге, с этими тремя сомнительными друзьями, и у нее нет ни платьев, ни драгоценностей.

— Мне пришлось все продать... все,— сказала она с горьким спокойствием, проводя рукой по шее и пальцам другой руки.— Я все отдала, чтобы уплатить его долги.. все... ожерелье, кольца... а ведь у меня было столько вещей, фамильных драгоценностей и, кроме того, его подарки, которые он делал мне перед свадьбой, когда мы еще любили друг друга... Все, все...

Она повторяла это «все», проводя ладонями по шее и глядя перед собой широко раскрытыми глазами. Туллио, полный смутного страха, не смел шевельнуться и даже дышать. Она замолчала на миг, потом снова начала жаловаться. Краснея, она рассказала, как муж довел ее до такой жизни. Она не осмеливалась даже бывать с ним в тех немногих домах, где их еще принимали. Она говорила быстрым шепотом, то и дело оглядываясь через плечо на игроков. Один раз муж явился безобразно пьяный в дом, где она была в гостях; она чуть не умерла от стыда. Знакомые стали приглашать ее все реже, а потом и вовсе забыли о ней.

— А ведь подумать только, у меня было такое блестящее положение в свете! — продолжала она, глядя прямо перед собой застывшим взглядом. — Подумать только, ведь моя мать — урожденная Дель Грилло... и стоило мне только захотеть... только захотеть... все было бы иначе...

Она снова умолкла, а Туллио, не зная, куда деться от ее излиятий, смущенно ерзал в кресле. А она опять заговорила, стала высказывать свои взгляды на брак, на общество и на жизнь. Эти взгляды были старомодные и пустые, но она говорила с волнением, словно это были глубокие моральные истины: эlegantный и светский муж, не важно, бездельник или труженик, но непременно богатый; блестящее, аристократическое, просвещенное, космополитическое общество; жизнь, проходящая среди балов, обедов, светских бесед, умеренная игра и нескандальные романы. Но муж все это сделал невозможным. Все усилия ее были тщетны; любые старания всегда наталкивались на неизменное, непроницаемое, упорное безразличие.

— Я все перепробовала, чтобы сделать из него светского человека не хуже других, — сказала она наивно, — все перепробовала... — И вдруг голос ее дрогнул, прервался, рот скривился в жалобной гримасе, слезы навернулись на глаза и обильно покатались по щекам. — Простите меня, вам нет до меня никакого дела, вас это не может интересовать... Но теперь слишком... слишком... — лепетала она сквозь слезы.

И даже плачущая, она сохраняла ту же величественную осанку, что и всегда. Она сидела неподвижно, вытянув красивую округлую шею, опустив глаза, всхлипывая, прижимая к мокрому лицу край платка. В эту минуту она стала еще красивее, потому что слезы выдали страдание, которое было как бы скрытой душой ее красоты. Но Туллио было не до того, он не мог восхищаться этим трогательным зрелищем. Теперь, когда она обнаружила перед ним всю свою слабость и беззащитность, когда он увидел воочию то, о чем столько времени лишь подозревал, — что она глубоко несчастна, — он вместо великодушных порывов, владевших им в начале их отношений, почувствовал лишь глубокий, непобедимый страх. Он боялся, что эта женщина начнет за него цепляться, что он должен будет помочь ей и пожертвовать для нее частью, пусть даже самой малой, своего благополучия.

Он уже представил себе, как она просит у него денег. И вместо восхищенного уважения к Де Гасперис в нем вдруг зашевелились самые грубые и низкие мысли. А вдруг она сговорилась с мужем и остальными тремя? Вдруг все эти жалобы и слезы лишь ловушка? Вдруг она хочет заполучить его деньги, посягает на его покой? Но, лихорадочно перебирая все эти сомнения, он сознавал, что нужно как-то выразить сочувствие, которого Де Гасперис ждала от него. Он привстал с кресла и повторил жест, который сделал несколько дней назад с иными чувствами: взял ее руку, ласково похлопывая по ней ладонью. При этом он бормотал какие-то слова утешения, стараясь, однако, не дать ей повода думать, что он готов помочь ей иначе, чем словами. А она тихо качала головой и твердила:

— Нет, теперь слишком... слишком...— И не переставала плакать.

Вдруг послышался шум. Четверо игроков прервали партию и встали, чтобы промочить горло. Она тут же встряхнулась, высвободила руку, которую держал Туллио, торопливо вытерла глаза, подошла к столику и, взяв поднос, со всегдашней сверкающей улыбкой, хотя и с затаенной грустью в глазах, начала предлагать наполненные бокалы пятерым мужчинам. Совершив обычный ритуал, игроки вернулись к своему столику, а Туллио с женщиной — к камину.

— Прошу вас, забудьте все, что произошло,— сказала она холодно, как только они сели.

И весь остаток вечера они говорили о безразличных вещах. А придя домой, Туллио снова стал убеждать себя порвать отношения с Де Гасперисами: когда она плакала, это казалось ему неизбежным и необходимым. «Ну да ладно, все зависит от меня,— решил он наконец.— Стоит мне убедиться, что это действительно ловушка... только они меня и видели».

Но вскоре то, чего он боялся и хотел избежать, произошло. Их близость, вернее, доверие, которое теперь оказывала ему Де Гасперис, возрастало. После каждого приступа откровенности к ней ненадолго возвращалась прежняя холодность, а потом их близость становилась еще интимнее и, как ему казалось, опаснее. Вечер за вечером она рассказывала ему свою жизнь или по крайней мере ту ее часть, которая, по ее мнению, могла возбудить у Туллио сочувствие, а она так в нем нуждалась.

Туллио узнал, что Де Гасперис по уши в долгах; что, кроме карточных проигрышей, он еще обанкротился, спекулируя на бирже; что он должен крупные суммы не только Пароди и Локашо, но и надменному, замкнутому Варини.

— И вот чего я ему никогда не прощу,— добавила она краснея.— Делая все эти долги, он использовал меня.

От удивления Туллио забыл об осторожности и спросил, что это значит. Она поколебалась, прежде чем ответить. Потом медленно, ровным тоном, но то и дело краснея, рассказала, что Пароди, Локашо и Варини давно влюблены в нее. Варини по замкнутости характера никогда не выказывал свое чувство, он самолюбиво молчал и хмурился, а двое других действовали открыто и имели заранее обдуманнные планы. Более того, против своей воли она узнала про эти планы.

— Пароди,— объяснила она,— хочет, чтобы я жила у него на содержании в уютной квартире, которую он уже обставил и приготовил для меня... Две горничные, машина, шофер в ливрее, фарфор, платья, драгоценности, все, чего я лишена... словом, идеальный образец содержанки делового человека... Локашо же, наоборот, как бы это сказать...— Она рассмеялась с высокомерной горечью.— Локашо хочет все устроить по-семейному: я могла бы жить с ним в Пулье в его усадьбе... Разумеется, у меня будет все, чего я пожелаю, но в пределах дома... Я должна жить с его тремя или четырьмя сестрами и стариками родителями... пока не получу развод. Потому что он хочет на мне жениться... Я стала бы тогда синьорой Локашо...— Она коротко рассмеялась и замолчала.

— А Варини? — невольно вырвалось у Туллио.

Он заметил, что ее надменное и презрительное лицо приобрело вдруг более мягкое, хотя не менее отчужденное выражение.

— Варини не такой,— сказала она сдержанно.— Я знаю только, что он меня любит... А об остальном он никогда не говорит, не хочет начинать первым... Самолюбивый и гордый, он считает, что это я должна его просить... Тогда, может быть, я узнала бы,— она опять засмеялась,— третий вариант своей судьбы...— Наступило долгое молчание.— Меня, или, вернее, нас, спасает только одно,— снова пустилась она в откровенности, полная стыда тем более беспощадного, что говорила

оскорбительные для себя вещи,— то, что они видят друг друга насквозь и ревность их как-то сдерживает, не позволяет им прибегнуть к шантажу, начать постыдную торговлю. что каждый в одиночку не преминул бы сделать... Но хуже всего то, что Тино это знает и использует в своих целях... Заставляет их играть... и не только играть... А это,— голос ее задрожал от негодования,— это ужасно... Этого я ему никогда не прощу... Никогда!— Она еще несколько раз повторила это «никогда» и, вся зардевшись, тяжело дыша широкой, пышной грудью, умолкла. Наступило молчание. После этих откровений все самые нелепые страхи снова охватили Туллио, и хотя многие из них он не мог бы даже выразить словами, они не давали ему покоя. «Ах, вот как,— думал он,— значит, муж вытягивает деньги из мужчин, влюбленных в его жену... И быть может, жена это одобряет... Быть может, они вовсе не поклонники, а любовники... и все дело только в цене... Жаль, что я вообще познакомился с этими людьми». Досаднее всего была мысль, что он оказался в таком же положении, как Варини и остальные двое. Как и они, он влюблен в Де Гасперис. А если так, подумал он, не замедлит последовать какая-нибудь попытка выкачать из него деньги. Это подозрение привело его в необычайную ярость, словно его оскорбили; он твердо решил не давать ни центезимо, и одной мысли, что этот центезимо могут у него попросить, было достаточно, чтобы его снова охватили сомнения и страх; он, можно сказать, не доверял самому себе. Взволнованный этими мыслями, он молчал, но лицо у него было такое встревоженное, что даже Де Гасперис это заметила и спросила, что с ним.

— Я думал о вас,— солгал он.— Но... как вы полагаете, что в конце концов сделают эти двое — Пароди и Локашо?.. Потребуют чего-нибудь за свои деньги?.. Ведь не даром же они их дали!

Она смотрела на него с удивлением.

— Что сделают? Ничего... Они хотят овладеть мной... Так что все зависит от меня.

— А что же вы?

Она подняла брови и густо покраснела, словно вся кровь, вскипев, залила ее лицо.

— Я ничего не намерена делать...— сказала она с усилием.— Как бы плохо мне ни было, у меня есть муж, и я навсегда останусь его женой... Вот и все.

Для бедной Де Гасперис эти слова были последним отчаянным изъявлением супружеской верности. Но для Туллио, терзаемого злобой и подозрениями, они прозвучали иначе — как признание преступного соучастия в делах мужа. Он был так возмущен, что у него вдруг даже родилось чувство единодушия с его соперниками; он готов был думать, что она была бы менее достойна осуждения, если бы за деньги удовлетворила желания этих троих мужчин.

— Вот как! — сказал он, вставая с кресла. — Значит, ваш муж обирает мужчин, влюбленных в вас, а вы закрываете на это глаза! Да? Вы с ним заодно? Помогаете ему? Расставляете силки?..

Эти слова, которые наконец-то были сказаны искренне, произвели на женщину неожиданное действие: ее лицо застыло в усилии сдерживать бурю чувств; на этот раз она не покраснела, а стала смертельно бледной и пристально смотрела на него.

— Это правда, — сказала она медленно. — Все так и есть... Я не могу этого отрицать...

— Ага, значит, не можете отрицать! — настаивал Туллио, приходя в ярость.

— Нет, не могу, — повторила она.

— Значит, это правда, — продолжал он, теряя всякую сдержанность и выдавая свои самые тайные опасения. — Вы приманиваете мужчин, а ваш муж вытягивает из них деньги... Быть может, вы и со мной так же хотите поступить? Значит, это правда...

Слова были жестокие и беспощадные, как удары; но Де Гасперис все смотрела на него, не отрываясь и не опуская глаз.

— Это правда, — подтвердила она.

Наступило короткое молчание.

— Вас это удивляет? — снова заговорила она с горькой иронией. — Удивляет? Но ведь нужно как-то жить, верно? Ну так вот... — При этом она попробовала улыбнуться. Но тут глаза ее наполнились слезами, и Туллио слишком поздно понял, что в своем возмущении зашел слишком далеко.

— Простите меня, — поспешно сказал он. — Но вы должны понять...

Она жестом остановила его.

— Не надо, не извиняйтесь... Вы правы... Но я же вам говорю, нужно жить... И если ничего не умеешь —

ни играть, ни выигрывать, тогда... — Она не договорила и снова улыбнулась. — Только неправда, что я с ним заодно, — добавила она.

Слезы теперь так и катились у нее из глаз, и все лицо было мокрое.

Наступило долгое молчание. Туллио сердился на себя за свою оплошность и был встревожен тем, что услышал. Ему было жаль, что он огорчил эту женщину; но вместе с тем он не мог отказаться от своих оскорбительных подозрений.

— Простите меня, — повторил он наконец с досадой.

Она покачала головой, как бы говоря: «Ну конечно же, я вас прощаю», — и, глядя на него сквозь слезы, положила свою обнаженную руку на его. Сначала эта рука была расслабленная и безвольная, но потом неторопливо и с ловкостью, которая странным образом не вязалась с ее слезами, женщина переплела свои пальцы с пальцами Туллио. Рука у нее была большая, гладкая, изящная, нежно-белая, слегка розоватая, длинные пальцы с овальными и острыми ногтями потихоньку сгибались, теснее сплетаясь с пальцами Туллио, движения их были вкрадчивые и плавные, совсем как у морских звезд, которые передвигаются по каменистому дну в прозрачной воде, мягко собирая и распрямляя свои розовые щупальца. Одним словом, эти движения пальцев были обольстительны. Они двигались как бы независимо от женщины, которая все плакала. Туллио овладели страх и волнение. Она была так хороша и ее белая округлая рука так томно сжимала его руку, что он невольно загорелся желанием; но в то же время он смертельно боялся попасть в ловушку, которую она, сговорившись с мужем, могла ему расставить. Некоторое время они молчали. Де Гасперис была задумчива и, казалось, плакала уже не так горько, а Туллио глубоко волновало ее прикосновение. Потом она резко отдернула руку и встала.

— Я хочу выйти на воздух, — сказала она, быстро оглянувшись. — Пожалуйста, пойдите в сад.

Она сказала это, глядя куда-то мимо него, лицо ее было залито слезами; потом она быстро и решительно подошла к столику игроков, наклонилась к мужу и, видимо, сказала, что идет с Туллио в сад. Туллио, сидевший у камина, видел, как Де Гасперис кивнул, не отрываясь от карт, но остальные трое с удивлением посмотрели на ее залитое слезами лицо. Она не обратила

на это внимания и, все так же величественно пройдя через убогую комнату, подошла к двери, откуда знаком пригласила Туллио последовать за собой. Ему ничего не оставалось, как повиноваться. Де Гасперис надела черную меховую шубу, которая висела на вешалке, и оба вышли.

Ночь была холодная, вдали над землей медленно клубился серый туман, мрачный и безмолвный. Дома превратились в мрачные тени, ярко светились огни окон. В темный сад через решетку проникал свет одного фонаря, лишь кое-где бросая белые и неверные блики на посыпанные гравием дорожки, стволы деревьев, клумбы, вырывая из темноты то мокрую паутину, то колючую путаницу веток, то журчащую, поблескивающую воду. Все выглядело более смутным и таинственным, чем в полной темноте. Но Де Гасперис уверенно вошла в эту знакомую ей неразбериху бледного света и тени, ведя за собой Туллио. Сад, видимо, имел форму треугольника. Женщина свернула на какую-то дорожку и наконец, наклонив голову, вошла в увитую зеленью беседку.

— Сядем,— шепнула она, сметая сухие листья с мраморной скамьи Туллио послушно сел рядом с ней. В темной беседке дрожали неверные пятна света, и туман, проникавший сквозь все щели, принимал причудливые формы. В углу стоял брошенный бывшим хозяином студии гипсовый конь, весь изуродованный и разбитый: в полумраке белели вздутое брюхо и огромные копыта; с ног, застывших в церемониальном аллюре, обвалился гипс, обнажив ржавую проволоку; из безголовой шеи торчал согнутый железный прут — казалось, оттуда тонкой струйкой льется черная кровь.

— Дайте мне руку,— прошептала она, едва шевеля губами в темноте; Туллио, взволнованный, протянул руку и почувствовал густой шелковистый мех.

— Чудесная шуба,— сказала она тихо, едва переводя дух,— правда, чудесная? Это Пароди подарил.

— Так, значит, вы...— невольно пробормотал Туллио не без горькой досады.

— Я ничего,— сразу же перебила она его, кротко, но с горькой обидой.— Взяла — только и всего... Теперь я понимаю, что напрасно это сделала... Но тогда... Я к тому же...— Голос ее стал ровным, и в нем звучало восхищение.— К тому же шуба такая чудесная, и мне так хотелось ее иметь!

Она замолчала. Немного погодя щелкнул замок сумочки, послышался шорох, а потом, медленно и вкрадчиво, как голова змеи, на колени Туллио, освещенные тусклым светом, легла рука женщины. На указательном пальце блестело кольцо с бриллиантом.

— Локашо обещал мне его подарить, если я с ним уеду, — прошептал задыхающийся голос. — А я попросила его просто так, на одну неделю... Оно такое красивое... — Она кокетливо вертела руку, восхищаясь крупным сверкающим камнем. — Правда, красивое? — повторила она.

Теперь Туллио ощущал на щеке ее горячее и взволнованное дыхание; вдруг рука женщины обхватила его шею, и он, прежде чем успел понять, что происходит, почувствовал, что она обнимает, целует, поворачивает, тянет его к себе, сжимает с неистовством слепой, всепожирающей страсти. Вероятно, она уже много лет мечтала об этих объятиях, в них чувствовалась сила порыва, который она и хотела бы, но не могла сдерживать. Туллио же казалось, что его не обнимают, а мнут между шкивами какой-то машины, потому что в этом на первый взгляд беспорядочном неистовстве была какая-то рассчитанная точность; и он недоумевал, видя, какой яростный пыл скрывается в этой женщине, которую он всегда видел такой холодной и сдержанной. Наконец она как будто успокоилась и замерла словно в изнеможении, обхватив его шею и устало склонив голову к нему на грудь. Она теперь стала такой же кроткой, какой неистовой была во время объятий.

Но Туллио не мог понять, почему она сначала была полна неистовства, а теперь присмирела. Пальцами он еще чувствовал пушистую мягкость шубы, которая волновала его больше, чем прикосновение губ женщины, а в глазах вместо вздымающейся полуобнаженной груди сверкал драгоценный камень, и он видел, как рука кокетливо поворачивается на свету. Он был холоден, полон неприязни к ней и думал только об одном: как можно скорей порвать эти опасные и — он был теперь уверен в этом — корыстные отношения. Пожалуй, удобней всего сослаться на то, что он друг Де Гаспериса и не может делать ему подлость.

Он уже хотел оторвать ее руки от своей шеи, уже готов был начать длинную нравоучительную речь, как

вдруг за деревьями с шумом распахнулась стеклянная дверь и тень упала на аллею.

— Варини, Варини, какого дьявола!..— воскликнул Локашо добродушным и ровным голосом.

Но Варини — ибо это был именно он — быстро прошел по дорожке и бросил спокойно, не повернув головы к беседке:

— Прощай, Елена.

Калитка, отворившись, скрипнула и тут же со стуком захлопнулась.

— Варини...— снова прозвучал голос Локашо, на этот раз уже с некоторым беспокойством.— Варини... Да куда же ты?

Двое в беседке отодвинулись друг от друга сразу, как только открылась дверь. Едва Варини скрылся, женщина вскочила и, не говоря ни слова, побежала к дому. Испуганный Туллио, чувствуя сильное искушение улизнуть, последовал за ней.

Локашо все еще стоял в дверях и звал Варини. Увидев их, он смущенно посторонился. Де Гасперис и Пароди оставались возле подноса с бутылками. Пароди вытирал лицо платком, одна щека у него была мокрая, по полу катался бокал.

— Он просто ненормальный,— повторял Пароди с недоумением.— Какого дьявола... Я сказал только: «Любопытно, что там делают Монари и синьора Елена»,— больше ничего, вы оба свидетели, а он, как ненормальный идиот, ей-богу,— бах! — швырнул мне в лицо бокал... Скажите сами, разве в своем уме такое сделаешь? Но он был в проигрыше, а когда человек проигрывает...

Он говорил это, вытирая лицо, а Де Гасперис с еще более оступелым видом, чем обычно, повторял:

— Это ничего... Он просто вспылал... просто вспылал.— И указывал Пароди мокрые места на пиджаке.

— Ушел и даже не сказал мне: «Чтоб ты треснул»,— заявил Локашо не без торжества, входя вслед за Туллио и женщиной. Но она посмотрела по очереди на присутствующих гордо и вызывающе. Потом громко сказала:

— Вон!

— То есть как это вон? — переспросил Пароди почти весело, переставая вытирать лицо.

— Вон! — повторила она, и в голосе ее вдруг зазвучал гнев.— Убирайтесь вон... И вы, Локашо... Вон отсюда... Я не хочу больше вас видеть... Вон!

Локашо и Пароди смотрели на нее, разинув рты от удивления.

— Но, Елена...— вмешался было ее муж.

— Молчи,— оборвала его она. Потом повернулась к двум другим.

— Убирайтесь... Вон отсюда! Поняли?

— Но мы-то при чем?— сказал Локашо.— Это все Варини. А сам я не понимаю даже, что произошло.

Пароди, не такой лицемерный и добродушный, как Локашо, уже опомнился и, показав на лоб, зловеще спросил своего приятеля:

— Она что, с ума спятила?

На нежных щеках Де Гасперис вспыхнул яркий румянец.

— Нет, я не спятила,— сказала она с возмущением. Потом сняла шубу и бросила ее на стул.— Вот ваша шуба,— продолжала она.— Нет, я не спятила.— Она в нерешительности посмотрела на свою руку; потом, сморщив лицо, стала с усилием стаскивать тесное кольцо с пальца. Стянув, она подошла к Локашо и насильно сунула кольцо ему в руку.— Вот ваше кольцо. А теперь уходите.

Пароди посмотрел на нее, на шубу, потом на Локашо, вертевшего кольцо в руке и еще более походившего в своем смущении на барана, который, нагнув голову, застыл в глупом удивлении. Он разразился неприятным смехом.

— Ну, если начать все возвращать, я, право, не знаю, как мы это кончим...

— Мой муж заплатит вам все, до последнего центезимо,— сказала она все с тем же полным отчаянья достоинством.— Уходите же...

— Заплатит? А откуда он деньги возьмет?— спросил Пароди. Но все же сделал шаг к двери.

Локашо последовал за ним, повторяя:

— Да, откуда он деньги возьмет?

— Уж во всяком случае, не из собственного кармана... Может быть, у Варини... Или же у Монари...

Но ни насмешки, ни издевки, ни оскорбления, ни угрозы не трогали женщину. Стоя посреди комнаты, она уже больше не повторяла в бешенстве «вон!» и только подталкивала их к двери неумолимым, гневным взглядом. Пароди и Локашо, словно не в силах выдержать этот взгляд, пятились и скоро очутились на пороге.

— Вы еще об этом пожалеете,— сказал с угрозой Пароди, чье лицо и даже лоб под густыми белокурыми волосами покраснели от ярости.— Помяните мое слово, пожалеете!

Неистово размахивая руками, он надел пальто с помощью Локашо, который внешне был гораздо спокойнее, и вышел, хлопнув дверью. Локашо же одевался долго. Смирный, кроткий, лицемерный, он, казалось, ждал слова или знака от Де Гасперис, стоявшей посреди комнаты. Чтобы оттянуть время, он даже стал чистить рукавом шляпу, упавшую на пол. Но женщина ничего не сказала и даже не пошевелинулась.

— До свиданья, синьора, до свиданья, Валентино, до свиданья, Монари,— сказал он наконец, раскланиваясь. И маленький, весь закутанный, то и дело оглядываясь через плечо в надежде, что она его окликнет, он тоже ушел.

Когда за Локашо закрылась дверь, к Де Гасперис вернулось ее обычное достоинство хозяйки дома, она извинилась перед Туллио за сцену, при которой ему пришлось присутствовать. И добавила на прощанье, что даст ему о себе знать завтра.

Тем временем муж ее стоял у карточного столика, опустив голову, словно в раздумье, и бесцельно тасовал карты. Туллио поцеловал у женщины руку, попрощался с Де Гасперисом, который, казалось, его не слышал, и, наконец, к огромному своему облегчению, вышел на воздух.

Этот вечер его совсем доконал. Неспособный ни о чем думать, он вернулся домой, с наслаждением залез под одеяло и заснул как убитый. Но, то ли под впечатлением недавней сцены, то ли по другой причине, спал он очень плохо. Он часто просыпался, ему снились сумбурные, тяжкие сны; то ему было жарко — и он сбрасывал одеяло, то холодно — и он ощупью отыскивал его в темноте: какая-то досада влеталась в эти отрывочные видения и не оставляла его ни на миг. Но понемногу он успокоился, и ему приснился более связный и цельный сон, который запомнился надолго.

Ему спилось, что он, спасаясь от какой-то смертельной опасности, выскочил из постели и в одной пижаме, дрожа от холода и страха, притаился ночью где-то за

городом, прижавшись к стволу развесистого дерева. Небо было беззвездное, а вдали, на горизонте, дрожало и мерцало зарево — это были огни вражеского лагеря. Он кое-как спрятался за деревом, тревожно глядя на эти далекие огни, а рядом с ним стояла Елена. Она тоже в спешке убежала из дома; в темноте было видно, что она плохо одета, вся оборванная, почти голая: смутно белели ее руки, плечи, грудь, в блестящих глазах застыл страх. Свирепый ветер, который сметал все вокруг, развевал ее волосы, бледным ореолом окружавшие голову. Он то с ужасом смотрел на далекие огни, то оборачивался и бросал на женщину страстный взгляд. И с самого начала в этом сне у него были две очень четкие мысли: первая — что Елена для него сейчас опасная обуза, от которой нужно избавиться; и вторая — что жаль все-таки отказываться от нее теперь, когда она наконец у него в руках. Эти две мысли раздирали его, заставляли колебаться, а огни на горизонте сверкали все ярче, все ослепительней. А потом она вдруг упала на спину в густую траву под деревом и обхватила его обеими руками за шею. Он отчетливо видел сквозь дыры в платье ее белое тело, но, уже наклонившись и почти упав на нее, поднял глаза и бросил взгляд сквозь безбрежную тьму на пылающий горизонт. Душу его переполняла невыразимая смесь желания и страха. Он чувствовал жестокую жажду удовлетворить свою страсть и потом отделаться от женщины. В конце концов он перестал сопротивляться ее объятиям, и тела их соединились на черной земле под большим склоненным деревом. Но это наслаждение не свободно от страха; их объятия торопливы; и вдруг в голове у Туллио мелькает ясная мысль, что она со своей эгоистической любовью губит его. Он мигом встает на колени. Но уже поздно. Раздаются громкие звуки военных труб, и, отделившись от лагерных огней, отряды вооруженных всадников быстро, как стрелы, мчатся к ним. Быстрота, с какою они пересекают темную равнину, ужасающая; они буквально летят, наполняя ночь неверным и жутким сверкающим оружием; окрестность оглашают жалобные крики убиваемых жертв. Туллио думал, что лагерь далеко, но теперь по сверканию сабель и по этим крикам понял, что всадники сейчас будут здесь, что ему уже не убежать и остается только одно спасение — избавиться от женщины, швырнув ее навстречу безжалостным врагам. Сам не зная

почему, он был убежден, что, если отдать Элену им на растерзание, он будет спасен. Решено! Вот он уже заставил женщину встать и отталкивает ее от дерева, которое служит им прикрытием. Он видит, как она, высокая, белая, вся обнаженная, подняв руки, с развевающимися по ветру волосами, бежит с отчаянным криком в эту темноту и падает, опрокинутая и растоптанная копытами лошадей. Ликующий, уверенный в своем спасении, он хочет снова притаиться за деревом. Но, вскинув глаза, видит прямо над собой одного из всадников, который, подняв коня на дыбы, занес саблю, чтобы его зарубить. Спасения нет, в темноте он видит руку и сверкающий клинок, видит лошадиную голову с разинутой, покрытой пеной пастью — она словно вот-вот заржет, — видит раздувающиеся ноздри, и дико горящие глаза, и копыта, которые сейчас разmozжат ему голову. И тогда, охваченный бесконечной жалостью к себе, он испускает душе-раздирающий вопль, вложив в него все свои силы в эту минуту смертельной опасности. И с мучительным воплем он наконец просыпается.

«Какой кошмарный сон», — сказал он себе, перестав стонать, и долго шарил у изголовья, прежде чем зажег свет. Но в комнате было сумрачно и тихо, знакомая мебель словно успокаивала его, удивляясь свету и его волнению. На ближней колокольне размеренно били часы, и он быстро пришел в себя. Погасив свет, он с удовольствием вспомнил объятия Де Гасперис и снова заснул.

Поздно утром его разбудила мать, которая, войдя в темную комнату, сказала:

— Проснись, Туллио... Тебя спрашивает твой друг.

Она открыла ставни и села в ногах постели, глядя на сына с тревогой.

— Знаешь, ты за последнее время очень осунулся... Посмотри на себя... Кожа да кости...

Мать всегда очень заботило, как Туллио выглядит, когда просыпается. Каждое утро, открыв ставни, она первым делом смотрела на его голову, лежавшую на подушке, и по тому, было лицо изнуренное или посвежевшее, судила, в котором часу Туллио вернулся домой и в какой компании был. Но Туллио, которого вдруг разбудили посреди сладкого сна и огорошили неприятной новостью, что его ждет какой-то неизвестный друг, ответил на эти обычные слова матери грубостью.

— Замолчи, бестолочь! — крикнул он, соскакивая с постели и подходя к зеркалу. — С чего ты это взяла? Откуда? Я прекрасно себя чувствую...

Но быть может, из-за того, что яркое солнце нескромно заливало пыльную комнату, в пожелтевшем зеркале он и в самом деле увидел изможденное лицо, бледное, с каким-то красным пятном, и круги под глазами. От этого он помрачнел еще больше. А мать твердила свое:

— Погляди, погляди на себя... Лицо как у тяжелобольного...

— Да замолчишь ли ты, черт тебя побери!.. С чего ты все это взяла? — крикнул он со злобой, приближая лицо к зеркалу. — Замолчишь или нет?

Мать расплакалась.

— Как тебе не стыдно, Туллио, так разговаривать с родной матерью! Да тебя словно подменили... С недавних пор тебя не узнать... И вид ужасный, и характер у тебя испортился... Ты ведь был такой здоровый, упитанный, веселый... А теперь вот стал бледный, как мертвец, и тебе слова нельзя сказать, чтобы ты не накинулся на меня, как дикий зверь...

Эти слова лишь удвоили зlobу Туллио.

— Замолчишь ты наконец? Я ничуть не переменялся и прекрасно себя чувствую...

— Неправда, ты совсем не такой...

— Замолчи, тебе говорят!.. А еще хочешь, чтоб тебя не обзывали... Только бестолочь может рассуждать так, как ты... — Круто повернувшись, он отошел от зеркала в конец комнаты и стал надевать халат. — И потом, что это ты выдумала насчет какого-то друга? — спросил он. — Кто там меня ждет?..

— Не знаю, — ответила мать, не переставая плакать. — Этот человек сказал, что он твой друг и хочет поговорить с тобой о важном деле...

Брюзжа, Туллио вышел из спальни в коридор. Настроение у него было прескверное. «А ведь мать права, — думал он, — за последнее время я ослабел, изнервничался, раздражаюсь по пустякам». Занятый этими мыслями, он толкнул стеклянную дверь и вошел в гостиную.

Эта комната с массивной светлой мебелью и пустым столом, более чем когда-либо похожая на приемную министерства, была залита солнцем, которое проникало сюда через два окна и освещало толстый слой серой пыли, скопившейся здесь за много недель. Вот уже боль-

ше месяца Туллио не приглашал сюда друзей и не вел с ними умных разговоров. У одного окна, ярко освещенный солнцем, которое било ему прямо в морщинистое лицо, сидел Де Гасперис.

Он был по обыкновению в светлом спортивном костюме, но небрит и казался усталым. Когда Туллио увидел его, к нему вернулись все страхи, которые владели им накануне. «Пришел просить денег», — подумал он и твердо решил про себя не давать ничего.

— Добрый день, как поживаешь? — сказал он, подходя к гостю и радушно протягивая руку.

Де Гасперис пожал ее, пробормотал что-то невнятное. Потом оба сели.

— Прости, что я пришел так рано, — начал Де Гасперис тихим и ровным голосом. — Ты спал?

— Да нет же... Что ты! — сказал Туллио. — Как твоя жена?

— Превосходно... Кстати... — Де Гасперис поколебался. — Ты не видел ее?

— То есть как это? — удивился Туллио. — Я видел ее вчера вечером...

— Да, конечно, конечно, — поспешно согласился Де Гасперис. — Я это сказал просто так... Кстати, я пришел просить тебя об одном одолжении...

— Слушаю.

Де Гасперис, казалось, не столько робел, сколько оступел вконец. «Быть может, — подумал Туллио, — он просто пьян с раннего утра». Тот долго ерзал на стуле, шурился от солнца, потом сказал:

— У меня к тебе вот такая просьба: моя жена шьет несколько платьев, а у меня как раз сейчас нет денег, чтобы уплатить. Не можешь ли одолжить мне две тысячи...

— Две тысячи чего?

— Две тысячи лир, — сказал Де Гасперис без смущения, с какой-то забавной твердостью.

Они посмотрели друг на друга. «Вот оно!» — подумал Туллио. И вдруг почувствовал, что Де Гасперис каким-то образом, быть может от самой жены, узнал о том, что произошло между ними накануне в беседке. И теперь, как хороший земледелец, который, засеяв поле, собирает в срок урожай, он пришел получить мзду за новый роман жены. Он ожидал, что Туллио поймет его с полуслова и все будет чинно-благородно, без всяких

протестов или — еще хуже — торговли. Это подтверждалось его ссылкой на платья жены. В самом деле, зачем бы стал Де Гасперис говорить о ее платьях, если бы не собирався сыграть на чувствах своего приятеля? И Тулли почувствовал, что у него никогда не было таких веских оснований быть скупым.

— Мне очень жаль,— сказал он поспешно и встал,— право, жаль, но я ничем не могу тебе помочь.

Де Гасперис принял отказ без удивления, с тем же непроницаемым видом, с каким высказал свою просьбу.

— У тебя нет денег или ты просто не хочешь мне дать? — спросил он, тоже вставая.

— У меня нет,— ответил Туллио. Слова ему ничего не стоили, и поэтому он охотно пустился в объяснения: — Видишь ли, дорогой Де Гасперис... Я не богат; как ты сам можешь убедиться, мы с матерью живем очень скромно... Две тысячи лир в наше время большие деньги... К тому же отчего бы тебе не попросить портниху подождать?.. Эти люди привыкли, чтобы им не платили.

Де Гасперис, казалось, не слушал его. Он словно мог думать только об одном и как будто боялся, что если заговорит о другом, то погрязнет в разговорах и упустит главное.

— Значит, не можешь дать? — повторил он.

— Нет, честное слово, не могу.

Де Гасперис кашлянул в руку, глядя красными, глубоко запавшими глазами в окно, откуда струилось яркое солнце.

— Тогда одолжи мне сто лир,— попросил он, не оборачиваясь к Туллио.

И Туллио понял, что общими разговорами тут не отделаешься. Нужно отказать резко и решительно.

— Мне очень жаль,— сказал он, опуская глаза и разглаживая складки халата,— но и сто лир я дать не могу.

Де Гасперис закурил сигарету и долго молчал.

— Эти деньги нужны мне позарез,— сказал он, как всегда, тихим и непроницаемым голосом.

— Мне очень жаль, но никак не могу.

Наступило долгое молчание. Дым от сигареты Де Гаспериса завивался длинной голубой спиралью, которая постепенно раскручивалась и растворялась в запыленном солнцем воздухе.

— Моя жена просила передать тебе привет,— сказал

вдруг Де Гасперис и пошел к двери.— Мы оба извиняемся за то, что произошло вчера вечером... Звони.

Он сказал еще несколько слов в этом же духе и вышел в коридор.

Дверь в соседнюю комнату быстро захлопнулась — это подслушивала мать.

— Так ты живешь с матерью? — спросил Де Гасперис. И не дожидаясь ответа, вышел на площадку, тихонько затворив за собой дверь.

Оставшись один, Туллио облегченно вздохнул и заперся в ванной, в уютном полумраке. Белая ванна была на три четверти полна зеленоватой неподвижной воды. Вода была горячая, над ней змейками вился пар. Туллио с удовольствием разделся, залез в ванну и стал потихоньку приседать, чтобы продлить приятное прикосновение горячей воды, а потом наконец лег, так что из воды торчали только голова и руки. Он замер наслаждаясь. Никогда еще эта комнатка с почерневшими закопченными стенами, с расшатанным унитазом, мрачная и сырая, никогда еще эта грязная и вонючая комнатка, куда приходили купаться и по нужде, не была так мила его сердцу, как теперь, когда ему надо было защищать свой покой и свои деньги от неутолимой жадности других людей. Время словно замерло, его отмечали лишь капли, падавшие из крана в воду. Замерли и все заботы под действием благодатной теплой влаги. Как мог он бросить на чашу весов свое милое благополучие ради какой-то Де Гасперис? И он почувствовал, что теперь с ней покончено всерьез, что это был лишь перебой в спокойном и ровном ритме его жизни. Разрушив корыстные надежды этой настырной женщины, он вернулся к милым привычкам, вкусной еде, обеспеченным друзьям, которые не просят денег в долг, к простым и покорным женщинам, которые довольствуются красивыми словами. Де Гасперис же нужны шубы из дорогого меха, драгоценности да еще, неизвестно для чего, ореол беззащитной невинности, на которую якобы кто-то посягает. Пусть этому верит наивный мот Варини, а он на эту удочку не попадет. Ведь теперь ясно, что супруги Де Гасперис сговорились и действуют по хорошо продуманному плану, чтобы вытянуть из него, как и из тех троих, побольше денег. При одной мысли, что такой план могли попытаться осуществить, кровь бросилась ему в голову и он пришел в ярость. Так он провел утро.

обуреваемый этими мыслями, что не мешало ему тщательно заниматься своим туалетом.

За обедом он ел с таким аппетитом, что мать утешилась и, забыв утреннюю ссору, начала по обыкновению его уговаривать:

— Съешь вот то, отведай этого. Мария, подай адвокату тарелку...

После обеда, поскольку было воскресенье и Туллио не знал, чем заняться, он надел толстое зимнее пальто и пошел прогуляться вдоль Тибра к замку Святого Ангела.

День выдался холодный и ясный, какие часто бывают зимой в Риме. Жмурясь от ласкового солнца, Туллио неторопливо шел вдоль стены, под сплетенными голыми ветвями платанов, лениво поглядывая то на бурную и сверкающую реку, то на широкую улицу, где уже попадались редкие воскресные прохожие. Он направлялся к громадному мавзолею Адриана, выложенному красными кирпичами, который виднелся за укреплениями, высокий и округлый, похожий на корабельную корму. Тележки торговцев стояли на тротуарах, такие же, какими он видел их еще ребенком, проходя здесь с матерью. Как и тогда, при виде пирамид апельсинов, сухих фиг, разложенных рядами, груд фиников, гроздьев бананов, у лакомок текли слюнки. Фрукты были нагреты солнцем, и цены, написанные карандашом, четко виднелись на клочках желтой бумаги. Как и тогда, шли дети, глаза на лакомства, а коренастые служанки тащились сзади, болтая с солдатами, получившими увольнительную, и с молодыми парнями из предместья. Много было и старых нищих, седобородых, одетых в зеленые заплатанные пальто, благочестивых старушек в черном, карабинеров и кормилиц. Весь этот люд грелся на солнце, сидя на низких каменных оградах, дети копошились тут же, матери, расстегнув теплые пальто, кормили грудью младенцев. И Туллио невольно подумал, что на солнце, под этими древними укреплениями, оборванные бедняки вполне уместны; они нужны здесь, как нужны под стенами королевских и других роскошных дворцов. И если на тебе теплое толстое пальто и ты только что плотно пообедал, то, глядя на них, испытываешь, если вдуматься, некое тонкое удовольствие. Да, нужны и бедняки, иначе как почувствовать сполна всю сладость обеспеченной и спокойной жизни? Пройдя мимо запертых ворот замка,

он пошел к мосту. Он так радовался погожему дню и возврату к своему прежнему благополучному образу жизни, что, дойдя до первой статуи на мосту (это был ангел; подняв к небу белые глаза, он держал копье, которым был пронзен Христос, а на пилястре была надпись «Vulnerasti cor meum»¹), остановился перед нищим, которого всегда видел с протянутой рукой на этом месте, когда направлялся в контору. Туллио отыскал в кармане кошелек и хотел дать ему монетку. Обычно он оставался верен принципу, что не нужно подавать милостыню, ибо это поощряет нищенство — общественную язву. И потом, разве не приходится сплошь и рядом читать в газете, как на мертвом нищем¹ обнаружили тысячи лир мелкой монетой? Кроме того, этот нищий был ему неприятен: какой-то придурковатый, уставился в землю, а вместо руки культя, круглая и гладкая, как колено. Но в этот день ему хотелось как-то отметить свое освобождение от Де Гасперисов, и к тому же Туллио был несколько суеверен, ему нравилось все таинственное. Он открыл кошелек. Нищий, примостившийся под высокой крылатой статуей ангела, уже затянул свое: «Да воздаст вам господь за ваше благодеяние», — но тут Туллио, обнаружив, что у него есть лишь монеты в одну и две лиры, резко, хоть и не без смущения, прознес:

— К сожалению, у меня нет мелочи, подам в другой раз.

На мосту, залитом солнцем, ему пришлось посторониться, чтобы пропустить черные похоронные дроги, раззолоченные, но без гербов, в которые была впряжена одна-единственная тощая вороная лошадь. За ней шли несколько человек — хоронили бедняка. Проклиная в душе судьбу, которая послала ему такую неприятную встречу, и бормоча заклятия против дурного знака, Туллио благоприсойно снял шляпу. Но когда маленький похоронный кортеж скрылся из виду, он невольно подумал, что этот труп исхудавшего человека в гробу, который так медленно везут по равнодушным, залитым солнцем улицам, лишь еще один контраст, который заставляет больше ценить преимущества легкой и спокойной жизни. Надо жить в свое удовольствие, наслаждаться всем, что есть хорошего. Занятый этими мыслями,

¹ Ты изранил сердце мое (лат.).

он продолжал свою прогулку через мосты до самого острова. Отсюда через древние римские кварталы он пошел домой.

Он дошел до своего подъезда, когда уже смеркалось и на узкой улице начали загораться скромные витрины лавок. Холодная лестница с низкими каменными ступенями, на которых гулко отдавались шаги, была темна, площадки тускло освещались ночными железными фонарями с мутными стеклами. Туллио медленно поднимался по лестнице, держась за шаткие латунные перила; так он прошел один пролет, потом второй, третий; дойдя до четвертого, он вдруг увидел в тени, которая здесь была особенно густой, высокую и красивую фигуру женщины. Туллио был уверен, что никогда не видел ее здесь, но тем не менее она показалась ему знакомой, и он, охваченный любопытством, ускорил шаги. Он подошел почти вплотную, а женщина по-прежнему тихо стояла, потупив голову, потом вдруг повернулась к нему. Он узнал Де Гасперис.

Ее появление было настолько неожиданным, что у Туллио захватило дух, и мгновение он смотрел на нее с ужасом и недоверием, словно увидел призрак. Она и в самом деле была похожа на призрак, бледная и печальная в этой мрачной темноте. Безмолвная, она, казалось, вот-вот станет прозрачной и исчезнет, а на ее месте останется лишь черная стена.

— Ты не узнаешь меня? — сказала она наконец, развевая эти чары. — Ты здесь живешь, да?

— Да, — ответил Туллио, испуганный этим «ты» еще больше, чем ее появлением. — Но бога ради...

— Мне нужно с тобой поговорить, — сказала она просто. — Я проходила мимо и решила зайти, если ты...

Тем временем они дошли до площадки, где жил Туллио.

— Ну что ж, войдем, — сказал он, отыскав в кармане ключи и отворяя дверь. Как это ни глупо, его больше всего пугала мысль, что она предложит пойти посидеть в каком-нибудь кафе и ему придется тратить деньги. Но, к его облегчению, не сказав ни слова, она непринужденно вошла в коридор. Когда дверь закрылась, они остались в темноте. Отыскивая ощупью выключатель, он коснулся руки женщины, которая тут же сжала его пальцы. Это пожатие теперь, когда он очутился наедине с ней у себя дома, сильно взволновало Туллио. Ему вдруг по-

казалось, что темнота, застилавшая глаза, стала вдвое гуще, словно он внезапно ослеп, и, не отдавая себе хорошенько отчета, что делает, он привлек женщину к себе. Они обнялись с той же трепетной яростью, что и в первый раз, как враги, раскачиваясь среди мебели в узком коридоре, вливаясь друг другу в губы. С грохотом упал стул. Они отпустили друг друга, и он зажег свет.

Де Гасперис стояла посреди коридора, не сводя с Туллио глаз, пальто ее было распахнуто, одна рука прижата к волнующейся груди. От объятий волосы ее растрепались, как у пьяной; помада, которую размазал Туллио, краснела вокруг губ, словно какое-то воспаление. Но гордые глаза и высокий белый лоб сохраняли, несмотря на этот беспорядок, свой чистый блеск. Туллио даже показалось, что темный коридор, захламленный старой мебелью, весь осветился. Да, было удивительно видеть ее здесь. Она была слишком высокая и, казалось, слетела с неба, а не вошла через дверь.

Мгновение они смотрели друг на друга, не двигаясь, тяжело дыша.

«Что я наделал! Какое скотство!» — подумал он вдруг, снова охваченный страхом. Открыв дверь гостиной, он знаком пригласил женщину войти. Там, боясь, что снова не устоит, он поспешил зажечь свет. Потом закрыл дверь и повернулся к Де Гасперис.

После объятий в коридоре она как будто отчасти утратила свою надменность. Теперь на ее взволнованном красивом лице было по-детски доверчивое выражение.

— Вчера вечером, — начала она прямо, без церемоний, — после твоего ухода произошло многое...

— Вот как, — сказал Туллио холодно. — Что же именно?

— Я поссорилась с Тино и ушла от него... — ответила она поспешно. — Сегодня я ночевала не дома, а в гостинице. — И она назвала хорошую гостиницу в центре города. — Я сказала ему, — добавила она, многозначительно глядя на Туллио, — что между нами все кончено и я больше к нему никогда не вернусь... К тому же, подумай только, — она наивно улыбнулась, — у меня нет ни сольдо... Со вчерашнего дня я ничего не ела... Все случилось так быстро... Впрочем, я думаю, что и у Тино ничего не осталось... Признаться, я умираю с голоду...

Услышав все это, Туллио стал еще холоднее. Значит,

мало того, что она сбежала из дому, у нее еще нет денег! Значит, он должен сразу раскошелиться. Он хотел заставить себя улыбнуться, но это ему не удалось.

— Что же ты намерена теперь делать?

— Прежде всего,— ответила она с несколько принужденной шутливостью,— пойти поесть, потому что, говорю тебе, я буквально умираю с голоду... А там не знаю, это уж тебе решать.— Она вдруг покраснела до корней волос.— Помнишь, ты предлагал мне уехать с тобой?.. Я готова была согласиться... Но тогда я еще надеялась на Тино... А теперь все кончено... Что касается меня,— добавила она нерешительно,— то мне очень нужен покой, я хотела бы побыть на солнце в хорошем, тихом местечке. Вот если б можно было поехать куда-нибудь к морю близ Неаполя и отдохнуть неделю или две, чтобы успокоиться и все обдумать... А потом уж мы решим как быть.

Этот переход от «я» к «мы» не укрылся от Туллио. Его охватило негодование. Значит, она предлагает уехать и жить вместе. В гостинице. В дорогой гостинице. Совершить путешествие. Словом, тратить деньги. Много денег! «Это верх нескромности, — подумал он, — верх эгоизма». Подобно бумерангу, который возвращается к бросившему его, опрометчивое предложение Туллио вернулось и ударило ему прямо в лицо.

— Но разве у тебя нет родственников, друзей? — спросил он наконец, чтобы как-то оттянуть время.

Она, казалось, была смущена этим вопросом.

— Есть дядя с теткой,— ответила она,— но у меня с ними испортились отношения как раз из-за моего брака с Тино. Ну, а о друзьях лучше не говорить... Нет,— заключила она с грустью,— я, что называется, одна как перст...

«Что ж,— подумал Туллио,— придется мне на пять или десять минут стать гадким, противным, отвратительным, но всего только на пять или десять минут... А потом я свободен». Притворившись, что задумался, он приложил руку ко лбу и отошел на несколько шагов, так что стол, стоявший посреди комнаты, оказался между ним и женщиной.

— Слушай, Елена,— сказал он серьезным тоном,— я предложил тебе уехать со мной в минуту слабости... И сама судьба требует, чтобы мы с тобой расстались... Потому что, обдумав все, я считаю, что твое место ря-

дом с мужем. У него много недостатков, это правда, и он, конечно, заслуживает, чтобы ты его бросила... И все же он твой муж... И твое место только с ним... Кроме того, не нужно терять надежду... Он еще молод, умен, у него много друзей. Он легко может найти выход... И ты должна вернуться к нему... Это самый разумный путь... Единственный... Если хочешь, я сам постараюсь вас помирить... Пойду к нему... Поговорю.

Она смотрела на него, и постепенно ею овладевало удивление.

— Вернуться к Тино? — сказала она наконец. — Это невозможно...

И в глазах ее вдруг заблестели слезы.

— Но почему? — настаивал Туллио воодушевляясь. — Он же твой муж... И я уверен, что ты его еще любишь.

— Нет, я его больше не люблю... Между нами все кончено.

Наступило молчание. Потом Туллио сделал рукой бессильный жест.

— Тогда уж не знаю, что тебе и сказать... Во всяком случае, таково мое мнение... И я не могу его переменить.

Она в нерешительности смотрела на него. Потом сказала, снова краснея до корней волос:

— Значит, я тебе не нужна? Ты меня гонишь?

«Вот он, самый неприятный, решающий миг, — подумал Туллио. — Зато сейчас все будет кончено». Он покачал головой.

— Нет, с чего ты взяла, что мы не будем видеться?... Будем... Будем видеться, как и раньше... Ведь мне не зачем говорить, что я тебя люблю...

Де Гасперис вдруг побледнела, и к ней вернулась ее обычная надменность.

— Где же мы будем видеться? — спросила она. — У меня дома или где-нибудь в другом месте?

— У тебя... и в другом месте... — ответил Туллио, притворяясь, будто не заметил презрительной иронии вопроса.

— Значит, в другом месте, — настаивала она. — Но где же?... Например, в меблированных комнатах?

— Да, — согласился Туллио неохотно, так как не хотел ничего обещать. — Но не станем теперь думать, где мы увидимся... Важно, что увидимся.

— В меблированных комнатах! — продолжала она все с той же презрительной настойчивостью. — Нужно, чтобы Тино ничего не знал... Я скажу ему, что иду к портнихе... У нас будет любовное гнездышко, да?.. Какой же ты молодец, Туллио!

На этот раз он не мог не заметить насмешки.

— Напрасно ты все так воспринимаешь... — начал он смущенно. — Пойми...

— Я уже все, все поняла, — перебила она его резко.

— Что же именно? — неблагоприятно спросил Туллио.

— Что ты еще хуже Пароди и остальных, — ответила она, не глядя на него. — И что я ошиблась.

Говоря это, она застегивала пальто, аккуратно, на все пуговицы. Потом пошла к двери.

— Но, Елена! — невольно окликнул ее Туллио и, обойдя вокруг стола, взял ее за руку.

Это прикосновение, казалось, было ей отвратительно.

— Не трогай меня, — сказала она сурово, со своим прежним светским высокомерием. — Не давай воли рукам...

«Вот он, ужасный, постыдный миг, — подумал Туллио. — Но сейчас все, все кончится, и я буду свободен».

Она подошла к двери, открыла ее и, видя, что он хочет ее проводить, сказала:

— Не надо, я сама найду дорогу... Прощай.

Эти холодные слова не оставляли сомнений в ее чувствах. Неподвижно стоя у стола, Туллио смотрел ей вслед. Через мгновение хлопнула дверь подъезда — она действительно ушла.

Оставшись один, Туллио вдруг почувствовал, что не испытывает того облегчения, которого ожидал. Напротив, ему казалось, что она унесла с собой весь свет, который ненадолго озарил старую мебель и мрачную, надоевшую квартиру. Да, в этой женщине действительно было что-то светлое. Он понял это только теперь, оглядевшись и чувствуя, как ему неприятна привычная обстановка гостиной. Он даже заметил наконец, какая она грубая и жалкая. Женщина ушла и унесла с собой все то, что еще оставалось в его душе светлого, молодого, благородного.

Задумавшись, сидел он у стола, обхватив голову руками. Он не был огорчен, его обуревало лишь яростное желание задушить всякое раскаяние, всякий стыд и сно-

ва найти самого себя. Стать тем, чем он был и всегда хотел быть. Это стремление все забыть и вернуться к своему обычному состоянию вскоре восторжествовало.

— Пошла к Варини... Или к Пароди... А может, к Локашо,— сказал он себе наконец.

Между тем он привычным движением почесывал голову, покрытую редкими сухими волосами. И перхоть белой пылью тихо оседала на темную, блестящую поверхность стола.



РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ИНДЮК

Когда, в день рождества, коммерсант Поликарпи-Курчио услышал по телефону от жены, что будет индюк и чтобы он поэтому не задерживался, он очень обрадовался, ибо с годами у него не осталось других пристрастий, кроме чревоугодия. Велико, однако, было его удивление, когда, вернувшись около полудня домой, он обнаружил индюка не в кухне, не на вертеле, медленно вращающемся над горящими угольями, а в гостиной. Индюк, одетый элегантно, хотя и несколько старомодно, в черном пиджаке с атласными лацканами, пепельных клетчатых брюках и сером жилете, украшенном костяными пуговицами, беседовал с дочерью Курчио. Курчио настолько не ожидал встретить индюка в таком неподобающем для этой птицы виде и месте, что после церемонии знакомства, воспользовавшись внезапным молчанием, не удержался, чтобы с легким поклоном не произнести вежливо, но твердо:

— Извините, сударь... может быть, я ошибаюсь... но мне кажется, что ваше место не здесь... да, да... может, я ошибаюсь... но ваше место...

Он уже готов был прибавить: «в гусятнице», — но тут жена, которая, по ее собственному выражению, знала его как облупленного, наступила ему на ногу, и Курчио, понимая, на основании многолетнего опыта, что означает это предупреждение, замолчал. Затем жена знаками вытасила его из гостиной и взволнованным шепотом предупредила, чтобы он, ради бога, не испортил все дело.

Индюк аристократ, индюк богат и влиятелен, словом — подходящая партия; и ведь ясно видно, Розетта ему нравится, — так неужели он хочет своими дурацкими разговорами расстроить наклеивающийся брак? Курчио извинился перед женой и обещал помалкивать. Что до индюка, то в ответ на странную речь хозяина дома он лишь вставил в глаз монокль и смерил взглядом некстати явившегося папашу, после чего продолжал беседовать с его дочерью.

«Легко сказать — помалкивать, — думал Курчио через некоторое время, за столом, пока жена рассыпалась перед индюком в любезностях. — Да такому типу, чем дочку за него отдавать, лучше шею свернуть, тут и говорить нечего». Особенно раздражал Курчио тон самодовольного превосходства, с которым индюк всякий раз обращался к нему. Сам Курчио начинал, что называется, с нуля, он это прекрасно помнил и отдавал себе отчет, что его манеры не столь изящны, как хотелось бы жене и дочке. Но он всю жизнь трудился и заработал приличные деньги, — когда же ему было думать о своем воспитании? А вот индюк, сколько бы ни важничал, о себе такого сказать не смог бы. Манеры у индюка прекрасные, этого у него не отнимешь, он выглядит настоящим синьором, но, в конечном счете, Курчио готов был голову дать на отсечение. — жидковат индюк. И еще одно действовало Курчио на нервы — то, как, сострив или сделав глубокомысленное замечание, индюк оттягивал назад шею, прятал клюв и мясистую бороду в черный галстук, повязанный бантом, и надувал под жилетом грудь. Наконец, обращаясь к жене Курчио, индюк подбирал такие тонкие выражения, говорил таким переливчато-жеманным голосом, будто его собеседница какая-нибудь герцогиня. И Курчио приходил в бешенство: ему слышалась неуловимая ирония в этой чрезмерной почтительности. «В гусятницу, — думал он, — в гусятницу его...»

Впрочем, антипатия Курчио к индюку с лихвой возмещалась восхищением обеих женщин — матери и дочери. Жена Курчио и Розетта буквально смотрели индюку в рот, а вернее в клюв, завороченные неслыханными рассказами о праздниках, развлечениях, путешествиях, о светской жизни. Фамильярная уважительность такого индюка, как этот, бывшего накоротке с высшим светом, льстила матери. Розетта краснела, бледнела, дрожала, бросая на индюка умоляющие, пламенные, томные, испу-

ганные взгляды, — и все из-за индюшиной ноги, обутой в старомодный, но изящный замшевый ботинок на перламутровых пуговицах, которая с самого начала обеда не оставляла в покое ее ножку.

Едва за индюком захлопнулась дверь, у Курчио с женой вспыхнул ожесточенный спор. Гнать их всех, этих дешевых пижонов и снобов, говорил Курчио, ведь известное дело, под их чванливостью скрывается немало темных пятен. Он всю жизнь работал и ничуть не считает себя ниже всяких там индюков. Жена отвечала, что он напрасно кипятится, — какая муха его укусила? — индюк и не думал доказывать, будто он выше, чем Курчио. Что до Розетты, та, как всегда после обеда, отправилась спать, и ей снился индюк. Она лежит на спине, а он склонился над нею, крыла обнимают ее за плечи, клюв касается приоткрытых губ. Индюк смотрит на нее нахохлившись и раздувается, раздувается, заполняя комнату серым опереньем; но, и при гигантских размерах, он кажется легким, грудь Розетты не чувствует тяжести. Розетта вздыхает и шепчет: «Милый индюк»:

В последующие дни, несмотря на откровенную, все возрастающую неприязнь Курчио, индюк прямо-таки водворился у них в доме. Он приходил к обеду и потом, перейдя с Розеттой в гостиную, сидел там до самого ужина. Они уже обручились, сказала Курчио жена. Правда, по семейным обстоятельствам индюк возражал пока против официального объявления о помолвке.

— Хорош зятек, — ворчал Курчио, — да вы мне стоящего человека дайте, работающего, скромного, мягкого, а то индюк...

Возвращаясь домой, Курчио через стеклянную дверь гостиной мог видеть рядом с грациозной головкой дочери пустую, хищную, дурацкую голову индюка. «А что, если ручки Розетты, такие маленькие, беленькие, гладят красную морщинистую бороду?» — думал он, и его неприязнь росла.

Между тем индюк, хотя и продолжал ухаживать за Розеттой, с предложением медлил, так что и мать уже начала беспокоиться. Если бы он был серьезным индюком, в конце концов заявила она дочери, он должен был бы обратиться к родителям и просить ее руки. Розетта при этих словах в страхе посмотрела на мать и ничего не сказала. Дело в том, что индюк сумел уже в одну из первых встреч добиться от бедной девушки

самых больших милостей. И теперь ей не меньше, чем матери, не терпелось, чтобы индюк внес, как говорится, определенность в их отношения.

Однажды Розетта встретила индюка слезами в три ручья. Она больше не может так жить, лепетала она, всхлипывая, — обманывать себя и родителей. Индюк мерил крупными шагами гостиную, перья над воротничком взъерошены, клюв злобно полураскрыт, глаза налились кровью. Наконец он объявил, что не собирается жениться на ней, — пусть она выкинет это из головы. А вот если она хочет, он готов убежать с ней за границу. Прямо сегодня ночью — или никогда. Розетта после долгих колебаний согласилась.

В ту ночь Курчио, который страдал бессонницей, поднялся постоять у окна и глотнуть свежего воздуха. Была летняя ночь, ослепительно сияла луна. Курчио жили на небольшой вилле. Бесшумно, не зажигая света, дабы не разбудить жену, Курчио подошел к окну, и первое, что он увидел, была гигантская тень индюка — отчетливое отражение на стене виллы, залитой белым лунным сиянием: шея надута, голова запрокинута, шишковатый клюв задран кверху. Курчио глянул вниз — как раз вовремя, чтобы заметить дочь, летящую из окна второго этажа на руки индюку. Тот, обнаружив силу, какую в нем вряд ли бы кто-нибудь предположил, взвалил Розетту на спину, точно тюк, и быстро понес к калитке. Курчио разбудил жену, бросился за старым охотничьим ружьем. Но пока он спустился, беглецов и след простыл.

На следующий день Курчио пошел заявлять по всей форме о похищении. Но в полиции ему не верили. «Индюк? — говорили ему. — Возможно ли, чтобы индюк похитил вашу дочь? Индюки живут на птичьем дворе». Да и дочка ведь совершеннолетняя, ничего он не добьется.

Зато выявились темные пятна в биографии индюка. Оказалось, что он женат, имеет потомство. Обнаружилось также, что он не из аристократов и не из богатых, а всего-навсего бывший официант, уволенный отовсюду за поровство. Курчио злорадствовал. Жена целыми днями плакала и звала дочь.

Дело кончилось обыкновенным выкупом: чтобы вернуть домой опозоренную дочь, Курчио пришлось выложить значительную часть «приличных денег», заработанных с таким трудом. Это было в декабре. В день

рождества жена позвонила Курчио и сказала, что будет индюк и чтобы он не опаздывал к обеду; во избежание недоразумений она добавила, что речь идет об очень серьезном господине, явно равнодушном к Розетте. В общем, индюк — не чета прошлогоднему, внушает доверие. «Вот они, женщины», — подумал Курчио. Но на сей раз дал себе слово держать ухо востро: его не ослепят обманчивая наружность и пустые разглагольствования кого бы то ни было — пусть даже самого высокопоставленного индюка или гуся.



ДЬЯВОЛ НА ОТДЫХЕ

один прекрасный день жители М., живописного поселка (так характеризует его путеводитель Touring Club) на берегу Неаполитанского залива, увидели бродившего по улицам необычного отдыхающего. На нем был матросский костюм, только не синий, а красный, изысканные сандалии и платок, повязанный вокруг шеи. Худой, смуглый, слегка прихрамывающий, он вполне походил на одного из тех горожан, что, приехав на море, любят наряжаться рыбаками; лишь большие кольца, продетые в мочки ушей, да выражение суровой решимости на лице наводили на размышления.

В М. можно встретить приезжих со всего света, и местные жители давно уже ничему не удивляются. Вот и на этот раз они не отважились обсуждать наружность чужестранца, которая в иные, менее космополитические времена, вероятно, вызвала бы в их памяти один известный образ.

Было очень жарко, и приезжий, казалось, никуда не спешил. Он осмотрел церковь — снаружи и внутри, муниципалитет, монастырский дворик; он посидел в кафе на площади и выпил стакан пива; наконец, он зашел в писчебумажный магазин, купил четыре цветных открытки и, написав, опустил в ящик на почте. После почты его следы теряются: он исчез или, вернее, отбыл, как все туристы в этом мире. Все это произошло в несчастливый день — в пятницу. К тому же было тринадцатое число.

Назавтра, в субботу, случилось необыкновенное событие. Всем двум тысячам пятистам жителям М. пригрезилось в последнем предутреннем сне, что сегодня воскресенье. Что сегодня воскресенье, приснилось священнику, доктору, повитухе, аптекарю, мэру, четырем или пяти местным адвокатам; приснилось, что сегодня воскресенье, и всем тем, кто по выходным дням отдыхает, — землекопам, крестьянам, ремесленникам, подмастерьям, рабочим. Уверенные, что на дворе воскресенье, все эти люди, понежась немного в постели, нарядно оделись и направились на площадь.

Магазины остались закрытыми, не считая продовольственных, закрывающихся в полдень. В церкви собралось обычное для воскресной мессы число верующих. Священник по обыкновению произнес прекрасную проповедь именно о святости воскресенья, напомнив, что в этот день господь почил от трудов после того, как создал самое значительное и сложное из своих творений — человека.

Вечером жители М. укладывались спать, думая о занятиях и о трудах, ожидавших их на завтра, в понедельник. Но когда они проснулись утром, они обнаружили, что опять воскресенье, второй день подряд. Они обнаружили это, глянув на календарь, включив радио, взяв в руки газету. Жители М. люди простые, но мы уже говорили, что, насмотревшись на приезжую публику, они потеряли способность чему-либо удивляться. Таким образом они согласились с совершившимся фактом и без колебаний повторили воскресенье — мессу, обед, картишки, игру в шары, танцы, пикники.

Пока что — ничего особенного, просто ошибка, к тому же легко поправимая. Но в субботу сон повторился, и жители М. со спокойной совестью отметили воскресенье. Естественно, следующий день тоже оказался воскресным, и опять его пришлось отмечать. Жители и на сей раз не удивились, но поклялись в будущую субботу держать ухо востро.

Тщетное обольщение. Настала суббота — и снова было одним воскресеньем больше. Короче говоря, с того времени в М., хотя там этого или не хотят, не одно, а два воскресенья в неделю.

Теперь уже об этом случае заговорили. Первой о нем сообщила одна неаполитанская газета, разумеется, в шутовском тоне, назвав М. самым ленивым поселком на

свете. Потом забеспокоились власти: правительство направило на место происшествия полицейского инспектора, епископ — своего посланника. Солидные столичные газеты отрядили специальных корреспондентов. Полицейский инспектор дотошно допросил местную верхушку и простых смертных и составил длинный рапорт; посланник епископа задал священнику хорошую головоломку.

Но наступила суббота, и все эти инквизиторы также оказались жертвами общего заблуждения. Посланник епископа торжественно участвовал в искупительном богослужении. Полицейский инспектор принял приглашение на грандиозный воскресный обед. А вот журналисты, те сообщили о раскрытом обмане, телеграфируя, что слух пустил местный почтальон Какаче ради удовольствия спокойно провести со своей невестой лишней выходной. На следующее утро, правда, корреспондентам пришлось изменить позицию, ибо и в этот день было воскресенье.

С тех пор в М. два воскресенья; и можно сказать, что в плане туризма М., со своими двумя воскресеньями, переплюнул даже знаменитый Голубой грот на Капри. Со всего света люди устремились в М., мечтая увидеть пресловутый сон и насладиться двумя воскресеньями кряду.

Правительство смотрит на это сквозь пальцы и даже разрешает рекламировать двойное воскресенье в М. Зато с точки зрения религии дело обстоит не столь гладко. Вмешались теологи и доказали, что если бы господь отдыхал не один, а два дня подряд, человек не был бы создан, не случился бы первородный грех, а следовательно, не было бы истории — правительств, войн, цивилизаций, религии.

Эти теологи называют воскресенье в М. воскресеньем дьявола, который, как известно, рад обречь род человеческий на адские мученья. Правда, другие теологи возражают в ответ, будто второе воскресенье есть не что иное, как знак божьей милости по отношению к М.: дескать, в М. воспроизведен мир до создания человека; дескать, жители М. суть ангелы. Смелая концепция, которая не находит подтверждения в характере местного населения, но которая на сегодняшний день способна приостановить нависшую над поселком угрозу отлучения от церкви.



БЕСПОЛЕЗНЫЙ ВИЗИТ

был наслышан о Муццарини. «Потрясающий критик, — говорили о нем опасно и с восхищением, — но подвержен приступам безумия». Зная, что редактируемый им листок упражняется в весьма злобной полемике, я спрашивал, в чем проявляется это безумие. На мой вопрос никто не мог внятно ответить, но из приводимых примеров я заключил, что безумие в данном случае означает крайнюю несдержанность в различных — в том числе и весьма щекотливых — обстоятельствах. В других такая несдержанность подверглась бы — да и как же иначе — суровому осуждению, но когда ее позволял себе Муццарини, она представлялась еще одним доказательством его своеобразия и талантливости. Свообразным и талантливым он, возможно, и был, судя по описаниям, но во все вносил беспорядок, который я всегда считал худшим врагом всякого таланта. В восторженных отзывах о Муццарини мне слышались отголоски старого и романтического представления о гениальности, которое на пользу таким людям возрождается всякий раз, как происходит некое расшатывание устоев. Кто-то заметил, правда, что Муццарини просто не умеет себя вести. На это ему в один голос отвечали, что Муццарини такой человек, которому можно простить многое из того, что не прощается прочим людям. Короче, репутация безумного, как щит, ограждала его со всех сторон.

Наслушавшись этих разговоров, я захотел, наконец, с ним познакомиться и, встретив однажды приятеля, который направлялся к нему по делу, попросил его взять меня с собой. Муццарини жил на окраине города, там, где кончаются дома и начинаются засеянные поля, на одной из кривых улочек, обстроенных хибарами и домишками и тянувшихся между пустырями, где свален мусор, гаражами и огородами. Муццарини занимал маленькую виллу — когда-то белое, теперь почерневшее строение с башенкой и палисадником, возведенное с явным намерением снести его через несколько лет; штукатурка там и сям отвалилась, и вся постройка, казалось, готова была рухнуть на наших глазах. Дверь была приоткрыта, и,

войдя, мы очутились прямо перед лестницей с шаткими деревянными перилами, которая вела во второй этаж. Тесную прихожую, с грязным, изрисованным детскими каракулями серым цоколем, загромождала старая детская коляска; других помещений на первом этаже как будто не было. Только мы начали подниматься по лестнице, как чей-то голос в исступлении проорал несколько ругательств, и двое бледных и оборванных ребятишек скатились по лестнице, имея вид отнюдь не испуганный и даже скорее довольный. Муцзарини — это был он — перегнулся через перила и, оглушительным голосом прокричав еще несколько угроз, бросил нам «проходите» и скрылся. Мы поднялись наверх, избегая опираться на еле державшиеся перила, и вошли в кабинет великого критика.

Вся огромная комната с непонятным числом стен была выкрашена розовой краской. За окнами, на которых не было занавесок, виднелся ближний аэродром, огромная пустая стриженная лужайка с бараками, антеннами и развевающимися флажками; дальше, точно море, простирались до самого горизонта бледно-зеленые поля. Из мебели целым можно было назвать только большой стол, заваленный книгами и бумагами; останки и отдельные детали того, что когда-то было красным креслом, диваном, этажеркой и стульями, располагались вдоль ярко-розовых стен. Через всю комнату к нам топал маленький ребенок, засунутый, чтобы не упасть, в нечто вроде плетеной корзины без дна; но судя по тому, с какой бойкостью он передвигался, это подобие кринолина было уже излишним. Мальчик лет шести, почему-то одетый в синий женский халатик, стоя за дверью, сосредоточенно ковырял в носу. Мой приятель, человек очень спокойный и аккуратный, погладил его по голове и ласково посоветовал ему заняться чем-нибудь другим. На что сидевший за столом отец закричал, вскочив с места: «Ковыряй в носу, Тристано, ковыряй в носу и никого не слушай, никого не слушай...» Исступленным движением схватив за руку мальчика по имени Тристано и за нагрудничек — ребенка в плетеном кринолине, он выставил обоих за дверь. «Чем могу быть вам полезен?» — осведомился он затем глухим и низким голосом и, задыхаясь, снова уселся на стул.

Мы тоже сели, хотя нас не приглашали, и я получил возможность лучше рассмотреть нашего хозяина. У него

было одно из тех бледных, влажноватых и дергающихся лиц, которым блеск в глазах и игра желваков под кожей придают вид действительно безумный или, по крайней мере, беспричинно возбужденный. Но вздернутый нос с острым кончиком имел в себе что-то игривое, а тонкий сжатый рот выражал невероятную расчетливость и жесткость. Он был всклокочен и нечесан, одет в помятые вельветовые охотничьи штаны и великолепную коричневую кожаную куртку, надетую прямо на голое тело и распахнутую так, что из-под нее щедро обнажалась волосатая грудь. Мой приятель, положив шляпу на колени, излагал тем временем причину нашего посещения. Дело было в следующем: накануне одного литературного конкурса Муццарини, без какого-либо видимого повода, выступил в своей газете с нападками на одного нашего друга, человека вполне серьезного и безобидного. Обвинения Муццарини были слишком неопределенными, чтобы повредить репутации нашего друга, но достаточными для того, чтобы тот провалился на конкурсе. Теперь мой приятель хотел выяснить, имел ли Муццарини что-либо против моего друга, и если нет, то почему он не воздержался от нападков. Муццарини выслушал все эти сообщения с видом нетерпеливым, хотя и сокрушенным, поигрывая разрезным ножом, после чего категорическим тоном заявил, что не только ничего не имеет против нашего друга, но даже восхищается его произведениями. «Так в чем же дело?» — удивленно воскликнул мой приятель. «А в том и дело, что у меня нет к нему никакой ненависти, я его люблю, очень люблю, поэтому выступаю против него и буду выступать. А он пусть ответит, никто ему не помешает. Журнал открыт для всех, особенно для моих врагов».

Мой приятель вздрогнул, ибо знал, что печатно отвечать Муццарини значит примириться с тем, что ответ поместят в оскорбительном и невразумительном виде: строчка ответа и три строчки комментария Муццарини, перевирающие ее и придающие ей противоположный смысл. Однако сказал, что друг его не стал отвечать, потому что хотел сначала выяснить, нет ли тут недоразумения. «Недоразумения, — свирепо зарычал Муццарини, — да, маленькое недоразумение есть, он сам». «Но помилуйте, — сказал мой приятель, — все эти обвинения — неправда, все знают, что Р. совсем не такой человек, каким вы его изображаете». «Конечно, неправ-

да,— прервал его Муццарини, подскакивая от радости,— все это ложь, одна ложь, совершенная ложь, я не отрицаю, но мне поверят, понимаете, поверят, как будто я сказал правду». Он замолчал, крепко и значительно сжав губы, как человек, который с усилием набрасывает цепочку на дверь, в которую снаружи ломится толпа. Начиная сердиться, мой приятель намекнул, что, может быть, Муццарини затем и выступил против его друга, чтобы победителем на конкурсе стал не он, а один близкий к Муццарини человек, ничтожный и по своему характеру, и по своим произведениям. «Но если это так, то позвольте вам сказать, что вы действуете как каморра...» Тут Муццарини, как бы не в силах сдержать охвативших его чувств, вскочил со стула и, выбежав на середину комнаты, завопил: «Каморра! Наконец-то слово сказано, наконец-то в точку... Каморра! А, значит, вы еще не поняли. Так я вобью вам это в голову! Каморра — вот наш девиз! Да, мы каморра, гнусная, нечестивая банда убийц, мы — бандиты... в этом доме все бандиты, начиная с меня, кончая моей женой и самым маленьким из моих детей... погодите минутку». Он подскочил к двери, исчез за ней и тут же вернулся, держа на руках ребенка по имени Тристано, который, казалось, ничуть не был удивлен судорожными телодвижениями отца и с еще большим усердием ковырял в носу. «Ну-ка, — заорал Муццарини, — ну-ка, скажи этим господам, что ты бандит... скажи: я — бандит». Не глядя на нас, ребенок неохотно произнес: «Я бандит». «Так и есть, — прокричал отец, снова выставляя его за дверь, и, задыхаясь, повторил: — Так и есть, так и есть».

Мой приятель, кажется, понял, что с налету Муццарини не возьмешь, и перевел разговор на другие темы, пытаюсь, как я догадался, его утихомирить. Заговорили о разных людях — Муццарини разносил всех. «Расстрелять их, — кричал он, вскакивая со стула, — к стенке... расстрелять всех». Однако я заметил, что едва разговор касался кого-либо из влиятельных людей, как Муццарини впадал в неопределенность, удивительную в столь безапелляционном человеке, темнел лицом, кривил рот и с похвальным и неожиданным беспристрастием заявлял, что не знает этого человека, не может о нем судить и так далее. Из этого я заключил, что Муццарини — лиса и что мой приятель, который пытается его утихомирить, думая, что имеет дело с буйным, напрасно теряет свое

время. Мне показалось, что постоянное возбуждение Муцзарини — одно притворство, просто маска, тогда как мысли его движутся четко, размеренно и последовательно. Настоящих чувств его возбуждение не выражало; он сам с видимым удовольствием слушал и наблюдал себя и даже забавлялся устроенным им спектаклем. А все эти лихорадочные движения обозначали не что иное, как полную свободу и раскованность: прыжки кота, играющего с пойманной мышью. Короче, Муцзарини разыгрывал перед нами комедию безумия, к чему, надо сказать, имел призвание и по характеру, и по воспитанию. Пока мой приятель и хозяин дома разговаривали между собой, я сделал еще одно наблюдение: Муцзарини, при всей его анархической мятежности, по склонностям и понятиям был, или хотел выглядеть, конформистом. Он то и дело вставлял в разговор, что он хороший отец и хороший муж, что он человек простых, демократических привычек, что он презирает роскошь и не терпит богатой и утонченной публики. Все эти добродетели на первый взгляд плохо согласовывались с теми недостойными методами полемики, к которым он прибегал в своих критических статьях, и с теми особенностями поведения, которые он нарочито продемонстрировал перед нами. Я сказал «на первый взгляд», и действительно, подумав немного, я сообразил, что при таких методах и таком поведении добродетели необходимы точно так же, как статуе необходим пьедестал. Чем несправедливее и беспощаднее обличители, тем важнее им выставить себя образцовыми и незапятнанными людьми в частной жизни, такими, каких одобряет большинство. Они не смогут запугивать и оскорблять, если не будут прикрываться принципами, пользующимися всеобщим уважением. Таким способом они убивают сразу двух зайцев: вызывают горячее одобрение и затыкают глотку противнику. Настоящая их цель — утоление некоей страсти, но по видимости они отстаивают истину и добро. Однако истина и добро претерпевают в их руках неуловимое и грозное превращение, подобное тому, какое претерпевают в руках химика невинные и полезные вещества, превращаясь в опаснейшую взрывчатку. Так я размышлял, наблюдая Муцзарини. И еще я подумал, что он продолжатель очень давней традиции. Какое уж там безумие.

Тем временем наш визит исчерпал себя. Мой приятель заметил наконец, что Муцзарини, как мне стало

ясно сразу же, твердо вознамерился погубить нашего друга и что отворотить его от этого намерения невозможно. Мы холодно попрощались с хозяином, который поклонился нам с преувеличенной и шутовской учтивостью. Но в тот момент, когда он произносил слова прощания, с верха двери на него свалилась консервная банка с какой-то жидкостью, которая тут же залила его роскошную кожаную куртку. Это дети его, следуя любовным наставлениям родителя, объединились против него в маленькую экспериментальную каморру. Взбешенный, совершенно забыв о нашем присутствии, Муццарини перегнулся через расшатанные перила и вне себя от злости заорал: «Мерзавцы, негодяи, попадетесь, шкуру спущу...» Выйдя из дома, мы еще долго слышали его ругательства. Лицо моего приятеля выражало гадливость и возмущение. Но я, глядя на него, только улыбался: визит к Муццарини привел меня в хорошее настроение.



ВОРЫ В ЦЕРКВИ

то делает волк, когда волчица и волчата голодны и, сидя с пустым брюхом, скулят и грызутся между собой? Что делает волк, спрашиваю я вас? Я скажу вам, что он тогда делает: он выходит из логова и идет искать добычу; бывает, что, отчаявшись, он спускается в деревню и забирается в дома. И крестьяне, которые убивают его, правы; но и он прав, когда забирается в дома и бросается на людей. Выходит, что все правы и ничьей вины тут нет. А из этой правоты рождается смерть.

Этой зимой волком был я, и я даже жил по-волчьи — не в доме, а в пещере у подножия Монте-Марио, в заброшенных карьерах. Там много таких пещер, но почти все они заросли колючим кустарником — не подобраться; жить можно было только в двух — в моей и еще в пещере одного старика, который просил милостыню и собирал тряпье; звали его Пулити. Местность кругом была желтая, голая, отверстия пещер — черные, закопченные. Перед пещерой Пулити вечно лежала гряда тря-

пок, в которой он копошился; перед моей стоял большой бидон из-под бензина, который служил нам печуркой, и жена моя с ребенком на руках без конца раздувала угли.

Внутри пещера была, пожалуй, лучше, чем иная комната: просторная, сухая, чистая, на земле тюфяк, вещи развешены на гвоздях. Я оставлял семью в пещере, а сам ходил в Рим искать работу: я чернорабочий и чаще всего нанимался землекопом. Но пришла зима, и, не знаю отчего, земляных работ становилось все меньше. Теперь мне часто приходилось менять профессию, и наконец я вовсе остался без работы. Вечером, когда я возвращался в пещеру и при свете масляной коптилки жена, сидевшая на тюфяке, смотрела на меня, и младенец у ее груди смотрел на меня, и двое старших ребят, что играли на земле, смотрели на меня, я, видя в этих четырех парах глаз одно и то же голодное выражение, чувствовал себя и вправду волком в волчьей семье и думал: «Когда-нибудь, если я не принесу им поесть, они меня разорвут на куски».

Старикашка Пулити со своей великолепной седой бородой казался настоящим святым, но стоило ему открыть рот, как сразу видно было, что он жулик. Он часто говорил мне:

— Чего вы столько детей наплодили? Чтоб они мучились? Да и почему ты не собираешь окурки? За них хоть что-нибудь выручишь.

Но я не мог заставить себя собирать окурки, я хотел настоящей работы. И вот однажды вечером я с отчаяния говорю жене:

— Я больше так не могу... Знаешь что? Стану за углом и первого же прохожего...

Жена меня перебила:

— В тюрьму захотелось?

Я говорю:

— В тюрьме хоть накормят.

А она:

— Тебя — да, а нас?

Это меня, надо сказать, убедило.

Мысль обокрасть церковь подал мне Пулити. Он часто ходил попрошайничать по церквам и, можно сказать, знал их все наизусть. Он уверял, что если я сумею спрятаться в церкви вечером, перед тем как ее запирают, то

утром можно будет незаметно удрать. Но он предупредил:

— Смотри.. Попы не дураки... Хорошие вещи они держат в сейфах, а напоказ выставляют стекляшки.

Кроме того, он обещал перепродать вещи, если мне удастся обделать это дельце. В общем, пустил он мне, как говорится, блоху в ухо, хоть я сначала об этом ни думать, ни говорить не хотел. А мысли то же, что блохи: коли залезут, так и гуляют без спросу и вдруг кусанут тебя, да так, что подскакиваешь от неожиданности.

Так и меня укусило однажды вечером, и я заговорил об этом с женой. А надо вам сказать, жена у меня набожная, и когда мы жили в деревне, то она больше времени проводила в церкви, чем дома. Она мне говорит:

— Да ты с ума сошел!

Я ожидал, что она будет возражать, и отвечаю:

— Это не воровство... Зачем эти вещи дарят церкви? Чтоб творить благо... Если мы что и возьмем, так для чего? Для блага... Для кого же и творить благо, как не для нас, когда мы так в нем нуждаемся?

Она растерялась и говорит:

— Как ты до этого додумался?

Я говорю:

— Это дело не твое. Ты мне отвечай: разве не сказано, что надо насытить алчущих?

— Да.

— Мы алчущие или нет?

— Да.

— Так, значит, мы только выполним свой долг... сделаем доброе дело.

В общем, я ей много в таком роде наговорил, все напирая на религию — а это у нее было слабое место, — и в конце концов убедил ее. А потом добавил:

— Только я не хочу, чтоб ты осталась одна... Пойдем со мной. Если нас поймают, то хоть в тюрьме будем вместе.

— А ребята?

— Ребят оставим на Пулити... Потом о них господь позаботится.

В общем, мы договорились и сообщили обо всем Пулити. Он обсудил наш план и одобрил его. Но под конец сказал, поглаживая бороду:

— Доменико, послушай меня, старика, не трогай серебряных сердец. Это дешевка. Бери драгоценности.

Когда я вспоминаю о Пулители и его бороде, о советах, которые он давал так серьезно, мне даже смешно становится.

И вот в назначенный день оставили мы детей у Пулители и поехали трамваем в Рим. Ну совсем как два годовалых волка, что спускаются с гор в деревню; а посмотреть на нас — и впрямь волки: моя жена низенькая, коренастая, широкоплечая, с густыми курчавыми волосами, словно костер на голове, лицо решительное; а я худой, как с живодерни, щеки ввалились, заросший весь, впалые глаза сверкают. Мы выбрали старинную церковь на одной из тех улиц, что выходят на Корсо. Церковь была большая и очень темная, потому что кругом стояли высокие дома; внутри — два ряда колонн, а за колоннами — два нефа, узкие и темные, и несколько приделов, полных всякого добра. На стенах под стеклом висело очень много серебряных и золоченых сердец, но я заметил маленькую витринку, где на красном бархате среди нескольких более дорогих сердец было выставлено ожерелье из лазурита. Эта витрина находилась в приделе, посвященном мадонне; над алтарем стояла статуя мадонны в натуральную величину, под балдахином, вся раскрашенная, голова в нимбе лампадок, а в ногах много цветов и канделябры со свечами.

Мы вошли в церковь уже в сумерки и, улучив момент, когда в этом приделе никого не было, спрятались за алтарь. Там, позади статуи, было несколько ступеней; мы на них присели. Час был поздний, и пономарь стал ходить по церкви, шаркая ногами и бормоча: «Закрывается». Но за этот алтарь он не заглянул и только погасил все лампадки, кроме двух красных светильников по обе стороны алтаря. Потом, слышим, он двери позапирал и прошел через всю церковь в ризницу. Мы остались в темном коридорчике между алтарем и стеной абсиды. Меня трясло словно в лихорадке, и я тихонько сказал жене:

— Ну, давай быстро... откроем витрину.

А жена говорит:

— Подожди... куда спешишь?

Слышу, выходит она из тайника. Встала посередине придела, перекрестилась в полутьме, поклонилась, потом попятилась и опять перекрестилась и поклонилась. Наконец, вижу, опустилась на колени в углу и сложила руки для молитвы. О чем она молилась — не знаю, но я понял,

что она не так-то уж была уверена, что творит благо, как я ей говорил, и хотела оправдаться, насколько возможно. Наклоняет она голову, так что из-за копны волос лица не видно, потом поднимает ее в этом красноватом свете, потом снова опускает, шевеля губами, словно четки перебирает. Я подошел и шепчу с опаской:

— Помолиться ведь можно и дома!

А она мне грубо:

— Оставь меня, церковь большая, пройдишь, чего ты тут стоишь?

Я шепчу:

— Хочешь, пока ты молишься, я открою витрину?

Она опять мне резко:

— Нет, ничего не хочу... Дай-ка мне эту железку.

У меня с собой был дверной засов, вполне подходящий, чтоб открыть эту хлипкую витрину. Я его отдал и отошел. Стал ходить по церкви, не зная что делать. Мне было страшно в этом полутемном храме с высокими гулкими сводами, с поблескивавшим в глубине таким огромным главным алтарем, с черными закрытыми исповедальнями в боковых нефях. Я пробрался на цыпочках через два ряда пустых скамеек к двери, и по спине у меня прошел холодок, словно кто-то следил за мной. Попробовал открыть дверь, но она была крепко заперта; тогда я вернулся и сел в левом нефе у какой-то гробницы, освещенной красным ночником.

Гробница была вделана в стену, и на ней лежала большая плита гладкого черного мрамора, а по обеим сторонам фигуры: скелет с косою и нагая женщина, закутанная в собственные волосы. Это были замечательные статуи из желтоватого блестящего мрамора.

Стал я рассматривать их, и мне в полумраке показалось, что они шевелятся и что женщина пытается бежать от скелета, а он любезно поддерживает ее под руку. Тогда, чтоб отвлечься, я стал думать о пещере, о детях, о Пулито и сказал себе, что, если бы мне сейчас предложили вернуться назад и снова решить, что мне делать, я сделал бы то же самое или что-нибудь в таком же роде.

В общем, не случайно попал я в эту церковь, не случайно задумал такое дело и не случайно не нашел для себя в жизни ничего лучшего. И среди всех этих размышлений меня вдруг охватил сон, и я заснул. Это был тяжелый сон без сновидений, и меня все пробирала

дрожь в этой церкви, холодной как погреб. Я спал и больше уже ничего не ведал.

Потом кто-то стал меня трясти, а я сквозь сон бормочу:

— Оставь, чёго привязался!

Но меня все продолжали трясти, я открыл глаза и вижу — народ: пономарь, который выпучил на меня глаза, священник — старик с растрепанными седыми волосами, в наспех наброшенной одежде, два или три полицейских и среди них — моя жена с угрюмым лицом. Я говорю, не двигаясь с места:

— Оставьте нас... Мы бездомные и пришли поспать в церковь...

Тогда полицейский мне что-то сует под нос; я сначала со сна думал, что это четки, потом вижу — ожерелье из лазурита.

— А это что — для сновидений? — говорит.

В общем, после недолгих разговоров полицейские забрали нас и повели из церкви.

Была еще ночь, но рассвет уже близился; улицы были пустынные, мокрые от росы. И мы, окруженные полицейскими, молча торопливо шагали, понутив головы. Я вижу, как впереди идет моя жена, такая низенькая, бедняжка, в коротенькой юбке, волосы на голове дыбом, и мне до того стало жаль ее, что я сказал одному из полицейских:

— Жаль мне ее и детей.

Он спрашивает:

— А где у тебя дети?

Я объяснил. Он мне:

— Ты отец семейства... Как тебе это в голову взбрело? Ты б о детях подумал.

Я ему ответил:

— Я это и сделал, потому что о детях думал.

В полиции какой-то белокурый молодой человек, сидящий за письменным столом, увидев нас, говорит:

— Ах, похитители священной утвари...

Вдруг моя жена как закричит страшным голосом:

— Как перед господом богом, я не виновата!..

Я никогда у нее такого голоса не слышал, даже рот разинул.

Полицейский комиссар говорит:

— Значит, твой муж виноват?

— Тоже нет.

— Выходит — я виноват... А как у тебя ожерелье очутилось?

А жена:

— Мадонна сошла с алтаря, своими руками открыла витрину и дала мне ожерелье.

— Ах, мадонна... А отмычку тебе тоже мадонна дала?

Но жена, подняв вверх руку, продолжала кричать тем же исступленным голосом:

— Умереть мне на этом месте, если я говорю неправду!

Они допрашивали нас не знаю сколько времени, но я говорил, что ничего не видел, как оно и было на самом деле, а жена все твердила, что ожерелье ей дала мадонна. Время от времени она выкрикивала:

— Люди, на колени перед чудом!

В общем, она казалась какой-то одержимой или помешанной. Кончилось тем, что ее увели, а она все кричала и призывала мадонну. Я думаю, они ее в лазарет отправили. Полицейский комиссар стал спрашивать меня, считаю ли я, что моя жена спятила, а я ему ответил:

— Может, и так.

Ведь сумасшедшие — не больные, просто им все по-другому представляется. А потом я подумал, что, может статься, моя жена сказала правду, и так мне стало обидно, что я не видел своими глазами, как мадонна сошла с алтаря; открыла витрину и отдала жене ожерелье.



РОМУЛ И РЕМ

Какую другую потребность можно сравнить по остроте с голодом? Попробуйте вслух произнести: «Мне нужна пара ботинок... мне нужна расческа... мне нужен носовой платок», помолчите минуту, переведите дыхание и потом скажите: «Мне нужно пообедать», — и вы сразу почувствуете разницу. О чем бы ни шла речь, вы можете раздумывать, искать, выбирать, можете вовсе отказаться от нужной вам вещи, но если

вам надо пообедать, — времени терять нельзя. Вы должны раздобыть себе обед, иначе вы умрете с голоду.

В полдень пятого октября этого года я присел на краю фонтана на площади Колонна и сказал себе: «Мне нужно пообедать». Оторвав свой взгляд от мостовой, которую я разглядывал во время этих раздумий, я посмотрел на уличное движение вдоль Корсо: все передо мной было словно в тумане, все дрожало. Я не ел больше суток, а как известно, первое, что наблюдается у голодного человека, — это ощущение, что все предметы, которые он видит, дрожат и качаются, словно сами изнурены голодом. Тогда я подумал, что должен добыть себе еду во что бы то ни стало и что если откладывать, то у меня не хватит сил даже на то, чтобы что-нибудь придумать... Тут я стал придумывать, как бы мне поскорее раздобыть себе пропитание.

Беда в том, что в спешке никогда ничего путного не придумаешь. Так и сейчас, в голову приходили совершенно бредовые идеи. «Я сажусь в трамвай... лезу к кому-нибудь в карман и смываюсь», или: «Вхожу в магазин — и прямо к кассе, хватаю всю выручку и убегаю». И до того я себе живо это представил, что даже испугался и решил: «Все равно пропадать, так уж пусть лучше меня арестуют за оскорбление представителя власти... в конце концов, тарелку супа в полиции всегда дадут».

В этот момент рядом со мной, какой-то мальчишка позвал:

— Ромул!

Услышав это имя, я вспомнил о другом Ромуле, с которым был вместе на военной службе. Я тогда наврал ему про себя с три короба — будто я из деревни, из зажиточной семьи. На самом деле родился я вовсе не в деревне, а в римском пригороде Прима-Порта. Но сейчас это могло мне пригодиться. Ромул держал где-то в районе Пантеона тратторию. Я решил — пойду к нему и пообедаю, живот подвело от голода. Ну, а когда дело дойдет до денег, заговорю о дружбе, о том, как вместе служили, — словом, предамся воспоминаниям... в конце концов, не захочет же он, чтобы меня арестовали!

Прежде всего я подошел к витрине магазина и посмотрел на себя в зеркало. К счастью, я утром побрился, воспользовавшись бритвой и мылом своего хозяина.

на — судебного исполнителя, у которого я снимаю чулак под лестницей. Рубашка на мне была не очень чистая, но еще вполне приличная — я носил ее только четыре дня. А серый в елочку костюм выглядел совсем как новый: мне его подарила одна добрая синьора (ее муж во время войны был моим капитаном). Вот с галстуком дело обстояло хуже — весь обтрепался. Не удивительно, я в этом красном галстуке проходил лет десять.

Я поднял воротничок и заново завязал узел: теперь один конец галстука был длинный-длинный, а другой — совсем короткий. Я запрятал короткий конец под длинный и застегнул пиджак доверху. Когда я отошел от зеркала, у меня закружилась голова — может, оттого, что я так старательно себя разглядывал, — и я налетел на полицейского, стоявшего на углу.

— Смотри, куда идешь, — буркнул он, — ты что, пьян?

Мне хотелось ему ответить: «Да, пьян от голода», но я решил не связываться и нетвердым шагом пошел по направлению к Пантеону.

Адрес я знал, но, увидев дом, подумал, уж не ошибся ли... Я оказался перед маленькой дверью в глубине тупика; шагах в двух от меня стояло четыре или пять наполненных до краев мусорных ящиков. На вывеске цвета бычьей крови было написано: «Траттория. Домашняя кухня». На витрине, тоже выкрашенной в бордовый цвет, красовалось одинокое яблоко. Нет, я вовсе не шучу: одно-единственное яблоко.

Я кое о чем начинал догадываться, но, раз уж надумал, решил войти. Войдя, я все понял и даже растерялся; однако собрался с духом и уселся за столик — всего их стояло здесь, в пустой, полутемной комнатушке, четыре или пять. Грязная ситцевая занавеска позади стойки скрывала дверь в кухню. Я стукнул кулаком по столу.

— Официант!

В кухне зашевелились, занавеска приподнялась, выглянуло и снова скрылось чье-то лицо... Я узнал своего друга Ромула. Подождав с минуту, я снова стукнул по столу. На этот раз Ромул выбежал из-за занавески, застегивая на ходу засаленную, бесформенную белую куртку. Он подошел ко мне с таким почтительным «чего изволите», такая надежда звучала в его голосе, что у меня сжалось сердце. Но раз уж затеял такое дело — надо было расхлебывать. Я сказал, что хочу пообедать.

Он начал вытирать тряпкой стол, потом остановился и, глядя на меня, проговорил:

— Это же Рем...

— А-а, все-таки узнал! — сказал я с улыбкой.

— Да как же не узнать... Вместе служили... Нас еще дразнили «Ромул, Рем и волчица» — помнишь, из-за девахи, за которой мы вместе ухаживали...

Короче говоря, пошли воспоминания. Но сразу было видно, что он заговорил о прошлом не потому, что любил меня, а потому, что я был его клиентом, точнее, единственным клиентом — в траттории, кроме меня, никого больше не было. Ему явно хотелось хоть как-нибудь скрасить безотрадное впечатление, которое производил его «ресторан».

В заключение он похлопал меня по плечу:

— Так-то, старина Рем. — Потом, повернувшись в сторону кухни, позвал: — Лоретта! — Занавеска приподнялась, и показалась приземистая грузная женщина в переднике. Выражение лица у нее было хмурое, недоверчивое. Муж сказал, показывая на меня: — Это тот самый Рем, о котором я тебе столько рассказывал.

Она изобразила на лице что-то вроде улыбки и кивнула в знак приветствия. Из-за спины выглядывали двое детей — мальчик и девочка. Ромул все повторял:

— Молодец, молодец... просто молодчина...

Заладил, как попугай: «молодец, молодец» — видно, хотел, чтобы я поскорее заказывал. Тогда я решился:

— Я, Ромул, в Риме проездом... ведь я — коммивояжер... Все равно надо было где-нибудь поесть, вот я и подумал, почему бы мне не пообедать у друга Ромула?

— Молодец, — снова повторил он. — Так что же тебе приготовить? Спагетти?

— Конечно.

— Спагетти с маслом и с сыром... Это быстрее всего и легко для желудка. Ну, а еще что? Как ты насчет бифштекса? Или зажарим пару ломтиков телятины? А может, хочешь хороший кусочек говядины? Или эскалопчик на сливочном масле?

Блюда незатейливые, я и сам мог бы их приготовить на спиртовке. Из какой-то непонятной жестокости я спросил:

— А барашек... барашек у тебя есть?

— Очень сожалею... мы его обычно готовим к ужину...

— Ну ладно, тогда бифштекс с яйцом по-бисмарковски.

— С картофелем?

— С салатом.

— Хорошо, с салатом... И литр вина, сухого, да?

— Сухого.

Повторяя вполголоса: «Сухого, сухого», он пошел на кухню, оставив меня одного за столиком. У меня по-прежнему кружилась от слабости голова, я чувствовал, что поступаю гадко, подло, но, сам не знаю почему, это доставляло мне какое-то сладостное удовольствие. Голод ожесточает человека. Может быть, Ромул был еще голоднее меня, и мне, в конце концов, было приятно это сознавать.

Между тем все семейство о чем-то совещалось на кухне. Я слышал тихий, взволнованный голос Ромула, что-то торопливо говорившего жене. Та явно была недовольна. Наконец занавеска приподнялась, и из кухни выбежали дети. Они поспешно направились к выходу. Я понял, что в трактирии у Ромула не было, должно быть, даже хлеба. В тот момент, когда приподнялась занавеска, я успел заметить, что жена Ромула, стоя перед плитой, раздувала огонь. Потом Ромул вышел из кухни и подсел ко мне. Он пришел посидеть со мной, чтобы выиграть время и дать возможность ребятишкам сбежать за продуктами. Движимый все той же жестокостью, я сказал:

— Славное у тебя заведение... Ну, а как идут дела?

Он ответил, опустив голову:

— Хорошо, дела идут хорошо... Конечно, поскольку сейчас кризис... К тому же сегодня еще понедельник... Но обычно здесь у нас негде повернуться.

— Ты неплохо устроился.

Прежде чем ответить, он взглянул на меня: Лицо у него было полное, круглое, как и полагается хозяину трактирии, но при этом бледное, небритое, несчастное...

— Ты тоже неплохо устроился,— заметил он.

Я небрежно ответил:

— Да, пожаловаться не могу... Свои сто — сто пятьдесят тысяч лир в месяц я всегда зарабатываю... Правда, работа тяжелая.

— И все же не такая, как у нас.

— Ну да, вашему брату хорошо: можно обойтись без чего угодно, но не без еды... Ручаюсь, что у тебя и про черный день кое-что припасено.

На этот раз он промолчал, ограничившись улыбкой, но в этой улыбке было столько отчаяния, что мне стало жаль его. Наконец, как бы желая сделать мне приятное, он сказал:

— Старина Рем... а помнишь, как мы жили с тобой в Гаэте?

Словом, он предпочитал заняться воспоминаниями, потому что ему было стыдно говорить неправду, а возможно, и потому, что солдатчина была лучшей порой его жизни. Мне стало так его жалко, что я решил доставить ему удовольствие и сказал, что все помню. Он оживился, принялся болтать и даже смеяться, то и дело хлопая меня по плечу.

Вскоре вернулся сынишка Ромула, держа обеими руками литровую бутылку вина. Он шел на цыпочках, как будто нес святые дары. Ромул налил мне и себе — сразу, как я ему предложил. Выпив, он стал еще разговорчивее — видно, и у него был пустой желудок. Пока мы беседовали и пили, прошло еще минут двадцать. Потом, как во сне, я увидел, что вернулась девочка. Бедняжка прижимала к груди худенькими ручонками большой пакет, в котором было всего понемногу: желтый пакетик с бифштексом, яйцо в кульке из газетной бумаги, батончик хлеба в коричневой папиросной бумаге, завернутые в вощеную бумагу масло и сыр, зеленый пучок салата и, как мне показалось, даже бутылочка оливкового масла. Серьезная, довольная, она деловито направилась прямо на кухню, а Ромул, когда она проходила мимо нас, подвинулся так, чтобы заслонить ее от меня. Потом он налил себе еще вина и снова вернулся к воспоминаниям.

Тем временем на кухне мать за что-то выговаривала дочери, а та, оправдываясь, тихо отвечала:

— Он не хотел давать меньше.

Одним словом — нищета, полная, беспросветная нищета, чуть ли не хуже моей. Но я был голоден и, когда девочка принесла мне тарелку спагетти, набросился на еду, не чувствуя никаких угрызений совести. Больше того, сознание, что я наедаюсь за счет таких же бедняков, как я сам, словно разжигало мой аппетит.

Ромул с завистью смотрел, как я ем. Я не мог не подумать, что он, должно быть, не часто позволяет себе такое блюдо, как спагетти. Я предложил ему:

— Хочешь попробовать?

Он отрицательно покачал головой, но я подцепил полную вилку и сунул ему в рот.

— Вкусно, ничего не скажешь,— проговорил он, как бы разговаривая сам с собой.

После спагетти девочка принесла мне бифштекс с яйцом и салат. Ромулу, видно, стало неловко смотреть мне в рот, и он ушел на кухню. Я сидел один и ел. Скоро я почувствовал, что опьянею от еды. До чего же приятно есть, когда голоден! Я клал в рот кусок хлеба, запивал его глотком вина, жевал, проглатывал. Давно уже я не ел с таким удовлетворением.

Потом девочка принесла мне фрукты, я попросил еще кусочек сыра, чтобы съесть с грушей. Покончив с обедом, я развалился на стуле и принялся ковырять зубочисткой в зубах. Все семейство высыпало из кухни и обступило стол, уставившись на меня, как на какое-то высшее существо. Ромул повеселел — должно быть, оттого, что немного выпил,— и начал вспоминать какое-то любовное приключение времен военной службы. А жена его стояла грустная, лицо у нее было измазано сажей.

Я взглянул на детей: они были бледные, истощенные, большеглазые. И так мне вдруг стало их жаль, что я почувствовал угрызения совести — особенно когда жена Ромула сказала:

— Нам бы хоть четыре-пять таких клиентов, как вы, к обеду и к ужину, тогда мы могли бы вздохнуть свободно.

— Как? — спросил я, притворяясь непонимающим.— У вас не хватает посетителей?

— Заходят,— ответила она,— чаще всего вечером. Да все одна гольтьба. Принесут с собой кулек с едой, закажут немного вина,— четвертинку или пол-литра... А по утрам я даже плитку не растапливаю, все равно никого не бывает.

Эти слова почему-то разозлили Ромула. Он сказал:

— Ладно, довольно плакаться... Ты мне приносишь несчастье...

Жена вспылила:

— Это ты нам приносишь несчастье! Ты во всем

виноват! Я с утра до ночи спину гну, минуты покоя не знаю, а ты что делаешь? Знаешь одно — вспоминать военную службу. Кто же из нас после этого виноват, я или ты?

Пока они переругивались, я, разомлев от блаженства, размышлял о том, как быть со счетом. Тут, на мое счастье, Ромул вышел из себя и залепил жене пощечину. Та, недолго думая, бросилась на кухню и выбежала с длинным острым ножом, из тех, которыми нарезают ветчину. С криком: «Убью!» — она кинулась на мужа.

Ромул, опрокидывая столы и стулья, в ужасе бросился от нее. Между тем девочка заливалась слезами, а мальчик тоже сбегал в кухню и теперь размахивал скалкой, собираясь вступить не то за отца, не то за мать.

Сообразив, что момент самый подходящий, — сейчас или никогда! — я поднялся со стула и крикнул:

— Тише, черт побери, тише, вам говорят!

И так, не переставая повторять: «тише, тише», очутился за дверью, в переулке. Затем ускорил шаг и свернул за угол. На площади Пантеона я зашагал своей обычной походкой по направлению к Корсо.



ТАБУ

Алессандро устроил мне в trattoria ужасный скандал, а через две недели, проезжая на мотоцикле по шоссе Кассиа, налетел на грузовик и был убит наповал. Джулио дал мне пощечину при выходе из кино, но не прошло и трех дней, как он, купаясь в Тибре, схватил страшную болезнь, которая разносится по канализации, и скапнул через несколько часов. Ремо сказал мне на улице Рипетта: «Ты ужасный болван, грубый и невежественный», — а немного погодя, сворачивая на улицу Дель Ока, наступил на какую-то кожуру, поскользнулся и сломал бедро. Марно показал мне на футболе кукиш и буквально тут же обнаружил, что у него из кармана вытащили бумажник.

Эти четыре случая и еще кое-какие другие, о кото-

рых я не стану рассказывать, чтоб не надоест, убедили меня в этом году, что меня охраняет какая-то таинственная сила, которая умерщвляла или, в лучшем случае, просто наказывала тех, кто выступал против меня. Заметьте, что о дурном глазе тут не могло быть и речи. Человек с дурным глазом приносит вред без причины, случайно сея несчастья, совсем как автопомпа, которая рассеивает воду куда попало. Нет, я чувствовал: хоть я человек и маленький, не красивый, не сильный, не богатый (я продавец в магазине тканей) и, конечно, не наделен каким-либо особым даром,— я чувствовал, что меня защищает какая-то сверхъестественная сила. Поэтому никто не может безнаказанно причинять мне зло. Вы скажете: какая самоуверенность! Но тогда объясните мне, пожалуйста, необычайное совпадение этих смертей и этих несчастий, обрушившихся на всех тех, кто хотел оскорбить меня. Объясните, почему, когда я попадал в трудное положение и призывал ту самую силу, она тотчас же появлялась, будто собачонка, и карала неосторожного, который осмеливался выступить против меня. Объясните же, наконец... ну, да ладно. Вам достаточно знать, что я вбил себе в голову, будто я неуязвим, ну вроде бы как заколдован.

И вот в то лето мы с Грацией как-то решили провести воскресенье в Остии. В магазине тканей нас было трое продавцов: Грация, я и один новенький, которого звали Уго. Он, если правду говорить, принадлежал к той категории людей, которых я просто не выношу: высокий, атлетического сложения, самоуверенный, лицо — как у боксера, с приплюснутым носом и выдающейся вперед челюстью. У него была манера: бросит штуку на прилавок, развернет ткань и шелестит ею между пальцами. При этом он глядел не на покупателя, а на улицу, на прохожих сквозь стеклянную дверь магазина. Эта его манера мне страшно действовала на нервы. А если покупатель высказывал иной раз сомнение, то, вместо того чтобы попытаться убедить его, Уго становился груб: он или презрительно молчал с явным неодобрением, или, наоборот, резко отвечал:

— Ах, сеньоре нужен товар похуже качеством? — и уносил штуку на место.

Короче говоря, Уго стремился нагнать страху на покупателя, и действительно, почти всегда покупатель с виноватым видом снова подзывал его, снова рассмат-

ривал ткань и покупал ее. Не знаю, может быть потому, что у меня не было внушительного вида и нахальства Уго, но только всякий раз, когда я пытался подражать ему, мне заявляли, что я грубиян и что дирекция поступила бы правильно, уволив меня, и тому подобные вещи. Поэтому после нескольких бесплодных попыток подражать Уго я вернулся к своей обычной манере: я, напротив, был вкрадчив, вежлив, льстив — словом, само смирение и услужливость.

Грации Уго не нравился, по крайней мере, она увела меня в этом много раз:

— Этот, как его... боже милостивый... какой ужас! Он похож на негра.

Однако, когда Уго подошел к нам, уже после того, как она согласилась поехать со мной в Остию, и спросил своим наглым голосом:

— Что хорошенького вы наметили на воскресенье? — она тут же принялась отчаянно кокетничать, засуетилась, заулыбалась и ответила:

— Почему бы вам тоже не поехать с нами, Уго?

Нечего и говорить, Уго тотчас же согласился и даже сказал покровительственным тоном, что он постарается привести еще одну девушку: пусть у каждого будет своя. Но он сказал это так, что я остался в недоумении: уж не думает ли он, что его девушкой будет Грация, а ту, другую, он приведет для меня?

В воскресенье, в назначенный час, мы встретились на вокзале Сан-Паоле; суতোлка там была невообразимая. Грация явилась в обновке — в небесно-голубом платье, которое шло к ее белокурым волосам, я был нагружен свертками с провизией, а Уго оделся франтом — он был в костюме цвета пенициллина; с ним пришла и девушка, некая Клементина. Подозрение, которое закралось в мою душу еще в магазине, к сожалению, сразу же подтвердилось, потому что Уго, властно взяв под руку Грацию, сказал мне и Клементине:

— Эй, вы, парочка... только смотрите не исчезайте, не теряйте нас из виду при отправлении.

Грация, счастливая, смеялась и прижималась к нему. Я посмотрел на Клементину. Это было как раз то, что, по мнению Уго, мне требовалось: обыкновенная добрая девушка, белая и толстая, с большой грудью и боками как у коровы, с глупой мордой, тоже коровьей; ей только не хватало колокольчика на шею.

Она с улыбкой сказала мне, глядя на Уго и Грацию: — Видно, они влюблены друг в друга, не правда ли?

Это было, пожалуй, приглашением и нам последовать их примеру. Но я ответил сухо, держась подалее:

— В самом деле?.. Смотри-ка... а я и не заметил.

Подошел поезд, и Уго, конечно, первым вскочил в вагон, неведомо как пробившись сквозь толпу, которая орала и толкалась, и опять-таки первым выставил из окна свою противную физиономию, крича нам:

— Я занял четыре места, не торопитесь, входите!

Мы вошли и сели, одна пара напротив другой, и поезд тронулся. В продолжение всего пути я, можно сказать, ни на минуту не сводил глаз с тех двоих: я ничего не мог с собой поделать. Уго целиком завладел Грацией — он то разговаривал с ней вполголоса, заставляя ее смеяться и краснеть, то обнимал ее, будто в шутку, то с невинным видом награждал ее какой-нибудь лаской. Грация, потеряв всякий стыд, все время вертелась, как угорь, и льнула к нему. Но больше всего меня задевало то, что они не замечали моего присутствия и вели себя так, словно меня и вовсе не было.

Было бы еще полбеды, если бы я мог так же вести себя с Клементиной и таким образом расквитаться с Уго. Но Клементина не только не нравилась мне, но, казалось, и сама не очень жаждала, чтобы за ней ухаживали: она спала, откинув назад голову, открыв рот и сложив руки на животе.

В Остии мы пошли на пляж и разделись по очереди в кабине. Теперь, в купальных костюмах, мы четверо особенно отличались друг от друга. У Грации было прекрасное, стройное тело с длинными сильными ногами и высокой грудью; Клементина же была похожа на подушку, перевязанную посредине, она вся состояла из бедер и груди, без талии, без шеи. Между Уго и мной разница была также очень заметна: у него — тело борца, мускулистое, крепкое, загорелое, широкое в плечах и узкое в бедрах; на нем были плавки в обтяжку, волосатые ляжки его подрагивали; я же был маленький, тело дряблое, немускулистое, ноги тонкие, бессильные руки — прямо паук. Уго, понятно, тут же схватил Грацию за руку, и они быстро побежали по горячему песку к морю и с головой нырнули в воду.

— Какая прекрасная пара! — сказала Клементина, которая, казалось, задалась целью раздражать меня.

А те двое там, в море, брызгались водой, толкали друг друга, потом Уго схватил Грацию на руки, а она цеплялась за его шею и смеялась. Я спросил у Клементины, не хочет ли она искупаться, и та ответила, что охотно искупается, но только у самого берега, потому что не умеет плавать. Одним словом, мы купались, стоя по колено в теплой и грязной воде, а вокруг плакали, кричали и бросали мяч дети; няньки и матери окликали их по именам, радио на пляже орало без передышки старую песенку:

И теперь, как в тот день, море синее,
Когда здесь ты была, моя милая.

Тем временем Уго и Грация уплыли далеко, как настоящие спортсмены, и их почти не было видно.

И тогда я невольно, просто так, подумал, что Уго сегодня утонет. Я подумал об этом совершенно спокойно, как о чем-то неотвратимом и закономерном: он был виноват передо мной и поэтому должен умереть. Эта мысль придала мне вдруг уверенности. Я подошел к Клементине, которая стояла в воде, держась обеими руками за спасательный канат, и сказал ей:

— Уго из тех смельчаков, у которых в конце концов делаются судороги и они тонут... Потом их без сознания вытаскивают на песок и делают им искусственное дыхание.

Она в недоумении посмотрела на меня и сказала:

— Но ведь он прекрасно плавает.

Я ответил, покачав головой:

— Плавает он прекрасно, не спорю... Но он принадлежит к таким людям, у которых воскресный день обычно заканчивается тем, что они лежат вытянувшись на песке, а им делают искусственное дыхание... Уж я знаю, что говорю.

Немного погодя Грация и Уго вернулись на берег и начали бегать по пляжу, чтобы, как они говорили, обсохнуть. Они гонялись друг за другом, без стеснения хватили друг друга руками, бросались песком, валялись на земле. Я неотступно следил за ними, стоял возле Клементины, которая держалась за веревку, и мне казалось, что я уже вижу, как Уго бросается в море и его тело сводят судороги, как он начинает барахтаться

и тонуть, а потом его вытаскивают на берег и делают ему искусственное дыхание. Я не был уверен, должен ли он умереть, но мне доставляла удовольствие мысль, что он находится сейчас, как говорится, между жизнью и смертью.

Тем временем Уго и Грация обсохли; Уго подошел к нам и предложил покататься на лодке. Клементина тотчас же заявила, что не поедет, потому что не умеет плавать, и таким образом в лодку сели мы трое: я на веслах, а Уго и Грация устроились рядышком на корме.

Я начал грести медленно, море было спокойное и скучное, солнце нещадно палило; я смотрел на них пристально, как будто желчь, которая была в моем взгляде, могла заставить их смутиться и вести себя более сдержанно. Напрасный труд. Все было так же, как недавно в поезде,— они продолжали прижиматься друг к другу, не обращая на меня внимания, я был для них все равно что лодочник. Уго даже, словно желая это подчеркнуть, шутливо сказал мне:

— Если вам не трудно, милый человек, гребите левым веслом, иначе мы столкнемся с той лодкой.

На этот раз мое терпение лопнуло, и я ответил:

— Послушай-ка, Уго, тебе никто не говорил, что ты страшный грубиян?

Он привстал и спросил:

— Что-о-о-о? — И это «о» у него прозвучало так, словно он хотел сказать: «Что такое? Уж не ослышался ли я?»

Я ответил, продолжая грести:

— Да, грубиян и невежа... Никто не говорил тебе этого?

— Да что это с тобой? — спросил он, повышая голос.

— Это мое дело,— ответил я холодно,— а ты грубиян первостатейный.

— Эй, ты, думай что говоришь.

— Говорю, что хочу, а ты грубиян и к тому же еще негодяй.

— Ну, ну, потише, со мной шутки плохи!

Сказав это, он поднялся на ноги и сильно ударил меня в грудь. Я бросил весла, тоже вскочил и хотел отплатить ему ударом, но он быстро сжал мою руку двумя пальцами, которые впились в меня, как железные. Так, стоя в лодке, мы боролись, а Грация кричала

и уговаривала нас. В самый бурный момент нашей схватки узкая и мелкая лодка перевернулась, и мы все оказались в воде.

Мы были недалеко от берега, и клянусь вам, что, падая в воду, я с радостью подумал: «Сейчас у него начнутся судороги и он утонет... и умрет, как умерли Алесандро и Джулио».

Тем временем перевернутая вверх дном лодка удалялась, весла плавали на поверхности, а мы трое, вынырнув, барахтались в воде.

— Ненормальный! — кричал мне Уго.

Грация как ни в чем не бывало поплыла к берегу.

— Ненормальный — это ты, и к тому же еще мошенник, — ответил я, и в это время мне в рот попала вода.

Но Уго уже не обращал на меня внимания и плыл, стараясь догнать Грацию. Я тоже направился к берегу, думая все время о судорогах, которые заставят Уго пойти ко дну, как вдруг почувствовал острую боль во всей правой стороне, от плеча до ступни, и понял, что судороги схватили меня, а не его. Это случилось лишь на миг, но в этот миг я совсем потерял голову. Боль не проходила, мне не хватало воздуха, я растерялся, охваченный ужасом, закричал, и вода опять попала мне в рот.

— Помогите! — заорал я и снова захлебнулся водой.

Судороги не прекращались, и я пошел ко дну, потом вынырнул, снова закричал «помогите» и опять пошел ко дну, захлебываясь водой. Одним словом, я утонул бы в конце концов, если бы чья-то рука не схватила мою, а чей-то голос — это был голос Уго — не сказал мне:

— Спокойно, я вытащу тебя на берег.

Я закрыл глаза и, кажется, потерял сознание.

Когда я очнулся (сколько времени прошло — не знаю), я почувствовал под спиной горячий песок пляжа. Кто-то, держа меня за запястья, поднимал и опускал мои руки, другой, присев на корточки, массировал мне грудь и живот. Я видел все, как в тумане, солнце ослепляло меня, а вокруг был целый лес загорелых, волосатых ног: все эти люди смотрели, как я умираю. Вдруг кто-то сказал:

— Кажется, ему крышка.

А другой заметил:

— Показывают свою удадь, а потом вот так тонут.

Я чувствовал, что меня раздуло от воды, голова была

тяжелая, а кто-то все поднимал и опускал мои руки, как ручки мехов, и тогда я разозлился и сказал, пытаясь отделаться от всех:

— Оставьте меня в покое... Пошли вы к дьяволу,— и потом снова впал в беспамятство.

Но хватит вспоминать этот проклятый день. Неделю спустя Грация, уловив момент, когда Уго не было рядом, сказала мне вполголоса:

— Знаешь, почему ты чуть не утонул в Остии в прошлое воскресенье?

— Не знаю. А почему?

— Мне Уго объяснил. Он говорит, что есть какая-то таинственная сила, которая охраняет его: тот, кто идет против него, может даже умереть... В общем, он говорит, что он «табу»... Ты не знаешь, что такое «табу»?

— Табу,— объяснил я, подумав с минуту,— это когда какая-нибудь вещь или какой-либо человек неприкосновенны.

Она ничего не ответила, потому что в этот момент к нам подошел Уго, держа в руках штуку хлопчатобумажной ткани; разворачивая ее с обычным шелестом, он сказал:

— Это как раз то, что вам нужно, синьора.

И по глазам Грации я понял, что она по уши влюблена в него. Еще бы, черт возьми! — красивый мужчина, сильный, молодой и вдобавок ко всему — табу.



ДЕВУШКА ИЗ ЧОЧАРИИ

Когда профессор настаивал, я не раз говорил ему:

— Смотрите, профессор, это ведь простые девушки... Деревенщина... Подумайте, что вы делаете... Лучше вам взять римлянку... Крестьянки из Чочарии — неотесанные и неграмотные.

Последнее обстоятельство особенно нравилось профессору.

— Неграмотная!.. Этого-то мне и надо... По крайней мере не будет читать комиксы... Неграмотная!

Профессор, старик с острой бородкой и седыми усами, преподавал в лицее. Но главным предметом его занятий были руины. Каждое воскресенье, а также и в другие дни недели он бродил по виа Аппиа, по римскому форуму, по термам Каракаллы и ворошил развалины древнего Рима. Квартира его была битком набита археологическими и всякими другими книгами и напоминала книжную лавку. Начиная с прихожей, где они были свалены грудой за зеленой занавеской, книги занимали всю квартиру — коридоры, комнаты, кладовки. Не было их только на кухне и в ванной.

Профессор берег свои книги как зеницу ока, и горе тому, кто к ним прикасался. Невозможно себе представить, чтобы он мог их все прочитать. И все-таки, как говорим мы в Чочарии, он никак не мог набить себе брюхо: когда он не был занят в лицее и не давал уроков на дому или не изучал развалины, то обычно отправлялся к букинистам — порыться в их тележках — и всегда возвращался домой со связкой книг под мышкой. Словом, профессор коллекционировал книги, как мальчишки коллекционируют марки. Почему он так упорно хотел взять себе служанку из моей деревни — это мне было совершенно непонятно. Профессор говорил, что деревенские девушки честнее и что голова у них не забита всякой дурью. Говорил, что его веселят румяные, словно яблочко, щеки крестьянок, что они хорошо готовят. Короче говоря, так как не проходило дня, чтобы профессор не заглянул ко мне в швейцарскую, упорно требуя неграмотную девушку из Чочарии, я написал домой своему куманьку. Он ответил, что у него есть как раз то, что требуется: девушка из Валлекорса, зовут ее Туда и ей нет еще двадцати. Но, писал мне в своем письме кум, у Туды есть один недостаток: она не умеет ни писать, ни читать. Тогда я ему ответил, что это именно то, что надо профессору: неграмотная девушка.

И вот в один прекрасный вечер Туда вместе с моим кумом приехала в Рим, и я пошел на вокзал встретить ее. С первого же взгляда я понял, что Туда — настоящая чочарка, из тех, что целый день без усталости могут вскапывать землю мотыгой и носить по горным тропинкам на голове корзину весом в полцентнера. У Туды были розовые щеки, которые так нравились профессору, косы вокруг головы, черные, сходящиеся на переносице брови, круглое лицо, а когда она смеялась, во рту у нее

сверкали очень ровные, белые зубы — в Чочарии женщины чистят их листьями мальвы. Правда, одета она была не как чочарка, но походка у нее была как у всех наших крестьянок — она ставила на землю, всю ступню и не носила туфель на высоких каблуках. У нее были мускулистые икры, которые так хороши, когда вокруг них завязаны шнурки от сандалий.

Туда держала под мышкой корзину; она сказала, что это для меня. В корзинке на соломе лежала дюжина свежих яиц, прикрытых листьями смоковницы. Я посоветовал ей отдать подарок профессору: это произведет на него хорошее впечатление. Туда ответила, что она не подумала о профессоре, ведь он — синьор, и, конечно, у него имеется собственный курятник. Я рассмеялся; пока мы ехали домой на трамвае, я расспросил ее о том о сем и понял, что Туда настоящая дикарка: она никогда не видела поезда, трамвая, шестиэтажных домов. Словом, как и хотелось профессору, она была необразованная.

Мы приехали домой; сначала я провел Туду в швейцарскую, чтобы познакомить ее с моей женой, а потом мы поднялись на лифте к профессору. Он открыл нам сам, потому что у него не было прислуги — обычно моя жена убирала его квартиру, а иногда и готовила ему обед. Едва мы вошли, как Туда сунула профессору корзину со словами:

— Держи, профессор, я привезла тебе свежих яиц. Я сказал ей:

— Профессору не говорят «ты».

Но профессор подбодрил Туду, сказав:

— Ничего, девочка, обращайся ко мне на «ты».

Профессор объяснил мне, что это ее «ты» шло от древних римлян, что древние римляне, так же как чочарцы, не знали обращения на «вы» и обходились друг с другом запросто, словно все они были одна большая семья.

Потом профессор провел Туду на кухню. Кухня у него была большая, с газовой плитой, алюминиевыми кастрюлями и всем, что требуется. Он разъяснил Туде, как этим пользоваться. Туда выслушала все молча и серьезно. Потом звонко сказала:

— А я не умею готовить.

— Но как же? — сказал растерянно профессор. — Мне говорили, что ты умеешь готовить.

Туда сказала:

— В деревне я работала... Копала землю мотыгой... Конечно, я готовила, но только лишь бы поесть... Такой кухни у меня никогда не было.

— А где ты готовила?

— В шалаше.

— Ну что же, — сказал профессор, теребя бородку, — мы здесь тоже готовим — лишь бы поесть... Допустим, что тебе надо приготовить мне обед... Что ты сделаешь?

Туда улыбнулась и сказала:

— Я сделаю тебе макароны с фасолью... Потом ты выпьешь стакан вина... Ну, потом можешь съесть еще несколько грецких орехов и немного фиг.

— И это все... Никакого второго?

— Как так второго?

— Говорю, никакого второго блюда... рыбы, мяса?

Туда весело расхохоталась:

— Макарон с фасолью и хлеба тебе мало?.. Чего же тебе еще?.. Я съедала тарелку макарон с фасолью и хлебом и копала землю целый день... А ведь ты не работаешь.

— Я занимаюсь, пишу, я тоже работаю.

— Вот именно — занимаешься... А мы работаем по настоящему.

Короче, Туда никак не хотела согласиться, что надо готовить, как говорил профессор, «второе». Наконец, после долгих споров, было решено, что моя жена некоторое время будет приходить и учить Туду готовить. Потом мы прошли в комнату для прислуги. Это была хорошая комната, выходящая во двор, с кроватью, комодом и шкафом. Оглядевшись вокруг, Туда сразу же спросила:

— Я буду спать одна?

— А с кем бы ты хотела спать?

— В деревне мы спим по пять человек в комнате.

— Нет, эта комната только для тебя.

Я ушел, наказав Туде быть старательной и хорошо работать, потому что я отвечаю за нее и перед профессором, и перед своим кумом, который ее рекомендовал. Уходя, я слышал, как профессор объяснял ей:

— Смотри, ты должна ежедневно метелочкой и тряпкой стирать пыль со всех этих книг.

— Что ты делаешь с этими книгами? — спросила Туда. — На что они тебе?

— Книги для меня то же, что для тебя мотыга... Они нужны мне для работы.

— Но мотыга-то у меня только одна.

Начиная с этого дня профессор, проходя мимо швейцарской, всякий раз сообщал мне какую-нибудь новость о Туде. Сказать по правде, профессор не был в большом восторге. Однажды он пожаловался мне:

— Неотесанная она, совсем неотесанная... Знаете, что она вчера сделала? Взяла с моего стола листок бумаги — работу моего ученика — и заткнула ею бутылку с вином.

— Профессор, — сказал я, — ведь я предупреждал вас... Деревенская девушка...

— Да, — согласился он, — но все-таки она милая девочка... Добрая, услужливая... очень милая девочка.

Прошло некоторое время, и эта милая девочка, как ее называл профессор, стала настоящей городской девицей. Получив жалованье, она начала с того, что сшила себе модное платье и стала похожа на настоящую синьорину. Потом купила туфельки на высоком каблуке. Потом сумочку под крокодилову кожу. Потом — и это было уж совсем напрасно — отрезала косу. Правда, щеки у нее по-прежнему были румяные, как два яблока; они не могли так скоро стать бледными, как у девушек, родившихся в городе, и это как раз нравилось в ней не одному профессору. Когда я первый раз увидел ее с этим мерзавцем Марио, шофером синьоры с четвертого этажа, я сразу же сказал ей:

— Смотри, этот тебе не пара... А то, что он говорит тебе, он повторяет всем девушкам.

Туда ответила:

— Вчера он возил меня на машине в Монте-Марио

— Ну и что же?

— Хорошо прокатиться на машине... А посмотри, что он мне дал. — И она показала булавку из белого металла со слоненком, какие продают галантерейщики на рынке Кампо ден Фьори.

Я сказал ей:

— Ты глупая и не понимаешь, что он тебя водит за нос... Кроме того, ему не следовало бы без спросу катать тебя на машине... Если об этом узнает синьора, ему достанется. И потом — будь осторожна, еще раз говорю тебе — будь осторожна.

Но Туда только улыбнулась и продолжала гулять с Марио.

Прошло две недели. И вот однажды профессор заглянул ко мне в швейцарскую, отозвал меня в сторону и, понизив голос, спросил:

— Послушайте, Джованни... Туда честная девушка?

— Да, конечно,— сказал я.— Глупая, но честная.

— Пусть так,— заметил он, не слишком убежденный,— но у меня пропало пять ценных книг... Мне не хотелось бы...

Я еще раз решительно заявил, что Туда тут ни при чем и что книги, конечно, найдутся. Но признаюсь, все это меня встревожило, и я решил быть начеку. Однажды вечером, несколько дней спустя, я увидел, как Туда вместе с Марио входит в лифт. Марио сказал, что ему нужно поехать на четвертый этаж, чтобы знать, каковы будут приказания синьоры. Он врал, синьора ушла час назад, и Марио это было известно. Я позволил им подняться, а потом поднялся сам на лифте и направился прямехонько к квартире профессора. Случайно они оставили дверь полуоткрытой. Я проник туда, прошел по коридору. Их голоса доносились из кабинета — значит, я не ошибся. Я осторожно заглянул в дверь — и что же я увидел? Марио влез на придвинутое к книжному шкафу кресло и шарил рукой по стоящим под самым потолком книгам. А она, эта краснощекая святоша, придержививала кресло и говорила:

— Вот ту, наверху... Ту, что потолще... в кожаном переплете.

Тогда я сказал, выходя из засады:

— Ай да молодчина! Молодцы и только!.. Попались, голубчики!.. А я еще не поверил профессору, когда он мне сказал... Ну что за молодцы!

Видели ли вы когда-нибудь кота, на которого вылили из окна ведро воды? Вот так же и Марио — услышав мой голос, он спрыгнул с кресла и удрал, оставив меня одного с Тудой. Я начал распекать ее и так и этак; другая бы на ее месте разревелась. Но нет — от чочарки этого не добьешься. Туда выслушала меня, опустив голову и не проронив ни звука. Потом подняла на меня глаза — в них не было ни слезинки — и сказала:

— А кто у него воровал? Я всегда приношу назад сдачу от денег, которые он дает мне на покупки...

Никогда я не говорю, как некоторые кухарки, что заплатила за что-нибудь вдвое больше, чем на самом деле.

— Несчастливая... а книги ты не крада? Или это не называется воровством?

— Но ведь книг-то у него очень много.

— Много или мало, а ты не должна к ним прикасаться... Берегись! Если я тебя еще раз поймаю, ты у меня в два счета вылетишь в деревню...

Упрямая башка, она так и не захотела мне поверить, она даже на секунду не допускала мысли, что совершила кражу.

Но вот несколько дней спустя Туда входит ко мне в швейцарскую с пачкой книг под мышкой и говорит:

— Вот они — книги профессора... Сейчас я ему их отнесу, и пусть он больше не жалуется.

Я сказал ей, что она поступила хорошо, а про себя подумал: в конце концов, Туда неплохая девушка, во всем виноват Марио. Я поднялся с ней на лифте и вошел в квартиру профессора, чтобы помочь ей поставить книги на место. В ту самую минуту, когда мы развязывали пакет с книгами, домой вернулся профессор.

— Профессор,— сказал я,— вот ваши книги... Туда их отыскала... Она давала их подруге посмотреть картинки.

— Хорошо, хорошо... Не будем больше об этом говорить...

Не снимая пальто и шляпы, профессор бросился к книгам, взял одну из них, раскрыл и вдруг закричал:

— Но это же не мои книги!

— То есть как не ваши?

— Те были книги по археологии,— говорил он, лихорадочно листая другие тома,— а это пять томов юриспруденции, и к тому же разрозненных.

— Можно узнать, что все это значит? — спросил я у Туды.

На этот раз Туда решительно запротестовала.

— Пять книг взяла, пять книг и вернула. Что вы от меня хотите?.. Я заплатила за них много денег... больше, чем получила за проданные.

Профессор был так ошеломлен, что смотрел на меня и на Туду, открыв рот и не говоря ни слова.

— Погляди...— продолжала Туда. — Переплеты такие же... даже красивее... Посмотри... Даже вся

столько же... Мне их взвесили... Они весят четыре с половиной кило, столько же, сколько твои.

На этот раз профессор рассмеялся, хотя и грустным смехом.

— Книги не вешают, как телят... Каждая книга отлична от другой... Что я буду делать с этими книгами?.. Ты понимаешь?.. Каждая книга рассказывает о своем. У каждой свой автор.

Но Туда не хотела ничего понимать. Она упрямо повторяла:

— Пять было, пять и есть... Те в переплетах, и эти в переплетах... Знать ничего не знаю.

В конце концов профессор отправил ее на кухню, сказав:

— Иди готовить обед... Хватит... Я не желаю больше портить себе кровь.

Когда Туда ушла, он сказал:

— Мне очень жаль... Она милая девочка... Но слишком уж неотесанная.

— Такая, какую вы хотели, профессор.

— *Mea culpa*¹, — промолвил он.

Туда еще некоторое время жила у профессора, подыскивая себе место; потом она устроилась судомойкой в молочную. Иногда она заходит навестить меня. О случае с книгами мы не говорим. Но Туда сказала мне, что учится читать и писать.



ЭТО ВПОЛНЕ ЕСТЕСТВЕННО

три часа пополудни на виа Лунгара пустынно — не видно даже родственников тех, кто сидит в тюрьме Реджина Чёли. Весной в это время дня улица очень красива — по одну сторону, насколько хватает глаз, выстроились в ровный ряд дома, по другую из-за каменных оград вздымаются кроны деревьев, а солнце на тротуарах светит так ласково и ясно, что хочется закрыть глаза и идти зажмурясь. И вот однажды, около трех часов пополудни, проходя по залитой солнцем виа Лунгара, я обратил внимание на шедшую

¹ Моя вина (лат.).

впереди меня пару. Он, по-видимому, не был хорош собой, во всяком случае, если судить, глядя на него со спины: лоснящаяся от бриллиантина черноволосая головка, коротенькое полупальто с откинутым капюшоном, пара худеньких кривых ножек, обтянутых узкими брючками. И почему это мужчины с кривыми ногами всегда производят такое жалкое впечатление? Кто знает... Как бы то ни было, эти кривые ножки я видел впервые, а вот спина женщины была мне знакома.

Представьте себе античную женскую статую, нагую, с бедрами из мрамора, плечами из мрамора, ногами из мрамора; потом наденьте на эту статую черное платье, но наденьте его небрежно, не одернув подол, чтобы оно прикрывало эти пышные, округлые мраморные формы кое-как, и вы получите представление о ее фигуре.

Голова у нее тоже была как у статуи, но статуи гораздо меньших размеров, чем та, которой принадлежало тело. Словом, это была голова девочки-подростка, приставленная к торсу вполне созревшей женщины. Подобное несоответствие я уже видел как-то раньше, и вдруг узнал эту женщину: да ведь это Пупа — «ребеночек», «детка», прозванная так потому, что, хотя она и выглядела даже старше своих восемнадцати лет, по уму ей можно было дать от силы годика четыре. Она была из Риети, в Рим приехала совсем недавно и работала где-то машинисткой; у нее не было ни жениха, ни возлюбленного, и вообще она считалась серьезной девушкой. Я на нее давно как-то обратил внимание, и меня с ней даже познакомили, но знакомства с нею я не продолжил: мне нравятся женщины с лукавинкой, даже, пожалуй, немного кокетки, а Пупа была простовата, что называется, ни рыба ни мясо.

* * *

Всем известно, как это обычно случается. Ты видишь женщину изо дня в день, и она ничего не говорит твоему сердцу; потом ты неожиданно где-нибудь встречаешь ее и, кто знает почему, в нее влюбляешься. Так случилось и тогда на виа Лунгара. Я подумал: «Нет, поглядите-ка, она ведь в самом деле красива, очень красива», — и вдруг почувствовал, что готов кусать себе локти от досады, как я этого не заметил раньше, тем более что

парочка — насколько я мог судить — находилась в близких отношениях и место уже — увы! — было занято. Но вдруг произошло нечто такое, на что я даже не мог надеяться: парень одной рукой схватил Пупу за плечо, а другую занес словно для удара. Пупа отшатнулась от него, увидела меня и сразу закричала: «Синьор Паолино, синьор Паолино!»

Я не какой-нибудь отчаянный драчун, наоборот, характер у меня мирный, об этом можно судить даже по моей внешности — я невысокого роста и, к сожалению, несмотря на молодость, уже имею брюшко. Но брюшко это все же менее смешно, чем кривые ноги. Так или иначе, но крик о помощи, вырвавшийся из уст Пупы как раз в ту минуту, когда я обнаружил, что она красива, меня наэлектризовал. Я сразу же подбежал к ней: «Вы зовете, синьорина Пупа?» Теперь я оказался лицом к лицу с кривоногим парнем и увидел его разозленную длинную рожу с красным носом, свисающим прямо в рот. Пупа обратилась ко мне:

— Синьор Паолино, скажите этому типу, чтобы он меня оставил в покое. Он меня просто преследует. А теперь еще руки пустил в ход.

Убедившись в том, что мой соперник далеко не Геркулес, я крикнул ему, охваченный яростью:

— Чего тебе надо?

— Да я...

— Можно узнать, чего ты хочешь?

— По правде говоря, я...

— Убирайся, не то я за себя не ручаюсь!

— Ладно, ладно...

Он бросил на меня взгляд, значение которого я в тот момент не совсем понял, и ушел, стараясь держаться поближе к домам.

Теперь мы остались одни. Я чувствовал себя сильным и смелым, ибо это, пожалуй, был первый случай в моей жизни, когда я обратил кого-то в бегство. И я почувствовал себя еще более сильным и смелым после того, как Пупа, широко раскрыв большие черные глаза, сказала мне своим нежным детским голоском:

— Синьор Паолино, вы были великолепны. Если бы не вы, просто не знаю, что бы я делала.

В общем, мы, болтая, пошли вместе по направлению к Порта-Сеттимиана; потом я предложил зайти в кафе, и она согласилась. Заметьте, что все это происходило

самым естественным образом, без всякого заранее обдуманного намерения: встреча, крики Пупы, крупный разговор, предложение зайти в кафе — все произошло как будто совершенно случайно. В кафе в тот час было совсем пусто; у самого входа, греясь на солнышке, умывалась кошка; тихонько играло радио. Звонким голосом я заказал две чашечки кофе покрепче, а затем, все так же совершенно естественно, пригласил ее в кино. Она сделала огорченное лицо:

— Ах, как жаль... Но мне надо идти домой, я жду междугородного вызова — должна звонить из Риети моя мать.

Я растерянно пробормотал, что мы могли бы увидеться на следующий день. Но она заявила самым естественным тоном:

— Знаете, что мы можем сделать? Вы зайдете ко мне и составите компанию, пока я буду ждать телефонного звонка.

* * *

«Итак, — снова подумал я, идя рядом с ней в направлении церкви Сан-Козимато, — все продолжает оставаться вполне естественным: ей приятно мое общество, не хочется расставаться со мной, она приглашает меня зайти к ней». Поднимаясь по лестнице, я схватил ее руку и поднес к губам — что могло быть в конце концов естественнее?

— Ах, синьор Паолино, вы так предприимчивы, я вовсе этого не знала, — прошептала она, но руки не отняла.

Так, рука в руке, мы поднялись на четвертый этаж, она чуть впереди, я несколько позади, потому что лестница была узкая. Дойдя до четвертой площадки, Пупа позвонила, и вот в дверях показалась, с еще более естественным видом, чем у Пупы, квартирная хозяйка — пожилая женщина в черном; лицо ее было усеяно волосатыми родинками, а на груди болтался медальон с выцветшей фотографией какого-то дорогого для нее покойника.

— Синьорина, вы же знаете, что приводить домой мужчин не полагается!

— Но ведь это мой двоюродный брат. Мы с ним посидим в передней, совсем недолго, только дождемся телефонного звонка из Риети.

— Ну ладно уж, проходите.

И вот мы сидим в передней, я — на деревянном сундуке, она — в плетеном креслице. Передняя была пуста и погружена в полумрак; в нее выходили две плотно прикрытые двери, а в глубь квартиры вел коридор. Некоторое время мы сидели молча, глядя друг на друга. Я ей улыбнулся, она мне тоже. Я набрался смелости и вновь взял ее за руку. Она и на этот раз не отняла руки и только вздохнула. Я спросил:

— Отчего вы вздыхаете?

Она ответила:

— Синьор Паолино, мне бы тоже хотелось не думать ни о чем, кроме любви. Но разве можно думать о любви, когда у тебя столько забот?

Тон, которым она произнесла эту фразу, я не мог бы назвать иначе как естественным. Да, в своей прелестной наивности простой и искренней девушки Пупа была совершенно естественна. Я ей нравился, она от меня этого не скрывала, однако у нее на душе, к сожалению, было нечто такое, что мешало ей выслушать меня. Я шепотом просил ее сказать в чем дело; но на этот раз она заставила себя упрашивать. Она сидела, опустив голову на грудь, и, как я ни пытался, взяв ее за подбородок, заставить говорить, она упрямо отвечала, что все это никак не может меня интересовать. Наконец она решилась и все так же естественно, тоном огорченной и немного упрямой девочки, сказала:

— Хозяйка сегодня устроила мне страшную сцену из-за того, что я вовремя не уплатила за комнату. И знаете, о чем я сейчас собираюсь поговорить с матерью? Хочу сообщить ей обо всем. Завтра же я уезжаю из Рима и возвращаюсь в Риети.

— Но я не хочу, чтобы вы покидали Рим, — воскликнул я как нельзя более галантно.

А она, польщенная, исполненная благодарности, сказала с легким оттенком недоверия:

— Неужели, синьор Паолино, вы действительно не хотите, чтобы я покинула Рим?

Здесь уместно сообщить, что хоть я и не богат — у меня маленькая переплетная мастерская, — но всегда ношу с собой пять — десять тысяч лир, которые могут понадобиться во многих случаях жизни. В моей руке

покойлась ее рука, доверчивая, слабая, нуждающаяся в защите. И я произнес:

— Послушайте, Пупа, я не богат, но если дело идет о маленькой сумме, я мог бы вам ее одолжить.

* * *

Мне показалось, что Пупа вдруг плохо себя почувствовала, потому что она резко поднялась и, не сказав ни слова, исчезла в коридоре. В замешательстве спрашивал я себя, не обидел ли я ее, предложив деньги, и продолжал ждать, по-прежнему сидя на деревянном сундуке, который был для меня так высок, что мои ноги болтались в воздухе. Тем временем из глубины коридора слышались приглушенные голоса — там происходил, по-видимому, очень оживленный разговор: один из собеседников что-то быстро-быстро говорил, а другой так же быстро отвечал ему. Вся квартира, казалось, была наполнена этим шепотом. Но вот, наконец, снова появилась Пупа: исполненная достоинства, величественная, строгая, она уселась на довольно порядочном расстоянии от моего сундука. Я заметил это, но ничего не сказал. Она произнесла извиняющимся тоном:

— Мне очень жаль, синьор Паолино, но до сих пор с междугородной не звонят.— И я истолковал эти слова как молчаливый отказ от предложенных мной денег.

Но вдруг появилась квартирная хозяйка. Она выглянула из-за двери, выставив свой черный бюст с болтающимся медальоном. Не глядя на меня, она сказала Пупе:

— Синьорина, вот ваш счет. Прежде чем уйти, вы должны оплатить его. Я не могу больше ждать.

Рука хозяйки, державшая счет, повисла в воздухе. Тут я почувствовал, что, следуя логике естественного хода событий, которые, чередуясь, привели меня в эту прихожую, я должен был взять счет, вынуть деньги и оплатить его. Я должен был это сделать и сделал это. Счет был на сумму немногим больше десяти тысяч лир. Я достал из бумажника десятитысячную ассигнацию, обернул ее в счет и вложил в руку хозяйке, важно и высокомерно проговорив:

— Хорошо, хорошо, вот вам, а теперь уходите.

Пупа с благодарностью воскликнула:

— Ах, синьор Паолино, вы не должны были...

Квартирная хозяйка сухо сказала Пупе:

— Ну, раз так, остальное вы заплатите мне, когда вам будет удобно,— и исчезла.

Теперь я чувствовал себя как никогда смелым, кровь во мне играла, словно я вышел из-под сильного душа,— словом, я испытывал то, что испытывают все люди после того, как совершат какой-нибудь благородный поступок. С негодованием я произнес:

— Однако что за ведьма эта ваша хозяйка!

Пупа поднялась и исчезла в коридоре.

* * *

И вот я снова один, снова покинут, и опять так же безмолвно, неожиданно, необъяснимо. Прошло, быть может, полчаса — за это время до меня несколько раз доносились из глубины коридора приглушенные звуки разговора, который быстрым шепотом вели между собой два человека; затем прошло еще полчаса в абсолютной тишине, точно в квартире остался один я. Все мое тело ныло, как от пытки, я не мог больше высидеть на этом высоком и твердом сундуке, слез с него и начал прохаживаться взад и вперед. Затем, словно меня толкала на это сама естественность обстановки, я рискнул, идя на цыпочках, углубиться в коридор. Из-за какой-то неплотно прикрытой двери в коридор проникало немного света; я осторожно приоткрыл ее и заглянул внутрь комнаты. Это была типичная меблированная комната — бедная, с голыми стенами, с обычной в такого рода помещениях старой мебелью, совершенной рухлядью. На окне не было никаких занавесок, сквозь него лился печальный и спокойный свет. А на железной кровати я увидел Пупу, она лежала на спине и читала какой-то иллюстрированный журнал. Читала так, как обычно читают малограмотные — впрочем, она и была малограмотная, — сосредоточенно, хмурия брови, наверно, чуть ли не по складам разбирая каждое слово. Сказать по правде, в первую минуту я ошеломлен от удивления: я сижу и жду в передней, а она в это время преспокойно развлекается комиксами! Наконец я вновь обрел дар речи:

— Но как же это так, я сижу в передней, жду вас, а вы...

Она вскочила и поспешно сказала:

— Ради бога, синьор Паолино, уходите, если нас увидит хозяйка, мне влетит.

— Но ваш междугородный телефонный разговор...

— Возвращайтесь в переднюю, я сию минуту приду.
Мне хотелось спросить ее: «Ты что, сошла с ума или это я рехнулся?» — но у меня не хватило решимости. Я вернулся в переднюю и снова принялся ждать. Сначала прошли те законные десять минут, против которых, естественно, никто не станет возражать, если он ждет женщину, потом прошло еще десять дополнительных, а затем еще десять, уже совершенно излишних, и за ними еще десять сверх всякой нормы. Меня бросало то в жар, то в холод; мне казалось, что я вырастаю из своего костюма, что у меня сами собой развязываются ботинки; я уже ничего больше не понимал. Но вот, наконец, опять появляется хмурая хозяйка:

— Кого вы ждете?

— Синьорину Пупу.

— Она ушла.

— Как ушла, разве она не ждет вызова междугородной?

— Она уже поговорила и ушла.

— Но где же она прошла, ведь я все время находилась здесь?

— У нас есть черный ход, вероятно, она им и воспользовалась.

* * *

Я вышел из этого заколдованного дома совершенно обалделый, ничего не видя вокруг себя, как выходишь в луна-парке из «комнаты ужасов», полной призраков, скелетов, страшных воплей и стонов. Все по-прежнему оставалось вполне естественным, без всякого нажима, шло гладко, как по маслу, однако теперь я понимал, что все это было не очаровательным и естественным любовным приключением, а самым естественным надувательством. Буквально еле держась на ногах, я дотащился до пьядцы Мастаи, вошел в бар и заказал кофе.

Вдруг я вижу, что на меня уставился какой-то тип, облокотившийся на стойку; я на него смотрю и узнаю в нем парня с кривыми ногами. Я ему смущенно говорю:

— Извините меня, если я недавно... Я должен был сразу понять...

— Что вы должны были понять?

— То, что у вас были вполне серьезные основания поколотить эту девицу.

— Как, разве вы тоже?..

Короче говоря, мы рассказали друг другу то, что с нами произошло, и все полностью совпадало: междугородный вызов по телефону, отсутствие денег, хозяйка со счетом в руках, ожидание, исчезновение. Единственное различие состояло в том, что он устроил засаду на улице и, когда Пупа наконец вышла из дому, набросился на нее с кулаками. В заключение нашей беседы он печально сказал мне:

— Я пытался предупредить вас, но вы мне не дали рта раскрыть. Конечно, вам хотелось покрасоваться перед Пупой. Но если бы вы меня выслушали, то сэкономили бы десять тысяч лир.

Я с негодованием возразил:

— Меня окликает девушка, зовет ко мне о помощи... Каждый поступил бы так на моем месте. Разве нет?

А он с готовностью отвечает:

— Разумеется, это вполне естественно.



ВЕЧЕР ВОСПОМИНАНИЙ

Как-то, когда в разговоре с пожилым десятником Фуско речь у нас зашла о нашем подрядчике Паломби, у Фуско вдруг вырвалось:

— Коммендаторе? Эх, хорошо знаю я этого коммендаторе...

Я удивленно спросил:

— Ты его знаешь? Откуда же?

А он:

— Да ведь Паломби не всегда был коммендаторе. Когда-то мы его называли Паломбино, потому что он был маленький и кругленький, как голубок. В молодости он работал простым каменщиком, так же как и ты. Сколько лет назад? Тебя, поди, еще и на свете не было — в ту пору только начали застраивать квартал Трех Мадонн... Потом он сколотил капиталец, а я по-прежнему вкалывал простым каменщиком. Так уж устроено в жизни — кому все, а кому ничего.

Я задал еще один вопрос:

— Но когда вы с ним встречаетесь, он узнает тебя, разговаривает с тобой?

А он в ответ:

— Еще бы, конечно, разговаривает. Он хлопает меня по плечу и говорит: «Фуско, сколько воды утекло с тех пор... Немалый путь мы прошли...» Он говорит «мы» просто так, это его манера выражаться, а на самом деле Паломби хочет сказать, что прошел-то немалый путь он один.

Теперь во мне заговорило любопытство, и я не отставал:

— И ничего больше не говорит?

— Больше ничего. Постой, теперь я припоминаю, он еще добавляет: «Фуско, как-нибудь на этих днях нам надо устроить вечер воспоминаний. Мы должны посидеть с тобой в остерии и распить литр-другой вина». Да, конечно, он говорит это всякий раз, как меня увидит.

— А почему же ты не хочешь устроить с ним вечер воспоминаний?

Фуско немножко подумал и объяснил:

— Да потому, что Паломби мне несимпатичен. Он был мне несимпатичен еще тогда, когда у него не было ни гроша; можешь себе представить, как я люблю его теперь, когда у него полный карман денег.

— А чем же он тебе несимпатичен?

— Сам не знаю. Всем он кажется сердечным парнем, а по-моему, у него вовсе нет сердца. И потом, он всегда говорит невпопад, не то, что надо было бы сказать. В общем, несимпатичный человек.

А меня будто кто подстегивает:

— Но все-таки раз ему так хочется, давай устроим вечер воспоминаний.

Фуско отвечает:

— Там видно будет.

Однако не прошло и нескольких дней, как он с недовольным видом сообщил мне:

— Ну, так я говорил с Паломби. В четверг устроим вечер воспоминаний.

В четверг вечером мы все собрались в остерии на виа Тор ди Квинто, неподалеку от Кассиевой дороги, где находилась наша строительная площадка. Пришли туда Фуско и один мой приятель, которого все называли Горошина, — тощий, худосочный блондинчик с бородавкой-горошиной на носу. Когда парень злился или приходил в волнение, бородавка сразу же краснела и пылала огоньком; пришла Лючетта — моя невеста, и пришел я.

Все мы в знак уважения к Паломби, который как-никак был нашим хозяином, надели выходные костюмы, повязали галстуки. Трактирщик поставил на стол вино, но никто из нас, также из-за уважения к Паломби, не осмеливался к нему притронуться. Так прошло минут двадцать, потом еще двадцать, и мы уже начали волноваться. Один Фуско не выражал беспокойства, он сказал, что хорошо знает Паломби и можно было быть заранее уверенным, что тот запоздает. Горошина, который, помимо того что был электромонтером, был также и заправским поэтом и мог в одну минуту сочинить стих на любую тему, вдруг подался вперед и, выражая общее чувство, продекламировал тихим, проникновенным голосом:

Я свято верил, что коммендаторе
Заплатит за вино и угощенье,
Но мы пришли сюда себе на горе,
Обманщик не идет, нам портит настроенье.

Стишки совсем неплохие, но после того, как мы потяряли битый час, никому из нас не хотелось смеяться. Только Лючетта заметила:

— Ты слишком торопишься... а вдруг он еще придет?

Горошина, даже не задумавшись, сразу же ответил ей вполголоса:

Да здравствует коммендаторе,
Он выставил вино и угощенье,
Мы с ним забудем всю печаль и горе
И спать пойдем в прекрасном настроенье.

Не успел он кончить, как Фуско говорит:

— А вот и коммендаторе!

В самом деле, вот и Паломби. Мы издали увидели, как он идет в нашу сторону, приближаясь между расставленными под навесом остерии столиками, за которыми сидели такие же бедняки, как и мы. Он был низкого роста, скорее плотный, чем толстый, но с большим животом, который начинался у него от самой груди. На красном лице под серебристо-седой шевелюрой бродила несколько неуверенная улыбка. Из уважения к нему, как я уже говорил, мы оделись так, как, пожалуй, следовало бы быть одетым ему; он же, видимо, чтобы не заставить нас краснеть, вырядился так, как обычно одеваемся мы, — на нем были синие джинсовые брюки и клет-

чатая рубашка с закатанными рукавами. Так одеваются парни, которыекупают старье у ворот Порта-Портезе; только им-то по двадцать, а Паломби — никак не меньше пятидесяти. Когда он подошел, мы и не подумали приподняться, однако, протягивая свою короткую руку, он приговаривал:

— Ради бога, сидите... пожалуйста, без церемоний... иначе прощай наша дружеская встреча!

Мы представились. Когда очередь дошла до Лючетты, Паломби спросил:

— А это что за прелестная куколка?

Помимо всего прочего, такое определение совсем не подходило к Лючетте, как всегда сдержанной и серьезной, и я тут же вспомнил, что Фуско меня предупреждал: «Он всегда говорит не то, что следует».

Паломби уселся и сразу же обратился к Фуско:

— Эх, старина Фуско, а помнишь, как мы славно закусывали в остерии «У петуха»?

Фуско замялся, а потом пробормотал:

— По правде говоря, я этого «Петуха» что-то не припоминаю, мы ходили обедать, мне кажется, в трактирию «Тренто и Триест», за городскими воротами.

— Нет, в остерию «У петуха»! — вдруг заорал Паломби, ударив кулаком по столу.

Мы все не могли скрыть своего удивления. Фуско погрузился в молчание. Я заметил, что у Паломби странная манера говорить — он кривил рот, и голос шел откуда-то из самой глубины глотки; к тому же и акцент у него был не римский, но и не такой, с каким говорят господа. Черт его знает, что у него был за акцент.

Ну, ладно. Подходит к нам официант и приносит меню. Здесь Горошина, которому не терпелось обратить на себя внимание, немедленно пользуется случаем. Подняв руку, он скромно и тихо произносит:

Что будем есть? Возьмем без колебаний
Кур жареных и макарон в томате...
А что же выбрать нам для возлияний?
Всех вин не счесть, но лучше нет фраскати!

Коммендаторе, который проглядывал меню, поднял глаза на Горошину и весело сказал:

— Ах, среди нас, оказывается, есть поэт. Ты помнишь, Фуско, в дни нашей молодости у нас тоже был поэт? Как его звали? По-моему, Федерико.

— Не помню... тогда вроде никакого поэта не было. Коммендаторе снова вышел из себя и, хватив кулаком по столу, повысил голос:

— Ты что, Фуско, в самом деле дурак или только прикидываешься? Говорю тебе, что был поэт и звали его Федерико.

Потом Паломби — краска еще заливала его лицо — повернулся к официанту:

— Я хочу поужинать по-римски, забыть о больной печенке, желудке и всех прочих потрохах. Итак, прежде всего спагетти и чеснок с оливковым маслом. Потом — жареных угрей и немножко филе трески. На второе — куриное рагу со сладким перцем. Еще подай нам салата да положи в него луку, побольше луку. И не надо булки, принеси нам каравай домашнего, деревенского хлеба. Что касается вина... Это что за вино?

Официант сказал, что это вино из Гроттаферраты.

— Ну, пусть будет из Гроттаферраты... давайте выпьем.

С этими словами Паломби взял литровый графин и начал щедрой рукой разливать вино. Но когда он дошел до Фуско, тот накрыл стакан ладонью:

— Нет, спасибо, я не пью.

— А почему?

— Потому что мне нельзя.

Паломби посмотрел на него, и лицо его перекосила гримаса: ему, видно, не понравилось, что Фуско не захотел пить. И вдруг он как заорет, чуть ли не во весь голос:

— Нет, ты выпьешь!

— Я сказал, что не пью, — упрямо ответил Фуско и нахмурился.

Паломби снова на него пристально поглядел, и физиономия его так покраснела, что мы думали, его вот-вот хватит удар.

По счастью, Горошина вылез с каким-то подходящим к случаю четверостишием, которого я теперь уже не помню, и Паломби, подавив в себе злость, опорожнил одним духом стакан вина. Выпив, он сказал:

— Вот так пьют настоящие мужчины, — а затем без всякого перехода добавил: — Я хочу сказать одну вещь, которая вас удивит: я вам завидую.

Мы от изумления разинули рты, а он продолжал:

— Да, завидую. Я согласен, у вас нет денег, которых у меня немало, но зато у вас есть многое другое.

— Что же, например? — спросил Фуско.

Паломби на мгновение замаялся.

— Многое другое, — повторил он.

Фуско сказал:

— Видишь, ты даже сам не знаешь, почему нам завидуешь. А я тебе вот что скажу: здесь ты единственный, кому можно позавидовать.

— Это почему же?

— Потому, что тебе не надо думать о завтрашнем дне.

Паломби скривил рот.

— Завтрашний день, при чем тут завтрашний день? Единственный, кто меня здесь понимает, это наша престелстная куколка. Не правда ли, синьорина, вы меня понимаете?

Лючетта ответила несколько сухо.

— Конечно, я вас понимаю... только снимите ногу с моей туфли, не то вы ее совсем затопчете.

— А вот и спагетти, вот и спагетти! — закричал Паломби, чтобы скрыть смущение, в которое поверг его ответ Лючетты.

Когда подали спагетти, тут-то, можно сказать, и начался вечер воспоминаний. Правда, с воспоминаниями Паломби не везло: Фуско никак не желал подтверждать то, что он вспоминал. Но что касается спагетти, угрей, трескового филе, куриного рагу, то уж здесь он хотел показать, что поглощает их с таким же аппетитом, что и тридцать лет назад. В самом деле, Паломби набросился на еду как одержимый, и вскоре огромная гора спагетти, два блюда угрей и трескового филе были уничтожены до последней крошки, не говоря уже о вине, которое он отхлебывал из большого стакана вместимостью в добрые четверть литра по полстакана сразу. При этом Паломби непрерывно жестикулировал, ел с громким чавканьем и урчанием, словно желая показать, какое получает наслаждение; он был похож на хищное животное. Но я, наблюдая за ним, понимал, что все это комедия. Он уже не был голодным бедняком, как когда-то, хотя и не стал важным барином, каковым себя мнил. В общем, Паломби был ни рыба ни мясо; он вообще никогда в жизни не представлял собой что-то определенное — ни внутренне, ни внешне. И можно было понять почему: хотя

Паломби и разбогател, у него остались взгляды и привычки бедняка. В нем как бы жило два человека, богатый и бедный, которые никак не могли поладить между собой, все время один из них подставлял ножку другому.

Подали куриное рагу со сладким перцем — большую миску, полную до краев. Всем было ясно, что Паломби уже насытился, однако, продолжая ломать комедию, он накинудся на рагу с яростной прожорливостью. Разрывая курицу руками на куски и вымазавшись по уши в соусе, он продолжал нести такое, чего никак не следовало говорить: нелепое, обидное, настолько бестактное, что мороз подирал по коже. Сперва он пристал к Фуско с этим самым «завтрашним днем».

— Так, значит, ты говоришь, что не уверен в завтрашнем дне. А ты живи, как я: мне некогда думать о завтрашнем дне, я думаю о сегодняшнем. Но будь спокоен, Фуско. Быть может, этот наш сегодняшний ужин — начало твоего счастья.

— Какого такого счастья?

— Ты об этом не заботься, предоставь все мне.

— Но я не нуждаюсь ни в чьей помощи.

— Я тебе скажу совсем другое — ты нуждаешься в помощи, и именно в моей. Иначе к чему ты тебе тогда настаивать, чтоб мы устроили вечер воспоминаний?

— Да разве это я настаивал?

— Ты. И ни к чему лицемерить. Я тебя насквозь вижу. Ты подумал: попробуем-ка растрогать Паломби воспоминаниями о тех днях, когда мы с ним оба были каменщиками, попробуем из него что-нибудь выжать. Ты, старина, втирай очки тому, кто тебя не знает. Но я-то хорошо знаю, и все же я говорю тебе: у Паломби доброе сердце, вот такое большое, Паломби тебе поможет.

В то время как Паломби говорил, я взглянул на Фуско и, честное слово, никогда еще не видел его таким рассерженным. Но Паломби ничего не замечал и закончил грубо, словно находился на своей стройке:

— Все вы одинаковы — пройдохи и ловкачи. С каждым днем все больше в этом убеждаешься.

Так он говорил с нами, властно, по-хозяйски. Но когда обращался к Лючетте, тон его менялся на галантный. Лючетта обошлась с ним не очень-то любезно, когда сказала, что он оттоптал ей туфлю; однако она ему нравилась, и он был не прочь за ней приударить, забыв, что Лючетта — моя невеста.

— Вы, синьорина, наверно, считаете меня человеком, который только и думает, что о своих делах: Но это не так. Например, когда я вижу такие глаза, как у вас, я забываю обо всем на свете — о делах, о семье, об ответственности, о работе, решительно обо всем. Вы сами, наверно, не знаете, какие у вас замечательно красивые глаза...

Лючетта, которая, несмотря на свой мягкий характер, умеет, когда захочет, как следует осадить, сказала:

— Сначала были ноги, теперь глаза. Что еще?

А Паломби, грозя ей пальцем, продолжал:

— Ах, прелестная синьорина, не дразните меня: «Что еще?» Да конечно, ручки! Посмотрите, какие очаровательные ручки у этой девушки. Чтобы рассказать, сколь они красивы, нужно быть поэтом...

Лючетта вырвала у него руку, которой он завладел, и с наивным видом сказала:

— Здесь есть поэт. Вот он.

Горошина, давно уже молчавший, не заставил себя долго ждать и, подавшись вперед, сразу же продекламировал вполголоса:

Ах, глазки, и ножки, и ручки Лючетты,

Влюбился Паломби по уши в них...

Но будь осторожен, послушай совета:

Ремидже сидит здесь — Лючетты жених.

Горошина хотел таким образом предупредить Паломби, чтобы он не слишком далеко заходил в своих комплиментах Лючетте, но тот, не знаю уж почему, вдруг оскорбился:

— А кто вы такой? Что вам надо? Чего вы суетесь? Что с того, что они жених и невеста? При чем тут вы?

Бедняга Горошина, выставив вперед руку и улыбаясь, попытался ответить ему стихами, но Паломби, красный как рак, не дал ему рта раскрыть:

— Короче говоря, не мешайтесь под ногами. Уходите. Я вас не знаю, никто вас не приглашал. Ухо...

Он хотел повторить «уходите», но вдруг поднес руку ко лбу, что-то пробормотал, а потом начал медленно съезжать со стула и свалился на пол, как тряпичная кукла.

Так кончился вечер воспоминаний Паломби. Мы было испугались, думая, что он загнулся. Но врач из

соседней аптеки, оказавший ему первую помощь, успокоил нас:

— Легкий обморок, ничего страшного. Жара и вино, главным образом вино.

В самом деле, немного спустя Паломби удалось подняться на ноги; при этом он все время бормотал: «Умираю, как, как мне плохо, умираю», и мы все проводили его до машины, которая ждала на улице, передав его в руки шоферу. Вздохмаченный, потный, бледный, держась за шофера, он все же нашел в себе силы с нами попрощаться. Кивнув Фуско, он проговорил:

— Спасибо, Фуско. С сегодняшнего дня рассчитывай на меня.

Я потом сказал Фуско:

— Ну, твое дело в шляпе, он тебе поможет.

Но тот мрачно ответил:

— Как бы не так. Напротив, Паломби мне никогда не простит, что ему при нас стало плохо. Вот увидишь.

И Фуско оказался прав. С того дня Паломби с ним больше не разговаривал, перестал даже здороваться. А в конце строительного сезона, уж не знаю под каким предлогом, Фуско уволили с нашей строительной площадки, и он устроился на работу в другом конце города.



БАНК ЛЮБВИ

Когда как-то вечером я услышал в телефонной трубке голос Джустино, который сказал мне: «Алессандро, завтра воскресенье, что ты скажешь насчет псевздки за город?», то от удивления у меня чуть было не отнялся язык. И вот почему. При всем том, что Джустино владеет лавкой скобяных товаров, расположенной неподалеку от моего бара, и дела у него идут очень даже недурно, скуп он до крайности. Он такой скупердяй, что кажется, будто ему жалко даже воздуха, которым он дышит; будь его воля, он, наверное, выдыхал бы его лишь наполовину, а на остальном экономил. Я спросил у него растерянно:

— А на чем же мы поедем?

— На моей машине, — ответил он.

Новая неожиданность!

— У тебя есть машина?

— Я купил ее с месяц назад.

— И ты поедешь на своей машине?

— Ясно. А то зачем бы мне ее покупать.

Словом, после того как я оправился от первого изумления, мы договорились встретиться на следующий день утром у моего бара.

Сколько нас было? Было нас пятеро. Джустино, я, моя жена Флора, ее подруга Иоле, белобрысая кобыла, которую Флора мечтала выдать замуж, и Освальдо, бедняга номер один, приказчик из магазина тканей, которого Иоле, продавщица из того же магазина, упорно считала своим женихом.

Узнав, что Джустино, мужчина состоятельный и холостой, купил себе машину, Флора сразу же лишилась покоя. Таковы женщины, чуть что — и они уже плетут какую-нибудь интригу. «Джустино — это как раз то, что нужно Иоле... Завтра во время прогулки мы их обже-ним». Она позвонила Иоле, но ничего у нее не вышло. Эта дуреха стала мямлить; что без Освальдо она никуда не поедет.

На следующее утро мы впятером кое-как втиснулись в машину Джустино. Это была обычная машина серийного выпуска, но только потому, что принадлежала она Джустино, она показалась мне меньше и невзрачнее, чем другие машины той же самой марки.

Это было в ноябре, но можно было подумать, что стоит октябрь, так было тепло и безветренно. Ярко светило усталое солнце. Всю ночь лил дождь, и поэтому поля дышали свежестью, пробуждая аппетит, как только что сорванный латук. После бензинного смрада города дышалось особенно легко. Голубое, сверкающее, чисто вымытое небо; зеленые, пышные, набухшие от воды луга; деревья в красных и желтых пятнах осени; а на шоссе — приклеившиеся к асфальту листья, множество золотых листьев, просто жалко было ехать по ним на машине, такие они были красивые. Джустино, зеленый, тощий как гвоздь, вел машину очень серьезно; в складках у его рта была написана скупость. Освальдо, симпатичный молодой человек с копной густых волос, нахальным лицом и в галстук бабочкой, из кожи лез,

чтобы не дать нам соскучиться. В конце концов можно было понять, почему Иоле его любит. Надо было только сравнить Освальдо с Джустино: один бедный, другой богатый; один настолько же веселый в своей бедности, насколько другой скучный при всем своем богатстве. Любимым номером Освальдо было подражание голосам различных птиц и животных — курицы, утки, свиньи, кошки, собаки. Он проделывал это так искусно, что вскоре у Флоры, Иоле и у меня болели от смеха животы. Только Джустино не смеялся: можно было подумать, что за каждую улыбку ему приходится платить наличными. Он даже обиделся, когда Освальдо, неожиданно наклонившись к его уху, великолепнейшим образом издал крик охваченного страстью осла; из-за этого Джустино потерял контроль и машина едва не врезалась в стену.

— Дешевые шутки, — проворчал он сквозь зубы.

Иоле так и подскочила.

— Может, вы, синьор Джустино, предпочли бы другую шутку? Это вы-то?

Словом, все начали допекать его скупостью.

Мы проехали около десяти километров, как вдруг на развилке у бензоколонки машина сбавила ход, затормозила и остановилась.

— Вышел весь бензин, — сказал Джустино, показывая на приборы. — Надо купить десять литров.

Мы так и раскрыли рты. Хотя всем нам было известно, что Джустино скуп, но все-таки мы не ожидали, что это обнаружится так скоро. Иоле, проглотив смешок, пробормотала:

— Странно.

Прикинувшись смущенным, Джустино сказал мне:

— Заплати, Алессандро, после сочтемся.

Кто почувствовал себя хуже всех, так это Флора. Перед этим она долго уверяла Иоле, что теперь, когда Джустино купил машину, его не следует более считать скупым.

Итак, я расплатился, пока Джустино делал вид, что копается в моторе, а Освальдо, как всегда веселый, восклицал:

— Бензин? А кто это сказал, что автомобилям, для того чтобы они ездили, нужен бензин? Чем плоха чистая вода?

Мы снова тронулись. Флора, вбившая себе в голову,

что ей надо непременно обженить Иоле и Джустино, завела разговор о браках.

— А вот вы, к примеру, синьор Джустино, почему бы вам не жениться?

Джустино ответил:

— Мне нужна жена совсем особая, такой я пока еще не нашел.

Тогда в разговор вмешалась Иоле, испортившая все дело:

— Хотите, синьор Джустино, я опишу женщину, которая вам подошла бы?

Он, бедняга, доверчиво полагал, что Иоле хочет поговорить о любви, и не остановил ее. А эта ехидна начала сладким голосом:

— Прежде всего она должна быть женщиной очень маленькой, совсем маленькой, меньше Дюймовочки.

— Почему?

— Чтобы экономить на материи для платьев, черт возьми.

Удар попал в цель, Джустино замолк, а Иоле продолжала:

— Потом у нее должна быть какая-нибудь милая желудочная болезнь, чтобы она ела поменьше. Наконец, раз уж вы такой мот, она должна быть скупой, чтобы как-то вас уравновесить, иначе вы вдвоем по миру пойдете. Не так ли, синьор Джустино?

На этот раз атака была столь неприкрытой, что Джустино, кисло улыбувшись, сказал:

— Словом, вы считаете меня скупым.

— Не то чтобы скупым, — ответила Иоле. — Скажем, вам не нравится тратить деньги.

Тут ее перебила Флора, авторитетно заявив:

— Кто это сказал, что Джустино скуп?.. Сегодня он докажет обратное, угостив нас всех завтраком.

Бедняжка Флора хотела таким образом дать Джустино возможность показать себя щедрым. Гиблое дело!

— Почему? — возразил он тут же. — Лучше сделаем по-римски: каждый за себя, а бог за всех.

Разочарованная Флора только сказала:

— Дорогой Джустино, видно, с вами уж ничего не поделаешь.

Приехали в Кастельгандольфо, объехали вокруг озера по чудесному желтому лесу и остановились перед рестораном. Пока Джустино ставил машину, Иоле и

Освальдо отошли в сторонку и, посмеявшись, договорились о чем-то друг с другом, но тогда я не придавал этому особого значения. Мы вошли в ресторан, прошли прямо на террасу и, как положено, постояли минуты две, любуясь видом озера, похожего на утонувший в зелени голубой колодец, весь испещренный бликами солнца. Потом перед нами вырос официант со своей всегдашней канителю: «Что закажем? Имеются канцеллони — фирменное блюдо; цыплята на вертеле; форель из озера; свиная печенка, жаворонки. Что же закажем?» Джустино, который, после того как вошел в ресторан, казалось, проглотил палку, такой он был сухой и неловкий, сказал, подняв руку:

— Я неважно себя чувствую, у меня болит желудок, возьму себе немного супу — и все.

Понимаете, Джустино не только не желал платить за всех, но даже на себя хотел истратить как можно меньше. Тогда Освальдо сделал широкий жест:

— Жаль, что вы себя плохо чувствуете, я собирался угостить вас... Во всяком случае, знайте, — я плачу за всех.

В доказательство он вынул бумажник и помахал банковским билетом в десять тысяч лир. Видели бы вы Джустино! Он посмотрел на Освальдо, посмотрел на нас, посмотрел на официанта, а потом говорит:

— Ну, я передумал... В сущности, поесть мне даже полезно. Буду есть то же, что и вы.

Я ждал, что Иоле и на сей раз не упустит случая позиздеваться над его скупостью, но, ко всеобщему удивлению, она сказала:

— Bravo, синьор Джустино, кушайте и ни о чем не думайте; увидите — потом вам станет легче.

Рассудительный, почти сердечный тон ее голоса тронул Джустино, но он все еще пытался возражать:

— Я поем всего, но немного.

Иоле настаивала:

— Нет, вы должны поесть как следует: Я сейчас сама все закажу. Так вот: канцеллони, и побольше, три цыпленка на вертеле, жареный картофель и салат... На сладкое английский суп... И принесите вина, да получше... не того, молодого. Принесите несколько бутылок.

Обед удался на славу. Мы сидели одни на террасе над озером, но шумели за двадцать человек. У каждого были свои причины для веселья: у Флоры — потому что

Иоле любезничала с Джустино, у меня — потому что перестали говорить о скупости Джустино, который все-таки был моим другом, у Джустино, как у истинного скупца, — потому что он знал, что ему не придется платить за обед; Иоле же и Освальдо имели для этого свои собственные основания, о которых я тогда и не подозревал. Подали каннеллони, в самом деле превосходные; подали цыплят, хорошо прожаренных и таких огромных, что мы никак не могли с ними разделаться; подали салат из латука, свежий, душистый, приправленный барбарисом, сельдереем, укропом, мятой; подали английский суп — и это была действительно вещь. Мы выпили сперва две бутылки запечатанного старого вина, а потом еще две — по пол-литра на брата. Освальдо, по обыкновению не унывающий, проделывал новую шутку: он пришивал к пиджаку невидимую пуговицу иглой с ниткой, которых тоже не было, но делал это такими точными движениями, словно он в самом деле держал в руках пуговицу, иглу и нитку. На этот раз смеялся даже Джустино. Я уверен, что в глубине души он восторгался Освальдо, который был так весел, зная, что вскоре ему представят счет. Тем временем солнце зашло; озеро, погрузившись в тень, стало мрачным; и, как это бывает в ноябре, — только что было тепло, вдруг сразу стало холодно. Выражая общее мнение, Освальдо сказал:

— Самый подходящий случай подхватить грипп. Пора ехать. Официант, счет!

Немного погодя появился официант с длинным счетом, в котором было понаписано множество цифр с огромным количеством нулей. Освальдо, даже не посмотрев на него, вынул билет в десять тысяч лир и протянул его официанту. Тот с секунду смотрел на билет, а затем, сухо улыбувшись, сказал:

— Вы шутите.

Освальдо чуть ли не оскорбленно спросил:

— Что вы? Какие шутки?

— Это же рекламный билет, — сказал официант. — Разве вы не видите, что тут написано? «Банк любви, десять тысяч поцелуев».

Освальдо озабоченно взял билет, осмотрел его и наконец произнес:

— Правда... Должно быть, я взял его по ошибке... К сожалению, других денег у меня с собой нет... Взгляните, пустой бумажник.

Чтобы передать, что произошло потом, нужен автор комедий — я здесь бессилён. На Иоле напал такой смех, что она чуть не валилась со стула и только повторяла: «Конечно, теперь у синьора Джустино опять разболится живот». Даже Флора, хотя она и была смущена, не могла сдержать улыбку; я в глубине души тоже веселился; Освальдо же упорно прикидывался оскорбленным. Что до Джустино, то он сперва побледнел, потом покраснел, потом опять побледнел и принялся мямлить:

— Что это еще за ловушки? Где мы находимся? Я не заплачу; вы хоть умрите, но я не заплачу ни гроша.

Все еще продолжая разыгрывать шутку, Освальдо убеждал его:

— Заплатите, синьор Джустино, за всех... В Риме рассчитаемся.

Тогда Джустино накинулся на Освальдо:

— Замолчи ты, несчастный голодранец, не то...

Освальдо разозлился не на шутку.

— Что — не то? Ну-ну, смелее; посмотрим еще...

И нечего мне «тыкать», по-моему, мы с вами не братья.

Испуганный Джустино пожал плечами, повторяя:

— Хорошо, хорошо, но я не заплачу ни гроша.

Мне стало его так жалко, что, почти не задумываясь, я сказал:

— Ладно, хватит, я заплачу.

Но тут вдруг неожиданно встряла Флора:

— Нет, ты ничего не заплатишь. Или, вернее, так как у тебя бар, а у Джустино магазин, вы заплатите пополам. А вы, Джустино, постыдились бы, вы ведь поели, почему же вы не хотите платить?

Сказано это было очень серьезно, тоном, не допускающим возражений. Джустино, смирившись, понурил голову, вынул бумажник, с мучительной медлительностью скупца, прощающегося с каждой копеечкой, извлек из него одну за другой тысячные и сотенные бумажки и выложил их на стол. Жестокая Иоле спросила у него:

— Вам жалко?

— Нет, — ответил Джустино, — мне жалко только, что я поехал с людьми вроде вас.

Оскорбление было нанесено всем. Первой возмутилась Иоле. Она поднялась, сказав:

— Вот как? Мы вернемся в Рим автобусом. Пошли, Освальдо.

— Я тоже иду, — сказала Флора. — А ты, Алессандро, можешь возвращаться с Джустино.

В конце концов я тоже не выдержал:

— Нет, подождите меня... Вот моя доля, Джустино. До свиданья и доброго пути.

Одним словом, мы все вышли из ресторана, оставив Джустино в полном одиночестве на террасе, уже погружавшейся во тьму, за столом перед кучей денег.

Остаток дня мы провели очень весело, словно, отделившись от Джустино, каждый из нас избавился от занозы. Мы совершили чудесную прогулку по лесу, и Иоле с Флорой собрали большой букет цикламенов. Затем мы отправились в селение и выпили кофе в баре на площади. Мы исходили вдоль и поперек Кастельгандольфо, — а это действительно милый, хотя и старый городишко, — накупили очень вкусных кренделей с тмином и еще раз выпили кофе, уже в другом кафе. Наконец пришел автобус, битком набитый воскресными нахалами, но хотя нам пришлось стоять всю дорогу до самого Рима, настроения это нам не испортило. А Джустино? Кто его знает, верно, стоит себе за прилавком и продает гвозди — столько-то за сто граммов.



ТЕПЕРЬ МЫ КВИТЫ

ого следует считать другом? Того, кто, услышав сплетню о приятеле, тотчас же все передает ему, утверждая при этом, будто хочет предостеречь его, и заверяет, что сам он целиком на его стороне? Или же того, кто не говорит ему ни слова? Мне по душе второй. Первый — друг лишь на словах, а в глубине души он радуется, что у тебя неприятности, он даже не прочь посмеяться над тобой, но только так, чтобы ты об этом не узнал и не отвернулся от него. Именно таким другом всегда был Просперо: обо всех неприятностях я неизменно узнавал от него, так что всякий раз, когда он говорит: «Слушай, мне надо потолковать с тобой», — меня начинает трясти. Я уже заранее знаю, что ничего хорошего не услышу.

Однажды зимой ни свет ни заря он позвонил мне по телефону, и я услышал его вкрадчивый голос:

— Алло, Джиджи, это Просперо. Мне надо тебе кое-что сообщить.

Я сразу же подумал: «Ну, начинается!» А он тем временем, захлебываясь от возбуждения, радостно тараторил:

— Знаешь, что о тебе говорят? Что ты обесчестил Миреллу!

Сперва я до того растерялся, что не мог вымолвить ни слова. Что и говорить, удар был неожиданным. Но затем, поняв, что он молчит и, верно, со злорадством ждет ответа, я попробовал прикинуться простаком:

— Какая еще Мирелла?

Просперо расхохотался:

— Какая Мирелла? Есть только одна Мирелла, дочка владельца бензоколонки на улице Остиензе.

— Но с чего ты все это взял?

В ответ я услышал:

— Ладно, не веришь — не надо! Считай, что я тебе ничего не говорил... До свиданья.

Тогда я с беспокойством закричал:

— погоди, ты должен мне рассказать все... Нельзя же так, ведь должен я знать, кто распускает про меня подобные слухи.

А Просперо с таким ехидством:

— Не важно, кто говорит, важно, что говорят... В общем, я тебе позвонил, и теперь ты знаешь, что в бабе тебя многие осуждали, но я на твоей стороне.

— Но что они все-таки говорят?

— Говорят, что Мирелла ждет ребенка, что отец ее уже все знает и что на днях ты, мол, увидишь, как это для тебя обернется... А еще говорят, что ты просто мерзавец. Вот что они говорят.

Тут я решил, что с меня хватит, и повесил трубку, хотя Просперо продолжал еще что-то кричать.

С минуту я неподвижно стоял в полутемном коридоре возле телефона и думал: «Славно денек начался!» В доме еще царили мрак и тишина, только в кухне чуть светлели окна под первыми лучами зари; я стоял босиком на полу, и от холода у меня стыли ноги, внутри все ныло, к горлу подступила тошнота. При этом я вспомнил, что еще очень рано и до девяти ча-

сов я не смогу даже поговорить с Миреллой. А что делать до девяти?

Спать я больше не мог. В темноте, осторожно двигаясь между своей постелью и постелью брата, я кое-как оделся. Он зашевелился и сонным голосом спросил:

— Куда это ты?

Я тихо ответил:

— На работу.

Брат пробормотал:

— В такую рань?

В ответ я лишь пожал плечами и вышел на цыпочках. Только-только рассвело; немного отойдя от дома, я двинулся по улице Остиензе, и тут мимо меня один за другим проехали четыре или пять грузовиков с овощами: они направлялись на рынок. За железной паутиной газгольдеров уже розовело небо, местами оно казалось молочно-белым, но облаков нигде не было. День обещает быть великолепным — для всех, решил я, только не для меня. Сам того не заметив, я оказался возле бензиновой колонки отца Миреллы, но он еще не появлялся, было слишком рано. Я брел по пустынным тротуарам, усыпанным мусором — обрывками бумаги, кожурой и огрызками фруктов, брел мимо домов с плотно закрытыми окнами и так, переходя с одной улицы на другую, достиг моста возле речного порта; тут я остановился и сквозь металлические фермы стал смотреть вниз. Тибр, который в этом месте походит на канал, казался неподвижным, его поверхность напоминала поверхность пруда; баржи, груженные мешками с цементом, были неподвижны, так же как установленные на них краны со свисающими цепями и опущенными стрелами; все выглядело мертвым. Я смотрел на эти застывшие предметы, а в голове у меня все шумело, точно там работала турбина. Просперо своим милым звонком совершенно выбил меня из колеи. Однажды я уже испытывал нечто похожее, когда получил из полиции повестку с требованием явиться; хотя я не совершил ничего дурного и вызывали меня только как свидетеля, я ожидал в тот раз бог знает чего. Теперь же я чувствовал за собой вину, а отец Миреллы внушал мне гораздо больше страха, чем полицейский комиссар.

Так я стоял и смотрел на Тибр; вдруг над самым моим ухом раздался голос:

— Эй, парень, что ты тут делаешь?

Я обернулся и увидел человека небольшого роста, в широком пиджаке, лысого, с темным, как перезревший каштан, лицом; он спустил ногу с педали велосипеда и хмуро смотрел на меня глубоко посаженными глазами. Это был Мальюккетти, отец Миреллы. Похолодев, я пробормотал:

— Да ничего, иду на работу.

— Вот что,— просипел он,— нам с тобой надо поговорить... Только не сейчас... попозже... Я буду ждать тебя у бензоколонки в полдень... Ты ведь знаешь, о чем речь?

На всякий случай я сказал:

— Понятия не имею.

— А я думаю, ты отлично знаешь. Значит, в полдень увидимся.

Он снова уселся на велосипед и покатил, медленно вращая педалями.

Все ясно, решил я, старик уже знает, Просперо правду сказал, и в полдень мне придется держать ответ перед разъяренным папашей. Тут мне стало совсем скверно, и я подумал, что, пожалуй, нет смысла пытаться до этого увидеть Миреллу. Никогда еще я не попадал в такой переплет, но я представлял себе, что женщина, оказавшись в подобном положении, непременно начнет причитать: «Что теперь делать? Я наложу на себя руки, брошусь в Тибр!» Я же меньше всего был тогда расположен выслушивать жалобы. Но как все-таки устроен человек! В конце концов я пришел к заключению, что до полудня еще очень далеко и что уж лучше выслушивать жалобы Миреллы, чем терзаться самому. Правда, в такой ранний час заявиться к ней было невозможно, но я подумал, что, пока доберусь туда, пройдет немало времени: Мальюккетти жили в переулке Серпе, который берет начало от улицы Портуэнзе, и идти пешком от речного порта до их дома было довольно долго. Я перешел через мост и направился к улице Портуэнзе. Но тут меня охватило нетерпение. Сперва я еще сдерживал шаг, а потом пустился почти бегом. Под конец на какой-то остановке я вскочил в автобус, сказав себе, что в крайнем случае подожду где-нибудь возле их дома.

И вот передо мной переулок Серпе; он почти за чертой города, домишки здесь выстроились вдоль огородов, где растут все больше капуста и латук; а вот и дом

Мальоккетти — одноэтажный розовый домик с зелеными ставнями. Я надеялся застать Миреллу одну — ее мама торговала фруктами и с утра отправлялась на рынок. Но не тут-то было: я звоню, дверь открывается, но вместо хорошенького личика и тонкой фигурки Миреллы передо мной возникает огромная грудь и багровое лицо торговли фруктами. Я спрашиваю:

— Дома Мирелла?

Она отвечает:

— Мирелла больна.

Я спрашиваю:

— А что с ней такое?

Она отвечает:

— У нее жар.

Тогда я, как дурак, говорю:

— Жар, когда на улице такой чудесный день?

А она в ответ:

— Да при чем тут погода?

Тут я повернулся и побрел обратно на улицу Портуэнзе в еще большей тревоге, чем раньше. Сомнений теперь быть не могло: отец и мать все знают, Мирелла ждет ребенка, а родители до разговора со мной заперли ее на ключ. Я понимаю: окажись на моем месте кто-нибудь из моих ловких приятелей, он бы только пожал плечами и уклонился от неприятного разговора с папашей — словом, наплевал бы на все. Но я, к сожалению, из другого теста. Я не привык людей обманывать. Коли я задолжал в кабачке, то, можете не сомневаться, непременно приду туда и за все уплачу. Это вопрос совести: у одних она есть, у других — нет. У меня есть.

Не зная, куда деваться, что делать, я сел в автобус и возвратился в город; там я снова принялся бродить по улицам, пока не очутился перед храмом Св. Павла, неподалеку от которого стояла бензоколонка Мальоккетти. В церковь как раз входила группа туристов, и я машинально поплелся за ними. Давно уже я не бывал в этом храме и успел забыть, какой он большой. Теперь эта каменная громада меня буквально подавляла. Хорошо еще, что гид вывел меня из этого состояния своей болтовней:

— Взгляните, синьоры, в этих медальонах, там, наверху, помещены изображения всех пап, каких знал Рим.

Я поднял глаза, и вдруг мне показалось, что все эти

папы уставились на меня своими глазами и будто говорят: «Эй, Джиджи, заварил кашу, теперь расхлебывай». И тогда, точно меня кто в спину толкнул, я направился к одной из огромных исповедален, опустился на колени и сказал, что хочу исповедаться.

Священник, смотревший на меня сквозь решетку, после обычных формальностей велел мне говорить только правду, и тогда я ему обо всем рассказал: как мы с Миреллой в первый раз встретились, как катались на моторной лодке в Остии, как часами гуляли в сосновой роще в Кастельфузано, как до поздней ночи проводили время на огороде возле ее дома, среди капусты и лука. А потом я прибавил, что родители все знают, что она в положении, и спросил, как мне теперь быть. Не долго думая, священник сурово сказал:

— Сын мой, ты согрешил и должен поправить дело.

— Как это?

— Ты должен на ней жениться.

— Но, отец мой, мы слишком молоды, у меня за душой ни гроша, как я ее прокормлю? Фокусы, что ли, стану показывать?

— Ты обязан жениться, об остальном позаботится господь.

Такое полное непонимание начало сердить меня. Я сказал:

— Это ж вам не воду в бочку натаскать. Да знаете ли вы, отец мой, что значит жениться в наше время? Отдаете ли вы себе в этом отчет?

— И все-таки, — ответил он еще строже, — это твой долг.

В общем, он был непреклонен. Под конец я попросил у него отпущения грехов, но он согласился дать его лишь при том условии, что я женюсь; я пообещал и ушел мрачнее тучи. Не люблю, когда меня к чему-нибудь принуждают, и теперь, когда со всех сторон мне стали внушать, что я должен жениться, я готов был взбунтоваться и сказать «нет». Выйдя из церкви, я уселся под деревьями и принялся размышлять. И вот, думая то об одном, то о другом, я сказал себе, что ведь и вправду люблю Миреллу, что мы не раз говорили с ней о женитьбе, что она меня тоже любит, что мы хорошо понимаем друг друга и ладим между собой. Мало-помалу я забыл, что меня к этому принуждают, и попробовал взглянуть на все глазами Миреллы; и тогда я понял,

что вовсе не прочь на ней жениться. Такая уж у меня натура: если я сам, по своей воле, что-нибудь решу, то обязательно выполню, если же нет, то никакой священник и никакие родители нипочём не заставят меня их послушаться. В конце концов я сказал себе: «А что тут плохого? Я бы к этому все равно пришел... годом раньше, годом позже». И тут у меня разом на душе полегчало, как будто я сам с себя цепи сорвал, как будто, легко согласившись на свадьбу, сбросил тяжелый груз, давивший мне плечи. Я поднялся с места и бодро зашагал по направлению к бензиновой колонке.

Мальоккетти сидел на соломенном стуле и, водрузив на нос очки, читал газету. Я слегка хлопнул его по плечу и сказал:

— Синьор Мальоккетти, вы хотели со мной поговорить... Но я тоже кое-что хочу вам сообщить и скажу, не откладывая: мы с Миреллой решили обвенчаться.

Он с удивлением поднял глаза и недоверчиво посмотрел на меня:

— Мирелла больна, я ничего не знаю, приходи к над домой, там обо всем и потолкуем.

— Мирелла уже согласилась.

— Ну, там видно будет, что за спешка... И потом, из этого вовсе не следует, что ты не должен платить мне за бензин, который брал в прошлое воскресенье якобы в кредит... И давай сразу договоримся, мой милый. Бензин стоит денег, и я здесь не для того сижу, чтобы его даром раздавать.

Я почувствовал, что вот-вот грохнусь на землю. Наконец я пробормотал:

— Об этом-то вы и хотели со мной поговорить?

— Конечно. Ты завел привычку являться за бензином, когда тут вместо меня Мирелла, а денег не платишь. Ты уже задолжал мне полторы тысячи лир.

Только тут я понял в чем дело: Мирелла и вправду больна, а ее отец хотел только получить с меня за бензин; это Просперо опять мне удружил, сбил с толку и заморочил голову. На мгновение мне захотелось под каким-нибудь предлогом отказаться от помолвки. Но потом я подумал, что, может, это воля судьбы, а против судьбы не пойдешь. Шутки ради я прибавил:

— Мы с вами скоро породнимся, а вы мне отказываете в кредите!

— При чем тут родня... Родня родней, а денежки за бензин плати.

Рассчитался я с ним и ушел, веселый и довольный. В тот же день я увиделся с Миреллой, и тут обнаружилось, что она вовсе не беременна; я сказал ей о нашей помолвке, и она обрадовалась, что я наконец решился, а я обрадовался тому, что она радуется. Вечером я поставил будильник на шесть утра и, проснувшись, позвонил Просперо. Сонным голосом он с тревогой спросил меня, что случилось. Я ответил, что мы с Миреллой решили обвенчаться.

— И ты будишь меня на заре, чтобы сообщить об этом?

— А разве вчера ты не разбудил меня в этот же час, чтобы сообщить, будто я мерзавец?

— Я позвонил тебе потому, что я тебе друг.

— А я как другу хочу сказать, что говорят о тебе окружающие: они говорят, что, прикрываясь дружбой, ты всегда норовишь сообщить человеку какую-нибудь гадость. Прощай!



КЛЕМЕНТИНА

ы жили когда-нибудь в лачуге? Нет? Ну тогда вы ровным счетом ничего не знаете про эти самодельные домишки, как и тот синьор с Монте-Марио, о котором я хочу вам сейчас рассказать. Жить в лачуге — это значит, если идет дождь, не забывать утром, когда встаешь с постели, посмотреть, куда ставить ноги, потому что земляной пол превращается в сплошную грязную лужу. Это значит готовить пищу на улице в старом бидоне из-под бензина и есть ее, сидя на кровати. Это значит жить с керосиновой лампой или со свечой. Это значит вешать одежду на гвозди или на веревки, так что, когда ты ее потом надеваешь, она мятая и грязная, как тряпка. Это значит согревать друг друга, как животные, теплом собственного тела и всю зиму восвать с сыростью и ветром, дующим в щели. А кроме того, в такой лачуге вечно все теряется. Ищешь

вилку, ищешь кусок мыла, ищешь сковородку, а вместо них находишь то, что тебе совсем не нужно, — сапог, или кепку, или даже черную мохнатую крысу величиной с кошку. Да, да, именно крысу, потому что крыса столь же неременная принадлежность лачуги, как червь — малины. Однажды ночью я услышал страшный писк в ящике со всяким тряпьем, который держал у себя под кроватью, заглянул туда — и что же увидел? Среди тряпья лежат восемь розовых крысят, ну, точь-в-точь крошечные поросята. Я их, конечно, убил, но, скажите на милость, они-то чем виноваты? В лачуге и должны жить крысы, а не люди.

Ну, ладно. До октября, когда произошло то, о чем я вам хочу рассказать, я брал свой аккордеон, единственное мое достояние, память о том славном времени, когда я спекулировал на черном рынке, и шел вместе с Джованной и Клементиной в какой-нибудь квартал в старой части Рима, где еще попадаетея немало добрых женщин, которые, убираясь у себя дома, совсем не прочь послушать песню. Джованна — крестьянка с очень белым лицом, заячьей губой и светлыми, мелко выюшимися жесткими волосами, такая деревенщина, что даже трудно себе представить, ни на что не пригодная и темная, — была, как и аккордеон, даром послевоенных лет. Она ко мне прилипла, и я то подумывал на ней жениться, то собирался прогнать ее прочь. Клементина же — девочка лет двенадцати, худенькая и темноволосая, с круглой рожницей и огромным ртом до ушей. О ней я не знал ровным счетом ничего, не знал даже ни где она живет, ни с кем, да и сама она никогда мне об этом не говорила; увидел я ее в компании ребятшек, игравших у древней городской стены, и выбрал потому, что однажды услышал, как она пела, и ее пение мне понравилось. Вот так, втроем, мы шли куда-нибудь в район площади Навона или Кампо-Марцио, я становился на край тротуара и, спустив одну ногу на мостовую и откинувшись назад, начинал играть на аккордеоне. Джованна раздавала прохожим отпечатанные листочки с предсказанием судьбы, а Клементина пела. Вы, может, думаете, что у Клементины был такой уж приятный и нежный голосок? Ничего подобного. Стоило ей открыть свой огромный рот, в котором, казалось, затерялись мелкие и редкие зубы, и она сразу же испускала самые пронзительные и фальшивые звуки, какие я только ког-

да-либо слышал в жизни. От ее голоса мороз подирал по коже, но звучал он уверенно, бесстыдно и нагло. Именно в этом-то и была причина ее успеха, я хотел сказать — нашего успеха. Потому что своим столь немелодичным голосом Клементина выражала все то, что переполняло меня, и, в сущности, ей удавалось это лучше, чем мне на аккордеоне. Здесь было все — и жизнь в лачуге, и нищета, и черный рынок, и веселье, и грусть, и необходимость спать, тесно прижавшись друг к другу, чтобы согреться, и поиски сковородки, и неожиданно выскакивающая на тебя крыса. При первых же звуках этого голоса, который летел все выше и выше в пронизанном солнцем воздухе, достигая самых верхних этажей, пронзительный, резкий и вызывающий, люди высовывались из окон, слушали и протом бросали вниз деньги.

Однажды мне захотелось сменить район, и я пошел вверх по виа Фламиниа, направляясь к Париоли. Дело было в воскресенье, вскоре после обеда. Проходя мимо стадиона, я увидел толпившихся там, как обычно, болельщиков и решил этим воспользоваться. Я встал немного в сторонке и заиграл на аккордеоне, а Клементина начала орать во всю глотку слова какой-то песни; Джованна же ходила вокруг, пытаясь чуть ли не насильно всучить свои листки болельщикам. Увы, напрасные усилия: разбившись на маленькие группки, они оживленно обсуждали свои дела и, наверно, нас даже не заметили: спорт, как известно, — враг искусства. Но вот вдруг перед нами неожиданно останавливается машина, а за ней другая. За рулем сидит мужчина лет шестидесяти, с лицом, словно состоящим из двух частей: верхняя часть — румяная и свежая, с еще черными волосами, гладким лбом, живыми глазами, а нижняя — желтая, как у покойника, со скривившимся набок ртом и лиловыми губами, с жирным, словно распухшим, вторым подбородком в глубоких отвислых складках, похожим на мешок под клювом у пеликана. Этот мужчина смотрел на нас и, казалось, слушал, а потом, когда я кончил, поманил меня рукой. Я подошел, и он сказал, что ему очень хотелось бы послушать несколько хороших песен у себя на вилле: она неподалеку отсюда, мы можем сесть в машину, а потом он распорядится и нас отвезут обратно в город. Я подумал: у богатых людей всегда полно причуд, может, нам удастся кое-что заработать, и согласился. Мы все трое сели в машину, и она

тронувшись, а за ней, на некотором расстоянии, следовала другая.

Мы переехали через мост Мильвио, свернули на улицу Кассиа и начали кружить по Камиллучче. Мы трое сидели сзади, а впереди расположились старик, который нас пригласил, и его приятель — помоложе, чем он, лысый и толстый, явно перед ним заискивающий. Старик вел себя по отношению к нему просто грубо и даже резко оборвал его: «Брось валять дурака», а тот в ответ лишь улыбнулся, будто ему сделали комплимент. Потом старик, продолжая вести машину и не оборачиваясь, спросил меня:

— А где ты живешь?

— В лачуге, у акведука Феличе, — ответил я.

— В лачуге? — голос у него был пренебрежительный, какого-то металлического тембра. — А девчонка эта твоя сестра?

— Нет, не сестра, мы с ней чужие: она просто поет со мной.

— Ну, а та, другая, она тоже тебе чужая?

— Это моя невеста.

— Ах, невеста... а ты почему не работаешь?

— Я работал, был маляром... теперь безработный.

Между тем машина подъехала к воротам в стене у подножия невысокого холма, на котором был разбит большой сад. Ворота, точно по волшебству, сразу же распахнулись, и старик свернул на обсаженную кипарисами аллею, ведущую к вершине холма, где виднелась большая вилла. Пока мы поднимались, я рассмотрел по обеим сторонам аллеи расположенные террасами фонтаны, в которых вода, образуя небольшие каскады, переливалась из одной чаши в другую, скамейки, беседки, мраморные статуи; потом машина остановилась на усыпанной гравием площадке у самого подъезда виллы, и из дверей, кланяясь на ходу, выскочил лакей в белой куртке. Старик и его приятель вылезли из машины; из другого автомобиля, следовавшего за нами, вышло еще трое мужчин, лет по сорок — пятьдесят. Все они тоже лебезили перед стариком, который относился к ним с полным пренебрежением; я подумал, что это, наверно, его служащие и подчиненные. Старик первым вошел в большую гостиную на первом этаже, бросив в лицо лакею свой светло-синий берет, и тот поймал его на лету. Навстречу, извиваясь, словно угорь, вышла молодая и

пышная блондинка в узеньких красных брючках. Она обняла его со словами: «Здравствуй, папа», хотя за версту было видно, что она ему вовсе не дочь, после чего папа направился в глубь комнаты, крича:

— А теперь, друзья, поскорей за работу.

Работа, как я увидел, заключалась в том, что сели играть в покер. Все пятеро расположились за маленьким столиком и, не теряя попусту времени, принялись раздавать фишки и тасовать карты; блондиночка подкатила к ним столик на колесиках, уставленный бутылками и рюмками, и, не переставая кокетничать, налила всем ликеру. Мы же, попав в эту огромную гостиную, обставленную красивой мебелью, с мраморным, сверкающим как зеркало полом, чувствовали себя неловко в своем тряпье — оно словно мешало нам двигаться, и мы так и остались стоять у дверей. Но старик, поглядев свои карты, вдруг обернулся:

— Ну, смелее, играйте, пойте... иначе какого же черта вы приехали сюда?

Я вышел вперед и заиграл на своем аккордеоне, а Клементина, широко раскрыв рот, набрала воздуха и начала петь. Звуки аккордеона гулко разносились по этой низкой комнате, а голос Клементины, еще более пронзительный и режущий слух, чем обычно, был просто душераздирающим. Однако хозяин и гости так увлеклись игрой, что нас совершенно не слушали. Кончив первую песню, я сыграл вторую, затем третью, но результат был все тот же. Джованна подошла к игрокам и дала каждому по листку, лишь один из них взглянул на свой листок и промолвил:

— Надеюсь, он принесет мне счастье.

Я заиграл мелодию четвертой песни, а затем и пятой; время от времени я останавливался, и тогда старик, не отрывая глаз от карт, орал:

— Как, ты уже кончил? Продолжай, продолжай!

Блондиночка теперь стояла за его креслом и, нагнувшись, смотрела в его карты, но он только досадливо отмахивался, словно прогоняя назойливую муку. Наконец, мне все это надоело, и я медленно свел мехи аккордеона, издавшего долгий рыдающий звук, подошел к игрокам и сказал:

— Ну, мы, пожалуй, кончили...

Старик был занят тем, что одну за другой открывал карты, и пропустил мои слова мимо ушей. Потом он

испустил радостный крик: «Четыре туза!» — и бросил карты на стол. Четверо его партнеров были явно расстроены, так как, видно, проиграли немало: Старик собрал фишки, поднялся из-за стола и обратился к блондинке:

— Продолжай за меня, я немножко подышу воздухом.

Потом он направился к двери, выходящей в сад, сделав нам знак следовать за ним. Мы вышли на площадку перед виллой.

— Так, значит, — сказал он, идя впереди по аллее, — ты живешь в лачуге?

Я попытался разжалобить его:

— Да, жить мне негде, а в лачуге такая сырость... особенно когда идет дождь...

— В самой настоящей лачуге, с мокрым земляным полом, крышей из ржавого железа и дощатыми стенами?

— Да, синьор, в самой настоящей лачуге.

Он минутку помолчал, а потом медленно произнес:

— Так вот, я отдал бы эту виллу с садом и со всем, что в ней есть, за твою лачугу, за то, чтобы ходить по улицам с аккордеоном и быть безработным.

Я улыбнулся и предложил:

— Ну, если вы так этого хотите, мы можем поменяться.

Лучше б я этого не говорил.. Он бросился на меня, как разъяренный тигр, и схватил за грудь, чуть не разорвав свитер:

— Ах, так, поменяться... хорошо... но при условии, что, кроме виллы, ты, каналья, возьмешь себе мои шестьдесят лет и в придачу еще опухоль, что у меня на шее, и все остальные прелести... Ах, каналья...

— Выражайтесь поосторожнее...

— Ты мне отдашь свои двадцать лет, и свое здоровье, и все свои надежды, а взамен возьмешь виллу и все, что в ней есть... Ну как, каналья, хочешь ты еще поменяться? Говори, хочешь поменяться?

Он тряс меня как сумасшедший и даже начал задыхаться, опухоль у него на шее билась и трепетала, совсем как мешок у пеликана, когда тот проглотит живую рыбку.

Я закричал в испуге:

— Эй, уберите руки!..

— Да, да, конечно... Ну, иди, иди,— сказал он, неожиданно успокоившись, и резко оттолкнул меня.

Я из вежливости предложил:

— Хотите, чтобы я вам сыграл еще что-нибудь?

— Нет, хватит,— ответил он с раздражением, отмахиваясь от меня.— Пьетро, отвезите всех троих туда, где мы их встретили... На, держи,— сказал он Клементине,— это на всех... потом разделите,— и сунул ей что-то в руку: как будто несколько вчетверо сложенных бумажек по десять тысяч лир.

Без лишних слов мы сели в машину. Шофер спросил нас:

— Куда везти?

Я ответил, поскольку время было уже позднее:

— На виа Кастренсе, за Порта-Маджоре.

Всю дорогу ехали молча. Конечно, все мы думали о тех десятитысячных бумажках, которые старик дал Клементине; я говорил себе, что их нужно поскорее разделить, но делать это при шофере было неудобно. Когда мы доехали до Порта-Маджоре, уже совсем стемнело; я попросил шофера, чтобы он остановился, и мы вылезли из машины. Сразу тут же на дороге я строго сказал Клементине:

— Ну, теперь давай поделим деньги... давай сюда.

А она мне в ответ нахально:

— Деньги он дал мне.

— Да, но ведь он сказал: вы их разделите между собой.

— Ничего подобного я не слыхала.

Я хотел схватить ее, но она вдруг нагнулась и сильно укусила меня — казалось, всеми своими зубами она впиалась в мою руку. Я закричал от острой боли. Клементина стремглав бросилась бежать и скрылась в темноте.

Короче говоря, я возвратился в свою лачугу злой, усталый, в очень плохом настроении. Рука у меня болела — Клементина мне прокусила ее до кости. Я закрыл дверь и зажег свечу, после чего, совершенно обессиленный, повалился на кровать, даже не сняв с плеча аккордеона. Тут я увидел Джованну, стоявшую в противоположном углу лачуги. Она молча смотрела некоторое время на меня, а потом сказала:

— Сколько там могло быть? Я думаю, самое меньшее тридцать тысяч лир.

Я чуть было не рассмеялся: будь дело только в этих тридцати тысячах лир! Ведь этот господин погубил меня: из-за его денег Клементина потеряла голову, теперь она будет от меня скрываться и мне придется заставить петь Джованну, у которой голос нежный и мелодичный, но невыразительный, не хватающий за душу. Клементина же своим голосом, звучащим так резко и фальшиво, умела сказать о многом, и этот богач дал ей кучу денег потому, что ее пение зажгло в нем желание стать снова молодым и здоровым, пусть даже вечно голодным, бездомным бродягой.



ТРЕЛЪЯЖ

рислуга ушла за покупками, жена не могла слышать звонка, потому что сидела с ребенком на террасе. Джованни пошел открывать дверь сам и неожиданно увидел перед собой двух запыхавшихся мужчин в одних рубашках: они тащили какой-то завернутый в бумагу огромный предмет, напоминавший ширму.

— Это зеркало,— сказал один из них,— куда его вам поставить?

В довольно веселом настроении, так как он хорошо выспался и, кроме того, была суббота и ему не надо было отправляться в свою контору, Джованни, насвистывая, пошел впереди несших зеркало мужчин и показал им угол в спальне, рядом с туалетом жены. Грузчики поставили зеркало на указанное место и ушли. Джованни сорвал с зеркала бумагу — оно оказалось трехстворчатое, вроде тех, что стоят в портновских мастерских, — и погляделся в него. И вот тут все его хорошее настроение сразу улетучилось, ибо он осознал то, в чем всегда отдавал себе, в сущности, отчет, но о чем с некоторого времени почти совсем позабыл: его собственное лицо не только внушало ему антипатию, но и казалось каким-то совершенно чужим, незнакомым, причем весьма неприятным; ему просто трудно было поверить, что у него могла быть столь несимпатичная физиономия.

Очевидно, подумал Джованни, поворачиваясь сперва в профиль, затем анфас, он раньше заблуждался, льстил себе, воображал себя лучше, чем он есть на самом деле. Но каким же именно он себе представлялся? Задумавшись над этим, он пришел к выводу, что все дело именно в том, что он вообще не имеет о самом себе никакого представления; просто он ни в коем случае не желал узнавать себя в этом несимпатичном изображении. Он осторожно слегка отодвинулся и вновь поглядел на себя в зеркало, словно надеясь, что при более тщательном исследовании ему удастся обнаружить в своем лице хоть что-нибудь внушающее симпатию; но он констатировал, что чем дольше он глядится в зеркало, тем сильнее в нем поднимается отвращение. Лоб у него грубый, низкий и асимметричный, форма носа неопределенная и, в общем, неудачная, в глазах не светится ум, рот кривит брезгливая гримаса, кожа на лице слишком красная и блестящая; даже столь маловыразительные части лица, как подбородок и уши, вызывали у него чувство содрогания. Неожиданно пораженный сознанием того, что он глубоко несчастен, Джованни еще три-четыре раза взглянул на свое отражение в зеркале, потом отошел от трельяжа и вышел на террасу.

Жили они на самом верхнем этаже, окруженном со всех сторон широкой террасой, с которой открывался вид на изумрудный Тибр, выющийся меж низких, утопающих в зелени берегов, на древние золотистые камни моста Мильвио и современные белые и желтые дома, выстроившиеся в ровную линию на противоположном берегу. Прищуриль глаза от резкого света — в тот чудесный весенний день солнце светило ярко, но еще не палило, — Джованни пересек террасу, казавшуюся садом благодаря расставленным вдоль парапета многочисленным ящикам и горшкам с цветами, и направился в угол, где сидела жена, читавшая книгу подле коляски с ребенком. Усевшись рядом с женой, он сказал:

— Принесли зеркало. Я снял с него бумагу.

— Трюмо, — рассеянно проговорила жена, не отрываясь от книги.

— Собственно говоря, — заметил Джованни, — трюмо — это скорее старинное зеркало на подставке или в раме. А нам привезли трехстворчатое зеркало, трельяж.

— По-моему, — сказала жена, — такое зеркало и называется трюмо.

Солнце припекало все сильнее, и жара не располагала к беседе. Однако Джованни не отставал:

— Оно не очень-то красивое. Напоминает зеркало из портновской мастерской.

— А оно оттуда и есть,— подтвердила жена.

— Я погляделся в него,— продолжал Джованни, надеясь, что жена станет его разуверять,— и, сказать по правде, совершенно себе не понравился.

Но жена, казалось, не слышала его и ничего не ответила. Джованни тоже умолк, а потом вспомнил, что вчера к ним приходила одна их родственница — старушка, которая, едва увидев ребенка, стала с пылом уверять, будто он — вылитый отец. В тот момент ее слова были ему весьма приятны, но теперь, вспоминая об этом, Джованни вдруг почувствовал чуть ли не ужас при мысли о том, что его горячо любимый первенец, быть может, действительно похож на него. Это было какое-то особое чувство страха, которое, казалось, было порождено уже не физическим сходством, а чем-то большим — чуть ли не предвидением общности судьбы. В эту минуту он услышал тихий и мелодичный плач: ребенок проснулся. Жена тотчас же встала и бросилась к коляске. Джованни тоже поднялся.

Он вновь, как всегда, восхитился той необычайной бережной нежностью, с какой жена просунула обе руки под крошечное запеленутое тельце ребенка, вынула его, а потом взяла на руки и уселась с ним на стул у парапета. Она уперлась ногой в цветочный ящик и, поддерживая ребенка левой рукой, опустила его к себе на колени. Джованни сел рядом с нею и стал пристально вглядываться в сына, который, едва мать вынула его из коляски, сразу же успокоился. Это в самом деле был замечательно красивый ребенок: его тонкие, шелковистые волосики напоминали пушок только что очищенного от скорлупы кокосового ореха, лоб у него был белый, безмятежно гладкий, глаза синие и ясные, щеки удивительно круглые и пухлые, крепко сжатый розовый ротик придавал личику на редкость серьезное выражение. Мальчик уцепился рукой за ногу и с напряженным вниманием, чуть ли не в экстазе, вглядывался в какую-то известную лишь ему одному точку в пространстве перед собой. Джованни, почти не думая, что говорит, произнес:

— Интересно, на кого из нас он будет походить, когда вырастет.

Жена уверенно ответила:

— Он будет похож на тебя.

— Надеюсь, что нет,— с живостью возразил Джованни.

— Почему же это?

— Да потому, что я внушаю себе антипатию.

Жена прогнала пчелу, с жужжанием вившуюся около ребенка, а потом добродушно сказала:

— Я тебя уверяю, что ты ни капельки не антипатичен. Напротив, все находят тебя очень привлекательным.

— Да, все, только не я сам.

Жена склонилась над ребенком, любяще и вместе с тем назидательно повторяя:

— Ма-ма... ма-ма.

Ребенок, оставив в покое ногу, властно протянул руку к лицу матери, и ему почти удалось ухватить ее за нос. Джованни прекрасно видел, что жена полностью поглощена ребенком и, ее ничуть не интересуют его терзания. Однако он продолжал:

— Я себе антипатичен так, как может быть антипатичен иностранец, то есть вообще совершенно незнакомый человек. Этим я хочу сказать, что к чувству антипатии примешивается еще ощущение какой-то отчужденности. Первой мыслью, которая пришла мне в голову, когда несколько минут назад я увидел свое отражение, было: неужели возможно, что этот человек в зеркале действительно я?

— И все же,— проговорила жена с рассеянной жестокостью,— это не только возможно, но даже наверняка так.

— Вот потому-то я и не хочу, чтобы мой сын был на меня похож.

Жена снова нагнулась и потерлась щекой о тянущуюся к ней ручонку малыша, а потом выпрямилась, встала, поглядела на мужа и рассмеялась:

— Ну, знаешь, ты просто смешон! Ты, наверно, единственный отец на свете, который не хочет, чтобы ребенок походил на него.

Джованни минутку подумал и был вынужден в глубине души признать, что жена права. Однако факт оставался фактом: он испытывал отвращение к самому себе

и искренне боялся, что сын будет на него похож. Он взволнованно произнес:

— Мне становится тошно при одной мысли о том, что завтра я, быть может, буду смотреть на своего ребенка с такой же антипатией, с какой сегодня смотрю на себя.

— Но почему? Давай поразмысли немного сам...

— Рассуждения не помогут, они тут ни при чем... Ведь речь идет об антипатии. Если уж испытываешь антипатию, значит, все!

Жена протянула руку и легонько пощекотала подбородок ребенка. Тот сразу же улыбнулся, хотя сосредоточенное выражение его личика не изменилось. Жена долго созерцала эту улыбку, ведь она сама хотела и сумела ее вызвать; она глядела на ребенка так, как смотрит на создаваемую им картину художник. Потом в припадке нежности она склонилась над сыном, покрывая его лицо поцелуями и повторяя со страстным упорством:

— А он у нас, наоборот, симпатичный, да, да, да, он очень симпатичный, да, да, да, страшно симпатичный!

Наконец дав выход своей материнской любви, она, казалось, вспомнила о муже и, стремясь поскорее от него отделаться, торопливо сказала:

— С чего ты все это взял? У тебя просто какая-то мания самоуничтожения. Почему ты решил, что антипатичен? Ну, давай посмотрим вместе, что ты собой представляешь: ты хороший адвокат, дела твоей конторы идут совсем неплохо, ты человек интеллигентный, воспитанный, серьезный, уравновешенный, умный и образованный, ты молод, красив, вдобавок из богатой семьи — что тоже совсем не лишнее, — пользуешься уважением и авторитетом у своих коллег, у тебя много друзей, ты много занимаешься спортом, у тебя хороший вкус, и тебя радует все красивое, чего же тебе еще нужно? Как же ты можешь внушать себе антипатию? Я была бы просто рада, если бы наш сын был бы точь-в-точь как ты.

Жена говорила решительно и энергично, и Джованни вдруг почувствовал, что он колеблется. А может, он и в самом деле ошибается и жена права? Но потом ему неожиданно вспомнилось прочитанное сегодня утром в газете брачное объявление, в котором некий господин описывал себя почти в тех же выражениях, какие упот-

ребляла сейчас, говоря о нем, жена; он вспомнил также, что, читая эти самовосхваления, подумал: «До чего же противен, наверно, этот тип в действительности». С едкой горечью он проговорил:

— Нарисованный тобой мой портрет очень поверхностен и условен. Если бы ты заглянула поглубже, то увидела бы, что дело обстоит не так.

Жена ответила с легким раздражением:

— Ты мне представляешься таким, потому что я тебя люблю. Сколько я ни гляжу, ничего другого не вижу; разглядывай себя сам, если тебе этого так хочется.

Джованни вновь ненадолго задумался, но ничего нового не придумал. Покачав головой, он сказал:

— Не знаю, ничего не нахожу... я чувствую, что у этой антипатии должна быть причина, но какая именно — не пойму.

Жена произнесла рассеянным, но в то же время торжествующим тоном:

— Вот видишь, ты сам себе противоречишь: думаешь, что антипатичен, и в то же время не можешь найти в себе никаких недостатков, то есть, другими словами, считаешь себя совершенством. Как же это так получается?

Джованни ответил:

— Я внушаю себе антипатию подобно тому, как ее внушают некоторые люди, которых встречаешь в поезде... Ты о них ничего не знаешь, тебе их не в чем упрекнуть, и все же они вызывают антипатию. Тот факт, что мне себя не в чем упрекнуть и ты меня находишь, как ты говоришь, совершенством, доказывает только, что мне не нравится не какая-то большая или меньшая часть меня самого, а весь я целиком. Другими словами, это мое якобы совершенство, если на него посмотреть по-другому, найдя правильную точку зрения, окажется чем-то совсем противоположным — полным несовершенством.

— Так почему же ты не посмотришь на себя с этой правильной точки зрения?

Джованни с горечью произнес:

— Потому что ее не существует или, по крайней мере, я не в силах ее найти.

Малыш снова уснул. Жена тихонько, чтоб не разбу-

дить его, поднялась со стула и осторожно уложила ребенка в коляску. Потом возвратилась на прежнее место и, прежде чем сесть, потрепала мужа по щеке и сказала:

— Просто ты недоволен собой, вот и все. Это пройдет.

Джованни покачал головой:

— Нет, это не так.

— А как?

Джованни напряг все мысли, пытаясь определить и сформулировать свои чувства. Наконец он сказал:

— Так, словно я чувствую внутри себя какой-то обман. Словно я постоянно, всегда ловко обманываю самого себя. Антипатия, которую я себе внушаю, подобна той, что испытываешь к человеку, выдающему себя перед окружающими за кого-то другого, то ли потому, что это ему выгодно, то ли по какой-то другой, во всяком случае, не слишком благовидной причине. Но я не знаю, в чем этот обман. Я его чувствую, вот и все, ощущаю его в воздухе, как запах; но сказать больше я не в силах...

Жена невозмутимо ответила:

— Я понимаю тебя. В тебе будто бы сидят два человека: один, который обманывает, и другой, который обманут. Так я — с этим вторым, именно его я и люблю.



ТЫ СПАЛА, МАМА!

Железная калитка была притворена, и, прежде чем войти, мать указала отцу на объявление, которое гласило, что продажа собак производится только по утрам — с десяти до двенадцати.

— Какая глупость! А как же быть тем, кто встает позднее? Вот как я, например?

Джироламо не стал дожидаться ответа отца и, вырвав у него свою руку, первым вошел во двор. Вот матово-белая бетонированная площадка, вот — как раз напротив калитки — низкое желтоватое здание конторы;

налево — клетки, где сидят потерявшиеся собаки, направо — клетки с бродячими псами.

— Мама,— сказал Джироламо с тревогой в голосе,— черный грифон был в клетке номер шестьдесят.

Мать ничего ему не ответила.

— Пойди поищи служителя,— обратилась она к отцу.— Это такой блондин. А мы тем временем посмотрим собак.

Отец закурил сигарету и направился в контору. Мать взяла Джироламо за руку, и они пошли к клеткам.

Во дворе царила глубокая тишина, тяжелая и насто-роженная: легкий звериный запах, стоявший в воздухе, вселял в каждого чувство тревожного ожидания. Но стоило Джироламо с матерью приблизиться к первой клетке, как залаяла одна собака, за ней другая, потом третья и наконец,— все сразу. Джироламо заметил, что лай был неодинаков, как неодинаковы были и сами собаки: одни пронзительно визжали, другие выли глубокими низкими голосами. Однако ему показалось, что нестройный хор этих голосов объединяла одна общая нота: в нем ясно слышалась мучительная и совершенно сознательная мольба о помощи. Джироламо подумал, что эта мольба обращена к нему, и ему захотелось поскорее забрать свою собаку и уйти. И он снова повторил, потянув мать за руку:

— Мама, грифон в клетке номер шестьдесят.

— Во клетка номер шестьдесят,— сказала мать.

Джироламо подошел и заглянул внутрь. Пять дней назад в этой клетке сидел маленький, живой и нервный пес, черный, косматый, с угольными глазками и сверкающими, белоснежными зубами. Как только Джироламо подошел к решетке, пес бросился ему навстречу, просовывая лапу сквозь прутья. Они с матерью решили тогда его взять, но их попросили прийти на следующий день утром, так как продажа собак производилась только в утренние часы. Сейчас эта клетка казалась пустой, и, лишь приглядевшись, Джироламо увидел в глубине ее свернувшегося колечком коричневого щенка. Щенок смотрел на него грустными, потухшими глазами и время от времени вздрагивал, как в ознобе. В голосе Джироламо прозвучало отчаяние:

— Мама, грифона уже нет.

— Значит, его перевели в другую клетку,— уклончи-

во ответила мать.— Или его забрал хозяин. Сейчас мы спросим у служителя.

В этот момент подошел отец:

— Служитель сейчас придет.

— Пойдем пока посмотрим собак.

И не слушая Джироламо, который хотел подождать служителя у клетки, мать и отец пошли по двору, разглядывая собак. Издалека, как будто сквозь туман неясного горького предчувствия, до Джироламо донеслись слова матери:

— В тот раз здесь была пара породистых собак. Боксер и гончая. Правда, странно, что сюда попадают и такие.

— Что ж такого,— ответил отец,— ведь и породистых можно потерять. Или попросту бросить. Многие были бы не прочь таким же образом избавиться от людей, ставших им в тягость, но им приходится отводить душу на собаках.

Собаки продолжали отчаянно лаять. Джироламо вслушивался, пытаясь уловить в этом хоре голос своего грифона.

— Ты знаешь,— тихо сказал отец матери,— мне кажется, что дворняжки воют жалобнее, чем породистые.

— Почему?

— Они понимают, что у нечистокровных меньше шансов спастись

Мать пожала плечами.

— Но ведь собаки не знают, что такое порода. Это только люди понимают.

— Ну нет, они все понимают! Ведь они видят, что с ними обращаются хуже, а тот, с кем плохо обращаются, всегда сначала думает, что в этом виноваты другие, и лишь со временем начинает понимать, что во всем виноват только он сам. Разумеется, родиться ублюдком — в этом еще нет никакой вины, но вина появляется в тот момент, когда с тобой начинают обращаться иначе, чем с другими.

— Ну, это твои вечные тонкости!

Они остановились перед клеткой. В ней сидел рыжий с белыми пятнами пес, совсем еще щенок, смешной и некрасивый, с большими лапами, огромной головой и маленьким туловищем. Он тут же бросился на прутья и, стоя на задних лапах, жалобно и выразительно заску-

лил, пытаясь лизнуть руку Джироламо и одновременно сунуть ему в ладонь свою лапу. Мать прочитала вслух табличку на его клетке:

— Помесь. Пойман на улице Сетте-Къезе. — Потом, повернувшись к отцу, сказала: — Вот один из этих бедняжек. Но какой уродец! И где эта улица Сетте-Къезе?

— Недалеко от улицы Христофора Колумба.

Щенок выл и лаял и все пытался сунуть лапу в ладонь Джироламо, как будто хотел заключить с ним дружеский союз. В конце концов Джироламо пожал ему лапу, и пес, казалось, немного успокоился. Мать спросила:

— Говорят, дворняжки умнее породистых, это правда?

— Не думаю, но этот слух, конечно, распустили породистые собаки, — шутя заметил отец.

— Почему?

— Чтобы обесценить ум по сравнению с другими качествами, такими, как красота, чутье, смелость.

Они остановились перед клеткой, в которой еле умещалась огромная старая худая овчарка с редкой пожелтевшей шерстью и злыми красными глазами. Стоило Джироламо приблизиться к клетке, как собака, ворча и скаля острые белые зубы, бросилась вперед. Этот внезапный взрыв ярости сделал ее как будто моложе и красивее. Джироламо в испуге отскочил назад. Но в то же время, сравнивая это упрямое рычание с осмысленным жалобным воем маленькой дворняжки с улицы Сетте-Къезе, он почувствовал, что овчарку ему жаль больше: ведь она даже не понимала, что с ней случилось!

— Какая злая! — сказала мать. — А она не бешеная?

— Ну, если бы она была бешеная, ее бы здесь не было. Просто ей не нравится, что ее заперли, вот и все.

Джироламо пристально смотрел на овчарку. Ему казалось, что, отвлекаясь, он забывает о странной тяжести, лежавшей у него на сердце. Потом он понял ее причину: его мучила мысль о грифоне, которого они пока так и не нашли. И неожиданно он спросил:

— Мама, а грифон?

— Придет служитель, и мы все узнаем.

Теперь они стояли перед клеткой, где помещался маленький охотничий пес, тоже не чистокровный. Он ле-

жал на боку, тяжело дыша и вздрагивая всем телом. У Джироламо упало сердце.

— Что с ним? — спросил он. — Он болен?

Мать, подумав, ответила:

— Нет, он не болен, он просто подавлен.

— Почему?

— А тебе было бы легко, если б ты потерялся и тебя увезли далеко от дому?

— Но хозяин придет за ним?

— Конечно, придет.

— А вот и служитель! — воскликнул отец.

Это был блондин с коротко подстриженными волосами, острым носом и яркими синими глазами. Он шел вразвалку и поздоровался с ними, не дойдя нескольких шагов.

— Мы пришли за маленьким черным грифоном, помните? — сказала мать.

— Каким грифоном?

— Из клетки номер шестьдесят, — подсказал Джироламо, выступая вперед.

— Вы видели его в шестидесятой? — спросил блондин тягучим голосом, с заметным диалектальным акцентом. — Но ведь его там уже нет.

— Вот видишь, мама! — воскликнул Джироламо.

Мать сделала ему знак помолчать и снова обратилась к служителю.

— Мы пришли, чтобы взять его.

— Да, но, так как прошли положенные три дня и сверх того еще два дня, мы... — Блондин, видимо, подыскивал слова, чтобы как-то смягчить ответ, но потом решил сказать правду: — Мы отправили его в газовую камеру.

— Но мы же сказали, что придем за ним!

— Да, синьора, вы это сказали, а сами столько дней не показывались! А у нас порядок строгий.

— Сколько же вы их уничтожаете за неделю? — прервал отец, подходя и предлагая блондину сигарету.

Тот поблагодарил, взял и, сунув ее за ухо, ответил:

— Ну, штук десять, пятнадцать.

Джироламо не понял и спросил с глубокой тревогой:

— А что такое газовая камера?

Мать поколебалась, но потом ответила сухо и назидательно:

— Так как бродячие собаки разносят ужасную бо-

лезнь — бешенство, их убивают. Помещают в газовую камеру, и там они умирают без всяких мучений.

— И черный грифон умер?

— Боюсь, что да, — ответил отец, положив ему руку на плечо.

Они направились к выходу. Мать сказала Джироламо:

— Сегодня здесь нет ни одной собаки, которую мне хотелось бы купить. Но на днях мы приедем сюда снова и тогда выберем, хорошо?

Джироламо ничего не ответил. Он думал о дворняжке, которая совала ему в руку свою лапу. Но теперь-то он понимал, что ему никого не удастся спасти: ни ее, ни какую-нибудь другую собаку. Он чувствовал, что весь мир охвачен непреодолимым беспорядком и непостижимой эгоистической беззаботностью. Они перешли улицу и подошли к машине.

— Из-за ваших собак я потерял все утро, — сказал отец, открывая дверцу. — Теперь я должен мчаться на службу.

— Я так и знал, что нужно было пойти позавчера, — неожиданно сказал Джироламо. — Я ведь говорил, мама! Я вчера приходил к тебе в комнату и позавчера и говорил, что надо пойти.

Тон сына, казалось, удивил мать, и она строго ответила:

— Да, ты приходил, но тогда я идти не могла, потому что устала и хотела отдохнуть.

— Почему, мама, почему ты тогда не пошла?

— Я тебе уже ответила. Потому что спала.

— Да, ты спала, мама, ты спала! — И Джироламо внезапно зарыдал так громко, что отец, который уже собирался включить скорость, заглушил мотор и сказал:

— Ну-ну, не плачь. На следующей неледе мать подыщет тебе другого щенка.

Но Джироламо все твердил и твердил громким голосом, который удивлял его самого:

— Ты спала, мама, ты спала, ты спала!

Заводя мотор, отец повторил:

— Ну-ну, не плачь! Мужчины не плачут!

А мать заметила:

— Ребенок определенно нездоров. Он стал слишком нервным. — И машина умчалась.



НУ КАК, ТЕБЕ ЛЕГЧЕ?

же целый час он сидел в потемках возле столика, на котором стоял телефон. Сперва он ожидал спокойно, удобно развалившись в кресле; ярко горела лампа, и он перелистывал какой-то журнал. Потом он заметил, что ждать при свете еще тревожнее: вид мебели, от которой, как ему казалось, исходило тягостное беспокойство, разочарование и ярость, словно усиливал владевшую им тоску. Но больше всего ему не хотелось видеть телефонный аппарат — этот черный безмолвный аппарат, который упорно не давал ему услышать любимый голос. В конце концов он погасил свет и с удивлением обнаружил, что темнота принесла огромное облётчение, как будто кресла, столики, буфет, диван и вправду ожидали вместе с ним, а теперь, заставив их погрузиться во мрак, он в какой-то степени умерил терзавшую его тревогу. Это открытие его рассердило: ведь что ни говори, мебель — всего лишь мебель, и нелепо приписывать ей свои чувства! Эта мысль несколько отвлекла его, и он убил таким образом еще полчаса. Затем послышался звонок в дверь. Джакомо вспомнил о докучливом визите, от которого у него не хватило мужества избавиться, встал, ошупью прошел в переднюю и отпер дверь.

— Как? Ты сидишь в потемках? — спросила Эльвира, входя.

— Прости, пожалуйста. Я погасил свет, чтобы немного отдохнуть.

Он увидел, что гостя направляется к дивану, и поспешно остановил ее.

— Видишь ли, лучше нам сесть здесь, — проговорил он, указывая на стул, стоявший около столика с телефоном.

Она бросила взгляд на аппарат и спросила:

— Хочешь остаться возле телефона? Ждешь звонка? — И без всякого перехода прибавила: — Так вот, у меня новости, много новостей.

— Каких?

— К сожалению, малоприятных.

Эльвира села, поставила на колени огромную сумку

и принялась рыться в ней, засунув туда до локтя свою худую руку. Джакомо заметил, что ее полудетское личико с огромными глазами осунулось, даже толстый слой румян не мог скрыть бледность. Лицо молодой женщины едва выглядывало из-под низко опущенных полей конусообразной шляпы, а хрупкая фигурка буквально утопала в складках слишком широкого дождевого плаща. Покорившись участи наперсника, ставшей для него уже привычной, Джакомо спросил:

— Почему малоприятных?

Эльвира высморкалась, а потом ответила таким тоном, как будто продолжала прерванный на середине рассказ:

— Давай по порядку. Вчера утром, расставшись с тобой, я твердо намеревалась последовать твоим советам: вести себя благоразумно и ждать, когда он сам вспомнит обо мне. Но едва я вошла в свою квартиру, такую печальную, я поняла, что это сильнее меня.

— Почему печальную? — внезапно и как бы против воли спросил Джакомо.

— Потому что его там больше нет и, однако, все напоминает о нем; его вещи — пиджаки, книги, трубки — вызывают во мне такую печаль...

Джакомо заерзал на месте, кинул взгляд на телефон и только после этого сказал:

— Это ты печальна, а не квартира, не трубки, не пиджаки, и не книги. Квартира — это помещение такого-то размера, с таким-то числом комнат, расположенных так-то и так-то; пиджаки — шерстяные либо из другой материи, различного цвета и покроя; трубки либо из дерева, либо из глины; книги имеют тот или иной формат и обложку. Что ж во всем этом может быть печального?

— А то, что его там больше нет.

— Но ведь это ты испытываешь грусть, а не пиджаки, не трубки и не книги. Всем этим предметам и дела нет до твоей грусти, как, впрочем, и тебе нет дела до них. Между тобой и ими нет никакой связи; вернее, есть только связь между владельцем и его вещью, но она мало чего стоит. Ты лучше поймешь мои слова, если вместо трубки или пиджака в комнате будет находиться собака, или кошка, или даже ребенок, то есть живое существо, которое ты, однако, не сможешь заразить своей печалью, как не можешь заразить ею,

к примеру, меня. И тогда ты сама убедишься, до какой степени нелепы твои слова.

Эльвира с удивлением посмотрела на него и быстро сказала:

— Ну, как тебе угодно. Так или иначе, но это было сильнее меня, и я решила немедленно отыскать его, повидаться с ним. Села в машину и отправилась в Остию. Надо сказать, что день был необыкновенно мрачный и...

— Почему мрачный?

На ее лице снова отразилось изумление. И все же она сочла нужным пояснить:

— Шел проливной дождь, по небу ползли низкие темные тучи, дул ветер — словом, все было мрачно.

— Постой,— прервал ее Джакомо.— Скажем лучше, что день был ненастный, ветреный, дождливый, что небо было затянуто тучами и видимость была плохая. Однако ничего мрачного в нем не было.

— Пусть будет по-твоему,— со вздохом проговорила молодая женщина,— день, если тебе угодно, был ненастный. Когда я приехала в Остию, косые струи дождя били прямо в ветровое стекло машины, так что я почти ничего не видела. Ты представляешь себе Остию в это время года? Заброшенные купальни с пустыми и заколоченными кабинами тянутся вдоль хмурого серого пляжа на фоне сумрачного моря. Унылые набережные, покрытые черным, ровным, мокрым асфальтом, где не видно ни единой души. Наводящие тоску аллеи: голые деревья, а возле них кучи опавших листьев, желтых и красных, глянцевого от дождя. А теперь представь себе посреди всего этого уныния меня, женщину, приехавшую искать человека, который ее не любит, и картина будет полная.

В эту минуту зазвонил телефон. Джакомо поднес трубку к уху и услышал грубый голос с интонациями провинциала: «Это молочная?» Он положил трубку на рычаг, а потом сказал:

— Неверная картина! Ты, опять не права. Остия — ни печальна, ни весела. Она такая, какой ей и надлежит быть: это курортный городок, где зимою остается мало народу. Что же касается купален, то они не заброшены, а только закрыты до весны, набережные не унылые, а всего лишь безлюдные, осыпавшиеся листья отнюдь не наводят тоску, просто они сперва высохли, а потом были омыты дождем. С другой стороны, все это — и

самый городок, и купальни, и покрытые асфальтом набережные, и листья — живет своей жизнью, подчиняется своим законам, о которых ты понятия не имеешь и до которых тебе совершенно нет дела.

Эльвира наконец вспылила:

— Но могу я узнать, что с тобой сегодня? Почему ты меня всё время прерываешь?

— Потому что хочу утешить, — ответил Джакомо. — Согласись, ведь если ты скажешь, что купальни не заброшены, а всего лишь закрыты до весны, то тебе станет немного легче, не так ли?

— Я не нуждаюсь в утешении, а хочу только, чтобы ты меня выслушал. Так вот, я принялась искать его дом и в конце концов обнаружила в отдаленной части набережной мерзкий домишко.

— Почему мерзкий?

— Уф! Ну ладно, скажем, старый дом, который не ремонтировался по крайней мере лет сорок.

— Молодчина! Так и скажем.

— Так вот, поднимаюсь я, значит, по лестнице и стучусь в дверь к какой-то синьоре Цампикелли. Мне открывает старушка в очках, сухонькая и опрятная, и я с замираньем сердца спрашиваю, дома ли он. Она говорит, что его нет. Тогда я называю себя его сестрой и прошу разрешения подождать у него в комнате. Она ведет меня туда, и я с небрежным видом спрашиваю, бывает ли у него кто-нибудь. Старушка отвечает, что она никого не видала, но, по правде говоря, ее почти никогда нет дома, потому что у нее небольшая галантейная торговля. Потом она уходит, а я оглядываюсь по сторонам. Представь себе голую, совершенно голую комнату...

Телефон коротко зазвонил; Джакомо протянул руку. Но тщетно — второго звонка не последовало.

— Видимо, ошибка, — сочувственно заметила Эльвира.

Он с раздражением сказал:

— Стало быть, без кальсон, без рубашки, без башмаков?

— Что за вздор ты несешь?

— Ты же сама сказала, что комната была голая, то есть неодетая, то есть без башмаков, без рубашки, без кальсон.

— Ладно, скажем, что в ней была лишь самая необходимая мебель: кровать, стол, комод.— Эльвира умолкла, но тут же вспыхнула: — Он сказал, что хочет пожить один, без меня, собраться с мыслями, все обдумать и решить. Но я убеждена, что он поехал в Остию для того, чтобы встретиться там с какой-то женщиной. И вот изволь, полюбуйся.

Она порылась в сумке и вытащила оттуда маленький белый сверток, который осторожно положила на стол.

— Что это?

— Отвратительный женский гребень.

Джакомо взял сверток и развернул его: там и в самом деле лежал очень светлый, с виду черепаховый, гребень; должно быть, он принадлежал блондинке.

— Почему отвратительный?

— Потому что его забыла какая-то девка.

— Я вижу всего лишь светлый гребень,— возразил Джакомо,— с виду черепаховый; без сомнения, его употребляли, и он малость потускнел, вот и все.

— Но ты-то что об этом думаешь? Тоже считаешь, что его потеряла какая-то женщина, с которой он проводит время в Остии?

— Где ты его нашла?

— Под кроватью.

— Возможно,— медленно начал Джакомо,— что гребень принадлежит даме, которая прежде жила в этой комнате. Ты ведь знаешь, меблированные комнаты убирают кое-как.

Наступило молчание. Через минуту Эльвира опять заговорила:

— Хочу надеяться, что ты прав. Но можешь мне поверить, в ту минуту мне показалось, будто я умираю. Помню только, что я вскочила с постели, на которой сидела, подошла к окну и словно в бреду посмотрела на море. Выглянуло солнце, и под его лучами море заулыбалось, а я, сравнивая это улыбающееся море с чувством, которое...

— Море не улыбается,— внезапно прервал ее Джакомо.

— Ах, вот как! Даже так нельзя выразиться? А почему?

— Потому что у моря нет рта. Улыбаться может только рот, да и то еще не всякий, а лишь челове-

ский. Море способно на многое, однако улыбаться оно не может.

Вновь зазвонил телефон, на этот раз резко и протяжно. Джакомо снял трубку и поднес ее к уху. Хорошо знакомый ему голос горничной кратко сообщил, что барышни нет в Риме, она уехала на прогулку и потому не позвонила; возвратится она лишь завтра. Джакомо растерянно повторил:

— Но куда она отправилась? Погодите, почему?

В ответ он услышал лишь короткое щелканье — телефон отключился; Джакомо медленно опустил трубку на рычаг и сидел не двигаясь, уставившись на аппарат. Наконец он почувствовал что-то необычное в глубоком молчании, наступившем в комнате после его недоуменных вопросов. Джакомо медленно поднял глаза и увидел, что Эльвира вперила в него взгляд, полный нескрываемой и мстительной иронии.

— Я знаю, о чем ты думаешь,— быстро сказала она.

— О чем?

— Ты думаешь о телефоне и проклинаешь его, и он представляется тебе зловещим и коварным предметом, который сообщает одни только дурные вести. А между тем, — ее голос стал пронзительным и резким, — точно так же, как море не улыбается, потому что у него нет рта, так и телефон совсем не зловещий и не коварный, это всего лишь небольшая аппарат черного цвета, устроенный так-то и так-то, у него есть диск, на который нанесены номера, есть провода и прочее. Ну как, тебе легче?

ПРИКАЗЫВАЙ: Я ПОДЧИНЯЮСЬ



Когда меня уволили по сокращению штатов и я потерял место курьера в банке, в первый момент я совсем растерялся. Я привык повиноваться: звонки начальства, красные и зеленые сигналы на световом табло, требования посетителей, разные распоряжения и поручения — я откликался на все. И вдруг все это кончилось: я сижу на диване, закинув ногу на ногу, скрестив руки, уставившись в пустоту. Но только

поймите меня правильно. Мне нечего больше делать не потому, что я стал безработным, а потому, что теперь я ни от кого не получаю приказов. Быть может, некоторые и не увидят между этим разницы, но разница есть, и притом весьма существенная. Во всяком случае, для меня.

Сейчас объясню. Несколько дней я тщетно искал работу. И вот как-то утром, когда я еще лежал в постели и пытался уверить себя, что сплю, я подскочил от голоса жены. В голосе ее звучало раздражение:

— Интересно знать, почему ты так долго валяешься? И тебе не стыдно? Хотя постарался бы помочь. Ну-ка, встань и умойся и, пока я одеваюсь, приготовь завтрак.

Слова, казалось бы, самые обыкновенные, но на меня они возымели совершенно особое действие. Сжавшись в комок под одеялом, я лежал и думал: «Встань, оденься, приготовь завтрак... Да ведь это же приказания, самые настоящие приказания, не менее категоричные и четкие, чем те, что я получал в банке. Это приказания!» И в ту же минуту я почувствовал, как мой мозг, получив приказание, передал команду ногам: резко откинув одеяло, я вскочил и пошел в ванную — открыл дверь, повернул кран душа... начал выполнять приказ.

Несколько позже, хлопоча по хозяйству, я обнаружил, что эти столь простые приказания влекут за собой множество других — как бы это выразиться — второстепенных и третьестепенных команд. Вот, например, самая простая фраза: приготовь завтрак. Она значит: 1) пойди на кухню, 2) зажги газ, 3) поставь кофейник, предварительно насыпь в него кофе и налей воды, 4) нарежь хлеба, 5) заложь ломтики хлеба в тостер, 6) приготовь поднос с чашкой, сахарницей и блюдечком для масла, 7) поставь на поднос кофейник и поджаренный хлеб, 8) отнеси поднос в спальню жены. Как видите, это целый ряд действий, и, если бы я точно не зафиксировал приказания, отданного женой, мне было бы довольно трудно их выполнить. В то же время эти второстепенные команды, в свою очередь, влекут за собой, как я уже говорил, другие — третьестепенные. К примеру, «положить масло на блюдечко» означает вынуть масло из холодильника, развернуть, отрезать от него несколько ломтиков, положить их на блюдце — и так далее и тому подобное. Что я хочу этим сказать? А то, что я почувствовал, как мало-помалу возвращаюсь к жизни, то есть

постепенно начинаю вновь функционировать после многих дней бездействия, последовавшего за моим увольнением из банка. Там ведь у меня были определенные функции. И вот теперь я опять действую, извините за повтор, вновь функционирую.

Жена у меня машинистка-стенографистка, и она каждый день ходит на работу в свое учреждение. В то утро она не дала мне других распоряжений, а только крикнула, убегая:

— Прошу тебя, если мне будут звонить, запиши, кто звонил.

Это было как раз то, что требовалось: я сел в гостиной на диван и стал ждать. Чего я ждал? Я ждал телефонных звонков, о которых говорила жена. Благодаря этим звонкам из двух часов полного бездействия я все-таки двадцать, сорок, может, шестьдесят секунд жил настоящей жизнью, то есть функционировал, а это, по моему, уже не так мало. Если бы телефонных звонков, было больше, мое существование вообще стало бы более размеренным и устойчивым. Поразмышляв об этом, я поднял глаза и увидел прямо перед собой в оконной нише на маленьком столике пишущую машинку: на ней жена прирабатывала по вечерам. Глядя на клавиатуру, буквально задыхающуюся от обилия слов и, однако, сейчас такую немую и неподвижную, я вдруг ощутил некое сродство с машинкой, ведь и я так же бездеятелен, как она, когда жены нет дома, и так же оживаю, когда приходит жена. Мы с машинкой, подумал я, как брат и сестра, причем у нее, пожалуй, даже больше человеческого, чем у меня: у нее, к примеру, есть голос, резкий и отчетливый, тогда как я почти все время молчу.

Во всяком случае, в тот день дело не ограничилось телефонными звонками: я обнаружил, что можно получить команду в любой момент — достаточно быть только внимательным. Раздается звонок у входной двери: это команда встать, пойти открыть, спросить, кто там. Внизу, во дворе ссорятся и кричат две женщины: это команда высунуться в окно и посмотреть, что случилось. В кухне из крана капает вода: это команда отправиться в кухню и потуже завернуть кран. И так далее.

За неимением лучшего я, разумеется, довольствовался этим, превращая необходимость во благо. Человек не может существовать, выполняя одну-единственную функ-

цию, — скажем, закручивая до конца кран, ему необходимо нечто более важное или, вернее, более систематическое, ну хотя бы закручивать сто кранов, по крану через каждые десять минут. Однако и то, что я делал, было уже кое-что — все же лучше, чем участь пишущей машинки: она стояла немая и неподвижная, обреченная пребывать в таком состоянии до тех пор, пока жена не вернется.

А жена словно догадалась, что теперь заняла в моей жизни место директора банка, и с того дня приказания посыпались одно за другим — четкие и непрерывные: подмети пол, вымой тарелки, погладь рубашки, сходи на рынок, сготовь обед, прибери в квартире. «Ты ни на что не годен, ты хронический безработный, дармоед и тунеядец, хоть был бы от тебя какой-нибудь прок...» — и так далее и так далее. Она уволила приходящую прислугу; засыпая меня приказаниями, она словно мстила мне за неспособность найти работу и приносить домой деньги. И не замечала, что наоборот, только доставляет мне этим удовольствие.

Да что я говорю — удовольствие. Она давала мне возможность выполнять определенные функции, то есть существовать. Утром я фиксировал все распоряжения, которые она мне оставляла, прежде чем уйти на работу, а потом целый день их выполнял, механически, но тщательно. В редкие свободные минуты я думал о том, что жизнедеятельность моего организма с каждым днем все больше зависит от жены: она, только она одна может заставить меня приводить в движение ноги, руки, пальцы... И при этой мысли я испытывал к ней чувство глубокой любви, смешанной с благодарностью и доверием.

Так мы прожили, наверно, с год. Потом по многим признакам я заметил, что наши отношения, столь превосходные и целенаправленные, стали ухудшаться. Если прежде это были отношения (повторяю уже сделанное сравнение) между машинисткой и пишущей машинкой, то теперь с каждым днем они все больше превращались в отношения между этой машинкой и сборщиком железного лома. Жена, наверно, поняла, что, заваливая меня распоряжениями, она меня не наказывает, а, наоборот, помогает мне жить, а возможно, просто нашла кого-то, кто фиксировал и выполнял ее приказания лучше меня. Дело в том, что она стала забывать по утрам, уходя на службу, завести меня, то есть дать мне задания на день.

И поэтому все чаще мне случалось сидеть, застыв на диване в гостиной, закинув ногу на ногу, скрестив руки и уставившись в пустоту, — ни дать ни взять механическая кукла, у которой в спине ключ для завода, а в груди пружинка. Жену мою, казалось, охватила какая-то лихорадочная и презрительная торопливость: не проронив ни слова, она одевалась, приготавливала себе кофе и убежала, даже не сказав мне «до свиданья». Она не бывала дома целыми днями, иногда даже не ночевала. Телефонные звонки между тем прекратились, никто не звонил и у двери; поскольку жена не оставляла мне распоряжений, уборки я не делал, а что касается еды, то, подчиняясь редким и вялым импульсам желудка — единственной команде, которую я теперь получал, — я обходился консервами.

Квартира наша с каждым днем становилась все тоскливее и запущеннее: тусклые полы, кое-как расставленная мебель, в кухне — грязные тарелки и стаканы, в углах — скомканная бумага, на стульях — разбросанная одежда, незастланные постели. Жена, надо думать, все видела, но ее это, по-моему, не раздражало: быть может, посредством этого ужасного беспорядка она хотела внушить мне какой-то приказ, однако мне не удавалось его расшифровать. По воскресеньям она час-другой оставалась дома и тогда на скорую руку убирала и кое-как приводила в порядок нашу двухкомнатную квартиру.

Проснувшись однажды утром, я увидел, что жена, уже одетая, молча складывает вещи в стоящий на постели чемодан. Я долго смотрел, как она ходит от шкафа к чемодану, пока в конце концов не почувствовал, что эти ее сборы действуют на меня как приказ, мучительный, тягостный приказ, повелевающий задать ей вопрос, узнать в чем дело. Что-то внутри меня сработало, язык шевельнулся, и губы мои произнесли:

— Что ты делаешь?

Она обернулась, поглядела на меня, потом села на постель и сказала:

— Туллио, нам пора расстаться. Я всячески пыталась дать тебе это понять, но ты делал вид, что ничего не замечаешь, и поэтому я вынуждена теперь это сказать. Наша супружеская жизнь кончена. Я встретила человека, который меня любит, и я его люблю. Вот уже два месяца, как я с ним живу, я не могу здесь больше оставаться. Ты, наверно, не замечал, но в этом доме почти

ничего нет моего, кроме этих жалких тряпок и пишушей машинки. Теперь будь, как всегда, милым и услужливым. Человек, к которому я уйду, ждет меня на улице. Прощу тебя, возьми машинку, снеси ее вниз и положи в его автомобиль. Вот и все, что мне от тебя нужно.

Я почувствовал нестерпимую боль, именно боль, и подумал, что такая сильная боль не может не родить импульса, приказа. Я сказал:

— Но я без тебя жить не могу.

Это была правда: без ее приказаний я не мог существовать. Она же истолковала мои слова по-своему:

— А вот я, к сожалению, прекрасно могу обойтись без тебя. Это верно, ты стараешься быть полезным. Но в супружеской жизни этого мало, нужно стать необходимыми друг другу. Ты же не нужен мне. Я могу заменить тебя пылесосом, электрической стиральной машиной, автоматическим телефонным секретарем...

Я проговорил, по-прежнему подчиняясь приказанию, рожденному болью:

— Но я тебе не позволю уйти.

Она решительно ответила:

— Перестань валять дурака. Одейся, возьми пишушую машинку, стащи ее вниз и положи в автомобиль. Чемодан я снесу сама.

Впервые с тех пор, как мы жили вместе, я оказался перед лицом двух приказаний, некоторым образом противоречивших друг другу: с одной стороны, досада и боль повелевали мне помешать жене уйти, с другой — она велела снести вниз пишущую машинку. Одеваясь, как приказала жена, я обдумывал, что же мне делать. Она расхаживала по квартире, наконец захлопнула чемодан и, подойдя к зеркалу, повернулась ко мне спиной. Здесь сработал сигнал. Я набросился на нее и с криком: «Ты не можешь оставить меня!» — схватил ее за горло. Все произошло очень легко и просто, совершенно автоматически. Почувствовав, что тело ее обмякло и она вдруг осела, так что я чуть было не потерял равновесия, я подтащил ее к постели и положил на спину.

Теперь надо было побыстрее выполнить второй приказ. Я положил пишущую машинку в футляр, вышел из квартиры, спустился на лифте. Автомобиль действительно стоял у подъезда, но ветровое стекло отсвечивало, и мне не удалось разглядеть, кто сидел за рулем. Я обо-

шел автомобиль, открыл багажник и поставил в него пишущую машинку. Потом вернулся домой, сел на диван в гостиной, закинул ногу на ногу, скрестил руки — и уставился в пустоту, ожидая приказаний.



ЭНРИКА БАИЛЕ

Сегодня я получил следующее письмо:

«Это письмо из Венесуэлы, оно написано знаменитым Бранго и должно обойти вокруг света. Сними с него 24 копии и разошли их. Если ты это сделаешь, через девять дней тебя ждет приятная неожиданность. Даже если ты не суеверен, то имей в виду нижеследующее. Валериано Банга, южноамериканский генерал, получил премию в 5 000 000 долларов, Энрика Баиле из Верчелли (Колумбия) получила послание по цепи и выбросила его, дом ее постигло несчастье, она потеряла близких людей и впала в нищету. В 1940 году Вальтер Бероке, генерал венесуэльской армии, велел своему секретарю снять копии и незамедлительно был за это вознагражден, заняв блестящее положение. Один служащий, получив копии, забыл их отправить — и лишился места; тогда он решил вновь их написать — и через несколько дней его положение весьма улучшилось. Один житель Суллы получил цепь и выбросил ее, через девять дней он погиб в результате несчастного случая. Не прерывайте цепь».

Я прочел письмо и погрузился в глубокое раздумье. Сколько чарующих тайн в этих нескольких строчках! Я по натуре человек, склонный к мечтательности; этого письма было вполне достаточно, чтобы заставить меня грезить наяву. Прежде всего некоторые загадочные совпадения: все названные в письме лица, удачники и неудачники, жили в Латинской Америке и все носили фамилии, начинавшиеся на «Б»: Бранго, Банга, Баиле, Бероке. Затем — волнующая неопределенность в деталях: знаменитый (но чем знаменитый?) Бранго; какой-то город Сулла (наверно, названный по имени римского диктатора); 5 миллионов долларов премии (но какой премии? за что?); какой-то служащий (но где он служит?),

его место (но какое?); несчастный случай (но какой именно?).

Однако больше всего занимал мое воображение один персонаж, упомянутый лишь мельком, но столь живо мне представлявшийся. Это — Энрика Баиле. Прекрасная, гордая, смелая, она не пожелала рассылать копий письма, ее постигло из-за этого несчастье (но какое именно?); она потеряла близких (но кого?); впала в бедность. Что же с ней случилось? Что она делает? Где живет?

Из задумчивости меня вывел голос жены. Она вошла в мой кабинет, крича:

— Вот он где, курит и мечтает, когда ему давно уже пора на работу. Что ты делаешь, почему не идешь в редакцию? Ты знаешь, что уже четыре часа?

Я рассудительно ответил:

— Мне нужно было взять интервью у какой-нибудь находящейся проездом в Риме знаменитости. Однако сегодня в Рим ни одна знаменитость не приезжала. Следовательно, я свободен.

— У меня идея: почему бы тебе не взять интервью у генерала Банги?

Я подскочил от изумления:

— А ты откуда знаешь?

— Как это откуда? Вокруг этого генерала подняли такую шумиху, а ты даже ничего не слыхал. Сидишь тут и мечтаешь.

— Что за шумиха?

— Да о нем все газеты пишут. Знаешь что? Ты становишься слишком рассеян. Вот погляди.

Она протянула мне газету; и в самом деле, на первой странице был большой заголовок на три колонки: «Демонстрации против генерала Банги. Генерал, осажденный в своей гостинице, заявляет, что пробудет в столице три дня».

— Ну, вставай! — добавила жена. — Наберись смелости и иди возьми интервью у генерала.

— Но, судя по всему, это какой-то кровавый тиран, повинный в смерти тысяч людей. Да, кроме того, и жулик, каких мало.

— А тебе-то что? Ты журналист или нет? Разве генерал Банга не годится, чтобы о нем что-нибудь написать в газете?

Короче, я дал себя уговорить. Жена, выдав себя за мою секретаршу, позвонила в гостиницу, и, к моему

изумлению, согласие дать интервью последовало незамедлительно. Банга ожидал меня через час в номере 415-м в своей гостинице.

Жена не скупилась на советы:

— Воспользуйся случаем, возьми такое интервью, чтобы оно наделало бы шума, заставь его выложить, сколько людей он отправил на тот свет, сколько прикарманил миллиардов, заставь его, что называется, расколоться — чуточку лести, парочку комплиментов... И не обращай внимания на своих коллег, которые строят из себя моралистов, а также и на тех кретинов, которые устраивают демонстрации. Это все из зависти. Среди них не найдешь ни одного, кто не согласился бы убить и украсть вдвое больше, чем этот генерал, лишь бы заиметь его денежки. Говорят, он миллиардер, да у него не один миллиард, а сотни. Его счастье. А теперь надень новый синий костюм, черные ботинки, белую сорочку, темный галстук — это же, черт возьми, все-таки генерал. И не забудь его все время называть «ваше превосходительство», понял или нет?

И вот в синем костюме, с неначатым блокнотом и новой шариковой ручкой в кармане я отправился в гостиницу. Перед входом чернела толпа. Вид у демонстрантов был угрожающий, их еле сдерживала цепочка полицейских в форме. Над головами у них качались плакаты с надписями: «Банга, вон из Италии!», «Долой палача Бангу!», «Нет — Банге!», «Бангу на виселицу!» и другими в том же духе.

Но, войдя в холл, я увидел, что демонстрация ничуть не нарушила жизнь гостиницы. Все было как обычно: люстры сверкали, постояльцы сновали взад и вперед, маленький оркестр играл как ни в чем не бывало. Я подошел к стойке портье, назвался и сразу же услышал в ответ, что меня ждут. Я направился к лифту и в мгновение ока был доставлен на пятый этаж. Бесконечные коридоры, мягкий, рассеянный свет, толстые, глушащие шум шагов ковры... Как во сне, я добрал до двери с номером 415, постучал, и изнутри мне крикнули: «Войдите!»

Я очутился в гостиной в стиле ампир, белой с золотом; одна из дверей была приоткрыта, и за ней, в соседней комнате, виднелась незастланная постель. Посреди гостиной стоял навывтяжку смуглый молодой человек с низкими бачками и тонкими усиками, который мне сказал:

— Я секретарь. Генерал отдыхал после обеда и только что встал. Он даст вам интервью, как только оденется.

— Благодарю вас.

Я сел, вынул блокнот и ручку; секретарь отошел к окну и, повернувшись ко мне спиной, стал смотреть на улицу. Вдруг в комнате рядом раздался старческий голос — глухой, очень низкий, словно простуженный, дрожащий, но все еще властный:

— Сапоги!

Секретарь тотчас же кинулся к двери и исчез в соседней комнате. Наступила тишина, а потом последовало:

— Пелерину!

— Пистолет!

— Ордена!

— Фуражку!

Затем опять молчание, на этот раз более продолжительное. Наконец на пороге появился секретарь и сказал:

— Генерал готов дать интервью.

— Да где же он?

— Генерал дает интервью, не показываясь журналистам. Вы, пожалуйста, задавайте вопросы, а он будет отвечать из спальни.

— Но почему?

— Без всяких почему. Так положено.

Я подумал, что генерал, которого, видно, куда больше боялись, чем любили, опасается покушений. Секретарь поспешно добавил:

— Кстати, генерал не отвечает на вопросы, касающиеся политических, религиозных, экономических, социальных и вообще государственных проблем. Генерал отвечает лишь на вопросы личного характера.

— Что значит: личного характера?

— Например, о его личных вкусах в области искусства, туризма, моды и так далее.

— А в отношении отдельных лиц генералу можно задавать вопросы?

— В отношении отдельных лиц — да, но при условии, что они не занимают официальных постов.

Тут я набрался смелости и проговорил:

— В таком случае мне хотелось бы, чтобы генерал ответил на такой вопрос: знал ли он женщину по имени Энрика Баиле?

К своему удивлению, я услышал, как простуженный голос в ответ прохрипел:

— Да.

— И кто же такая эта Энрика Баиле?

— Одна несчастная.

— Почему несчастная?

— Муж Энрики выступал против меня. Группа моих сторонников однажды ночью проникла в дом Баиле. Они изнасиловали Энрику, убили ее мужа, детей и слуг, а потом подожгли дом. Конечно, это эксцессы, но необходимо учитывать обстановку политической борьбы.

— Сколько лет тогда было Энрике?

— Двадцать пять.

— Она была красива?

— Очень красива. Но ожоги, полученные во время пожара, непоправимо обезобразили ее лицо.

— Где она теперь?

— Живет в самом жалком квартале моей столицы.

— И что делает?

— Она побирושка.

— То есть?

— Просит милостыню, спит в ночлежке, питается отбросами, ходит в лохмотьях.

Вновь последовало долгое молчание. Я пытался придумать новую серию вопросов. Наконец, я спросил:

— Ваше превосходительство, не приходилось ли вам когда-нибудь получать премию в пять миллионов долларов? И если вы ее получили, то что это была за премия, за что вас ею наградили?

С тревогой ждал я ответа. Через некоторое время простуженный голос произнес:

— Премия в пять миллионов долларов была мне вручена за то, что я после продолжавшихся три месяца боев уничтожил опасную банду террористов, засевшую в горах неподалеку от столицы.

— А кто наградил вас этой премией?

— Правительство.

— Кто возглавлял правительство в те годы?

— Я был главой правительства.

— Так, выходит, что вы наградили сами себя?

— Ну да.

Я онемел. Здесь вмешался секретарь:

— Интервью окончено, вы можете идти.

— Но я хотел еще спросить кое о чем.

— Нельзя, интервью окончено.

Он грубо вытолкнул меня из комнаты, и мне не оста-

валось ничего другого, как возвратиться домой. Вернувшись, я тщательно записал интервью, не опустив абсолютно ничего, не умолчав ни о письме по «цепи», ни о демонстрации, ни о секретаре, ни о генерале, ни об Энрике Баиле; затем отнес материал в редакцию своей газеты. И что бы вы думали? Редактор велел сказать мне, что не может напечатать интервью, так как я, мол, не сумел заставить генерала говорить о себе: он рассказывал только о какой-то Энрике Баиле, которая совершенно никому не известна, а поэтому ее судьба не может вызвать сенсацию и, следовательно, не представляет интереса для газеты.



МЕХАНИЧЕСКИЕ СЛУГИ

телефон прозвонил один раз, потом другой, я бросился вниз по лестнице, но, поднеся трубку к уху, услышал лишь обычное металлическое потрескивание и вспомнил, что аппарат уже два дня как испорчен. Первый этаж был погружен в темноту, я щелкнул выключателем, но тьма не рассеялась: накануне вечером — еще одно нерожданное воспоминание! — из-за короткого замыкания погасло электричество. Ощупью, натываясь на какие-то загадочные предметы, я добрался до кухни и распахнул дверь, но и там меня ожидал сюрприз: девушки, которая каждое утро приходила помочь по хозяйству, не было. Я вернулся в переднюю, открыл входную дверь и на секунду застыл на пороге, ослепленный белизной усыпанной галькой дорожки, казавшейся особенно белой под серым небом, какое бывает в те дни, когда дует сирокко.

У крыльца в чашом садике моей жалкой загородной дачки стояла моя машина — разбитый, запыленный темно-зеленый драндулет. Я подумал, что, пожалуй, съезжу-ка я на машине позавтракать в Марино — это всего в пяти километрах, а потом вернусь домой и сразу же засяду за работу.

Я пошел к воротам, распахнул их, вернулся к машине, сел за руль, включил зажигание, нажал педаль. Но мотор оставался нем — полная тишина, абсолютная

неподвижность. Я попытался еще раз: вновь тишина и неподвижность. Я стиснул зубы, борясь с охватившей меня яростью. Немного успокоившись, я вылез из машины, откинул капот, заглянул в мотор. И тут меня вдруг поразила та вполне очевидная истина, что автомобиль — это механизм. Как ни странно, но эта мысль никогда не приходила мне в голову. Ведь это же механизм, я управляю им, и он мне подчиняется. Меня поразило и другое: такой сложный мотор, а служит для совсем простой вещи — чтобы человек мог передвигаться. Вот также и телефон, подумал я, еще один чудодейственный механизм, служит для другой совсем простой вещи — чтобы человек мог говорить. А электрическая проводка, такая мудреная, — еще для одной не менее элементарной вещи: чтобы человек мог видеть. А я в тот момент не мог ни передвигаться, ни говорить, ни видеть, потому что сложные механизмы, которыми я пользовался, вышли из строя.

Несколько минут я глядел на мотор, говоря себе, что ничего в нем не понимаю и для того, чтобы починить его, нужен механик, точно так же как нужен телефонный мастер, чтобы исправить телефон, и электромонтер — для ремонта проводки. Потом я подумал: механик, телефонный мастер и электромонтер — в сущности, не что иное, как инструменты, к помощи которых мне надо прибегнуть, то есть и они, если хорошенько вникнуть, это механизмы в человеческом облике, используемые для ремонта. Эта мысль меня несколько утешила. Я бросил машину с поднятым капотом и пошел закрыть ворота. Здесь я увидел, что в почтовом ящике лежит письмо.

Я закрыл ворота, взял письмо, распечатал. Письмо было «срочное» из редакции иллюстрированного журнала, в котором я сотрудничал. В письме сообщалось, что, поскольку номер сдают в набор не в среду, а во вторник, я должен представить свою статью в восемь часов утра в понедельник. Некоторое время я стоял с письмом в руках в полной растерянности. Ведь в понедельник утром я и так уже должен сдать два материала — рассказ для женского еженедельника и обзорную статейку для журнала мод, значит, вместе со статьей для моего иллюстрированного журнала получается целых три штуки. Таким образом, ко всем бедам неожиданно прибавилась еще одна: поскольку день был воскресный, я не мог

починить ни телефона, ни электричества, ни автомобиля, служанка не пришла, и вдобавок ко всему до утра понедельника остаются лишь сутки, в течение которых я должен написать три статьи.

Я вошел в дом, размышляя о том, как же быть, и начал медленно подниматься по лестнице. Совершенно ясно, что надо сейчас же разбудить Джованну, велеть ей приготовить завтрак, потом засадить ее за пишущую машинку и диктовать ей до ночи, не прерываясь ни на минуту. Я понимал, что воскресенье предстоит не из веселых, но другого выхода не было. Пока я обо всем этом раздумывал, меня вдруг словно чем-то ударило по голове: острая, нестерпимая боль стрелой пронзила затылок. Я обеими руками ухватился за перила, чтобы не скатиться с лестницы. Потом резкая боль прошла, но в мускулах шеи, плеч и рук осталась какая-то неприятная слабость. Я сказал себе: «Ты устал, у тебя полное нервное истощение, надо сегодня же пойти к врачу и начать лечиться». Но эту мысль тотчас вытеснила другая: «Нет, сегодня ты не пойдешь ни к какому врачу, так же как не вызовешь ни электромонтера, ни механика, ни телефонного мастера, потому что сегодня воскресенье».

Немного оправившись, я добрался до верха лестницы, вошел в спальню и, путаясь в разбросанных по полу чулках, туфлях, комбинациях и прочих предметах женского туалета, направился к окну и поднял штору. Белесый свет дня — одного из тех, когда дует сирокко, — наполнил комнату, я увидел двуспальную кровать, покрытую розовым одеялом, бесформенно взгорбившимся посередине, и торчащую из-под него длинную прядь черных волос. Я подошел к постели, положил руку на розовый горб и начал трясти его, приговаривая:

— Джованна, проснись, пора вставать!

В ответ раздался лишь жалобный стон. Я снова потряс горб и вновь услышал стон, но более слабый: жена опять уснула. Тогда я нагнулся, схватил одеяло за края и резко сдернул его. При этом, кто знает почему — мне вспомнился стоящий внизу автомобиль, вот так же я несколько раз пытался разбудить мотор, а потом, поскольку он не просыпался, поднял капот, чтобы выяснить причину поломки, — иными словами, тоже сдернул одеяло. Теперь Джованна была передо мной вся на виду, как недавно мотор моей малолитражки: она свернулась

клубочком в своей узкой коротенькой пижамке, туго обтягивавшей ее молодое, полное тело. Я смотрел, как она, притворяясь, будто спит, обиженно и вместе с тем томно сжалась в еще более плотный комочек. А потом, словно в кино, когда одно изображение накладывается на другое, мне вдруг показалось, что вместо нее, такой пышной и яркой, на постели лежит мотор моей малолитражки со всеми его черными, блестящими от смазки частями, и я наклоняюсь, чтобы осмотреть его и выяснить, почему же он не работает и где поломка. Это продолжалось всего мгновение; я покачал головой и сказал себе: «Чтобы починить мотор, нужен механик. Но Джованна ведь как-никак человек: она все поймет и поможет мне».

Поэтому, помолчав минутку, я сказал:

— Джованна, сейчас восемь часов, а завтра, в понедельник, в восемь утра я должен сдать три статьи. Тебе придется встать и приготовить завтрак. Потом ты сядешь за машинку, а я подиктую тебе, и если мы целый день будем работать не отрываясь, то, надеюсь, успеем все кончить.

Она ничего не ответила, казалось, размышляя над моими словами. Потом спросила тоном, не предвещавшим ничего хорошего:

— Который, ты говоришь, час?

— Восемь.

— А прислуги нет?

— Нет, сегодня воскресенье.

На некоторое время она вновь замерла, потом вдруг я увидел, как она судорожно дернулась всем телом, не открывая глаз, и, вся трясясь, закричала:

— Вот они, твои обещания, вот та жизнь, о которой ты мне говорил, когда я была твоей невестой! Зачем ты взял меня от родителей, где мне было так хорошо? Скажи, зачем?

— Чтобы жениться на тебе, чтобы ты стала моей женой...

— Нет, не для того, а чтобы иметь подле себя прислугу, повариху, секретаршу, стенографистку, машинистку, рассыльную. Вот для чего. И мне это надоело, надоело, надоело! А теперь ты мне не даешь даже спокойно поспать. Ты ведь знаешь, что сон для меня важнее всего, что я страдаю бессонницей, что мне никогда не удается заснуть раньше четырех. И несмотря на это, ты будишь меня, чтобы заставить с утра пораньше работать на

тебя — быть прислугой, поварихой, секретаршей, стенографисткой, машинисткой, рассыльной. Разве не так, скажи мне, разве не так?

В растерянности, чувствуя, как боль — результат нервного истощения — вновь начинает сжимать мне затылок, я долго стоял и смотрел на нее, а она, не раскрывая глаз, сжавшись в комок посреди широкой постели, продолжала изливать свои жалобы. А в мозгу у меня, пока я так стоял, все время вертелась мысль: «Джованна, как и мотор автомашины, как телефон, как электричество, не желает больше служить мне. Значит, надо, так сказать, починить ее, хотя бы кое-как, чтобы заставить действовать по крайней мере ближайшие сутки. Для ремонта телефона, электричества, автомобиля имеются специалисты. Но как же быть с Джованной?»

А она, по-прежнему не открывая глаз, продолжала: — Насколько лучше мне было до замужества, когда я жила с родителями. Я могла спать, видаться с подругами, гулять, ходить в кино. Ты же упрятал меня в эту дыру, чтобы я обслуживала тебя, как служанка, и печатала на машинке глупости, которые ты пишешь. А теперь даже и в воскресенье ты не даешь мне жить спокойно. Даже в воскресенье!

На мгновение разум мой помутился, я почувствовал искушение, какое охватывает тебя, когда долго не заводится мотор автомобиля: хочется схватить молоток и несколькими яростными и точными ударами разбить его вдребезги. Я повернулся к ней спиной, подошел к окну и подумал: «Сейчас я убью ее, потом убью себя и покончу со всем этим раз и навсегда!» Но пока я смотрел на затянутое облаками небо, стиснув зубы от душившей меня злости, я постепенно успокоился. Прекрасно: Джованна — это механизм, который не желает работать. Уничтожить его — не выход. Надо, наоборот, заставить его действовать и добиться этого добром. Это и будет ремонт — ведь именно так поступают специалисты, имея дело с вышедшим из строя прибором: они его не уничтожают, а терпеливо ищут причину поломки. Но вот как устранить неисправность Джованны? Совершенно ясно: при помощи любви, ласки.

Я подошел к ней, прилег рядом на постели, обнял ее. Она попыталась высвободиться, но не слишком энергично. Я начал ласкать ее, целовать, шепча при этом:

— Любовь моя, ты же знаешь, что я люблю тебя, ты для меня — вся жизнь, что бы я делал без тебя...— И так далее, в том же роде, это были те же слова, что я часто твердил ей и раньше, но никогда еще я не произносил их так холодно и лицемерно.

И в самом деле, Джованна перестала меня отталкивать, потом прижалась ко мне, тоже обняла и начала осыпать мое лицо градом легких коротких поцелуев. Одним словом, я нашел поврежденный провод или подвернул ослабевшую гайку, и Джованна, совсем как закапризничавший мотор, вновь заработала. Я поласкал ее еще немного и произнес еще несколько нежных слов и наконец с мрачным удовлетворением констатировал, что она поднимается с постели и говорит мне:

— Ну ладно, пойду приготовлю тебе завтрак, а ты сразу же садись за работу.

Потом, комичная и трогательная в своей слишком узкой пижаме, она скрылась в ванной. Вот тут я вздохнул с облегчением: я добился своего.

Но несколько минут спустя, войдя в кабинет, я пошатнулся и вынужден был прислониться к двери, чтобы не упасть. Письменный стол, стоящий среди комнаты с белыми оштукатуренными стенами, заваленный книгами и бумагами, начал вдруг двоиться, расти, плясать у меня перед глазами, потом закачался, поплыл к окну, вернулся к двери, стал удаляться, делаясь все меньше и меньше, и вдруг, огромный и тяжелый, надвинулся на меня. Так мне открылась еще одна — последняя — истина: я тоже не что иное, как механизм, и, по-видимому, из всех машин и приборов, имеющих в этом доме, больше всего нуждаюсь в ремонте. Впрочем, подумал я затем, в этом нет ничего странного: я пользуюсь телефоном, электрическим освещением, автомобилем и Джованной, а редакция иллюстрированного журнала, в котором я сотрудничаю, пользуется, в свою очередь, мной. По всей вероятности, кто-то использует для своей выгоды этот журнал, а кто-то еще использует того, кому служит журнал, — и так далее, вплоть до бесконечности. Или, по крайней мере, вплоть до первопричины, сформулировать которую мне в том состоянии, в каком я находился, было в высшей степени трудно.

Я вздрогнул, услышав голос Джованны, произнесший:

— Ну, что ты стоишь? Садись, за работу, будь умницей, а я пока пойду на кухню и приготовлю завтрак.

И я подумал, что машина вновь завертелась. Вот и прекрасно... Теперь стол больше не плясал и не менял очертаний. Я уселся за него и пошел строчить...



ЗЛОВЕЩИЕ ПРИМЕТЫ

Я вышел из дома с вполне определенным и в то же самое время смутным ощущением, что со мной произошло или происходит нечто необычное. Выйдя на набережную Тибра, я обернулся и стал разглядывать дом: в его гладком, желтоватом фасаде с балконами, похожими своей формой на мельницы, и с окнами, окаймленными узкой рамочкой травертина, поистине не было ничего особенного. Или, точнее, что-то необычное все-таки было: ставни окон третьего этажа, все до одной, были закрыты. Я задал себе вопрос, не это ли было причиной моего беспокойства, но пришел к выводу, что нет, не это, и пошел вдоль парапета набережной.

Ничего необычного не было и в выстроившихся в ряд особняках, которые все немного походили на тот, из которого я вышел: они тянулись нескончаемой линией вдоль панели — уходящая вдоль перспектива желтых и серых фасадов и массивных балконов. Ни в зимнем нахмурившемся лиловом небе, ни в сером, гладком асфальте мостовой, на котором кое-где переливались всеми цветами радуги масляные пятна, оставленные автомобилями, ни во всей набережной Тибра я не мог заметить ничего необычного, кроме разве того, что одна за другой проехало не меньше шести малолитражек одной марки и одного и того же светлого цвета. Также и белые покрашенные стволы и ветви платанов с немногими еще не облетевшими ржавыми листьями показались мне такими же, как всегда, но я отметил, что из каждых трех деревьев одно было намного меньше, и спросил себя, что бы это могло означать.

Шагая по набережной, я краем глаза наблюдал за Тибром: желтая и блестящая, напоминающая цветом брюхо лягушки, река казалась бы неподвижной, если бы время от времени по ней стремительно не пронеслись

тонкие черные ветки, увлекаемые морщащим поверхность подводным течением и выдающие ее скрытое движение. Также и здесь ничего необычного, если не считать того, что я насчитал девять таких веток. Ведь платанов, которые поменьше, было три, а совершенно одинаковых автомобилей — шесть, теперь же плыло девять веток; я подумал, что в этой прогрессии есть нечто неясное или, вернее, нечто даже слишком ясное. Между тем я шел и шел и дошел до маленькой площади перед одним из мостов через Тибр.

Посреди площади виднелись деревья и кусты крохотного скверика, по краям, в первых этажах домов, ее окружали магазины, на тротуаре высилась заправочная колонка. Я очень внимательно осмотрел эту площадку, стараясь заметить что-либо из ряда вон выходящее, но ничего такого не увидел. У колонки двое рабочих заправляли горючим автомашину. Однако колонка была окрашена в зеленый цвет, комбинезоны на обоих рабочих были зеленые и машина тоже зеленая, вдруг все это зеленое стало мне подозрительным, я подошел поближе и услышал следующий разговор:

— Добавим жидкость против замерзания?

— Нет, спасибо.

— Но ведь сегодня ночью было ниже нуля.

— Ночью я держу машину в гараже.

— Раз так, то не о чем говорить.

Я отошел от колонки и обогнул, магазин за магазином, всю площадь. Вот кафе, большое, самое обыкновенное кафе, с тремя витринами, полными сластей и бутылочек, и внутри стойка, как везде, выложенная цветным кафелем. В кафе было всего двое посетителей, спиной к двери они пили у стойки кофе. На обоих были одинаковые бежевые пальто из ткани, которую называют верблюжьей шерстью. Но даже этот хотя сам по себе и странный факт не был тем чем-то необычным, что внушало мне чувство беспокойства. Я бросил на себя взгляд в зеркало в кафе и вдруг увидел, что у меня на правой манжете рубашки, с внутренней стороны — там, где на руке пульс, — большое красное пятно. Я человек хотя и бедный, но очень аккуратный и сразу же подумал, что надо как можно скорее избавиться от этого пятна. Но как? Было лишь два выхода: либо немедленно застирать пятно, либо возвратиться домой и переменить сорочку. Я решил застирать пятно, потому что живу у

черта на куличках, на окраине города; как раз напротив, на площади, я увидел надпись большими белыми буквами: «Парфюмерия». Я направился туда и, чтобы сократить путь, пошел через скверик.

Здесь я заметил нечто поистине странное: в садике стояло четыре скамейки и на каждой из них сидела парочка, но в этом пока еще не было ничего особенного и с этим можно было смириться. Однако один из каждой этой парочки — мужчина — был военным, и это показалось мне уже слишком. Что бы это значило? Обдумывая этот вопрос, я достиг противоположной стороны и вошел в парфюмерный магазин.

Это было узкое и длинное помещение, освещенное с пышной торжественностью; прилавок находился в глубине, стены снизу доверху закрывали сверкающие флаконами полки. Хозяйка, женщина лет пятидесяти, с грубо размалеванным лицом и пирамидой иссиня-черных мелко вьющихся волос на макушке, встретила меня впросительным взглядом круглых темных глаз. Между нами произошел следующий диалог:

— Мне нужен бы был кусок мыла, чтоб отстирать это пятно.

— Я не торгую таким мылом. У меня имеется только туалетное.

— А мне разве требуется какое-то особенное?

— Вам нужно мыло для стирки. Или еще лучше переменить сорочку. Разве это отстирается? Материя пропиталась кровью.

— Но разве туалетным мылом нельзя тоже отстирать пятно?

— Можно, но не так хорошо, как мылом для стирки.

— Дайте мне кусок туалетного.

Во время этого разговора я заметил другое поистине подозрительное обстоятельство: у хозяйки магазина было весьма глубокое декольте, которое позволяло видеть верх груди. Так вот, у нее в вырезе платья между двух выпуклостей-близнецов болтался эмалевый медальон точно такого же зеленого цвета, как бензоколонка, как комбинезоны рабочих, как автомобили, которые я видел несколько минут назад на площади. Простое совпадение? Я взял мыло, уплатил, вышел и направился к кафе.

Войдя в кафе, я спросил, где уборная, и с чувством облегчения заперся в ней. Но облегчение я испытывал

недолго: керамические плитки, которыми был выложен пол, были тоже зеленые, как и медальон хозяйки парфюмерного магазина, как бензоколонка, как автомобиль. Встревоженный, я снял пальто, пиджак, джемпер и повесил все это на вешалку. Потом открыл кран умывальника, погрузил в раковину манжету рубашки и принялся ее сильно тереть. Отмывая пятно, я заметил еще одну необычную вещь: по стене шла трещина, немного напоминавшая своей формой стоящего во весь рост человека; стоило мне повернуться определенным образом, как моя тень почти точно совпадала с трещиной на стене. Также и это простое совпадение? Кое-как застирав пятно, я смыл с раковины покрасневшую мыльную пену, оделся и вышел, оставив мыло на умывальнике. Выйдя из кафе, я вынужден был, однако, признать, что вся эта стирка была пустым делом: пятно хотя и побледнело, но не исчезло, а мокрый рукав холодил запястье и раздражал меня.

Тогда мне пришла в голову другая мысль: я куплю новую сорочку и тут же ее надену, прямо в магазине. Сказано — сделано: я свернул на отходящую от площади обсаженную деревьями улицу и буквально через несколько шагов увидел нужный мне магазин. Я вошел, лавка была пуста; приказчик, тщедушный молодой парень, совсем заморыш, с лицом белым как бумага и галстуком-бабочкой на длинной тонкой шее, услужливо спросил:

— Чего желаете?

Вот наш разговор:

— Я бы хотел рубашку.

— Из зефира или из поплина?

— Из зефира.

— Белую или цветную?

— Цветную.

— Какой ваш размер?

— Думаю, 42.

— Вот тончайшие сорочки. В широкую полоску, в узкую, гладкие.

— Я возьму эту. Могу я ее сразу же надеть?

Несколько удивленный моей просьбой, он открыл дверь в тесную примерочную, зажег там свет и ушел, оставив меня одного. Ощущение, что со мной происходит или уже произошло нечто необычное, овладело теперь мною с такой силой и было столь тягостно, что я, раз-

девшись, опустился, полуголый, на табурет и разразился слезами. Я плакал не меньше минуты, а потом также и в этой примерочной заметил одну очень подозрительную вещь: на паркетном полу отошли три дощечки,— в самом деле, я легко мог вынуть все три. Опять цифра три! Я испугался и попытался отодрать четвертую дощечку паркета, но она не поддавалась: раз их было три, значит, столько же должно и оставаться. Я надел новую сорочку, кое-как свернул старую, оделся и вышел из примерочной.

Собираясь уплатить за покупку, я опустил руку в карман. Я хорошо помнил, что у меня есть бумажка в пять тысяч лир, однако вместо нее обнаружил в кармане пачку десятитысячных ассигнаций, которой, насколько я знал, раньше у меня не было. Я протянул одну из этих ассигнаций продавцу, но он возвратил мне ее, говоря, что у нее уголок выпачкан кровью. Я дал ему другую, чистую, и при этом подумал: «Столько разговоров из-за какой-то грязной ассигнации. А сам не понимает того, что эти три куска паркета у него в примерочной могут оказаться очень серьезным делом. Очень серьезным».

Он завернул в бумагу старую рубашку, протянул мне пакет и, бросившись вперед, с поклоном распахнул передо мной дверь; я вышел из магазина.

Я возвратился на площадь и вновь пошел по набережной. Столь неприятное чувство от прикосновения к коже мокрого рукава теперь прошло, но ощущение какого-то необычного происшествия, в которое я оказался вовлеченным и из которого мне не вырваться, как из тисков, меня не покидало. Хотя я шел не останавливаясь, я про себя отметил, что на набережной Тибра зловещих примет стало гораздо больше: автомобили одинаковой марки и одинакового цвета обгоняли друг друга теперь без конца; на ветке одного из платанов сидела черно-белая птица, наверно сорока, а через несколько деревьев, на другом платане — еще одна, на этот раз черная, наверно ворона; навстречу шли с матерью трое детей — все трое в костюмчиках уже знакомого мне пугающего зеленого цвета; на тротуаре отходили три каменные плиты, точно так же, как недавно в примерочной три дощечки паркета, и так далее и тому подобное.

Встревоженный, испуганный, я приостановился пере- вести дух перед желто-серым особнячком, из которого недавно вышел. У подъезда собралась небольшая толпа,

два полицейских «виллиса» стояли почти на самом тротуаре, и я услышал такой разговор:

- Что тут случилось?
- Убили пожилую женщину.
- Кто убил?
- Вот это-то и неизвестно.
- А как ее убили?
- Кажется, зарезали.

В другое время я остался бы постоять и послушать, ведь как-никак такое случается не каждый день, но не отпускаящее меня чувство, что со мной самим происходит что-то необычное, заставило меня ускорить шаг. Меня волновало совсем другое, чем какая-то старуха, которую зарезали ножом. Вот еще одна птица, эта темно-коричневая, уселась неподалеку на ветке платана. Таким образом, их, выходит, тоже три. Птица поднялась в воздух, и тогда я пустился бежать вслед за нею, провожая ее глазами, а она все дальше и дальше уходила в небо, словно все глубже погружаясь в него, становясь все меньше и меньше, и, наконец, превратилась в черную точку в необъятной серой пустоте. Я бежал и плакал; я бежал и плакал до тех пор, пока птица совсем не исчезла в небе.



СЕРЕДИНКА- НАПОЛОВИНКУ

новой квартире я акклиматизировался сразу. Квартира была трехкомнатная, на третьем этаже дома современной постройки, на окраине, в тихом и приличном районе. И вот что самое главное: я был уверен, что это не квартира, каких много, а квартира моя, созданная для меня и только для меня, тем более я склонен считать, что в мире нет двух одинаковых людей, что каждый человек — уникал.

Месяца два я посвятил обстановке, тщательнейшим образом подбирая каждый предмет, каждую безделушку. Следующие два месяца я предавался созерцанию этой обстановки с тем бесконечно приятным чувством, с каким мне доводилось подчас любоваться в зеркале собственной — и потому уникальной — внешностью.

Мне нравилась не только квартира, но и дом, не слишком старый и не слишком новый, типичный дом средних буржуа, построенный не в слишком определенном стиле, а также улица, с ее цветущими олеандрами, большими современными витринами на первых этажах и броскими вывесками — табачной лавки, парикмахерской, парфюмерного и писчебумажного магазинов, колбасной, булочной. Прямо под моими окнами, в доме напротив, помещался цветочный магазин. За стеклом витрины видны были цветы, высокие стройные вазоны, декоративный фонтанчик. Цветочнице, красивой молодой брюнетке, рослой, с пышными формами, с неторопливыми спокойными движениями, на вид было лет двадцать пять, не больше. Она торговала одна, появлялась утром, поднимала жалюзи, некоторое время расхаживала взад-вперед по своему магазинчику, приводя в порядок цветы, потом ждала покупателей. Большую часть дня она просиживала за прилавком, читая комиксы. Но нередко она выходила на порог и подолгу смотрела на улицу, где, впрочем, смотреть было не на что и где никогда ничего не происходило.

Только что начался сентябрь, все мои друзья были еще в отпуске, и я почти безвыходно сидел дома, вот почему я не только сразу же заметил хорошенькую цветочницу, но и стал уделять ей вскоре довольно много времени.

Мне нужно было написать производственный отчет, но каждые десять минут я поднимался из-за стола, чтобы взглянуть на цветочный магазин. Брюнетка была на месте. Она сидела за прилавком в глубине магазина, уткнувшись в комикс. Или стояла в дверях, прислонясь к косяку. Некоторое время я смотрел на нее, потом снова принимался за работу.

В один прекрасный день меня осенило: а что, если я, чтобы привлечь внимание девушки, возьму зеркало и наведу на нее солнечный «зайчик»? Идея показалась мне оригинальной, новой-преновой. И вот я, вооружившись карманным зеркальцем, направил солнечный «зайчик» на цветочный магазин. Сначала отражение метнулось по витрине, потом прошло по вывеске и наконец, подобно нитке, которая после долгих усилий попадает в игольное ушко, проскользнуло в дверной проем и легко, будто ласковая рука, легло на склоненную голову девушки. Я задержал лучик на волосах, затем направил вниз по

обнаженной руке и, нащупав страницу комикса, принялся чуть поводить зеркальцем. Девушка продолжала читать, но вот она подняла голову и взглянула в сторону двери. Словно испугавшись собственной дерзости, я отпрянул в глубину комнаты.

Но через секунду я снова поднялся и вернулся к окну. Цветочница стояла в дверях и смотрела на улицу. Я поймал луч солнца и навел на нее, солнечный «зайчик» медленно вскарабкался по ногам девушки, потом еще выше и замер у нее на груди. Оттуда, неожиданно для себя, я перевел его на ее лицо. На этот раз она подняла глаза, увидела меня и улыбнулась. Я тоже улыбнулся, сопровождая улыбку жестом, как бы говорившим: «Милости прошу, заходите в гости». Поколебавшись, девушка знаками ответила: «Хорошо, только попозже». Я не надеялся на столь быстрый успех и, чувствуя себя наверху блаженства, показал на часы и спросил: «Когда?» Девушка начертила в воздухе: «В половине первого». Было одиннадцать часов. Я помахал ей, вернулся в комнату, сделал пируэт, потирая руки, оглядел себя в зеркале и чмокнул свое отражение.

Работалось мне плохо, каждые пять минут я вставал и подходил к окну: девушка была на месте, сидела за прилавком, уткнувшись в комикс. Заняв в очередной раз свой наблюдательный пост, я увидел, как она выбирает розы для покупательницы, — красивое тело подавалось вперед, сильная голая рука осторожно погрузилась в цветы, взяла одну розу, отложила, снова потянулась к цветам. И я подумал, что девушка и впрямь очень привлекательна и в том, с какой загадочной легкостью она приняла мое приглашение, есть что-то волнующее.

В двадцать пять минут первого я в последний раз подошел к окну: не торопясь, спокойно и величественно девушка расхаживала по магазину, поправляя в вазах цветы. Затем она вышла и не спеша, в три приема, опустила жалюзи. Я видел, как она пересекла улицу и скрылась в подъезде.

Волнуясь, я поспешил в коридор и остановился у двери. Я с удовольствием отметил, что большой фикус, который я приобрел накануне, прекрасно смотрится в углу между двумя дверями. Только что я окинул взглядом гостиную, обставленную исключительно модерном в шведском стиле. Квартира выглядела нарядно и свое-

Мне нравилась не только квартира, но и дом, не слишком старый и не слишком новый, типичный дом средних буржуа, построенный не в слишком определенном стиле, а также улица, с ее цветущими олеандрами, большими современными витринами на первых этажах и броскими вывесками — табачной лавки, парикмахерской, парфюмерного и писчебумажного магазинов, колбасной, булочной. Прямо под моими окнами, в доме напротив, помещался цветочный магазин. За стеклом витрины видны были цветы, высокие стройные вазоны, декоративный фонтанчик. Цветочнице, красивой молодой брюнетке, рослой, с пышными формами, с неторопливыми спокойными движениями, на вид было лет двадцать пять, не больше. Она торговала одна, появлялась утром, поднимала жалюзи, некоторое время расхаживала взад-вперед по своему магазинчику, приводя в порядок цветы, потом ждала покупателей. Большую часть дня она просиживала за прилавком, читая комиксы. Но нередко она выходила на порог и подолгу смотрела на улицу, где, впрочем, смотреть было не на что и где никогда ничего не происходило.

Только что начался сентябрь, все мои друзья были еще в отпуске, и я почти безвыходно сидел дома, вот почему я не только сразу же заметил хорошенькую цветочницу, но и стал уделять ей вскоре довольно много времени.

Мне нужно было написать производственный отчет, но каждые десять минут я поднимался из-за стола, чтобы взглянуть на цветочный магазин. Брюнетка была на месте. Она сидела за прилавком в глубине магазина, уткнувшись в комикс. Или стояла в дверях, прислонясь к косяку. Некоторое время я смотрел на нее, потом снова принимался за работу.

В один прекрасный день меня осенило: а что, если я, чтобы привлечь внимание девушки, возьму зеркало и наведу на нее солнечный «зайчик»? Идея показалась мне оригинальной, новой-преновой. И вот я, вооружившись карманным зеркальцем, направил солнечный «зайчик» на цветочный магазин. Сначала отражение метнулось по витрине, потом прошло по вывеске и наконец, подобно нитке, которая после долгих усилий попадает в игольное ушко, проскользнуло в дверной проем и легко, будто ласковая рука, легло на склоненную голову девушки. Я задержал лучик на волосах, затем направил вниз по

обнаженной руке и, нащупав страницу комикса, принялся чуть поводить зеркальцем. Девушка продолжала читать, но вот она подняла голову и взглянула в сторону двери. словно испугавшись собственной дерзости, я отпрянул в глубину комнаты.

Но через секунду я снова поднялся и вернулся к окну. Цветочница стояла в дверях и смотрела на улицу. Я поймал луч солнца и навел на нее, солнечный «зайчик» медленно вскарабкался по ногам девушки, потом еще выше и замер у нее на груди. Оттуда, неожиданно для себя, я перевел его на ее лицо. На этот раз она подняла глаза, увидела меня и улыбнулась. Я тоже улыбнулся, сопровождая улыбку жестом, как бы говорившим: «Милости прошу, заходите в гости». Поколебавшись, девушка знаками ответила: «Хорошо, только попозже». Я не надеялся на столь быстрый успех и, чувствуя себя наверху блаженства, показал на часы и спросил: «Когда?» Девушка начертила в воздухе: «В половине первого». Было одиннадцать часов. Я помахал ей, вернулся в комнату, сделал пируэт, потирая руки, оглядел себя в зеркале и чмокнул свое отражение.

Работалось мне плохо, каждые пять минут я вставал и подходил к окну: девушка была на месте, сидела за прилавком, уткнувшись в комикс. Заняв в очередной раз свой наблюдательный пост, я увидел, как она выбирает розы для покупательницы, — красивое тело подавалось вперед, сильная голая рука осторожно погрузилась в цветы, взяла одну розу, отложила, снова потянулась к цветам. И я подумал, что девушка и впрямь очень привлекательна и в том, с какой загадочной легкостью она приняла мое приглашение, есть что-то волнующее.

В двадцать пять минут первого я в последний раз подошел к окну: не торопясь, спокойно и величественно девушка расхаживала по магазину, поправляя в вазах цветы. Затем она вышла и не спеша, в три приема, опустила жалюзи. Я видел, как она пересекла улицу и скрылась в подъезде.

Волнуясь, я поспешил в коридор и остановился у двери. Я с удовольствием отметил, что большой фикус, который я приобрел накануне, прекрасно смотрится в углу между двумя дверями. Только что я окинул взглядом гостиную, обставленную исключительно современным в шведском стиле. Квартира выглядела нарядно и свое-

образно, я был уверен, что она произведет хорошее впечатление на девушку.

Наконец я услышал, как щелкнул лифт, остановившись на первом этаже, потом звук открывающейся и закрывающейся двери кабины и стук каблуков. Непродолжительная тишина и затем трель звонка. Чтобы девушка не догадалась, что я стою за дверью, я на цыпочках прокрался в гостиную, тут же вернулся, стараясь шуметь как можно больше, и открыл дверь.

Брюнетка несколько разочаровала меня. Издали я принял ее за красавицу; при ближайшем рассмотрении она оказалась лишь молоденькой и соблазнительной. У нее было немного одутловатое лицо, крупный рот, орлиный нос, большие черные воловьи глаза. Входя, она сказала добродушно, с местным акцентом:

— Не следовало бы мне заходить к вам. Но знаете, я заглянула, чтобы поздороваться. Мы ведь соседи, вот я и решила, что нам не мешает познакомиться.

Я ответил:

— Простите, но я не представляю себе, как бы мы познакомились, не приди мне в голову идея с зеркалом.

Она слегка пожала плечами:

— Поначалу я подумала, что это инженер. А потом увидела, что это вы.

— Какой инженер?

— Ну, инженер, который жил тут до вас. Он тоже так начал — ослепил меня зеркалом. Но, может, он-то и научил вас этой шутке, чтобы привлечь мое внимание?

— Нет, я его не знаю.

— Извините, но ведь сами понимаете, бывают такие совпадения.

Она шла впереди, непринужденно болтая, но на пороге комнаты остановилась:

— Я вижу, здесь все осталось как было. Вы сняли квартиру с обстановкой, да?

На этот раз я призадумался, прежде чем ответить. Казалось, между мной и девушкой вдруг встало что-то постороннее, какая-то унижительная помеха, которой я не мог пока найти название. Наконец я произнес:

— Нет, квартира была пустая. Я обставил ее сам.

— Ну надо же, какое совпадение: здесь, в коридоре, раньше стоял такой же в точности фикус. Это ведь фикус, я не ошибаюсь?

— Да, фикус.

— Инженер носился с ним как с писаной торбой. Он говорил мне, что поливает его два раза в неделю.

Тут я спросил себя, стал ли бы я говорить ей об этом, если бы она отметила красоту моего фикуса, определенного ответа я не нашел: не исключалось, что так бы оно и было. Девушка продолжала:

— Ну надо же, как интересно! Такая же в точности картина висела у инженера.

— Произведения абстрактного искусства только кажутся все на одно лицо, в действительности же это не так,— ответил я с досадой.

Войдя в гостиную, девушка радостно хлопнула в ладоши:

— Да и гостиную от инженеровой не отличить. Та же самая мебель. Может, только расставлена чуточку иначе.

На сей раз я промолчал. Девушка уселась на диван, закинув ногу на ногу, и расстегнула жакет на пышной груди; казалось, она была весьма всем довольна и явно ждала от меня новых знаков внимания. Я направился было к проигрывателю, чтобы завести что-нибудь, но одумался и повернул к буфету, где заранее приготовил на подносе бутылку аперитива и бокалы. Однако и тут я передумал и, присев напротив девушки, спросил:

— Вы позволите задать вам несколько вопросов?

— Сколько угодно.

— Когда вы были здесь в первый раз, инженер заводил пластинки?

— Да, кажется, заводил.

— А потом угощал вас чем-нибудь, например аперитивом?

— Ага, он налил мне вермута.

— После чего тут же подсел к вам на диван, не так ли?

— Да, подсел. А что?..

— Пойдите. И начал ухаживать за вами?

Этот вопрос немного сконфузил ее. Она спросила:

— Извините, но почему вы спрашиваете такие вещи?

— Не беспокойтесь,— продолжал я,— я не стану задавать вам нескромных вопросов. Меня интересуют лишь, как говорится, побочные детали. Итак, он начал ухаживать за вами. Сознаться,— тут я на секунду задумался, — а для того чтобы вплотную приступить к де-

лу и в то же время не смущать вас, он не предлагал погадать вам по руке?

Девушка рассмеялась:

— Вот именно что предлагал. Но как вы угадали? Уж не колдун ли вы часом?

Я хотел было ответить: «Это как раз то, что собирался проделать и я», — но у меня не хватило смелости на такое признание. Я смотрел на девушку, и теперь мне казалось, что ее окружает невидимая черта, которую опасно переступать, как опасно приближаться к столбам, несущим провода высокого напряжения. В самом деле, я не мог ни сказать, ни сделать ничего, что не было сказано или сделано при тех же обстоятельствах инженером. И этот инженер, в свою очередь, был не чем иным, как первым зеркалом в бесконечном ряду зеркал парикмахерской, в которых, насколько хватает глаз, я не увидел бы ничего, кроме себя самого. Наконец я спросил:

— Скажите, инженер был похож на меня?

— В каком смысле?

— Внешне.

Прежде чем ответить, она долго меня разглядывала.

— Ага. Чем-то вы с ним схожи. Оба — серединка-наполовинку.

— Серединка-наполовинку?

— Ага. Ну, не уроды, что ли, и не красавцы, не высокие — не малорослые, не молодые — не старые: серединка-наполовинку.

Я ничего не сказал, только посмотрел на нее, думая с бессильной яростью, что приключение можно считать оконченным: цветочница превратилась для меня в некое табу, и единственное, что мне еще предстояло сделать, это найти благовидный предлог, чтобы выставить ее за дверь.

Девушка заметила происшедшую во мне перемену и спросила с некоторой настороженностью:

— Что это с вами? Что-нибудь не так?

Сделав над собой усилие, я поинтересовался:

— А что, по-вашему, много таких мужчин, как я и инженер?

— Ага. Вы, как бы это сказать, ну, массовое явление, что ли.

Тут меня передернуло, и девушка вдруг все поняла.

— Ага, догадываюсь, — воскликнула она, — вы оби-

делись за то, что я назвала вас серединкой наполовинку, сказала, что таких много. Правда?

— Не то чтобы обиделся,— ответил я,— а, скажем, у меня опустились руки.

— Это почему же?

— Так. Мне кажется, будто я делаю то же самое, что делают другие, вот я и предпочитаю ничего не делать.

Девушка попыталась меня утешить:

— Со мной у вас не должны опускаться руки. И потом, клянусь вам, мне больше нравятся такие мужчины, как вы, самые обыкновенные, чтоб ничем не отличались от других, ведь про таких с самого начала знаешь, что они скажут и что сделают.

— Ну, вот мы и познакомились,— объявил я, вставая.— А теперь прошу прощения — у меня срочная работа.

Мы вышли в коридор. Не скажу, чтобы у девушки был убитый вид. Она улыбалась.

— Не нужно так злиться. Не то вы и впрямь совсем как инженер.

— А что еще сделал инженер?

— Поскольку я сказала ему однажды, что он мужчина, каких полным-полно, распространенный тип, что ли, он разозлился, ну точь-в-точь как вы, и выставил меня за дверь.



РАЙ

беру флакончик со снотворным и высыпаю его содержимое в стакан с водой, стоящий на тумбочке. Сколько во флаконе таблеток? Порядочно. Столько, сколько нужно, чтобы прямым ходом, без задержек, проследовать в рай. Я смотрю, как таблетки растворяются, образуют на дне стакана белую горку, как поднимаются со дна и лопаются на поверхности воды пузырьки.

В этот момент зазвонил телефон. Я узнала голос своей подружки — толстухи Магды — и сразу же объявила:

— Ты позвонила как раз вовремя: можешь со мной попрощаться.

— Почему?

— Потому, что я собралась отравиться. Снотворным. Магда из той породы людей, которые никогда ничему не удивляются. Наверное, поэтому мы с ней и дружим. Я лично удивляюсь всегда и всему, причем не столько самим вещам, сколько тому, что они существуют. Попадется мне на глаза камень, и я останавливаюсь как вкопанная, поражаясь, откуда бы такой штуке взяться. А для Магды камень есть камень — и все тут.

Она как ни в чем не бывало сообщила:

— Я звоню, чтобы сказать: все собрались и ждут тебя.

— А кто пришел?

— Юлий Цезарь, Леонардо да Винчи, Данте Алигьери, Джузеппе Гарибальди, Наполеон...

Я делаю вид, будто не поняла шутки, и отвечаю:

— Ладно. Сейчас оденусь и приеду.

Я кладу трубку и с трудом выпутываюсь из простыни, под которой провалялась два дня. Не успела я поставить ноги на пол, как вокруг меня запрыгала моя такса Дзен: бедная собака решила, что после двухдневного сидения взаперти я выведу ее погулять. Но я сказала:

— Нет, Дзен, ложись на место, будь умницей!

Я скармливаю ей печенье, оставшееся на подносе, чтобы она уgomонилась. Вот уже двое суток как мы с ней питаемся чаем с печеньем, причем Дзен, пожалуй, съела больше, чем я. Впрочем, я себя чувствую совсем неплохо.

Я отправляюсь в ванную, открываю кран и, зажмурив глаза, долго стою под очень горячим душем. Пока вода хлещет по затылку, я, будто в озарении, отчетливо вижу замысловатые узоры, которыми намерена себя разрисовать. Это какое-то ясновидение: рисунок предстает передо мной в мельчайших подробностях, словно он уже готов.

Я закрываю кран, вытираюсь, голышом усаживаюсь на кровать, беру коробку с фломастерами и начинаю размалевывать живот. Рисую красные, синие, зеленые, желтые концентрические волнистые круги. Дальше, словно поверх морских волн, изображаю лик индийского святого.

Покончив с животом, я перехожу к грудной клетке. Ребра выделяю черными полосами, как на известной картинке, где изображена фигура, исполняющая злове-

щий средневековый танец смерти. Теперь бюст. Несмотря на то что я стройна и по-змеиному гибка, грудь у меня как у кормилицы. После недолгого раздумья я решаю, что сейчас нет времени изображать то, что я задумала, а именно: индийского бога Вишну со множеством рук и ног, пляшущего на каждой груди. И я ограничиваюсь тем, что одну грудь крашу в зеленый, другую в красный цвет. С руками я расправляюсь наскоро: испещряю их красными и синими загогулинами. Затем на тыльной стороне левой ладони изображаю желтый восклицательный знак, а на тыльной стороне правой — сиреневый вопросительный. После чего перехожу к лицу. Пудра синюшного оттенка; никакой помады; черные глазницы. Волосы, к счастью, я ношу распущенными: достаточно пройтись разок-другой щеткой, и все.

В этот момент бедная такса, которая в течение всего этого времени стояла и смотрела на меня как замороженная, подошла, держа в зубах поводок, на котором я обычно вожу ее гулять. Я отняла у нее поводок, приласкала и начала одеваться. Прежде всего я натягиваю черные бархатные брюки клеш (у них такая низкая талия, что разрисованный живот остается наполовину открытым) и подпоясываюсь желтым кожаным поясом с большой лиловой пряжкой. Затем надеваю прозрачную черную блузку, расшитую золотыми звездами, а полы ее завязываю узлом под грудью: зелено-красный пышный бюст мой от этого очень выигрывает. На шею я вешаю пять ожерелий; ценности они не представляют, но содержат большой философский смысл. Один парень привез их мне из городишка у подножья Гималаев, где он прожил два месяца и схватил инфекционную желтуху. Затем я нанизываю на пальцы свои знаменитые перстни — по три на каждый палец; среди них есть один с розовым овальным камнем, который переливается зеленым. Наконец, поверх блузки я набрасываю длинный бархатный казакин цвета мальвы.

Но остается проблема собаки. Я не хочу ее брать с собой — еще потеряю! Никогда не знаешь, чем может кончиться вечер, особенно у Магды. Поэтому, видя, что такса, виляя хвостом, направилась вслед за мной к двери, я ей строго наказываю:

— Нет, Дзен, будь умницей, оставайся дома и, главное, не смей лаять!

Но ей что ни говори — как об стенку горох.

Дойдя до холла, я услышала яростный лай. Тотчас вынырнул откуда-то хозяин пансиона, противный лысый тип с физиономией церковного служки и затылком жандарма.

— Синьорина, так нельзя! — заявил он. — Уже час ночи, ваша собака разбудит мне всех постояльцев. Уймите ее, в противном случае...

Я замахала на него руками:

— Ладно, ладно, ради бога... Вы тем временем вызовите мне такси!

И пошла к себе. Когда я отворила дверь, собака стояла посреди комнаты и смотрела на меня умоляюще. Я взяла блюдце, отлила в него воды из стакана, в котором развела было для себя снотворное, добавила немного молока и три пакетика сахарного песка. Ничего не подозревавшая изголодавшаяся псина тотчас принялась лакать, а я, воспользовавшись этим, выскользнула из комнаты. Хозяину я пообещала:

— Увидите, она больше не будет лаять!

И села в такси. Плюхнувшись на заднее сиденье, совершенно обессиленная, я сказала:

— Поехали к Магде!

Таксист спросил:

— А кто такая Магда?

Я обозлилась:

— Что значит «кто такая»? Вот серость! Как будто еще есть на свете люди, которые что-то собой представляют! Ну да ладно, если уж тебе так приспичило, Магда — моя лучшая подруга.

Я всем говорю «ты» (кроме хозяина пансиона). Но встречаются мужчины, которые воспринимают такое обращение как интимное. Таксист оказался одним из них. Бросив на меня озадаченный взгляд, он уже не без задней мысли продолжал допытываться:

— Все-таки где же она живет?

Я, отчаявшись, неопределенно махнула рукой:

— Поезжай прямо, все время прямо — как-нибудь доберемся...

Дело в том, что я забыла адрес. Ну, как его вспомнишь, если вылетел из головы!

Таксист — чернявый паренек с недурной внешностью — смотрит на меня в замешательстве, словно в самом деле прикидывает, где бы могла жить моя Магда; пол-

ный искреннего желания услужить, он включает зажигание, и мы трогаемся.

Пока такси мчится, швыряя меня из стороны в сторону на поворотах, я пытаюсь припомнить, из-за чего же я, собственно, хотела только что покончить с собой. Но связать концы с концами не удается. Выходит, главная причина в том, что три дня назад я заявила Магде о своем намерении покончить счеты с жизнью. Однако что послужило, так сказать, первопричиной, я забыла. Наверное, какие-нибудь соображения философского порядка — ведь сегодня жизнь, а стало быть, и смерть непременно должны быть обоснованы философски. Впрочем, не все ли равно! Поеду к Магде, потанцую часов до пяти утра, потом вернусь в пансион и приму снотворное. Моя кончина лишь откладывается.

Но вот такси резко остановилось; выглянув, я поняла, что мы за городом: фонари кончились, рядом изгородь, деревья; освещенная фарами, белеет впереди извилистая проселочная дорога. Таксист выходит из машины, открывает дверцу, садится рядом и набрасывается на меня: рванув одной рукой блузку с золотыми звездами, он другой пытается расстегнуть лиловую пряжку. Я, конечно, его отталкиваю, отбиваюсь; в конце концов мне удается дать ему коленкой в живот и загнать в дальний угол. После чего я заговорила с ним вполне мирным тоном, пообещала, что когда приедем к Магде, он может подняться со мной, потанцевать, выпить — в общем, побыть с нами, сколько захочет, а попозже уехать с Чечилией: ей негде жить, и она, как правило, свободна, так что, наверно, не откажется его ублажить — разумеется, при условии, что он позволит ей переночевать. А не захочет Чечилия, найдется другая.

После этих слов он как-то нехорошо на меня посмотрел, насунился, ошетинился, как бык, готовый броситься на тореро. И набросился, схватил за волосы и вышвырнул из такси, а сам сел за руль, дал газ и умчался.

Я встала — вся в ссадинах, запыленная, и, прихрамывая, кое-как доплелась по проселку до шоссе. Села на паранет и думаю: необходимо успокоиться, уподобив себя, путем соответствующего созерцательного усилия, какому-нибудь первому попавшемуся на глаза предмету. Вон там, на краю кювета, под фонарем, растет обыкновенный цветок — что-то вроде желтой ромашки. Я пристально в него всматриваюсь, сосредоточиваюсь, кон-

центрирую на нем свое внимание, изолируя себя, отстраняя, отдаляя от внешнего мира. Поначалу цветок «сопротивляется»: жалко, по-буржуазному утверждает свою личность в противовес моей, иными словами, отстаивает цвет лепестков, форму листьев, длину корня как свои индивидуальные черты, которые, по его мнению, мешают ему слиться со мной. Я удваиваю усилия, окружаю ромашку любовью, и вот мало-помалу она «уступает». Я постепенно начинаю чувствовать себя цветком, а цветок становится мною. Взаимное проникновение это настолько глубоко, что я почти не замечаю автомобилистов, которые то и дело останавливаются возле меня и задают обычные идиотские вопросы: «Ну, поехали?!», или: «Сколько ты хочешь?», или: «Какие у тебя расценки?»

Уже рассвело. За выстроившимися в ряд деревьями светит солнце, сверкает, переливается, как драгоценный камень. Только тогда я соображаю, что окоченела, и решаю прервать свое «созерцательное перевоплощение»: я «отстраняюсь» от цветка, цветок «отстраняется» от меня; наше единство вмиг нарушается. Я снова обычная девушка, сидящая на парапете, а ромашка — обычный цветок, выросший на краю дороги. Я с трудом встаю на ноги: суставы одеревенели, такое состояние, будто тебя избили. Я поднимаю руку, чтобы остановить попутную машину. Вскоре, резко притормозив, возле меня останавливается малолитражка. За рулем монахиня средних лет; рядом с ней еще одна, пожилая, а сзади сидит третья, молодая, вернее, совсем девчонка, белолицая, голубоглазая. Я сажусь рядом с ней, машина едет дальше.

Пожилая монахиня спрашивает, где я живу, и, не оборачиваясь, тут же задает новый вопрос:

— Дочь моя, что ты там делала, сидя на парапете, в семь часов утра?

— Матушка, я уподобляла себя ромашке.

Монахиня-девчонка, та, что сидит рядом со мной, при этих словах залилась краской, надула щеки — вот-вот прыснет. Пожилая спросила:

— Почему ты в таком виде?

— В каком?

— Полуголая, размалеванная во все цвета радуги

— Я собралась к Магде.

— Кто это — Магда?

Я взрываюсь:

— Что за вопросы! Магда, цветок, мы с вами — все едино. Неужели не понятно?!

— Но ты гневишь бога, оголяясь при всем честном народе!

Тут молодая монахиня, видимо полагая, что угадала желание пожилой, схватила полы моего казакина и попыталась их запахнуть, чтобы прикрыть мой полуголый живот и полуобнаженную грудь. Но я ее оттолкнула и, все более входя в раж, закричала:

— Не я должна прикрывать наготу, а ты — обнажиться! Выставить наружу грудь, живот, зад! Сбросить эту черную хламиду, ходить голой. Разве цветы, деревья, лошади, горы одеваются? Говорите о боге, а сами от него прячетесь.

И вот ни с того ни с сего между мной и монахиней завязалась своеобразная борьба. Я пыталась ее раздеть, а она изо всех сил сопротивлялась. Она была сильная, очень сильная, во всяком случае намного сильнее меня, так что я очень скоро сдалась — положила ей голову на колени и задремала. Сквозь сон я чувствовала, что она нежно касается моего лба, приглаживает волосы.

Когда машина остановилась, молодая монахиня помогла мне выйти, две другие сделали вид, будто они меня не замечают, — и я вдруг оказалась на тротуаре, в толпе прохожих, у входа в пансион. Я вошла и захлопнула за собой дверь лифта; он тотчас пошел наверх.

И вот я в длинном, темном, плохо пахнушем коридоре пансиона. Я открываю дверь своей комнаты и первое, что я вижу, — неподвижно лежащая на боку такса; глаза ее закрыты, рядом стоит пустое блюдо. Решив, что она спит, я валюсь на кровать — как была, одетая, залезаю под одеяло и в тот же миг засыпаю. Мне снится странный сон, будто я очутилась на той самой проселочной дороге, где была ночью, и веду на поводке свою таксу навстречу солнцу, а оно восходит, как утром, за выстроившимися в ряд деревьями. Вот солнце совсем взошло, небо озаряется светом. Такса мне говорит:

«Отвяжи меня, отпусти, я пойду. Нам с тобой пора расстаться. Мне надо в рай».

Я наклоняюсь и отстегиваю поводок; собака мгновенно убегает, скрывается из виду. Я остаюсь одна, раздражаюсь рыданиями. И в слезах просыпаюсь.

Я смотрю на таксу — она по-прежнему недвижима, лежит с закрытыми глазами возле своего блюдца. Но я замечаю, что пасть чуть-чуть приоткрыта, проглядывают зубы. Я встаю и первым делом наклоняюсь, чтобы пощупать нос. Нос холодный — это хороший признак. Однако, погладив Дзен, я обнаруживаю, что тело ее еще холоднее, чем нос. Только тогда я соображаю, что собака мертва. Плакать я не могу: я уже выплакалась во сне. В этот момент кто-то постучал в дверь и жутким голосом крикнул:

— Телеграмма!



ИГРА

ы с моим женихом Витторио придумали игру — только нашу и ничью больше: охоту на избитые фразы. Началось так. Однажды Витторио сказал:

— Это бесполезно. Есть вещи, которые может понять только мать.

Кто знает почему, я сразу же вскипела:

— Избитая фраза!

— Почему избитая?

— Сперва подумай-ка об этой идиотке — твоей матери, а потом скажи, в состоянии ли она вообще что-нибудь понять.

— Но я не имел в виду свою мать.

— Не важно. Если ты не уверен, что можешь сказать что-нибудь свое, что-нибудь оригинальное, то лучше уж ничего не говори.

— Я должен молчать?

— Молчать — нет. Только постарайся говорить о чем-нибудь абсолютно незначительном.

— Например?

— Ну, не знаю: сегодня четверг, небо голубое, холодно, сейчас пять часов.

— Понимаю. Но ты уверена, что сама никогда не произносишь избитых фраз?

— Совершенно не уверена. Более того: прошу тебя обязательно поправлять меня каждый раз, когда у меня вырвется какая-нибудь банальность.

Так началась наша игра. Сначала она шла не в пользу Витторио. Отчасти и потому, что, хотя мы оба служим в одном министерстве, у меня перед ним преимущество в три курса литературного факультета университета: я чуточку нахваталась в области языковых проблем. Подобно летним мухам на полосах клейкой бумаги, которые до сих пор можно увидеть в табачных лавках в провинции, избитые фразы и стертые штампы целыми роями липли к речи Витторио. Я просто не успевала ловить их, стоило ему только раскрыть рот:

— Стоп, это общее место! Осторожно: рекламный лозунг! Ну вот, опять попался: так говорят светские снобы. Да перестань же: это — выражение из бюрократического языка. Ай-ай: готовая формула политического жаргона!

В конце концов Витторио, для которого беседы со мной превратились в гонку с препятствиями, дошел до ручки и, вняв моему совету, стал все чаще прибегать к функциональным фразам. Его разговоры со мной превратились таким образом в какой-то набор слов: «Сегодня четверг. Небо голубое. Холодно. Сейчас пять часов». Мне это было скучно, но я не могла его винить, так как сама терроризировала его и заставила свести свой словарь к серии лишенных всякого смысла грамматических предложений. Так продолжалось еще некоторое время, а потом я поняла, что Витторио, которому удавалось, пока он выражал, мысли при помощи избитых фраз, убеждать меня в своей любви, теперь, когда он говорил функционально, становился, кто знает почему, все холоднее и отчужденнее. Настолько, что однажды я, не в силах больше выносить отравлявшее мне существование смутное чувство ревности, сказала ему:

— Я понимаю, у тебя в сердце другая женщина.

— Теперь кто из нас употребляет избитые фразы?

— Пусть это и избитая фраза, но это правда.

— Какая правда? О которой поется в песнях на конкурсе в Сан-Ремо?

— Витторио, я тебя предупреждаю: моя любовь может превратиться в ненависть.

— Банальность!

— Витторио, ответь на мой вопрос: ты еще способен испытывать тепло к другому человеку или же твое сердце в самом деле превратилось в лед?

— Начиталась комиксов!

— Витторнио, перестань шутить: для меня это вопрос жизни или смерти.

— Ах, какая романтическая особа!

— Витторнио, признайся: подсознательно ты меня ненавидишь.

— Сентиментальная девица, увлекающаяся психоанализом!

— Витторнио, не доводи меня до отчаяния.

— Это уже мелодрама.

— Я могу совершить какой-нибудь неразумный шаг...

— А это из газетной уголовной хроники!

Он мне мстил. Начиная с того дня я все больше и больше теряла свои позиции, и восстановить положение мне так и не удалось. Да, потому что после того, как несколько месяцев подряд я безжалостно очищала язык Витторнио от засорявших его штампов, я вдруг открыла, что также и сама никак не могу обойтись без избитых фраз. Единственная разница между мной и им заключалась в том, что в его языке избитые фразы касались общественной жизни, политики, социальных проблем, культуры, труда, а в моем — личной жизни или же, как обычно говорят, употребляя самый избитый штамп, — сердечных дел. Не было никакого сомнения: стоило заговорить о любви, как я сразу же начинала нанизывать одну за другой, словно бусины, самые пошлые, самые затасканные фразы; но эти готовые штампы мне нравились, я в них узнавала самое себя, и в тот момент, когда я их произносила, мне даже казалось, что они исполнены удивительной искренности, глубоко правдивы.

Совершенно отчаявшись, однажды вечером я решила ускорить события. Витторнио должен был выбрать: или я... или та женщина, которая, вне всякого сомнения, постепенно вытесняла меня из его сердца. У меня есть ключ от его квартиры, я открыла дверь потихоньку, прошла в гостиную и села. На улице уже стемнело, но я не зажигала света; я думала о том, как он, возвратясь, увидит меня сидящей в полумраке подобно безмолвному и неподвижному призраку; да, именно призраку, в который я превратилась из того, чем я была для него прежде и — я знала это — уже перестала быть ныне. При этой мысли я бурно разрыдалась — отчасти от жалости к себе, отчасти из охватившей меня ярости, ибо я предвидела, что и на этот раз мне не удастся избежать языка комиксов. Потом я сказала себе, что если выра-

жения любви, как мне кажется, неизбежно условны, зато поступки ни в коем случае не могут быть условными, так как проистекают из самой глубины чувства. Слова — их легко могут произносить все, но лишь немногие способны к действию, и каждый действует по-своему. Но к какому действию? Неудержимо плача в уже сгустившемся полумраке комнаты, я сказала себе, что единственный поступок, соответствующий положению, в котором я оказалась, — это самоубийство. Да, только покончив с собой, я смогу доказать Витторио, а главное — самой себе, что моя любовь, хотя я и выражала ее штампованными фразами, была, несмотря на это, подлинной и искренней. А может быть, поскольку моя цель — не умереть, а лишь убедить, мне лучше ограничиться попыткой самоубийства? Но попытаться покончить с собой я должна честно, без всяких уловок. Так честно, чтобы мне делали промывание желудка, или я сломала бы себе ногу, или же у меня была бы огнестрельная рана, которая зажила бы не менее чем дней за сорок.

Я уже давно приготовилась к такой возможности. В сумочке я носила пистолет и тубик со снотворным. Сначала, по-прежнему сидя в темноте, я сжала маленький тяжелый пистолет с коротким стволом и приставила дуло к ребрам — чуточку пониже сердца. Я сразу же представила себе, как буду выглядеть: я лежу в кресле, в залитой кровью блузке, с еще дымящимся пистолетом в руке. Но кое-что вызывало у меня сомнение: прежде всего опасность умереть от потери крови, если Витторио, как обычно, запоздает; а кроме того, кто мне гарантирует, что в том месте, к которому я приставила дуло пистолета, нет какого-нибудь жизненно важного органа? Я опустила пистолет обратно в сумочку и, по-прежнему действуя на ощупь в темноте, вытащила тубик со снотворным, налила в стакан воды из стоящего на столике графина, отвинтила крышку тубика... но здесь я вовремя спохватилась, что абсолютно не знаю, какая доза может быть смертельной, а какая может оказаться, назовем это так, летаргической. Короче говоря, тубик последовал за пистолетом на дно сумочки. В эту минуту из прихожей донесся звук открываемой двери.

✦ Витторио, ибо это был он, заглянул в гостиную; из-за приоткрывшейся двери на меня упал луч света, и он меня увидел. Он удивленно воскликнул:

— Это ты? Но что ты тут делаешь в темноте?
Я ответила замогильным голосом, какой, наверное, и должен быть у призрака:

— Витторио, так больше продолжаться не может.

— Штапованная фраза!

— Витторио, так, как я живу, лучше не жить совсем.

— Общие слова!

— Прощай, Витторио, моя кровь падет на твою голову!

Я встала с кресла, направилась напрямик в ванную, заперлась изнутри на ключ, зажгла свет. Окно было распахнуто настежь, квартира находилась на третьем этаже; сейчас я выброшусь из окна. Я знала, что если прыгну стоя, ногами вниз, то упаду на клумбу и, самое большее, сломаю ногу. В школе я была чемпионкой по прыжкам с шестом и в таких вещах разбиралась. Всклываясь, с лицом, залитым слезами, которые бежали неудержимым потоком, я подошла к окну и свесилась вниз, чтобы определить высоту. Но здесь, в ту минуту, когда я уже приготовилась прыгнуть, я вдруг заметила лежащий на мраморном подоконнике журнал фотокомиксов. Его, конечно, оставила там прислуга Витторио, которая, как я знала, потребляла их в огромном количестве. Но и сам Витторио мне однажды признался, что эти фотокомиксы — также и его тайная и постыдная страсть. На обложке была фотография: героиня, красивая, тщательно причесанная темноволосая девушка, стояла во весь рост на подоконнике, и изо рта у нее выходило облачко с надписью: «Прощай. Иногда вспоминай обо мне». Позади нее, в дверном проеме, виднелось испуганное лицо молодого человека, и его облачко гласило: «Боже мой, Джильда, что ты делаешь? Ты сошла с ума!» Это продолжалось всего лишь какое-нибудь мгновение, но одно из тех мгновений, в которые, как говорится, перед глазами проходит вся жизнь. Я слезла с подоконника и, не обращая внимания на удары, которыми осыпал дверь Витторио, подошла к зеркалу и посмотрела на себя. Значит, подумала я, даже самый прочувствованный и доподлинно непосредственный поступок в конечном счете оказывается всего лишь пародией: значит, даже самое искреннее желание умереть лишено подлинной непосредственности. Я помедлила еще несколько секунд, а потом открыла Витторио,

который ворвался в таком волнении, что чуть было не сшиб меня с ног. Я сказала ему:

— Игра окончена.

— Какая еще игра?

— Ловля избитых фраз. С сегодняшнего дня мы с тобой будем говорить так, как придется. И поступать будем тоже так, как придется.

Он смотрел на меня, не скрывая своего изумления. Обняв его, я закончила:

— Мы с тобой двое несчастных, которые выросли в мире иллюстрированных журналов, комиксов, телевидения, радио, кино и бульварных романов. Признаем это раз и навсегда, успокоимся и не будем больше об этом думать.



БАНДА ВЗЛОМЩИКОВ

ойдя в кабинет, я напрямик направилась к кушетке, но доктор меня остановил, сказав:

— Сегодня сеанса не будет!

Мы посмотрели друг на друга.

Доктор лыс. Он носит очки с толстыми стеклами, которые как-то странно увеличивают его голубые зрачки, делая их похожими на два маленьких остекленевших водоворота. Нос у него острый, хрящеватый, слегка скошенный набок и потому напоминающий сверло. Под этим «испытующим» носом зияет круглая дырка рта, окруженная концентрическими морщинками, тонкими, как след бритвы. Рост у доктора высокий, комплекция внушительная, плечи широкие, ноги толстые. Он любит сидеть, заложив ногу на ногу, выставив на обозрение свои мощные мускулистые белые икры над короткими эластичными носками. В облике его есть что-то грубое, низменное, и тем не менее...

Но дадим слово ему самому. Помолчав немного, он своим холодным, неприятным голосом объявил:

— Дорогая синьора, вы лечитесь у меня ровно год. Я считаю своим долгом сказать вам, что вы совершенно здоровы и в моих услугах больше не нуждаетесь.

Я тотчас возразила:

— Что вы, доктор! Я плохо себя чувствую. У меня же тяжелый, тяжелейший невроз!

— Вы совершенно здоровы. Единственное отклонение от нормы, какое я у вас заметил, это желание во что бы то ни стало меня соблазнить. Да и то неизвестно, является ли это отклонением от нормы. Послушайте, что я вам скажу: вы красивы, молоды, богаты; к тому же живете отдельно от мужа — ситуация, как говорится, идеальная. Я, к сожалению, вас не люблю, я люблю свою жену, хотя она не так молода и не так хороша, как вы. Никакого желания заводить так называемый роман у меня тоже нет: подобные истории, получая огласку, весьма губительно сказываются на карьере. Исходя из этих соображений, я полагаю, что нам с вами лучше не встречаться.

Все это он произнес самым решительным тоном, после чего встал и мелкими шажками засеменил к двери, то и дело остаиваясь и повторяя:

— Прошу вас, синьора, прошу, прошу, прошу!

Я вернулась домой как в тумане, без единой мысли в голове, ошеломленная, не в силах ничем заполнить образовавшуюся пустоту.

Войдя в подъезд и направляясь к лифту, я увидела, что возле кабины остановился какой-то парень — обычный волосатый стилига из самых заурядных: тусклые темные кудри разделены надвое, а посредине торчит орлиный пиратский нос; глазки маленькие, мягкий рот кривится в брезгливой гримасе, а под бородежкой клинышком угадывается отсутствие подбородка. Одет как они все: куртка сардинского пастуха из овечьей шерсти, джинсы, кеды.

Мы вместе входим в лифт и вместе выходим около моей двери. Лишь тогда выясняется, что он — ко мне: спрашивает, не куплю ли я туалетного мыла (у него на ремне через плечо большая сумка).

Я приглашаю его войти и иду в спальню за деньгами — при себе у меня денег не оказалось, — но вернувшись, обнаруживаю, что парня и след простыл и что с полки исчезли две серебряные вазы. Я, не долго думая, кинулась вдогонку. Какой нахал: спускается себе, не торопясь, одной рукой держится за перила, другой придерживает свою сумку на ремне и еще насвистывает! Я его догнала и, запыхавшись, предложила:

— Не поднимешься ли на минутку?

Он, нисколько не удивившись, посмотрел на меня и утвердительно кивнул. Входя в квартиру, я спросила:

— Как тебя звать?

— Доменико,— ответил он.

Вы, конечно, помните про знаменитую банду взломщиков? В газетах одно время много о ней писали. За несколько месяцев были ограблены одна за другой одиннадцать квартир. Так вот, никакой банды не было: орудовали мы вдвоем, Доменико и я. Действовали мы следующим образом. У меня много знакомых в театральных кругах, среди киношников и иностранцев. Квартиры, в которых они живут, как правило, имеют две особенности: находятся на самом верхнем этаже и на ночь остаются без прислуги. В день ограбления я звонила очередной жертве и незаметно выведывала планы на вечер — главным образом точное время возвращения домой.

Затем все происходило по раз и навсегда выработанной схеме. Мы с Доменико забирались на какую-нибудь террасу в доме по соседству. В Риме это просто, потому что обычно двери на террасу либо вовсе не запирают, либо запирают на старинные засовы, которые ничего не стоит отомкнуть согнутым гвоздем. Итак, мы прятались где-нибудь среди развешенного для сушки белья и ждали своего часа. Затем, перепрыгивая с одной террасы на другую, добирались до места назначения. Если окна квартиры были зарешечены, Доменико ломиком раздвигал железные прутья, затем осторожно выдавливал стекло, запускал руку внутрь и открывал задвижку. Я, миниатюрная и верткая, влезала в квартиру, а Доменико стоял на стреме. Брала я преимущественно мелкие предметы: безделушки, статуэтки, пепельницы. Краденое мы сваливали в сумку вместе с инструментом и тем же путем возвращались домой.

Но если технику краж мы довели до совершенства, то о наших отношениях этого сказать было нельзя. Любовниками мы стали некоторым образом именно потому, что были сообщниками. Общие переживания породили любовь, но в глубине души я питала к Доменико одно лишь презрение. С виду стилига, он по своему внутреннему складу был просто мелким буржуа, мешанином. Воровать он стал только для того, чтобы как-то зацепиться в Риме, иначе пришлось бы возвращаться

в родное захолустье. Но теперь, когда он жил на мои средства, он предпочитал не рисковать. Ему нравилось жить в свое удовольствие, а удовольствие заключалось в том, чтобы вести растительное существование, пышно именуемое «созерцательным образом жизни», но в действительности сводящееся к безделью. Я никогда не видела его с книгой; он почти никогда не слушал музыку, а если слушал, то эстрадные песенки; танцевать не умел и не любил; при гостях немел, чему, впрочем, можно было только радоваться, так как он был законченный невежда и к тому ж начиненный предрассудками.

Так вот, поначалу Доменико и слышать не хотел о том, чтобы снова идти воровать. Пришлось его припугнуть: пригрозить, что выставлю на улицу или выдам полиции. С другой стороны, у него, человека с практической сметкой, разрывалось сердце от сознания, что он не может пустить в дело наворованные вещи, которые я неизменно изымала и сваливала на чердаке в сундук с тряпьем. Доменико все время твердил, что если бы он мог их продать, он бы сколотил капиталец и осуществил свою заветную мечту: открыл собственное дело — магазин почтовых марок. Короче говоря, из нас двоих он был муравьем, а я — легкомысленной стрекозой, хотя на первый взгляд за стрекозу можно было принять скорее его, длинноволосого стилиягу, чем меня, состоятельную элегантную даму.

Этот период моей жизни особенно мне запомнился из-за полнолуний: ведь каждая полная луна освещала террасу моих обворованных приятелей! Я глядела на нее и чуть не плакала от восторга при мысли о том, что наконец-то впервые в жизни подвергаюсь настоящему риску! До того времени я никогда ничем не рисковала. Этим и был вызван мой невроз: ведь что бы я ни сделала, деньги заведомо не только ограждали меня от опасности, но устраняли с моего пути малейшие препятствия. Мне думается, что с этим ощущением риска сопряжены были и редкие вспышки любви к Доменико; во всяком случае, в те дни, когда мы не совершали набегов, я его просто ненавидела.

И вот все пошло прахом. Я всю жизнь повинуюсь инстинкту, голова у меня работает не ахти как. Я инстинктивно строила глазки своему психиатру, инстинктивно же решила совершить кражу в его кабинете.

Почему именно у него, я поняла лишь в последнюю минуту, готовясь с Доменико к «операции».

Рассказав Доменико историю своих отношений с доктором, я под конец созналась:

— Сама не пойму, почему мне так улыбается идея его обокрасть...

Человек приземленный, начисто лишенный воображения, Доменико не обратил внимания на мои слова. Но я почти тотчас же сама дала себе ответ. Ясное дело: я его еще любила, своего доктора. Кража, в сущности, была лишь способом так или иначе восстановить прерванные отношения.

Наступила намеченная ночь. Было одно из тех роскошных полнолуний, которые сводят меня с ума, от которых я прямо-таки заболеваю волчьим недугом. Пока Доменико привычно орудовал ломом, я смотрела на небо. Вдруг — клянусь жизнью! — мне почудилось, что луна белеет совсем как докторова толстая нога, вернее, что она и есть его нога! Огромным усилием воли заставив себя оторваться от этой восхитительной картины, я встала на подоконник, легко спрыгнула в комнату, притаилась за портьерой и стала прикидывать, что бы мне взять. Наконец я остановила свой выбор на массивном малахитовом пресс-папье величиной с голову ребенка, которое доктор держал на письменном столе около лампы. У меня мелькнула мысль, что потом можно будет изобразить дело так, будто я обнаружила украденное пресс-папье в каком-то магазине, и отнести его доктору домой, а там чем черт не шутит...

Стол — я это отлично помнила — стоял в глубине комнаты, как раз напротив окна. Я раздвигаю занавеску и делаю в темноте несколько шагов в нужном направлении.

Вдруг на письменном столе загорается лампа: за столом сидит доктор, смотрит на меня в упор и медленно произносит:

— Добрый вечер! Меня предупредил некий Доменико.

— Мерзавец!

— В данный момент мерзавец уже далеко. Вы ему надоели, и, перед тем как уехать, он просил меня довести это до вашего сведения. Он сказал также, что намерен начать новую жизнь: открыть торговлю марками. Признаться, странный способ начинать новую жизнь...

Я была совершенно подавлена. Но взглянув под стол и увидев, что доктор сидит, заложив ногу на ногу — демонстрирует свои белые икры, я вспомнила о луне. И тогда, в который раз, меня снова выручил инстинкт. Я подошла к кушетке, легла и говорю (доктор опять оказался у меня за спиной, как положено во время сеанса психоанализа):

— Теперь вы больше не скажете, что я не больна! За шесть месяцев я ограбила одиннадцать квартир своих знакомых. Крадеными вещами я не воспользовалась. Наверное, их заграбастал этот дурак, чтобы начать новую жизнь. Но до вчерашнего дня все было в целостности и сохранности.

Воцарилось долгое молчание. Наконец я услышала знакомый скрипучий голос. Доктор сказал:

— В самом деле... Но сейчас пора спать. Увидимся завтра. Одну минуточку, я загляну в свою записную книжку... Мы увидимся с вами в шесть часов.



ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ПРАЗДНИКОВ

родилась в небольшом городе, в Центральной Италии, неподалеку от моря. Город наш неказистый, хоть и старинный; несмотря на многовековую историю, в нем нет никаких исторических или художественных ценностей, никаких монументальных сооружений. Много веков подряд он не представлял собой ничего особенного, но в последнее время разросся, отстроился, стал довольно современным. На центральной площади стоят хоть и давнишние, но уродливые особняки, церковь — далеко не памятник старины, и растут не ахти какие деревья, кажется платаны.

Центр представляет собой лабиринт извилистых улочек с незатейливыми домишками, а дальше начинаются новые, широкие, обсаженные олеандрами прямые проспекты; они тянутся вплоть до городской черты и застроены незатейливыми особнячками.

Есть в нашем городе кое-какая промышленность, так или иначе связанная с деревней; много зажиточных се-

мей — врачей, адвокатов, коммерсантов; дела их идут неплохо, поскольку наша экономика процветает.

Спрашивается, зачем я описываю свой город? А вот зачем: я так его люблю, что, даже выйдя замуж и переехав в Рим, сумела как бы воссоздать привычную обстановку и зажечь своей прежней жизнью. Мы поселились в новом районе, состоявшем из центральной площади и нескольких выходящих на нее улиц. Он был точной копией моего родного города; не важно, что вокруг него царила столичная суматоха, этого можно было и не замечать.

На нашей площади в Риме, так же как на площади моего родного города, было все что нужно: церковь, кино, всевозможные магазины — продовольственные, хозяйственный, готового платья, писчебумажный и книжный, а также бензоколонка, универмаг и супермаркет.

Мы жили неподалеку от площади, на шестом этаже многоэтажного дома — вся улица застроена такими домами. Мне повезло: случайно выяснилось, что в нашем доме живет одна женщина, вдова, родом оттуда же, откуда и я. Мы с ней подружились, она меня познакомила с другими земляками, жившими по соседству. Для меня это было очень важно, потому что я говорю с сильным диалектальным акцентом и общение с людьми, чей выговор походил на мой, создавало у меня полное впечатление, что я не уезжала из дома.

По воскресеньям мы ходили все вместе в церковь, по субботам — в кино, через день — в кафе. Я проводила время точно так же, как у себя в городе: утром отправлялась на площадь за покупками, а часов в шесть-семь — на прогулку. Римская жизнь моя протекала, стало быть, точь-в-точь как до замужества, когда я была девушкой и жила с родителями в провинции. В центре Рима, во всех этих знаменитых местах вроде улицы Венето, улицы Кондотти, площади Колонны и площади Пополо, я бывала от силы раза два-три в год.

Иллюзию, будто я не покидала родного города, особенно поддерживали во мне праздники. У нас в провинции праздники соблюдают истово — даже если не верят в то, что празднуют. Соблюдают все праздники подряд — и старинные народные, и церковные, и особенно семейные: дни рождения, годовщины и тому подобное. Ну, и официальные, конечно, тоже.

Живя в Риме в окружении земляков, я вполне могла

продолжать эту традицию: отмечать все наши праздники. Кое-какие из них празднуют и в столице — правда, немного иначе. Например, карнавалу у нас придают гораздо большее значение, дожидаются его с нетерпением весь год, — так уж повелось с незапамятных времен. А в Риме пошумят-пошумят — главное, чтобы позабавить ребятишек, — и хватит.

Надо сказать, муж мой совершенно не разделял моих вкусов. Хоть он и родился в одном городе со мной, но еще мальчишкой уехал в Америку учиться. Вернулся он настоящим «американцем»: неизменно носил темные костюмы из легкой ткани, белые рубашки и темные галстуки. А свои русые волосы стриг, как немец, «под бокс» — с боков под машинку. Даром что очкарик — всегда сердитый был, напористый.

По специальности он нефтяник, и большую часть года ему приходилось разъезжать. Ездил он всегда в одни и те же страны — в Иран, на Ближний Восток и в Ливию; иной раз наведывался и в Латинскую Америку, точнее в Венесуэлу.

А я путешествовать не охотница. Муж много раз звал меня с собой, но я отказывалась. С этого и начались наши размолвки. «Ты, — говорит, — провинциалка, деревенщина».

Как-то вечером открыла я географический атлас и красным карандашом начертила на карте мира круг: красная линия начиналась от Ирана, пересекала Ближний Восток и Ливию, захватывала Венесуэлу и через Рим снова замыкалась на Иране.

Я пояснила:

— Каждый день, выйдя из дома, я делаю круг — обхожу площадь и возвращаюсь домой. При этом я вижу всегда одних и тех же людей и делаю одно и то же.

— То есть ухитряешься жить в столице так, словно не уезжала из провинции!

— Ты же выезжаешь из Рима в Тегеран, затем едешь в Риад, оттуда в Триполи, из Триполи — в Каракас и снова в Рим. При этом ты тоже видишься с одними и теми же людьми и делаешь одно и то же, не так ли?

— В общем, да.

— Тогда в чем разница между моим образом жизни и твоим? Только в том, что я делаю круг в несколько сот метров, а ты — в несколько тысяч километров. Зато

моя жизнь куда разнообразнее! Ты встречаешься только с людьми, которые занимаются нефтью, и говоришь с ними только о нефти. Я же общаюсь с разными людьми, и беседуем мы о всякой всячине.

— И все равно ты провинциалка, деревенщина, а я современный, культурный человек.

Больше всего его бесили праздники. Он их ненавидел, уверял, что у него свои знаменательные даты, не совпадающие с общими: например, день повышения жалованья или покупки нового, большего автомобиля, и что никому нет дела до его праздников, а ему нет дела до чужих.

Об общих праздниках, которые положено соблюдать просто потому, что такова традиция, он и слышать не хотел. Я же твердила:

— А мне все праздники нравятся, я люблю и рождественскую елку, и конфетти в дни карнавала, и крашеные яйца на пасху, и поездки за город на Феррагосто. Даже день поминовения усопших, когда все несут на кладбище хризантемы, и тот мне по душе!

— Да! Тебя хлебом не корми, только дай повеселиться!

— Если бы отменили праздники, это было бы все равно что питаться всухомятку, вместо того чтобы сесть за стол и как следует пообедать. Все равно что переселиться из квартиры в пещеру...

— Какая ты все-таки дремучая дикарка!

— Сам ты дикарь! Будь твоя воля, ты бы отменил все на свете, даже одежду. Хорошо бы мы выглядели: ходили бы нагишом и я, и ты, и дочка — и жили бы в гроте.

Я забыла сказать, что у нас тем временем родилась дочь, Джаннина. Внешне она походила на отца, но когда немного подросла, оказалась вся в меня: те же вкусы, те же пристрастия. Она любила нашу площадь, нашу церковь, наши магазины, наши кафе. И главное, обожала праздники.

Близился карнавал. Джаннине исполнилось пять лет, и я решила сводить ее на бал-маскарад. Это был бы первый в ее жизни костюмированный бал, и я не хотела, чтобы он оказался последним: надо было сделать так, чтобы он произвел на нее неизгладимое впечатление, запомнился на всю жизнь. Муж мой находился, как всегда, в отъезде, где-то на Ближнем Востоке.

Мы с моей приятельницей-вдовой долго обсуждали, что надеть. Мне, стройной брюнетке, по ее мнению, хорошо бы нарядиться пираткой, а дочке — она у меня светло-волосая, совершеннейший ангелочек! — надеть костюм феи с остроконечной шапочкой, усеянной звездами и полумесяцами, с волшебной палочкой в руке. Наконец, после долгих споров, я решила нарядиться испанкой, вернее испанской цыганкой: черная мантилья, гребень на затылке, кастаньеты. А для дочки выбрала костюм придворной дамы восемнадцатого века: ей полагалось надеть седой паричок, платье с кринолином и глубоким вырезом, загримироваться, наклеить множество мушек и взять в руки веер.

Как мы с ней были хороши! Как нам шли наши наряды! Я — вся в черном, загадочная, пылкая, полная колдовских чар. А затянутая в яркие шелка Джаннина, благодаря белилам, туши и помаде, казалась не только взрослой, но вызывающе кокетливой.

Мы как раз вертелись перед зеркалом, когда в прихожей послышался шум: неожиданно нагрянул муж. Он был в белом костюме — видно, только что из жарких арабских стран. Увидев Джаннину, он молча взял ее за руку, увел в ванную и, намочив полотенце, за несколько секунд уничтожил плоды моих многочасовых трудов: смыл и пудру, и белила, и помаду, и тушь, и мушки. Но когда он начал стаскивать с нее платье, я вмешалась. Не помню уж, что мы друг другу говорили, — наверное, завели все тот же спор, кто из нас дикарь, он или я. Однако на сей раз разговор шел в весьма повышенных тонах, сопровождался криками и взаимными оскорблениями и кончился рукоприкладством: муж впервые за шесть лет нашей совместной жизни надавал мне пощечин.

Я схватила дочку, мы с ней выскочили на улицу, я — в костюме испанской цыганки, она — как маленькая мадам де Помпадур, сели в машину и уехали.

Я просидела за рулем три часа без передышки. До моего родного города мы добрались около полуночи. Мама, увидев нас в маскарадных костюмах, по наивности своей воскликнула:

— Неужели вы приехали на бал-маскарад к нотариусу Джурлани?

Я не стала ее разубеждать. В конце концов зачем

было лишать девочку такой невинной радости, как первый в жизни костюмированный бал?!

Мы отправились на маскарад и имели большой успех. Вернулись под утро, смертельно уставшие, обсыпанные конфетти, опутанные серпантинном.

В столицу я больше не вернулась: мы с мужем расстались. Я его видела недавно в приемной моего адвоката, в Риме, когда ездила улаживать свои семейные дела. Он был любезен, но держался отчужденно. Спросил меня, что я поделываю. Я ответила:

— Живу, как всегда.

Я спросила у него, что поделывает он. Он сказал:

— Живу, как всегда.

В подтверждение своих слов я собиралась в тот же вечер вернуться к себе в провинцию, а он через пару часов должен был отправляться на Ближний Восток.

Мы расстались почти друзьями. Он сказал:

— Мы не понимали друг друга. Мы — люди разных культур.

Я ответила:

— При чем здесь культура! Мы с тобой окончили одну и ту же школу. Просто я люблю праздники, а ты — нет.



КРАСИВЕЕ, ЧЕМ ТЫ

Когда я была маленькой, мама, — наверное, чтобы я не догадывалась, какие мы бедные и какая неказистая у меня кукла, «кукла для бедных девочек», — научила меня песенке, в которой были такие слова:

Кукла, моя кукла! Ах! как ты красна!
Чуть ли не красивее, чем я!

Это было неправдой — так сказать, ложью во спасение: я была гораздо красивее своей куклы. Мы действительно были бедны, но красотой бог нашу семью не обидел.

С годами я не подурнела, напротив, все хорошела: в пятнадцать лет была красивее, чем в десять, а в во-

семнадцать красивее, чем в пятнадцать. Я была так хороша, что как-то летом, когда мы отдыхали на морском курорте, меня избрали королевой красоты. Среди членов жюри конкурса красоты был один промышленник, мужчина средних лет. По-моему, если бы устроили конкурс уродства, он наверняка получил бы первую премию.

На следующий день он пришел на пляж меня поздравить. На нем были не то плавки, не то трусики — не поймешь, а на ногах какие-то кургузые носки, едва доходившие до щиколоток. Мне сразу бросилось в глаза, что оба эти предмета туалета были какие-то непонятные: ни то ни се.

Пока он рассыпался в комплиментах, я смотрела на него и думала: отчего он кажется таким некрасивым? Что он уродлив, было очевидно, но почему? Наконец я поняла: он производил впечатление какой-то неуклюжей, неудачной заготовки, болванки, которой так и не придали законченную форму. Не лысый, но и без шевелюры; глаза — ни светлые, ни темные, нос — ни прямой, ни горбатый, губы — ни тонкие, ни толстые; плечи широкие, как у человека высокого роста, а ноги короткие, как у низкорослого. Даже речь его — нечто среднее между диалектом и литературным языком — была какая-то косноязычная.

После нескольких визитов этот уродливый человек осмелился просить меня, писаную красавицу, стать его женой! Я знала, что он очень богат, но не это заставило меня принять его предложение. Дело в том, что он говорил властным тоном, а у меня мягкий характер, я податлива, пассивна. Когда он, взяв меня за руку, сказал: «Я хочу, чтобы ты стала моей женой» (заметьте: не «хотел бы», а «хочу»), я не смогла ему отказать и ответила «да».

Так и повелось: он всегда говорил «я хочу», а я неизменно отвечала «да». Он захотел, чтобы я его любила, и я его полюбила. Он захотел, чтобы я жила на вилле в пятидесяти километрах от Рима, рядом с его заводом, и я не возражала. Он захотел, чтобы со мной жили его родственники: бабушка и дедушка, родители, две незамужние сестрицы, брат — целый разветвленный клан, — я и с этим смирилась. Наконец, он пожелал, чтобы у нас были дети, и я родила ему двоих детей.

Как я уже сказала, он был богат, вернее очень бо-

гат Так, например, наша вилла, по его же собственным словам, обошлась ему более чем в подмиллиарда. Это не дом в старинном стиле, какие сооружали когда-то богатые люди, тягаясь с местными дворянами. Нет, мой муж увлекается современным, и нашу виллу скорее можно назвать «машиной для жилья», чем просто жилищем. Одноэтажная, сплошь из стекла, мрамора и металла, она распласталась среди зелени наподобие огромного жесткокрылого насекомого: вот-вот расправит крылья и улетит!

Это впечатление усугубляется обстановкой. Обставлена вилла роскошно, но в ней нет ни одной вещи, сделанной руками кустаря, — пусть не ахти как, но с любовью. Здесь все изготовлено на станке, с рациональной автоматической точностью машины. Даже цвета тканей, вполне определенные и броские, больше ассоциируются с лакокрасками, применяемыми в промышленности, нежели с полутонами, которые любят художники.

Эта безупречная «машина для жилья», естественно, оснащена не менее безупречными «машинами для быта». Муж одержим манией механизации, и наша вилла превратилась в музей всякого рода аппаратуры. Есть машины для развлечения — телевизоры, радиоприемники, проигрыватели, кинопроекторы. Есть машины для питания — плиты, духовки, холодильники, взбивалки; машины для поддержания чистоты — для стирки белья, для мытья, для бритья. В подвале имеется гимнастический зал со всем необходимым для физкультуры, а в глубине парка святая святых: большой гараж, где муж держит свои автомобили, девять штук — три машины-люкс, три вместительных семейных автомобиля и три малолитражки. Он их все время меняет: вместо устаревших моделей покупает новые. По-моему, он ими даже не пользуется, ограничивается тем, что подолгу смотрит на них как замороженный. В лучшем случае прокатится раз-другой по парку для пробы, и все.

Мне хочется подчеркнуть, что машины, напротив, имеют законченную форму, по крайней мере, так мне кажется, — потому они и красивы. А сама форма, в свою очередь, диктуется соображениями рациональности и эффективности. Короче говоря, эти машины — не неудачные полуфабрикаты, а как раз то, чем им положено быть.

В этой роскошной вилле, где все сверкает, где все

так рационально и безукоризненно, бок о бок со мной живет целая ватага безобразных, неуклюжих «полулюдей» — родня моего мужа. Так же, как и он, они уродливы не потому, что уроды (прошу простить невольную игру слов), а потому, что бесформенны. Глядя на них, можно подумать, что природа собиралась сделать полноценные человеческие существа, но почему-то не довела свой замысел до конца и в ожидании лучших времен пустила их гулять по свету в таком незавершенном виде.

Я уже упоминала об их косноязычной, наполовину диалектальной речи: видимо, она отражает их неоформленный образ мыслей. Та же неопределенность и в их одежде — то ли деревенской, то ли городской, не поймешь.

Как это ни грустно, но мои сын и дочь пошли в отца, больше похожи на членов его клана, чем на меня.

Однажды муж привез с собой из Рима приятеля, с которым когда-то вместе учился. Муж мой, как принято говорить, сам выбился в люди. Во всяком случае, сильно разбогател. Приятель же его, напротив, в люди не вышел, а остался тем, кем был, таким же бедняком, как двадцать лет назад: он преподает в средней школе. Не думаю, чтобы муж действительно питал какие-то дружеские чувства к этому человеку, которого в глубине души наверняка считает неудачником. Просто подумал: «Он видел, с чего я начинал. Пусть посмотрит, чего я добился».

Каков он с виду, этот учитель? Повстречай я его где-нибудь в другом месте, я бы, наверное, не обратила на него внимания: ничем не примечательная личность. Но когда я вошла в гостиную и увидела его среди «полулюдей», то есть мужниной родни, я мысленно воскликнула: «Какой красивый человек!» При ближайшем рассмотрении оказалось, что эпитет «красивый» не совсем точен. Учитель не был красив, он был таким, каким должен быть обыкновенный человек, если он являет собой удачный, законченный человеческий тип.

Муж представил его родне и повел осматривать виллу. Мы обошли весь дом, муж распахивал двери, а учитель неизменно восхищался: «Прекрасно, прекрасно, прекрасно». Но в тоне его звучало что-то похожее на издевку. Обойдя все спальни, гостиные и кухни, мы, наконец, вышли из дома и направились в гараж. Как раз

за несколько дней до этого муж купил великолепную машину английской марки; мы уселись все трое на переднее сиденье и прокатились сначала по парку, а потом по шоссе. Учитель так старательно бубнил: «Прекрасно, прекрасно, прекрасно», что мне в какой-то момент захотелось его одернуть: «Хватит иронизировать! Машина в самом деле отличная!»

Но тут мне бросились в глаза лежавшие на руле простецкие грубые руки моего мужа, и мысли мои приняли иное направление. Я себя спросила: «А может быть, между уродливостью этих рук и красотой автомобиля есть какая-то связь?»

Мы вернулись домой. Клан разбрелся по комнатам. Муж сказал, что ему нужно на завод, и распрощался. Мы остались одни: учитель, дети и я. Учителю было явно не по себе. Он сказал:

— Прекрасный дом. Столько красивых вещей... Но знаете, какая из них самая красивая, самая восхитительная?

— Какая?

— Вы!

Комплимент был старомодный и, возможно даже, не совсем искренний, но на меня он произвел впечатление вспышки молнии в ночи... Я всегда удивлялась, почему обладание такой прекрасной виллой не доставляло мне никакого удовольствия. И вдруг при слове «вещь», которое учитель не совсем кстати употребил в отношении меня, я прозрела: я потому не могла гордиться наводнявшими виллу красивыми вещами, что сама была вещью, одной из многих вещей. — по крайней мере, для моего мужа! Мне вспомнилась шикарная машина, которой я только что любовалась, и я подумала: нет, я не родственница всех этих шуринов, дядей, тетей, бабушек, дедушек, родителей, двоюродных братьев и сестер; мои роскошные черные волосы, красивые голубые глаза, изумительный рот, безупречная фигура свидетельствуют о том, что я сродни не им, а этой великолепной машине, мы с ней — одной породы (я чуть было не сказала: однокровки).

Учитель тем временем в замешательстве разглядывал моих детей. Я сказала:

— Они у меня некрасивые, в отца.

Он ничего не ответил — видимо, согласился. Я продолжала:

— Этот дом битком набит красивыми вещами и некрасивыми людьми.

Учитель вздохнул и немного погодя изрек:

— К сожалению, характерной чертой нашей культуры является то, что вещи, которые она создает, гораздо красивее тех, кто ими владеет и пользуется.

— Но есть же на свете красивые люди.

Я думала о себе. А он, быть может, тоже думая обо мне, ответил:

— Они перестают быть людьми и становятся вещами.

К нему подошла моя дочка-дурнушка. В руках она держала свою роскошную современную куклу, одетую, как модная дама; на кукле были мини-юбка, туфли на высоком каблуке, колготки и бюстгальтер.

Девочка похвасталась учителю:

— Правда, у меня красивая кукла?

И он, сам того не зная, почти процитировал песенку моего детства:

— Красивая, очень красивая! Чуть ли не красивее, чем ты.



СКУЧНЫЕ ЛЮДИ

Мы сидим в машине, машина встала: на дороге затор, скопилось с сотню автомобилей; светофор мигает лениво и бессмысленно, как глаз сонного человека. Зеленый свет сменяется желтым, желтый — красным, потом опять появляется зеленый, а колонна ни с места.

Мы сидим и ругаемся. Точнее, пикируем, высказываем друг другу печальные истины, которых дома из-за детей никогда не касаемся.

— Ты лгун! Можно подумать, что ты и правда едешь к своему компаньону! На самом деле ты рвешься к своей ведьме. И вдобавок я же должна тебя везти!

— Скажите на милость! Я же молчу, когда ты отправляешься «в парикмахерскую». Знаю я этого парикмахера! Он по совместительству архитектор и живет на Авентино в апартаментах из десяти комнат.

— Да, но во всем остальном я тебе не лгу. А ты без лжи — ни шагу. Ложь — твоё хобби!

— Каждому свое. Пусть я лгу, зато ты ворующь.

— Ах, ты еще смеешь обзывать меня воровкой?!

— Воровкой не воровкой, но то, что ты снимаешь «верхушку» с денег, которые я даю на хозяйство, это факт. И немалую!

— Жизнь заставляет! Надо же подумать о будущем, о детях. Ты со своим компаньоном, того гляди, попадешь за решетку, это уж точно. Вот и приходится откладывать на черный день.

— Лучше уж сидеть за решеткой, чем дома. И знаешь почему? Чтобы не видеть твоей постной физиономии!

— Ну, знаешь, это уже слишком! Выходи из машины! Можешь взять такси...

Он рывком открывает дверцу, выскакивает из машины и, пробираясь среди пофыркивающих, подрагивающих автомобилей, лавируя между радиаторами и багажниками, удаляется.

Я гляжу вслед этому сорокалетнему мужчине в клетчатом пиджаке, с круглой, похожей на тонзуру, лысиной на макушке и вся киплю от возмущения и ненависти. Подумать только, что я, идиотка, его любила!

В этот момент застывшее на месте стадо автомобилей зашевелилось. Однако я вдруг поняла, что не пойду по магазинам: пропало желание. Я была взвинчена, чувствовала себя совершенно разбитой. Лучше ехать домой. Дома, по крайней мере, дети, десятилетняя Элиана и девятилетний Оливьеро и, на худой конец, телевизор.

Через несколько минут я была снова у себя, в Париоли. Поставив машину, я вошла в подъезд, села в лифт и поднялась на верхний этаж.

В передней я обратила внимание, что дверь в гостиную приоткрыта и в комнате кто-то разговаривает. Это были голоса Элианы и Оливьеро. Элиана говорила:

— Теперь ты будешь мамой, а я — папой!

Меня разбирает любопытство, хочется незаметно поглядеть, чем это они занимаются. Прощмыгнув через другую дверь в столовую, а оттуда — в кухню, я заглянула из-за ширмы в гостиную. Местом для игры детям служило свободное пространство перед камином. Элиана напялила отцовскую куртку, которая доходит ей до колен, и нахлобучила до самого носа папину же охотничью фуражку. Оливьеро просто надел мой светлый парик.

Он не согласен:

— Единственное, чего я не понимаю, это почему я, мужчина, должен изображать маму, а ты, женщина, папу! Не лучше ли сделать наоборот?

Элиана нетерпеливо возражает:

— Ты в самом деле ничего не понимаешь! Если тебе достанется мужская роль, а мне женская, то не понадобится играть!

— Почему?

— Да потому, что мы будем изображать самих себя!

— Понятно. Но что мне делать, чтобы походить на маму?

— В том-то и дело, что я сама не знаю...

— Как это «сама не знаешь»?

— Глупый! Об этом и речь: наши родители — само совершенство.

— Ну и что?

— А то, что комедия высмеивает недостатки. Например, если бы я сочинила комедию про тебя, я бы высмеяла твой главный недостаток: то, что ты трусишка, боишься всего на свете, особенно собак без намордников.

— У тебя тоже куча недостатков! Ты, например, сластена. Если бы я сочинил комедию про тебя, все бы узнали, какая ты сладкоежка!

— Да, но это — наши с тобой недостатки. А у папы с мамой недостатков нет. Значит, никакой комедии не получится. Теперь понял?

— Да, ты права. Я как-то об этом не подумал. Но у меня есть идея: почему бы нам не придумать им недостатки?

— Глупый! Если выдумывать, то с таким же успехом можно изобразить кого-нибудь другого, а не папу с мамой!

На какое-то время они замолкли. Немного погодя Элиана сказала:

— По-моему, надо отложить игру на другой раз. Мы не подготовились. Прежде чем изображать папу с мамой, надо за ними как следует понаблюдать. Тогда, вот увидишь, мы непременно обнаружим у них какие-нибудь недостатки и посмеемся вволю!

— Ничего мы не обнаружим.

— Почему?

— Потому что наши родители действительно само

совершенство. Можешь верить, можешь нет, но когда мама пришла вчера вечером пожелать мне спокойной ночи, мне даже показалось, что у нее вокруг головы сияние, как на образах великомучениц в церкви.

— Я считаю, что и папа — святой человек. Он такой добрый. Но ведь и у святых есть свои слабости.

Снова молчание — и голос Элианы:

— Решено, мы за ними понаблюдаем, но не для того, чтобы потом высмеивать, а для того, чтобы подражать!

— А как?

— Я усядусь в кресло с трубкой и с газетой, как папа. А ты сделаешь, как мама: сядешь напротив и будешь читать журнал. Время от времени мы с тобой будем прерывать чтение и беседовать.

— А что мы будем говорить?

— То же, что они!

Сказано — сделано. Элиана берет одну из многочисленных отцовских трубок, зажимает ее в зубах и опускается в кресло. Оливьеро, сидя напротив нее, перелистывает журнал мод. Затем девочка спрашивает:

— Дорогая, какой сегодня день?

— Четверг, милый!

— Знаешь, дорогая, тебе очень идет это платье.

— А я как раз хотела тебе сказать, милый, что тебе очень к лицу этот галстук.

— Дорогая, ну как тебе вчерашний фильм? Правда, интересный?

— Совершенно с тобой согласна, милый! Замечательно интересный фильм!

— Дорогая, что-то похолодало. Надо бы включить батареи.

— Я уже позаботилась, милый! Скоро будет тепло.

— Ну, дорогая, я пошел. Мне пора на работу. А ты что будешь сегодня делать?

— Я схожу к портнихе, милый. Она уже три недели шьет мне платье, все никак не закончит.

Тут Элиана вдруг залилась смехом, вскочила и закружилась по комнате, приговаривая:

— Догадалась, догадалась, догадалась!

— О чем?

— Я догадалась, какой у папы с мамой недостаток!

— Какой же?

— А вот какой: они скучные люди!



ВЫ СЛИШКОМ БЕДНЫ!

вышла замуж восемнадцати лет. Мужу моему было шестьдесят, зато он был именно таким человеком, о каком моя мать мечтала для меня еще до моего появления на свет: богачом. Однако внешность у него была совсем не такая, какая чаще всего бывает у людей, скопивших большое состояние; ни грубостью, ни толстокожестью он не отличался. Как раз наоборот. Из-под густой шапки белых как серебро волос на вас смотрело ласковое, розовое, приветливое лицо. Но самой примечательной его чертой были глаза — черные, погасшие, невыразительные. Взгляд их был до странности неподвижен, особенно когда он устремлял его на то, что вызывало (или на того, кто вызывал) у него особый интерес. Казалось, что вместо зрачков у него увеличительные стекла, подобные тем, какие вставляют в глаз ювелиры, рассматривая драгоценный камень. В глубине его зрачков никогда не отражалось незнание, удивление, восхищение или любопытство, а лишь безошибочное суждение о ценности того или иного предмета или (почему бы и нет?) человека, о ценности, выраженной прежде всего в деньгах или в другой форме, обратимой в денежные знаки.

И подумала я об этом, как ни странно, не после свадьбы — скажем, во время наших частых визитов к ювелирам и антикварам, — а до того, как он сделал мне предложение, когда ухаживал. Ухажером он был весьма почтительным, по крайней мере внешне. Но если вдуматься, чуть-чуть бесцеремонным. Во всяком случае, с точки зрения женщины, не желающей, чтобы ее рассматривали, как выставленную на продажу древнюю вазу Танг или фигурку майя. Мне же, молодой и неопытной, бесцеремонность эта льстила, щекотала нервы, так что под конец я в него влюбилась.

Он сидел в нашей жалкой гостиной (мы с матерью жили в двухкомнатной квартире и очень нуждались), почти ничего не говорил и только смотрел на меня. Впоследствии, после нашей женитьбы, я заметила, что он точно так же смотрит в магазинах на вещи.

Я, надо сказать, была очень хороша собой. Но в нем,

судя по его взгляду, красота моя вовсе не вызывала робости, не покоряла, как других. У него был вид человека, знающего, что при желании он может немедленно сей предмет приобрести, и изучает его лишь для того, чтобы точно определить, сколько он в данный момент стоит и какую пользу из него можно будет извлечь впоследствии.

Наконец мы поженились. Муж меня любил, я его — тоже. В течение двух лет брак наш был, можно сказать, счастливым. Но следует оговорить, что это была за любовь и какое это было счастье. Постараюсь объяснить это на том же примере (я имею в виду глаза мужа). Именно глаза, а не другие органы чувств служили ему для связи с действительностью, точнее с предметами, которые он неустанно приобретал. Его глаза устанавливали эту связь, укрепляли ее и в конце концов обрывали. Она проходила как бы два основных этапа: этап оценки и этап наслаждения покупкой. Первый протекал на глазах у торговцев, в магазинах. Муж бесконечно долго разглядывал предмет, не прикасаясь к нему, или же брал и долго вертел в руках, чтобы лучше рассмотреть своими остановившимися глазами сороки-воровки: вся его чувствительность сосредоточивалась в зрении, а не в осязании. Второй этап, этап наслаждения приобретенной вещью, протекал дома, у него в кабинете. Это была просторная комната с большим столом и множеством полок вдоль стен, где он располагал свои последние приобретения. Пока они находились в кабинете, это значило, что он еще ими не наслаждался. Как он ими наслаждался? Как вампир: своими погасшими глазами с неподвижным взглядом он «высасывал» вещь, как высасывают через едва заметную дырочку содержимое яйца. Высосанное яйцо, с виду целое, а на самом деле пустое, выбрасывают на помойку. Муж мой, «высосав» вещь, конечно, ее не выбрасывал, до этого не доходило; просто она безвозвратно исчезала из его кабинета. Помню, была у него великолепная греческая ваза с черными фигурами на красном фоне. Она долго стояла в кабинете, потом исчезла; много времени спустя я обнаружила ее в каком-то закутке.

Любовь мужа ко мне во всем походила на его любованье вещами. Он не мог на меня наглядеться; все смотрел, смотрел — за столом, в постели, в гостях, в баре, в театре, в саду, на пляже, в горах, среди

уличной толпы, в пустыне... В этом неотрывном, уже не холодно-оценивающем, а ненасытно-наслаждающемся взгляде и заключалась его любовь. Я, в свою очередь, была к нему очень привязана. Наверное, я питала к нему то же, что испытывали бы к своему хряину-фетишисту неодушевленные предметы, будь у них чувства: тут были и благодарность, и желание блеснуть своей красотой, и признание его превосходства.

И вдруг ни с того ни с сего муж меня разлюбил, буквально перестал смотреть в мою сторону! Мы жили по-прежнему, но он как бы удалил меня из поля своего зрения, как удалял из своего кабинета вещи, которыми вдоволь налюбовался. Правда, привязанность ко мне при этом не ослабла, а, напротив, в известном смысле усилилась. Пропало чувство собственности. Он стал относиться ко мне, как относятся к женщине, с которой связывает давняя близость. Короче говоря, я перестала быть для него вещью и стала человеком. Другая бы на моем месте обрадовалась, решила бы, что эта перемена — к лучшему, что она свидетельствует об укреплении супружеских уз. А я убивалась и ничего не могла с собой поделать; мне казалось, что меня «разжаловали», что положение мое пошатнулось, что я уже не та, что прежде. Да, да, мне было жаль того времени, когда я была лишь красивой, дорогой вещью, которую купили и которой любовались наравне с прочими вещами, и ненавистно положение жены, к которой питают обычные человеческие, почтительные нежные чувства.

Через год после этой моей метаморфозы — превращения из вещи в человека — муж умер. Таким образом, мы с ним прожили всего три года, а как «хозяин с вещью» — только два. Я вдруг оказалась в одиночестве, стала владелицей внушительного состояния и, увы, больше чем когда бы то ни было чувствовала себя женщиной, личностью, человеком.

Не буду вам рассказывать, как я жила эти последние годы. Откройте любой журнал мод, пробежите раздел светской хроники, и вы получите обо мне и о моей жизни полное представление, подкрепленное соответствующими фотоиллюстрациями: вот я катаюсь на лыжах по снежным склонам Кортины, загораю в бикини на Лидо, охочусь в Кении, ловлю рыбу в южных морях, веселюсь на костюмированном балу в Нью-Йорке, играю в гольф в Кенте, безумствую на бое быков в Мал-

риде; а вот я — завсегдатай игорных домов Майами, туристка, осматривающая развалины Персеполя, и так далее и тому подобное. Вы наверняка видели меня бесчисленное количество раз и, быть может, даже мне завидовали, хотя завидовать мне нечего: я никак не могу найти человека, который бы любил меня так, как я хочу, такой любовью, к какой приучил меня мой муж. В известном смысле я травмирована на всю жизнь; говорят, именно так калечат людей извращенные или слишком ранние половые отношения. Короче, мне надо, чтобы меня оценили, купили и использовали, как оценивают, покупают и используют редкую, дорогую вещь. Другие варианты любви меня не устраивают.

К сожалению, теперь мне куда сложнее, чем было когда-то, когда мы с матерью жили в двухкомнатной квартире и от охотников оценить, купить и использовать не было отбоя. Благодаря своему замужеству я перешла в ту категорию лиц, которые сами в состоянии купить все, что угодно, но стать чьей-то собственностью уже не могут.. Кто позволит себе такую роскошь, как «приобрести» меня? Я ясно отдаю себе отчет в том, что взгляд, который когда-то так меня будоражил, потому что хладнокровно оценивал мои данные, взгляд, который заставил меня влюбиться, когда я была бедна, такой взгляд теперь мог обратить на меня лишь человек, способный завладеть не только мной самой, но и моим несметным состоянием. Иначе говоря, человек этот должен быть богаче меня. С другой стороны, надо еще, чтобы он захотел владеть мною! Стало быть, шансы мои значительно сократились, если вообще не свелись к нулю.

Что я буду делать, не знаю.

В подтверждение своих слов я хочу вкратце рассказать одну историю — о том, как у меня чуть не завязался роман с одним молодым интеллектуалом, которого я встретила недавно в доме общих знакомых. Его острый ум, его необычайная, даже излишняя серьезность, а главное, новая для меня манера судить о вещах и о людях очень меня заинтересовали. Я стала с ним встречаться все чаще и чаще. Как правило, я назначала ему свидание на какой-нибудь площади, он ждал меня, я подъезжала на машине и забирала его, чтобы махнуть за город, иной раз довольно далеко. Мы с ним разговаривали. Мы только и делали, что разговаривали. Вернее, он говорил, а я слушала. Он был так разговорчив

и так красноречив, что я не раз ловила себя на мысли: вот если бы слова ценились на вес золота, он бы наверняка мог меня купить! Но увы, мой интеллеktуал был очень беден. В итоге он в меня влюбился. Я, как водится в таких случаях, поняла это по тому, как он на меня смотрел. Но его взгляд, обыкновенный страстный взгляд влюбленного, оставлял меня холодной. Мне нужно, чтобы во взгляде мужчины отражалась хладнокровная, безошибочная оценка моих данных, а на такой взгляд способно вдохновить только большое богатство, такое, которое может без труда поглотить даже мое огромное состояние. Если я стою, предположим, пять миллиардов, то взгляд должен располагать силой, равной, по меньшей мере, пятидесяти. Кстати, первоначальная диспропорция между моей бедностью и богатством моего мужа была намного больше.

Поэтому, когда мой влюбленный интеллеktуал сделал первую попытку сближения, я даже не раздумывая, машинально оттолкнула его, сказав:

— Нет, нет, прошу вас, мы с вами можем быть только друзьями! Чтобы стать моим любовником, вы слишком бедны.

Дело было за городом. Он не произнес ни слова, вышел из машины и зашагал по шоссе. Я его даже не окликнула. Сила его взгляда, когда он хотел меня поцеловать, исчислялась, увы, не пятьюдесятью миллиардами, а теми жалкими грошами, которые он получал раз в месяц от отца. Правда, я могла сделать с ним то, что некогда сделал со мной мой муж: оценить его, купить и использовать. По сути дела, на эту роль меня и обрекало отныне мое богатство. Но, как я уже сказала, первый брак меня травмировал. Боюсь, что мой удел — всю жизнь быть вещью в поисках хозяина.



СЕМЕРО ДЕТЕЙ

вышла замуж восемнадцати лет и за десять лет родила шестерых детей. Теперь ожидаю седьмого. В двадцать восемь лет шесть детей и седьмой на подходе — это нечто, скажем прямо, что может сразу

поразить кого хочешь. Поэтому всякий, кто к нам приходит, первым делом, как и положено, поздравляет меня со столь многочисленным потомством. Все говорят более или менее одно и то же — обычные и, вероятно, не слишком глубоко прочувствованные слова: «Какие прелестные дети... Какая прекрасная семья... какое это удовлетворение для вас, синьора... Какие прелестные малыши». Только один старик художник, друг моего отца, попытался более определенно сформулировать свое впечатление. Он долго-долго глядел на нас, на меня и детей, а потом растерянно забормотал:

— Материнство... Гм, материнство, в некотором смысле, меняет и людей, и животных... да, действительно, тигрица — это великолепный хищник... а тигрица с детенышами — это уже нечто совершенно другое... да, именно так... даже курица, самое примитивное и глупое существо на свете, со своими круглыми глазками-бусинками и дергающимися движениями, как у наряженного в перья автомата, даже курица, как только она превращается в наседку и водит за собой; гордо вышагивая, стайку цыплят, становится — как бы это сказать? — чем-то очень, очень грациозным...

Что я думаю обо всех этих комментариях? Да ничего или почти ничего, прежде всего потому, что считаю их неизбежными: разве можно не поздравить мать шестерых детей? А кроме того, потому, что из-за своего нынешнего положения (я уже на седьмом месяце) я пребываю в каком-то оцепенело-созерцательном состоянии — бездумном, неопределенно-радостном ожидании. Так как сейчас весна и уже тепло, я чаще всего сижу под навесом нашей маленькой виллы и сонно гляжу на окружающих меня детей. Те, что постарше, бегают и дерутся друг с дружкой, младшие ползают на коленях или учатся ходить в манежах из ивовых прутьев, а самый маленький лежит на спинке, укрытый шерстяным одеяльцем, но с голыми ручками и ножками. Окруженная детьми, игрушками, пеленками, бутылочками с сосками, я сижу, сложив руки на животе, и прислушиваюсь к движениям своего седьмого ребенка — того, что родится через два месяца.

Когда же я отрываю взгляд от детей и смотрю на открывающийся передо мной вид, мое сонно-изумленное ощущение счастья получает новое подтверждение. Я вижу сверкающую зелень большого поля, засеянного кле-

вером, за ним длинный ряд тополей с ветвями, густо усыпанными светлыми, почти белыми сережками, и, наконец, — треугольные крыши заводских цехов. Это завод холодильников, на котором служит мой муж. Вид завода, как и вид моих детей, тоже наполняет меня радостью, хотя я ее и ощущаю по-другому, да и в силу иных причин. С завода идут деньги, на которые мы живем. От него идет то чувство уверенности, веры в будущее, которое нам позволило создать такую многочисленную семью. Короче говоря, между заводом и нами существует не слишком таинственная взаимосвязь, достаточно ясные отношения. Завод существует и работает для того, чтобы наша семья, как и много других таких же, как наша, семей, жили и процветали.

Однажды утром я поехала на машине в город закупить на неделю продукты в супермаркете; потом заехала на завод за мужем. Его не было на работе, он отправился на вокзал встречать своего директора. На месте, однако, оказался сидящий в одной комнате с мужем Пьеро — длинный и худой, как жердь, очкарик, который в юности был в меня влюблен и просил меня стать его женой. Он лучший друг моего мужа, но мы с ним стараемся никогда не оставаться одни: до сих пор, после стольких лет, мы испытываем смущение и не знаем, о чем нам говорить.

Так случилось и в то утро. Пьеро спросил меня, как я поживаю, здоровы ли дети; потом прочистил горло и с видом отчаяния задал вопрос, не желаю ли я, пока жду мужа, осмотреть завод, если это мне, конечно, интересно. Мне это было совершенно не интересно, и поэтому-то я до сих пор никогда еще и не осматривала завод. Но чтобы сделать ему приятное, я поспешила принять это предложение.

И вот мы вышли из конторы, и Пьеро повел меня по цехам. У меня очень путанные воспоминания об этом посещении завода, потому что, сидя целыми днями под навесом с детьми, я отвыкла, если можно так сказать, наблюдать, фиксировать окружающую действительность. Но все же на заводе меня особенно поразили две вещи: повторяемость и процесс сборки. Что касается первого, то я сразу заметила, что все эти машины, все рабочие, все движения машин и жесты рабочих, если хорошенько присмотреться, могут быть сведены к одной-единственной машине, одному-единственному рабочему, одному-един-

ственному движению, одному-единственному жесту. Повторение придавало им множественный характер, но не могло скрыть их тождественности в целом: их могло быть больше или меньше, ничего бы от этого не изменилось. Второе, по существу, дополняло и завершало первое: машины, рабочие, движения машин, жесты рабочих, подчиняясь заранее выработанной схеме, в конечном итоге претворялись в тот состоящий из многих узлов и до известной степени самостоятельный предмет, каковым является холодильник. Это был долгий, сложный и таинственный процесс, полный непонятных операций по подготовке к монтажу. Но завершавший этот процесс сборочный конвейер, двигавшийся непрерывными короткими толчками вплоть до последнего цеха и опускавший там на пол закрытый белый холодильник, уже готовый к упаковке и отправке, создавал такое впечатление, — как бы это лучше выразиться? — что сейчас здесь сотворено нечто живое, жизнеспособное. В самом деле, теперь достаточно было всунуть в штепсель вилку и дать холодильнику приток электрической энергии, как машина сразу же заработает; мне чуть ли не захотелось сказать оживет.

Мы возвратились в контору через заводской двор. Едва мы остались снова одни, Пьеро сразу же вновь оробел. Прочистив горло, он проговорил:

— Мы непрерывно расширяем производство. За последние два года объем продукции возрос вдвое.

Я спросила, подумав о муже и о нашей семье:

— Ты полагаешь, что такие темпы роста сохранятся?

— О да, все говорит за это!

— Я вечно боюсь, что завод по каким-либо причинам закроется и мой муж будет уволен. Понимаешь, если бы он был, как ты, холост. Но с такой огромной семьей...

Он, не поднимая головы, коротко рассмеялся, а потом, немного помолчав, ответил:

— Увеличение объема продукции отчасти объясняется высоким качеством наших товаров, а отчасти растущим благосостоянием, но главным образом — в длительной перспективе — ростом народонаселения. Не произойди за последнее столетие такой огромный демографический скачок, не было бы никогда и промышленной революции. Поэтому не волнуйся. До тех пор пока есть такие женщины, как ты, которые за десять лет брака рожают шестерых детей, ни наш завод, ни другие не закроются.

Женщины производят потребителей — не забывай этого. Ты, например, одна обеспечила производство и потребление в не столь отдаленном будущем, по крайней мере, двух десятков холодильников, имея в виду продукцию только одного этого завода.

— Но каким образом?

— Ну, твои дети женятся, создадут свои семьи. Этим семьям, каждой из них, понадобятся холодильники — один или даже несколько. Моя надежда на постоянный рост продукции, как видишь, имеет все основания.

Так мы с ним болтали еще некоторое время, потом приехал муж и мы вернулись домой. После обеда муж возвратился на работу, а я, как обычно, уселась под навесом со всеми детьми.

Я посмотрела в сторону завода. Небо позади крыш цехов было все черное, но эта чернота, как легкая дымка в переменчивом апрельском небе, была не мрачной, а веселой. По черному фону неба бежали тонкие белые полосы — вдали шел дождь. Но над полем клевера и тополями сияло солнце — лучи его падали косо, совсем низко над землей и слепили, подобно яркому и неестественному свету юпитера. До сих пор я смотрела на завод с благодарностью, так как ощущала благотворную связь между ним и нами: завод нас поддерживал, позволял нам существовать. Но теперь, после разговора с Пьеро, я почувствовала, что благодарность сменилась чувством легкого беспокойства. Я понимала, что соотношение могло измениться, если уже не изменилось: не нас содержал и поддерживал завод, а мы содержали и поддерживали его. Особенно я, которая произвела на свет так много детей, то есть так много потребителей, как, быть может, не без невольной иронии заметил Пьеро.

Голова моя шла кругом от этих размышлений. Я чувствовала, что в ходе моих мыслей чего-то не хватает. Словно одного звена в цепи вытекающих одно из другого следствий. Потом мало-помалу я вновь вернулась в близкое к экстазу состояние блаженного оцепенения, ставшее для меня с некоторого времени обычным. Вот вокруг меня шестеро малышей. Вот сразу за домиком — поле клевера и ряды тополей. Вот крыша завода. Вот черное весеннее небо. Вдруг — короткий, резкий порыв ветра — и сразу же полетели первые капли. Вот и дождь.



ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

оскресенье, мужа нет в Риме, прислуга пользуется своим днем свободы, и я одна дома.

В общем-то, я даже довольна. Хотя бы потому, что могу несдержанно и бесстыдно предаться неиссякаемому удовольствию, доставляемому мне моей большой, красивой новой квартирой, в которой мы живем всего еще каких-нибудь полгода. В эту квартиру — символ моего возвышения и успеха — я до сих пор просто не могу поверить. И поэтому я брожу из одной комнаты в другую, застывая на порогах в изумленном и восхищенном созерцании, и даже трогаю рукой двери, мебель, стены, словно желая удостовериться, что они мне не снятся и действительно принадлежат мне. Да, немалую дорожку я проделала за эти десять лет, от тесной квартирки моих родителей — три комнаты и кухонька в многоквартирном доходном доме, лестница «Д», квартира номер 16 — до этого роскошного аттика¹, но если бы меня заставили рассказать, как я прошла эту дорожку, то, наверное, я не сумела бы этого сделать. Странно сказать, но у меня такое впечатление, что в промежуток между той квартиркой и нынешним аттиком вообще ничего не произошло. Вот я — вся здесь, тридцатилетняя, еще молодая и красивая, брожу в воскресный день по комнатам своей квартиры. Вся в настоящем, вся на виду, без воспоминаний, вся в сегодняшнем дне, вся — тут, перед вами. Конечно, я дожила до тридцати лет не без того, чтобы мне раньше не было пятнадцати, двадцати, двадцати пяти. И конечно, до этих великолепных апартаментов я жила в других квартирах, более скромных. Но со мной происходит нечто вроде того, что с той женщиной из Священного писания, которой не велели оборачиваться и смотреть назад, не то она превратится в соляной столп. Наверное, и мне кто-то сказал, что я не должна оборачиваться и смотреть назад. И я подчиняюсь.

Здесь, прерывая эти размышления, в прихожей начи-

¹ Аттиком в Италии называют большие дорогие квартиры, занимающие весь верхний этаж дома и окруженные широкой террасой, на которую выходят окна и балконные двери.

(Примеч. переводчика).

нает рычать и лаять моя собака-боксер. Я подхожу к двери и, не открывая, спрашиваю:

— Кто там?

Женский голос отвечает:

— Свои.

— Кто — свои?

— Это Тильде.

— Не знаю я никакой Тильде.

— Разве ты не Грациэлла? Мы же с тобой дружили лет десять назад. Открой, погляди на меня, вот увидишь, что вспомнишь.

Я набрасываю цепочку, чуточку приоткрываю дверь и вижу перед собой совершенно незнакомое лицо. Я хочу захлопнуть дверь, но тут эта женщина добавляет:

— Впусти же меня, Обезьяна.

А нужно знать, что я высокая, плотная, с хорошей фигурой и даже пышноватая, но с маленькой головкой, как у обезьянки. Лоб у меня выступает вперед, глаза карие, чуть раскосые, взгляд грустный, но вместе с тем хитрый, носик вздернутый, а рот с пухлыми губами и тоже выдается вперед. Обезьяна — мое прозвище, однако так зовут меня только близкие: муж и родители. Конечно, я не знаю этой Тильде, но она, судя по всему, меня знает. Снимаю цепочку и открываю дверь. Женщина быстро входит и оглядывается вокруг:

— Какая шикарная квартира. Здорово ты тут устроилась. Молодец, молодец. Где у тебя гостиная?

— Вот здесь.

И вот мы в гостиной, сидим на диване, отодвинувшись подальше друг от друга, я на одном краю, она — на другом. Я заинтригована, удивлена, несколько растеряна: чем дольше гляжу на эту Тильде, тем больше убеждаюсь, что ее не знаю. Ей, наверное, столько же лет, сколько мне. Но тогда как я из красивой, пышущей здоровьем девушки, какой я была, превратилась в утонченную буржуазную даму, она, как можно угадать, ничуть не изменилась и не стала другим человеком; она просто постарела, износилась. Под голубыми глазами у нее темные мешки; лицо правильной овальной формы словно распухло вокруг маленького, увядшего, с горькими морщинками по углам рта, который напоминает поблекший, так и не успев раскрыться, бутон; даже нос у нее — и тот не такой, как был когда-то: наверное, белый, нежный, теперь он у нее какой-то покрасневший.

Наконец, я ей говорю:

— Хорошо, если тебе это нравится, мы даже можем называть друг друга на «ты». Но все-таки я тебя не знаю. Серьезно, даю честное слово, я тебя не знаю.

— Но, Обезьяна, я же Тильде, понимаешь, Тиль-де. Я гляжу на нее, вновь изучаю ее лицо, но лишь для очистки совести. Потом качаю головой:

— Нет, в самом деле, я тебя не видела никогда в жизни.

Она некоторое время молча смотрит на меня, а потом медленно произносит:

— Ну как же так, Обезьяна, разве так можно. Попробую тебе подсказать. Мы познакомились восемь лет назад. Ты была два года как замужем, но — точно привожу твои собственные слова — замужество тебе наскучило, и ты тосковала по некоторым прежним привычкам, по прежней компании. И поэтому приходила в ту квартиру всякий раз, как синьора Элена тебе звонила по телефону. И поскольку я жила в той квартире, мы с тобой стали, можно сказать, приятельницами.

Я чувствую ее такой чужой, настолько не помню ни ее, ни всего того, о чем она мне говорит, что у меня с абсолютной естественностью вырывается вопрос:

— Квартира? Синьора Элена? А что же это было такое? Дом свиданий?

Она со скромным видом меня поправляет:

— Ну, не совсем, хотя и могло показаться. У синьоры Элены было много друзей. Она устраивала встречи. Я-то, однако, была манекенщица, а ты замужняя дама.

Произнося это, она улыбается, и здесь при виде двух темных и непристойных ямочек, вокруг которых кожа на ее лице идет морщинами, мне вдруг начинает казаться, что я ее уже видела. Но поймите меня правильно. Эти ямочки, я совершенно твердо уверена, я вижу первый раз в жизни, однако они мне кажутся знакомыми: вроде того, как это случается в некоторых местах, где вы знаете, что никогда раньше не были, но, несмотря на это, вам кажется, что вы их узнаете, и в конце концов начинаете думать, что бывали там в «другой жизни». Да, наверное, я их видела, эти ямочки, именно в другой жизни. И я, с отрешенным и равнодушным видом, задаю еще один вопрос:

— Одним словом, послушать тебя, так мы с тобой

были девицами, которых вызывают по телефону? Не так ли?

— Если тебе нравится называть это так, то да.

Я сижу молча и делаю последнее усилие. Вместо того чтобы глядеть на нее, смотрю на себя, заглядываю внутрь себя — со всей добросовестностью, рвением, искренностью. Но ничего не нахожу, абсолютно ничего. Однако спрашиваю:

— И какая же была из себя синьора Элена?

— Среднего возраста, блондинка; маленького роста, очень близорукая.

— А где находилась эта квартира?

— На виа Виченца, неподалеку от вокзала.

— И... и что же там происходило?

— Ну... ничего особенного. Синьора Элена не хотела, чтобы мы ждали гостей в гостиной. Когда кто-то звонил в дверь, она сама шла открывать, но прежде спрашивала пароль. Я помню одну фразу, служившую паролем: «Я приятель Джорджо».

— Кто был этот Джорджо?

— Не знаю. Потом синьора Элена отпирала дверь, клиент проходил в гостиную и она звала нас и знакомила с ним. Вот и все.

— Знаешь, почему я задаю столько вопросов?

— Почему?

— Да потому, что стараюсь вспомнить, честное слово. Но чем больше ты рассказываешь, тем меньше мне это удается. Я тебя никогда не видела, не видела никогда и синьоры Элены, никогда не была в квартире на виа Виченца. Ясно?

Теперь молчит Тильде. Несколько нервными движениями она открывает сумочку, достает сигарету, закуривает. Потом сухо говорит:

— Да в конце концов, какая мне разница, помнишь ты меня или нет? Я пришла к тебе, чтобы попросить об одной вещи, и знаю, что ты мне не откажешь.

— О чем же?

— Сто.

— Сто — чего?

— Сто тысяч лир.

Меня продолжает переполнять искренность — раскованная, безмятежная, невозмутимая, какой обуюн человек, когда разговаривает о вещах, несколько его самого не касающихся:

— Это что? Шантаж?

— Назовем это так.

— Но я не дам тебе сто тысяч лир. Не вижу никаких причин давать их тебе.

— Да, конечно, потому что ты меня не знаешь и не помнишь. Правильно. Тогда, значит, мне придется пойти к твоему мужу. Ты уже два года была замужем, когда вдруг вновь заскучала по свиданиям в доме синьоры Элены. Наверное, ему не очень-то будет приятно об этом узнать.

Вдруг, к своему удивлению, я ловлю себя на такой мысли: «Даже шантаж, даже угроза, что она все расскажет моему мужу, не могут заставить меня признать, что я была тем, чем не была. Мой муж «почувствует», не может не «почувствовать», что я не тот человек, о котором она говорит. Этого будет достаточно».

Помолчав немного, я совсем просто говорю:

— Пожалуйста, иди к моему мужу. Говори ему все что хочешь. Я ничего не имею против. Но ста тысяч ты от меня не получишь.

Вы мне поверите? Она на меня смотрит, сверлит глазами, потом вдруг также и она, так сказать, «чувствует», что я не та, за кого она меня принимает. На какое-то мгновение ею овладевает растерянность, чуть ли не страх. Потом она берет себя в руки и говорит вульгарным тоном:

— А, понятно. Ты все рассказала своему муженьку, и он тебя простил. Выходит, я опоздала.

Она молчит, две злые блестящие слезинки падают на мешочки под глазами и увлажняют их. На этот раз я ничего не отвечаю: говоря по правде, мне просто нечего сказать. И тут вдруг еще одна метаморфоза. Тильде оглядывается вокруг и говорит:

— Ты богата, а я бедна. И я впустую пыталась тебя шантажировать — только зря старалась. Ну хотя бы одолжи мне самую малость.

Я шарю в кармане брюк, достаю деньги, которые муж дал мне на расходы на два дня: тридцать тысяч лир. Даю ей их. Мы уже поднялись с дивана и стоим друг против друга. Тильде колеблется, потом стремительно обнимает меня за шею, растроганно целует в обе щеки и, заикаясь от волнения, бормочет:

— Ты не хотела узнавать меня, ну да ладно, мне было приятно вновь повидаться с тобой и, главное, увидеть,

что ты так хорошо живешь. Ты была умнее меня. До свидания...

И вот я снова одна. В задумчивости бреду к двери, ведущей в кухню, открываю ее, машинально подхожу к окну и гляжу вниз. Улица меж двумя рядами домов пустынна, одна сторона, та, вдоль которой не стоят машины, залита солнцем, другая — с автомобилями, тесно выстроившимися у панели, — в тени. А вот и Тильде, которая выходит из моего подъезда. Когда я смотрю на нее сверху, то, не знаю почему, еще отчетливее видно, что она собою представляет: уже не очень молодая женщина, потасканная, изможденная, нищая, вульгарная. Она идет пешком и вскоре исчезает из виду. Тогда я распрямляюсь, взгляд мой падает на комикс, забытый прислужой на подоконнике. На первой странице — фотороман, его название меня поражает: «Прошлое, которое возвращается». Я тут вспоминаю ямочки Тильде, которые, как мне только совсем недавно казалось, я уже видела в «другой жизни». И вот я, наконец, понимаю. Есть такие люди, как Тильде, у которых было прошлое, и это по ним видно, и они о нем помнят. А есть и такие, как я, у которых была другая жизнь, и этого по ним не видно, и они о ней не помнят.



ЗНАМЕНИТОСТЬ

се в порядке. В аэропорту, как только я останавливаюсь в нескольких шагах от самолета, ко мне спешит целая группа провожающих. Солнце Африки ослепительно ярко, и я вижу их не слишком отчетливо. Под этим солнцем фигуры африканцев кажутся темными, как на негативе, а европейцев вообще не разглядеть — они словно сливаются с раскаленным добела воздухом. Однако я различаю министра, приветствующего меня от имени республики, которую я только что посетила во время туристической поездки; трех-четырёх фотографов — они, кто с колена, кто стоя, лихорадочно шелкают аппаратами; двух-трех журналистов — эти записывают шариковыми ручками в блокнотах мой ответ министру. Девочка-африканка, вся в белом, преподносит мне с поклоном маленький букетик увядающих цветов. И вот я

поднимаюсь по трапу к самолету, намеренно не спеша, чтобы дать фоторепортерам возможность запечатлеть мою знаменитую улыбку. Но едва я вхожу в самолет, как сбрасываю с лица улыбку так резко, что даже стюардесса, которая уж, наверно, должна разбираться в притворных и автоматических улыбках, и та пугается и спрашивает, не почувствовала ли я себя плохо.

Я стригательно качаю головой, опускаюсь в кресло, и тотчас же из глаз у меня начинают неудержимо лить слезы и заливают все лицо. Меня охватывает ужасная тоска — она мучает меня, почти не отпуская, вот уже не меньше двух лет, и в этой тоске — обычная причина моего робкого и неловкого эксгибиционизма. Рядом со мной сидит мужчина — я вижу только его белые брюки. Но этого вполне достаточно, чтобы я, пристегивая ремень, чуточку подтянула и без того короткую мини-юбку, дабы сосед увидел мои поразительные ноги. Один шанс из миллиона, что этот человек не знает, кто я; один шанс из миллиарда, что он может мне понравиться, но я не хочу рисковать и этим шансом. Итак, я демонстрирую ножки. Если же это окажется, как обычно, какой-нибудь поклонник, да к тому же, как почти всегда случается, противный, то мне будет нетрудно поставить его на место одним из моих знаменитых язвительных ответов.

Самолет пробежал, вырубивая, всю дорожку и остановился со включенными, работающими на полную мощность моторами. Не в силах удержаться, я бросаю взгляд на руку соседа, лежащую на подлокотнике кресла. Это рука молодого, большого и сильного мужчины, с необычным темно-красным, словно кровь, оттенком кожи, какого я никогда еще не видела. Тоска, однако, сильнее любопытства. Я вновь начинаю реветь, глядя на светящееся табло в глубине салона: «Пристегнуть ремни. Не курить». Затем самолет внезапно вновь срывается с места и, пробежав немного, буквально отрывается от земли, почти вертикально взмывая в небо. Словно в испуге я кладу ладонь на руку соседа. Самолет сильно вздрагивает, и, воспользовавшись этим, я судорожно сжимаю руку. Потом поворачиваюсь и смотрю на него.

Я не ошиблась: это он. Молод, красив и, несомненно, не знает, кто я. Меня поражают в нем больше всего две вещи: цвет глаз — серовато-голубых, водянистых, словно

лишенных взгляда, слепых из-за этой водянистости, — и контраст между очень светлой кожей лица и такой темной кожей рук. Я гляжу на него, он — на меня. Из моих глаз катятся и сбегают по щекам две слезы, и я выпаливаю одним духом:

— Я чувствую себя такой одинокой...

С улыбкой, открывая острые и белые, как у волка, зубы, он отвечает:

— Такая красивая женщина — и одинока?

— Именно потому, что красивая.

— Странно. Я считал, что красота способствует встречам, дружбе, любви.

— Да, но при условии, чтобы ею не торговали.

— Не торговали?

— На том рынке, где красоту предлагают, как любой другой товар.

— И что же тогда?

— Тогда уже нет ни знакомств, ни дружбы, ни любви: ведь для них нужна хоть минимальная возможность выбора, свободы, самостоятельности. А так — только взлеты и падения рыночных цен.

— А ваша красота... разве она тоже предмет купли-продажи?

Он задает вопрос так наивно и просто, что вряд ли тут есть притворство. Он действительно не знает, кто я.

Со вздохом я отвечаю:

— Да, моей красотой торгуют уже много лет. Я очень известная, даже знаменитая киноактриса. И котируюсь я весьма высоко.

— Ах, да неужели?

Тут я вдруг начинаю сомневаться: уж не смеется ли он надо мной? Но подозрение вызывают не столько его слова, сколько эта волчья улыбка, эта уклончивая водянистость его зрачков — во всем этом есть что-то тревожное, беспокоящее. Я решительно говорю:

— Меня зовут... — и называю себя.

Затем, видя, что имя не произвело на него решительно никакого впечатления, добавляю:

— Неужели вы никогда не слышали моего имени?

Он отвечает с некоторым смущением:

— Я несколько лет провел в почти недоступном районе Африки. Я исследователь. Шесть лет я прожил в диком краю, среди болот, лесов, лиан, хищных зверей. Туда не доходили новости из... внешнего мира. Теперь,

как только приеду в Европу, пойду посмотреть ваши фильмы. Но почему вы плачете?

Не в силах ответить, я лишь трясую головой, продолжая судорожно сжимать его руку. Потом успокаиваюсь и говорю:

— Посуди сам. Я родилась в деревне, в селении, где пять тысяч жителей. Запомни это число: пять тысяч. Пять тысяч человек — это много, но пять тысяч жителей составляют именно маленькое селение, одно из тех, где все есть лишь в одном экземпляре: одна аптека, одна церковь, один книжный — он же писчебумажный — магазин, одно кафе, одна табачная лавка, одно кино и так далее. В пятнадцать лет я практически знала все пять тысяч жителей своего селения, и все они знали меня. Если я шла прогуляться в час заката, все здоровались со мной и я здоровалась со всеми. Если я отправлялась за покупками, лавочники обращались ко мне по имени и я обращалась к лавочникам по имени. Если я выходила из селения, чтобы пройти по шоссе, я узнавала крестьян, что работали в поле, а они, в свою очередь, узнавали меня. Словом, я была знакома с пятью тысячами человек и пять тысяч человек были знакомы со мной — они знали меня лично, симпатизировали мне, я ощущала их тепло, можно сказать, физически. Да-да, физически, ибо взгляд каждого из этих людей хоть однажды останавливался не на моей фотографии, как сейчас, а на мне самой. И мой взгляд тоже останавливался на них. Теперь перенесемся на десять лет вперед. Мне двадцать пять лет, я знаменита и, как сказала тебе, чувствую себя с каждым днем все более одинокой. Я ведь не дура и отдаю себе отчет в происходящем, я только и делаю, что размышляю об этом своем одиночестве, и в конечном итоге, мне кажется, его можно объяснить так. Одиночество — результат моей ошибки, — как бы это сказать? — ошибки в расчетах. Случилось так, словно в начале своей триумфальной карьеры я подумала: «Когда я была никому не известной девчонкой в глухом селении, я знала всех и меня знали все пять тысяч его жителей, я физически ощущала тепло этих контактов, а когда я буду известна во всем мире, то меня, без всякого сомнения, будут знать многие миллионы и я буду знать их, физически ощущать их тепло, и оно согреет мне сердце. Никогда, никогда в жизни я не почувствую себя одинокой».

— А что вышло?

— Я тебе уже сказала, что это была ошибка. В действительности быть знаменитым — значит быть одиноким. Слава — это как витрина в магазине: тебя выставили напоказ, все глазают, проходя мимо по тротуару, но никто не может до тебя дотронуться и ты не можешь ни до кого дотронуться. Я говорю «дотронуться» в буквальном смысле — так, как я сейчас трогаю твою руку.

Он смотрит на меня, возможно, с симпатией. Но говорит:

— Это все не важно. Ты знаменита.

— Ты думаешь, так приятно быть знаменитой?

— Это самое прекрасное, что может быть. Я, чтобы прославиться, сделал бы что угодно, даже совершил бы преступление.

— Твоя слава продержалась бы всего один вечер. А с выходом выпуска газет ты снова канул бы в неизвестность.

— Но кто тебе сказал, что я убил бы первого встречного? Я убил бы какую-нибудь знаменитость. Ее слава стала бы моей, вроде того, как здесь, в Африке, когда-то верили, что, если съесть печень врага, можно унаследовать его храбрость.

Разговор наш прерывается, так как самолет идет на посадку. Когда самолет касается земли и, как положено, с оглушающим ревом еще не выключенных моторов подпрыгивает по посадочной полосе, я вдруг замечаю, что мой спутник уже поднялся и, опередив меня, направился к выходу. Я вижу его у самой двери среди готовых выйти пассажиров; между нами два десятка человек, и я уверена, что его потеряю. До встречи с ним я была одинока, мы провели вместе немногим более часа, и вот теперь меня снова ждет одиночество.

В роскошной гостинице в столице недавно созданной африканской республики, куда я прилетела, мне отводят апартаменты: спальню, гостиную, ванную. На столе — огромная корзина тропических фруктов, в ней конверт, который я не спешу открыть, так как заранее знаю, что он содержит напечатанное типографским способом приветствие от имени дирекции отеля. Надев халат, подхожу к окну и выглядываю на улицу. Окно выходит прямо на океан — мутный и белесый, он словно кипит

в душном зное, наполняя паром затянутое облаками небо. Как раз напротив гостиницы, на другой стороне безлюдной набережной висит рекламный щит величиной с киноэкран. Название картины написано огромными красными буквами, и под ним я вижу свое имя, а в углу — я сама, полунагая, в объятиях героя фильма.

Раздается стук в дверь, я говорю: «Войдите», — и ничуть не удивляюсь, видя на пороге соседа по самолету. Он затворяет за собой дверь, подходит ко мне, обнимает. Но не целует. Потом отступает на полшага и говорит:

— Я притворился, что не знаю, кто ты. Я всегда это знал, прекрасно знал. В клинику приходило много журналов, я вырезал твои фотографии и наклеивал их на стены.

— В какую еще клинику? Разве ты не исследователь, разве ты не провел шесть лет среди болот и лесов?

— Да, доктор так и говорил мне: ты исследователь, ты путешественник, ты заблудился среди болот, в лесу, ты должен выбраться из дебрей.

Я сразу же понимаю, в какую историю попала, и тут же мне вдруг становится ясно все, что было раньше и что меня ждет. Страшно ли мне? Пожалуй, нет. Но я притворяюсь, что мне страшно, и с испуганным — но не слишком — криком вырываюсь из его рук и бросаюсь к двери. Я знаю, что дверь заперта на ключ, а ключ он положил в карман. Однако делаю вид, что изо всех сил барабаню кулаками в дверь. Я ведь все-таки актриса и умру как актриса.

Первый раз он стреляет, когда я стою у двери. Потом всаживает в меня еще три или четыре пули. Я отхожу от двери и ложусь на кровать, чтобы умереть; как требуют приличия. Чувствую, что теряю много крови, и закрываю глаза. Но через мгновение вновь поднимаю веки и вижу, что он склонился надо мной и смотрит. Мне хочется, прежде чем умереть, сказать ему какие-то теплые слова. Еле слышно я шепчу:

— Ну, ты доволен, малыш? Завтра ты станешь знаменитостью, да, ты прославишься на весь мир.



ЕДИНСТВЕННОЕ И МНОЖЕСТВЕННОЕ

— женщина молчаливая, люблю слушать и размышлять. Размышлениями своими я ни с кем не делюсь, держу их при себе. Это мне нетрудно, потому что физиономия у меня круглая, улыбающаяся, очень хорошенькая. Настоящее кукольное личико. А разве про человека, если он старается не выставлять напоказ свои чувства и мысли, не говорят иногда «бесчувственная кукла»?

По счастью, у меня есть муж, который любит поговорить не меньше, чем я люблю послушать. Муж мой, что называется, интеллеktуал. Однако он не пишет: чтобы писать, ему пришлось бы прервать хоть на время непрерывную работу мозга. А она у него, между прочим, протекает так: он берет любой частный конкретный факт или явление, и та машинка, которая находится у него в голове, немедленно все превращает в некое отвлеченное общее рассуждение. Другими словами, факт или явление предстают перед ним (как же иначе?) в единственном числе, но когда муж начинает о нем говорить, то неизменно говорит о нем во множественном. И сразу же факт или явление утрачивают всякую конкретность и реальность. Например, что может быть прекрасней времени года, когда льют летние дожди, когда радуга над деревенским проселком, которая, родившись из солнечного луча, пробивающегося сквозь серые ключья туч, поднимается, ярко переливаясь над густой, набухшей зеленью горной долины, и сплошные потоки дождя пронизаны светом, а ветви, хлещущие по стеклу машины, усыпаны мириадами сверкающих капель? Но что такое радуга вообще, радуги во множественном числе, со всеми их законами и особенностями, о которых начинает разглагольствовать мой муж, едва я показываю ему на эту единственную, неповторимую, замечательную радугу? Слова, слова, одни лишь слова.

На днях муж, как обычно, отправился на работу. Интеллектуал, он и работу нашел интеллектуальную: служит в рекламном агентстве. Но не прошло и часа, как он, против обыкновения, вернулся домой. Я тоже уселась за работу (я перевожу с немецкого) и вдруг ви-

жу: он входит — чуть ли не украдкой, с озабоченным видом, взволнованный. Сделав пол-оборота на вертящемся кресле, я спросила, что случилось. Муж у меня небольшого роста, но голова у него красивая, как у кондотьера времен Возрождения: большой прямой нос, гордая складка рта, густые нахмуренные брови. На вид — невероятно энергичный человек, но под этой маской — я уже об этом говорила — нет ничего, кроме его знаменитой машинки для превращения единственного числа во множественное. Меня сразу удивило, почему в ответ на мой вопрос он, как обычно, немедля не изрек какую-нибудь банальность. Видно, на сей раз что-то особенно сильно его вывело из равновесия и затронуло очень уж непосредственно, если его камнедробильной машинке не под силу это перемолоть и превратить в абстрактную кашу. Увидев, как он молча, в ярости шагает взад и вперед по комнате, я даже было понадеялась, что наконец впервые за всю нашу совместную жизнь муж мне скажет нечто, расскажет толком, что и как с ним случилось, со всеми неповторимыми, единственными в своей конкретности подробностями.

Итак, я спокойно ждала. Потом, видя, что он никак не заговаривает, пересела с кресла на диван. Я подумала: «Кто знает, что с ним приключилось? А вдруг, вдруг он скажет мне нечто в единственном числе! Нет, если он опять начнет во множественном, честное слово, я больше не выдержу».

Но хоть думала я так, а сидела, как всегда, будто сонная, и только следила глазами, как муж мотается из угла в угол по комнате. И вот он вдруг передо мной остановился и начал:

— Практически все профессии — это лишь гипотетические формы существования, и эти гипотезы непременно должны быть подтверждены другими. В обществе, где идет соперничество, они всегда под угрозой того, что их опровергнут...

Значит, опять во множественном числе и в отвлеченном виде! Неожиданно меня охватило яростное отчаяние. Такое сильное, что мне уже никакого дела не стало до того, что же с ним стряслось. Широко раскрывая рот, я произнесла как можно более язвительно:

— Блям, блям, блям.

Я уже сказала, что у моего мужа голова как у кон-

дотьера эпохи Возрождения, вроде как у Коллеони¹. Так вот, представьте себе Коллеони, разинувшего рот от изумления.

— Послушай, что с тобой?

— Ничего! Не знаю, что с тобой случилось, и знать не хочу, раз ты опять пошел, как всегда, молотить языком.

— Почему не хочешь знать?

— Потому что от тебя не дождешься, чтобы ты сказал что-то.

— Но что — что-то?

— Что-то.

— То есть?

— Что-нибудь в частности. А у тебя — сразу абстракции, обобщения.

— Так уж я привык осознавать все, что со мной происходит. Надо обнаруживать под фактами законы, которые ими управляют.

— Да, но с некоторых пор я стала подозревать, что эти законы придумываешь ты сам, смотря по тому, как у тебя идут дела. У тебя все в порядке — значит, и все на свете хорошо. Если у тебя что-то не так — значит, все на свете плохо. Лучше говорил бы просто и ясно и не выводил никаких законов, не делал никаких обобщений. Например, по тому, как ты начал, я догадываюсь, что сегодня у тебя какая-то неудача именно в твоих профессиональных делах. Кто знает, может, у тебя лопнул какой-нибудь контракт на рекламу. Но будь спокоен: если бы все прошло у тебя гладко, ты говорил бы все наоборот.

— И что же мне, по-твоему, делать?

— Осознать то, что ты осознаешь происходящее в зависимости от собственных дел, впрочем, как и все остальные. Забыть избитые общие места, говорить просто что-то определенное.

— Короче, я, по-твоему, трепло.

— В известной степени — да.

Видно, с ним действительно стряслось что-то серьезное, потому что неожиданно машинка у него в голове не сработала. Он не выдал никакой теории насчет женщины (я женщина) или насчет долга каждой жены

¹ Знаменитый кондотьер XV века, памятник которому, работы Вероккьо, воздвигнут в Венеции. (Примеч. переводчика.)

(я жена). Нет, вне себя от ярости он нагнулся ко мне и заорал:

— Я запрещаю тебе так говорить со мной!

Слава богу! Вот, наконец, хоть что-то сказано прямо. Точно, конкретно. Мне хотелось подтолкнуть его дальше по этому пути. Я сказала холодно:

— Как хочу, так и говорю. Ты трепло, и вдобавок просто невыносимое...

Тут-то он кинулся на меня. Нашей гостиной, которая не знала ничего, кроме его бесконечных словоизлияний и моего молчания, пришлось вдруг увидеть, как коротышка с головой Коллеони набросился на свою куколку-жену, пытаясь дать ей пощечину. Это удалось ему не без труда, и на короткий миг я испытала даже нечто вроде облегчения: затрещина — это все-таки затрещина, то есть нечто определенное, конкретное. Но потом сразу же верх взял гнев. Я поднялась и побежала к себе в комнату с криком:

— Между нами все кончено!

Схватив чемодан, я кое-как побросала в него, что попало, под руку. Но тут он входит, бросается к моим ногам, обнимает мне колени и опрокидывает навзничь на постель. Потом голосом, полным подлинного, неподдельного горя, говорит:

— Меня час назад уволили. Теперь я безработный, и как раз сейчас ты решила меня оставить.

Вот так наконец мне удалось добиться своего. Универсальная мясорубка наконец-то остановилась — недаром я взбунтовалась. Он просто сообщил конкретный определенный факт, еще не перемолотый, не переработанный, не превращенный в философскую котлету.

Я переспросила:

— Тебя уволили?

— Да.

— Как это произошло?

— Хозяин вызвал меня и объявил, что решил заметить меня из-за низких показателей моей работы.

— Вот это конкретный факт. Не плачь. Найдешь другое место. И успокойся, я тебя не оставлю. Знаешь, как мы будем теперь делать?

— Как?

— Вот замечу, что ты собираешься изложить какую-нибудь общую теорию, и сразу тихо, без злости скажу: блям, блям, блям!

Он шмыгнул носом, утешился и больше не плакал.
Я спросила:

— А что за человек твой хозяин?

— Человек как человек. Такой, как все.

— Ну, это наверняка не так. Какая-нибудь особая примета у него да есть.

— Есть родинка, вернее, даже родимое пятно на верхней губе. Сегодня утром, когда он брился, наверно, его порезал. Все время лизал его языком, словно меня и не было...

— Действительно неприятное зрелище.

— Родимые пятна и родинки, если их порезать, очень опасны. От этого может быть рак. Поэтому нужно соблюдать осторожность, когда бреешься, иначе...

— Блям, блям, блям!



ХОРОШАЯ ДОЧЬ

ождавшись, когда моя мать, или, точнее, женщина, которую я с трехлетнего возраста привыкла считать матерью, уйдет из дома к мессе, я спрыгнула с постели, вышла на середину комнаты и сдернула с себя ночную рубашку. Множество зеркал вокруг отразили с мягкой сдержанностью, присущей старым дорогим вещам, мою наготу. Шлифованные, толстые зеркала, вправленные в дверцы стальных шкафов в стиле, отдаленно напоминающем стиль Людовика XVI, цвета слоновой кости, с золотыми украшениями. Я просто не могу не глядеться в эти зеркала. Но не потому, что я склонна к самолюбованию, а, скорее, из-за сознания исключительности своей судьбы, которое с недавнего времени меня ни на минуту не покидает и к которому я еще не привыкла. Да, мое юное, здоровое, крепкое, ослепительное тело свидетельствует, что мне суждена жизнь богатой девушки, или, как принято говорить, богатой наследницы: с летними поездками к морю и в горы, коллежами за границей, путешествиями, спортом — словом, всем тем, что большинство моих сверстниц не могут себе позволить. А ведь все могло пойти — и даже более того, как я недавно открыла, должно было

пойти — совсем по-другому. До сих пор не верится, что мне так повезло в жизни.

Я перехожу в ванную размером чуть меньше моей спальни. Это роскошная ванная; ее строили лет тридцать назад, но роскошь ее столь солидна и торжественна, что массивный фаянс и внушительные краны выглядят старинными и от этого еще более красивыми. Становлюсь под душ, и на меня обрушиваются колющие струи; мне нравится смотреть, как вода, почти не замочив кожи, сбегает с напрягшегося тела, словно с мрамора. Выскочив из-под душа, заворачиваюсь в мягкую махровую простыню, возвращаюсь в комнату. Скорее. Вот моя самая простая блузка, самые вытертые джинсы. Хватаю с тумбочки ключи от машины и выскакиваю из дома.

На улице меня одолевают, как и всякий раз, когда я туда еду, сомнения насчет автомобиля. У меня машина шикарной марки, она делает двести километров в час, и на ней словно написано, что стоит она несколько миллионов. В последний раз я оставила ее на соседней улице, но в том квартале таких машин все равно не увидишь. Конечно, я могла бы поехать на автобусе или на такси, но с автобусом потратишь не меньше часа, а если взять такси, то как я буду добираться обратно? Идея: внизу, в подъезде, я заглядываю в швейцарскую. Привратник на месте, в своей серой с красным форменной куртке, на столе перед ним фуражка с галуном. Я говорю ему:

— Луиджи, вы не могли бы одолжить мне свою машину? Только на сегодняшнее утро. К сожалению, моя сломалась.

И вот я в крошечной малолитражке швейцара мчусь в направлении квартала, где живет Ада. Еду, еду без конца. С трудом выбираюсь из центра, выезжаю из ворот в древней городской стене, сворачиваю на бесконечно длинный, обсаженный деревьями проспект на окраине. Жилые массивы сменяют друг друга, все совершенно одинаковые, огромные, с бесчисленным множеством окон. Я про себя отмечаю, что хотя эти здания построены, несомненно, тогда же, когда и дом моей приемной матери, но в отличие от него так и не смогли состариться, они так и остались «новыми», хоть выглядят порядком обшарпанными и закопченными. Да, конечно, размышляю я, ведь только роскошь умеет ста-

риться, а экономичные материалы, разная дешевка — нет.

Ставлю машину перед одной из этих длинных казарм, прохожу под гигантской аркой, попадаю на необъятный двор. Лестницы «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е». Бегу по лысым клумбам, заасфальтированным аллеям к лестнице «Г», машинально делаю шаг к лифту, которого здесь нет, прыгая через две ступеньки, поднимаюсь по широкой и оттого кажущейся еще более убогой лестнице на третий этаж. Вот и дверь Ады. Нетерпеливо звоню.

Открывают мне с обычными характерными предосторожностями: сначала меня изучают сквозь глазок, потом дверь приоткрывают ровно настолько, насколько позволяет цепочка, и вполголоса спрашивают: «Кто там?» Затем дверь распахивается, мне в нос ударяет волна затхлого, застоявшегося воздуха, пропахшего кухней, и я бросаюсь в объятия Ады. Я обнимаю ее, чувствуя, как к моей груди прижимается ее большая мягкая грудь, вдыхаю запах слежавшегося конского волоса, которым пахнет от ее не слишком чистой головы, касаюсь губами холодной дряблой щеки, а сама задаю себе вопрос, кто это выдумал все эти дурацкие разговоры насчет «голоса крови»? Голос крови, черта с два! Мы размыкаем объятия, и я, глядя прямо ей в лицо — чувственное, неискреннее и жадное, с трудом заставляю себя спросить:

— Как поживаешь, мама?

Она отвечает со вздохом:

— Ах, сама знаешь, ну как я могу жить?

И говоря это, не отрывает внимательного взгляда от моих рук.

Быстрым движением я сую ей в ладонь деньги, которые держу наготове в кулаке. Она опускает их в карман и продолжает:

— Да, конечно, ничего не скажешь, ты хорошая дочь. Не надо было мне тебя отдавать, ты ведь была самой красивой. Но что поделаешь? У меня и так было четверо, да к тому же уже большие. А ты была хорошенькая, такая хорошенькая! Когда тебя взяли, я целый день плакала.

Затем она идет на кухню, приговаривая:

— Сварить тебе кофе? Хорошего горячего-горячего кофейку.

А я направляюсь к знакомой двери и вхожу не постучав. Громоздкая двуспальная кровать почти во всю комнату закрывает вид из окна. Между окном и кроватью торчит голова Джованны — она сидит в кресле на колесах, кресле для больных детским параличом, и смотрит, что происходит во дворе. Я огибаю кровать. Волосы у Джованны пострижены, как у пажа, лицо удлиненное, белое и худое, из-под густых черных бровей внимательно смотрят живые глаза. Она похожа на пикового валета — чуточку фанатичного и угрюмого, но когда улыбается, улыбка у нее добрая, обнажающая красивые, белые как сахар зубы. Рядом с ее инвалидным креслом — столик с телефоном, на коленях, покрытых старым одеялом, — книга. Я открываю рот, собираюсь заговорить, но она знаком велит мне молчать. Смотрю в окно и понимаю: как раз напротив у распахнутого окна ссорятся мужчина и женщина. Доносятся их далекие голоса, и их яростные жесты, именно из-за резкости, кажутся более близкими, чем голоса. Потом женщина протягивает руку, хватая женщину за волосы. Женщина отталкивает его и захлопывает окно. Только тогда Джованна поворачивается ко мне и произносит:

— Каждый раз на самом интересном месте они закрывают окно.

Спрашиваю:

— Как ты себя чувствуешь?

— Как себя чувствую? Так же, как в последний раз, когда мы виделись.

— Да, но я не была у вас два месяца... я думала...

— Что мне стало лучше? Да нет. От этой болезни не поправляются. По крайней мере за два месяца. Где ты была?

— В Милане, у дедушки с бабушкой.

— У богатых дедушки и бабушки. В сущности, это неплохая идея: две матери, два дедушки и две бабушки. Совсем не худо.

Это ее обычный тон, я к нему привыкла. Сажусь рядом с ней. Она смотрит на меня и, помолчав, добавляет:

— Но можно узнать, зачем ты к нам приходишь? Чтобы еще раз убедиться, как тебе здорово повезло?

Отвечаю ей в тон:

— Сама не знаю. Может быть, заговорил голос крови...

— Ах, вот оно что — голос крови!

Звонит телефон. Джованна снимает трубку и отвечает. Когда она говорит по телефону, ее голос меняется: это голос немногословной и бесстрастной секретарши. Она уславливается о дне и часе, записывает все это в блокнот, потом вешает трубку. Я спрашиваю:

— Вчера было много клиентов?

— Двое.

— И что это были за типы?

— Люди с деньгами — твоего поля ягода.

— А девушки как выглядели?

— Одна хорошенькая. А другая — так себе.

— Ты всегда отвечаешь по телефону?

— Да, для меня это развлечение.

— И где же они встречаются?

— Здесь, в этой комнате.

— А ты куда же деваешься?

— Когда они приходят, я на своем кресле потихоньку качу себе прямым ходом на кухню и сижу там, дожидаясь, когда они кончат.

Я некоторое время молчу. Джованна заговаривает первой:

— Хочешь, я прочту тебе свое новое стихотворение?

— Да.

— Но предупреждаю: оно длинное.

Снова звонит телефон. Джованна снимает трубку и, не ответив, кладет рядом с аппаратом и с озорной гримасой показывает ей язык. Потом вынимает из книги несколько вложенных в нее листочков и начинает читать своим третьим голосом. В обычном разговоре она полна сарказма, язвительна; по телефону — безлика, точна и холодна, как машина; сейчас же — горестна и печальна. Однако стихотворение ничего мне не говорит, оно не трогает меня: В сущности, это очень подробное описание двора, куда она целый день глядит со своего кресла.

Я увлекаюсь спортом и ничего не смыслю в поэзии. Поэтому, слушая, как Джованна со слезой в голосе читает свое стихотворение, я думаю о другом, фантазирую. Я воображаю себя старой женщиной, у которой было пятеро детей. Трое ушли из дома. Четвертая разбита параличом. А пятую, самую хорошенькую, я отдала одной синьоре, которая ее удочерила. Я стара и бедна, и мне удастся кое-как сводить концы с концами только благодаря тому, что я устраиваю у себя в квартире любовные свидания. Дочь — та, которая теперь не моя, —

с недавних пор приходит навещать меня. Она богата, делает мне подарки, дает деньги. Да, она хорошая дочь, ничего не скажешь, она действительно хорошая дочь.



ЛЮБОВНИЦА ТОЛПЫ

Я была совсем еще девчонкой, а кокетство уже пустило во мне корни, словно одно из тех растений, что гнездятся в трещине на карнизе, — не успеет пройти и нескольких месяцев, а глядишь, оно разрослось в целый куст, и когда ты пытаешься его вырвать, видишь, что корень длинней его самого. Скажем, в ноябре, в начале учебного года, я была еще серьезной девицей, а уже в июне, во время каникул, превратилась в такую кокетку, что даже сама удивлялась, что со мной стало. В ноябре я была одной из холодных школьниц-всезнаек, похожих на старушек, а в июне вертела бедрами, выпячивала грудь, стреляла глазами налево и направо, хохотала без причины, нарочно клала руку на колено, чтобы выставить ее напоказ. И самое главное — думала о мужчинах. Или, вернее сказать, я чувствовала, что о них думаю: в этих мыслях не было ни последовательности, ни расчета, ни суждений, но я ощущала, что эти мысли меня не покидают ни на минуту, чем бы я ни занималась.

Может быть, мне пора уже описать свою внешность: ведь, если я расскажу, какой была тогда, мне легче будет объяснить ту перемену, которая произошла со мной впоследствии. Итак, я была красива торжествующей и ослепительной красотой и вместе с тем спокойна, мягка, безмятежна. Жизненная сила, рвущаяся наружу, переполняла меня, как сок — созревающий плод. Я ощущала ее, эту жизненную силу, в блеске и непокорности кудрей, в сверкании расширенных зрачков, в беспричинности лучезарной улыбки, в вызывающей, щедрой пышности груди, в том пьянящем чувстве, которое ударило мне в голову при каждом шаге, каждом движении. Разумеется, я знала, что красива, но совсем не сознавала, что постоянноставляю свою красоту напоказ. Например, я честно думала, что просто одеваюсь по

моде. В действительности же я всегда носила юбку короче, чем у всех, и самое облегчающее платье с самым глубоким вырезом.

Одним словом, я думала только о мужчинах, и если бы мода того захотела, я, не колеблясь, ходила бы нагишом; однако в свои восемнадцать лет я еще ни разу никого не поцеловала — конечно, если говорить о настоящем поцелуе. Странно сказать — я, которая родилась в семье, где чтит традиции и где растили меня для замужества, отнюдь не жаждала выходить замуж. Наоборот, я стремилась работать — или, во всяком случае, мне так казалось. Я хотела работать, но под этим стремлением стать полезным членом общества скрывалось желание нравиться мужчинам, которое сквозило в каждом движении моего тела. Вскоре мысли о работе стали такими неотвязными, какими, говорят, бывают мысли о любви. Я получила диплом машинистки-стенографистки, занималась французским и английскими языками, посещала курсы переводчиц. Наконец мне удалось получить место секретарши в одном рекламном агентстве.

Там я сразу, что называется, произвела фурор. Директор однажды мне говорит:

— Сузанна, ты — ходячая реклама!

Я наивно спрашиваю:

— Что же я рекламирую?

А он:

— Себя самое.

Я не слишком хорошо поняла, подумала, что он намекает на мое по-прежнему безудержное кокетство, и покраснела. Этот директор был красивый мужчина, высокий и широкоплечий, с двумя только изъятиями: он был совершенно лыс и сутулился так, что казался горбатым. Он, само собой, влюбился в меня, но вел себя любезно и уважительно — такой уж у него был характер. Я отвергала его настойчивые ухаживания и однажды, не в силах ничего больше придумать, дала ему объяснение, которое в ту минуту пришло мне в голову.

— Ты, Этторе, мне нравишься, но не больше всех остальных. Если бы я полюбила тебя, у меня не было бы никаких причин не полюбить любого другого.

Желая сделать мне приятное, директор вскоре поместил меня на рекламном плакате в купальном костюме новой модели. Фотография была цветная на белом

фоне: я просто стояла во весь рост, руки слегка отведены в стороны, ноги чуть расставлены, грудь и живот выставлены вперед, голова откинута. Купальник обладал той особенностью, что на груди был весь в дырку, а на животе, наоборот,— уплотнен, так что все, чего нельзя было ясно разглядеть, было зато предельно подчеркнуто обтягивающей тканью. Короче говоря, плакат был непристойный и в самом деле имел бешеный успех. Его можно было увидеть повсюду. На белом фоне писали похабные фразы и непечатные слова или же делали немыслимые рисунки. Огорчали ли меня непристойность плаката и те сальности, которые на нем писали и рисовали? Сама не знаю. В сущности, то, что со мною еще не произошло в жизни, вдруг произошло на этом плакате: я, так сказать, предложила себя на рынке, и мое предложение немедленно нашло спрос. Украсившие плакат надписи и рисунки свидетельствовали, что создалась определенная рыночная конъюнктура: она была для меня благоприятна, и ее удалось использовать до конца. Я знала и то, что иной раз бранные слова и непристойности могут выражать нежность. В надписях и рисунках на моих плакатах сквозила нежность именно такого рода.

Но плакат этот непонятным образом убил во мне кокетство. Я часто раздумывала о совпадении этих двух событий: успеха плаката и исчезновения кокетства. Нет никакого сомнения, что тут существовала какая-то связь, но какая именно — трудно сказать. И даже мне, одержимой, обуреваемой непреодолимым желанием нравиться мужчинам — больше того, нравиться всем мужчинам сразу,— никогда не приходило в голову, что я могу понравиться не тем сравнительно немногим, кого мне случится встретить на улице или у знакомых, а миллионам существ мужского пола во всем городе. А теперь произошло именно это. Плакат был, так сказать, кокетством с толпой, с массой, и я пробудила любовь толпы, массовую любовь. Но в отличие от того, что бывает, когда влюбляются друг в друга двое, массовая любовь не имела продолжения: она не пошла дальше этого плаката и длилась один сезон, пока длился его успех. Директор, не оставляя мысли завоевать меня, поместил мои изображения на два других плаката, еще более смелых (если только это вообще было возможно!). Но они не имели успеха. Вместе с тем

я заметила, что кокетство, переселившись из моего тела на плакаты, утратило тот бессознательный характер, ту непосредственность, которые делали его таким бескорыстным и пьянящим, подобным головокружительной игре. Оно превратилось в простой, грубый соблазн. Может, поэтому я и перестала быть кокеткой: я начала стесняться, чего прежде, до плаката, со мной никогда не бывало. А может быть, кто знает, вся жизненная сила перелилась из моего живого тела в тело на фотографии и теперь, даже если бы мне хотелось, я уж не могла бы кокетничать как прежде.

Встревоженная столькими непонятными переменами, я тут же решила не отвергать более любовь директора, к которому, впрочем, успела искренне привязаться. Первый раз это кончилось пусть и неполной, но все же неудачей, и я прочла на его лице, что он разочарован моей холодностью, скованностью, равнодушием. Одним словом, я была совсем другой, нежели казалась. Но он любил меня, и я любила его. Поэтому я ушла из дома и переселилась в двухкомнатную квартиру неподалеку от агентства. Квартира была пустая, но я, странное дело, как-то не успела ее обставить. Купила раскладушку, табурет и ничего больше. Для платьев были стенные шкафы. В кухне я хотела поставить стол и пару стульев, да так и не собралась. Ела я, стоя у подоконника с тарелкой в руках, или же изредка приносила на кухню из спальни табурет, а потом, поев, относила его обратно.

Работала я много, агентство процветало, плакатам с хорошенькими девушками не было числа. Директор, несмотря на всю мою холодность, любил меня сильнее прежнего и был готов ради меня на все, кроме одного — оставить жену. Что до меня, то я, как уже сказала, была к нему привязана и, быть может, даже испытывала физическое влечение, но чувствовала, что наши отношения с каждым днем все быстрее сводились к минимуму. На работе я с ним разговаривала односложно, дома, когда он приходил ко мне, вовсе не разговаривала. Но слушала его, иной раз улыбалась. Однако потом наступал момент, когда я помогала ему надеть пиджак и мягко и любезно, как я умею, выставляла его за дверь. Момент этот наступал с каждым разом все быстрее. В конце концов визиты директора стали ограничиваться лишь несколькими минутами и вскоре, с взаимного согласия, совсем прекратились.

Теперь какая-то непреодолимая сила толкала меня оборвать одну за другой все нити, которые связывали меня с жизнью. Ограничив, а потом совсем отменив любовь, я мало-помалу уменьшила также и свой рацион. Стоя у окна, глядя, словно в полусне, сквозь стекло на дом напротив, я съедала совсем немного макарон или вареного риса, изредка кусочек мяса. Но что бы я ни ела, я почти никогда не доедала до конца: оставалось еще полтарелки, а я уже чувствовала, как у меня сжимается желудок, и выбрасывала остатки в помойное ведро. На улицу я выходила, только чтобы идти до работы; вечером отказывалась от всех приглашений в гости или в театр и, сидя одна-одинешенька дома, смотрела телевизор.

Жизнь моя менялась, постепенно она во всем сходила на нет; то же можно сказать и о моей фигуре. Раньше я была почти толстушкой, теперь стала худая, плоская, как доска. Лицо сделалось треугольным, маленьким, кожа обтягивала скулы, огромные, словно расширенные глаза смотрели безжизненно, а большой рот с потрескавшимися, словно пересохшими от жажды губами лишился всякой чувственности. Возможно, на современный вкус я была еще красива, быть может даже красивее, чем раньше, но чувствовала, что внутри у меня все умерло. Директор завел себе другую любовницу, девушка эта тоже работала в агентстве, в одной комнате со мной. Я одобрила его выбор и спросила, не хочет ли он, чтобы я искала другое место. По-прежнему добрый и еще влюбленный, он, плача, бросился к моим ногам, твердил, что любит меня и готов сделать что угодно, лишь бы вновь увидеть меня жизнерадостной и веселой. Я осталась в агентстве.

Однажды я отправилась одна на своей малолитражке к морю. На одном перекрестке я вдруг увидела перед собой знаменитый плакат — рекламу купального костюма. Я остановила машину и стала рассматривать свое изображение. Я подумала, что гляжу на плакат с тоской и сожалением — так пожилые женщины перебирают фотографии, где они сняты молодыми. Но я-то еще не стара, мне всего двадцать шесть лет. Плакат выцвел, весь был исчиркан, разорван. В нижнем углу виднелось одно из тех грубых слов, которые, как я уже говорила, могут выражать также и нежность, и я поймала себя на том, что шепчу: «Если бы это была правда». Потом

я двинулась дальше и выехала на берег моря в том месте, где пляж не слишком многолюден. День выдался чудесный, на ослепительно сверкавшем небе не было ни облачка. Но под этим чистым небом вода в море была из-за отходов какого-то завода темно-желтая, с черным отливом. Для меня это было неприятной неожиданностью, потому что, сказать по правде, я отправилась к морю, чтобы утопиться. Так бы шла и шла по воде до тех пор, пока из-под ног не ушло бы дно, а потом меня покрыло бы с головой. Это было бы не самоубийство, а возвращение к жизни, с которой, сама не знаю как, я утратила связь. Но в таком море, как это, возвратиться к жизни через смерть — захлебнуться и утонуть — было невозможно. Я долго стояла на берегу, глядя на это желто-черное море, а потом села в машину и вернулась в город.



МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ

Все наших детей начали движение протеста против нас с такой неслыханной и безжалостной яростью, что мы с мужем, застигнутые врасплох на середине жизненного пути (нам обоим нет и сорока), прямо не знаем, что и делать. Еще года два-три назад, когда все только и говорили, что о бунте детей против родителей, мы могли строить иллюзии, будто наши дети — счастливое исключение. Патриция и Коррадо, хотя и не проявляли к нам особой любви, вели себя вполне нормально, в сущности, так же, как и мы со своими родителями. Но вот некоторое время назад, возвратясь после каникул, проведенных в лагере на море, в обществе сверстников, они вдруг ополчились против нас с яростью, наверно тем более неистовой, чем дольше она копилась, прежде чем прорвалась наружу. Да уж, ничего не скажешь, упущенное время они наверстали с лихвой! Патриция и Коррадо так ожесточились против нас, что нам следовало бы видеть в них своих врагов и соответственно с этим и держаться, то есть порвать с ними всякие отношения. Однако, к сожалению, это невозможно. Они наши дети, и ненависть их порождена

единственно тем, что они наши дети. Таким образом, нам в свой черед остается лишь видеть в этой ненависти самое неоспоримое свидетельство связывающих нас кровных уз.

Я сказала, что нас это застало врасплох, и сейчас поясню свои слова. Мы с мужем оба достигли среднего возраста, то есть того возраста, когда люди, так сказать, обретают свою окончательную форму,— какие мы есть, такие мы есть, нас уж не изменишь. Таким образом, выражая свой протест против нас, дети, в сущности, ставят нам в вину нашу форму, достигнуть которой нам стоило стольких трудов. Это все равно как обвинять гусеницу в том, что она стала бабочкой, или бутон цветка в том, что он раскрылся. Но что хуже всего, из-за этой их ненависти нас берет сомнение, не превратились ли мы в безобразных бабочек, в цветы с отвратительным запахом. Поистине ненависть — это такое зеркало, в котором ее предмет неизбежно видит свое отражение отталкивающим.

Разумеется, Патриция и Коррадо ненавидят нас каждый по-своему, в соответствии с собственным характером. Патриция, красивая девушка с яркой внешностью, пожалуй, даже слишком пышная, проявляет свою ненависть с бурной непосредственностью. Во время перепадок за обеденным столом (мы видимся с ними только за едой, все остальное время мы живем не соприкасаясь) Патриция после первых же двух-трех выпадов в обычной словесной дуэли теряет над собой контроль, распаляется, начинает кричать, потом ударяется в слезы и убегает, хлопнув дверью. Коррадо же, наоборот, спокоен и держит себя в руках. Он производит впечатление человека, взвешивающего и обдумывающего каждое слово, потому что он заика, из-за этого говорит он медленно, словно тщательно выбирая самые злые и обидные слова. При стычках с Коррадо я частенько отказываюсь от борьбы и высказываю из-за стола возмущенная, с глазами, полными слез.

Несколько дней назад я решила предпринять последнюю попытку примирения. Время послеобеденное, жалюзи опущены, я лежу в темноте на постели рядом с задремавшим мужем; за обедом произошло столкновение, еще более ожесточенное, чем обычно, и до сих пор я никак не могу прийти в себя. Внезапно чувство обиды становится нестерпимо острым, и, не в силах

побороть его, я поднимаюсь в полумраке с постели и начинаю поспешно одеваться. Сначала я пойду к Патриции, которая отдыхает у себя в комнате, потом отправлюсь в «кабинет» к Коррадо. Я буду разумной и сдержанной, беспристрастной и уравновешенной, чуткой и прозорливой. Да, я сумею с этим справиться, — ведь на моей стороне превосходство, которое дают мне жизненный опыт и материнская любовь. Эти мысли приободряют меня, и я успокаиваюсь. Но потом, необъяснимо, почти машинально, я делаю нечто совсем уж странное: медленно и осторожно открываю ящик комода, достаю оттуда пистолет мужа, плоский и тяжелый, и опускаю его в объемистый карман своей тропической куртки.

Ну что ж, попробуем. Выхожу из комнаты на цыпочках, стараясь не шуметь, иду в конец коридора, открываю дверь Патриции. Оба окна распахнуты настежь, и комната залита ослепительным солнцем. Патриция, голая, лежит ничком поперек постели, ноги болтаются в воздухе, волосы свешиваются чуть не до пола. Она читает, держа книгу далеко от глаз. На полу — включенный транзистор, из которого льется тихая музыка.

При моем появлении Патриция вскакивает, словно застигнутая на месте преступления. Она садится, закинув ногу на ногу, приглаживает волосы и, скрестив руки, прячет грудь. Я сажусь на кровать, почти рядом с ней. Я собиралась сразу же взять быка за рога, но, не в силах удержаться, несколько секунд молча гляжу на дочь. У нее пухлое детское лицо, очень густые волосы, сверкающая белизной кожа и замечательная фигура; красота ее мощная, яркая, но ленивая. В зеркале на стене напротив я вижу нас обеих: рядом с нагой Патрицией, такой цветущей, исполненной бьющей через край жизненной силы, я в своей тесно облегающей куртке, с мелкими чертами худого, сильно накрашенного лица кажусь себе высохшей и увядшей. Какие узы связывают нас с Патрицией? Впервые в жизни при мысли, что я — ее мать, я испытываю не чувство любви, а ощущаю чисто физически: эта пышная полнота вышла из моей худобы, это цветение порождено моим увяданием. Говорю — и сама чувствую, что голос мой звучит резко и неприятно:

— Патриция, я пришла поговорить с тобой.

Она отвечает, не повернув головы, уже заранее враждебно, тоже глядя в зеркало напротив:

— Поговорить со мной? Какая честь!

— Патриция, так больше продолжаться не может.

— Совершенно верно, но можете не беспокоиться. В самом скором времени я найду работу и тут же избавлю вас от своего присутствия.

— Но нам вовсе не хочется, чтобы ты уходила. Мы тебя любим и хотим, чтобы ты оставалась жить с нами. Только хоть объясни нам, по крайней мере, почему ты на нас так злишься.

Она пожимает плечами и молчит. Я снова смотрю — сначала на нее, потом на ее отражение в зеркале. Мною овладевает ревнивое и тягостное чувство, которое трудно определить: словно я вижу перед собою нечто мне принадлежащее, более того — мною созданное, свою собственность, которая, уж не знаю как, вдруг от меня отделилась и стала независимой. И не в силах сдержаться, я добавляю:

— Ты отдаешь себе отчет в том, что нельзя так обращаться с собственной матерью, которая родила тебя на свет, вскормила, вырастила?

— Ради бога, перестань, я так и знала, что сейчас начнется физиология. Прошу тебя!

— Одним словом, ты должна объяснить нам.

— Что еще объяснить?

— Твою нелепую враждебность.

Она не отвечает. Только вновь передергивает плечами. Придвигаюсь к ней ближе (в то же время, не в силах побороть соблазн, я подглядываю за этой сценой в зеркало) и, обнимая ее за плечи, говорю:

— Триция, ну что ты имеешь против нас?

Она берет мою руку и сбрасывает ее с плеч, словно слишком теплый шарф.

— Пока что убери лапы. И вообще тут нечего объяснять. Мы против вас, потому что вы такие, какие вы есть.

— И какие же мы?

С тревожной тоской я ожидаю ответа. Рука сама опустилась в карман куртки, и пальцы сжали рукоять пистолета. Внезапно, как часто с ней случается, Патриция вскакивает:

— Какие вы? Просто омерзительные. И только не спрашивай почему: омерзительны, потому что омер-

зительны, и все! Точка. А теперь сделай одолжение — уйди отсюда, я хочу остаться одна, а главное — не желаю тебя видеть.

Она встает, хватая меня за руку, пытается подтащить к двери. Какое-то мгновение мы боремся, она нагая, я одетая, она — вся залитая солнечным светом, я — укрытая тенью. Между тем я продолжаю сжимать в кармане пистолет и чувствую, что еще немного — и я вытащу его из кармана. Потом происходит нечто непредвиденное. У порога Патриция останавливается, отпускает меня и говорит:

— Извини, я из-за тебя совсем потеряла голову. Прошу тебя, уходи. Так будет лучше для нас обеих.

Молча, тяжело дыша, я смотрю на нее, говоря себе, что чуть было не всадила самые что ни на есть всамделишные стальные пули в эту нежную, словно светящуюся изнутри солнечным светом плоть, которая, в сущности, и моя собственная плоть. И выхожу из комнаты.

Я направляюсь напрямик в комнату Коррадо, с силой распахиваю дверь и, ошарашенная, застываю на пороге: комната пуста. А ведь только недавно, за обедом, он сказал мне, что сегодня ждет приятеля, чтобы вместе заниматься. Прикрыв за собой дверь, подхожу к столу и гляжу на пишущую машинку, книги и бумаги. Мой сын не только учится в университете, но и много занимается — читает, пишет. Письменный стол завален книгами; какая-то раскрытая книга лежит на диване; книги, расставленные в два ряда в загадочном для меня порядке, заполняют два битком набитых шкафа. Я сажусь на диван, машинально беру в руки открытую книгу — ту, что сейчас читает мой сын. Пытаюсь читать, но ничего не получается. Написано по-итальянски, это несомненно, но смысл фраз от меня ускользает. Эта книга написана на каком-то другом языке, чем те, что обычно читаю я. Не то чтобы ее язык был уж совсем непонятен, но он уклончив, чужд, неясен. В построении фраз, в самом выборе слов, в общем смысле текста я узнаю ту же холодную и обдуманную враждебность, в которой Коррадо столь упорен по отношению к отцу и ко мне.

Но возможно, это не столько враждебность, сколько отталкивание, полное неприятие. Эта книга словно хочет оттолкнуть меня, отказывается принять мою симпатию, любопытство, готовность к пониманию. Она ведет себя так же, как Коррадо и Патриция: замыкается в себе,

полностью меня игнорирует. Общий смысл того, что я тщетно пытаюсь прочесть, представляется мне какой-то высокой, гладкой стеной без единого окна или двери.

Впрочем, я слишком взволнована, чтобы читать. Сердце после стычки с Патрицией все еще бьется слишком учащено. Слова будят в моем отчаявшемся что-либо понять, обессиленном сознании отчетливое эхо, но звук их лишен всякого значения. Да, это чужой язык, он для людей, с которыми у меня нет ничего общего. Словом, это язык для посвященных. Я, в отличие от Коррадо и Патриции, не принадлежу к тем, кто его понимает. Неожиданно я ощущаю, как на меня накатывает то же необъяснимое чувство ревности, какое я только что испытала, увидев наготу дочери. Вновь мозг пронзает нелепая мысль: «Все это вышло из меня. А теперь против меня восстает».

Книга выскользывает у меня из рук, падает на пол, и я почти машинально наступаю на нее. Потом ввинчиваю в нее каблук туфли, рву ее страницы. Я с силой верчу каблуком, вырывая из книги одну, потом еще две, три страницы. Одновременно я, однако, не спускаю глаз с двери, опасаясь, что неожиданно войдет сын и застанет меня в тот миг, когда я пытаюсь уничтожить книгу, которую он читает.

Мне хочется плюнуть на эту книгу, испачкать ее так, чтобы она превратилась просто в грязную бумагу, в мусор, выбросить ее на помойку. Когда-то, помню, в одном старом деревенском доме я увидела в уборной книгу, повешенную там для всем понятной надобности. Мне хочется, чтобы книга, которую я топчу, кончила так же. Что со мной происходит?

Наконец я немного успокаиваюсь. Снимаю с книги каблук и ухожу, оставив ее валяться на полу. На дыпочках возвращаюсь к себе в спальню, сбрасываю туфли и укладываюсь рядом с мужем.

Что-то мне мешает лежать, больно упираясь в бок. Это пистолет. Вытаскиваю его из кармана и не спеша взвешиваю на ладони. Потом, играя им, приставляю дуло к виску. В сущности, наверно, мои дети в глубине души хотели бы, чтобы я покончила самоубийством. Но пусть не льстят себя этой надеждой: я не покончу с собой. Я — мать, которая любит своих детей, что бы они ни делали, мать, которая сумеет обрести в своей большой любви несокрушимое превосходство. Мать,

к которой рано или поздно все мы неизбежно возвращаемся, потерпев поражение в столкновении с тем миром, в который она, хотели мы того или нет, нас когда-то впустила.



ЕГИПЕТСКАЯ ЦАРИЦА

Сегодня за завтраком, когда мой муж стал поносить одну нашу знакомую, которая будто бы изменяет своему супругу, я взорвалась с такой силой, что поразилась сама, ибо не знала, что этот вопрос может так меня взволновать:

— Как все мужчины, ты становишься наивным, когда речь заходит о женщинах: ты думаешь, что они такие, какими кажутся. Не правда ли, во всех женщинах есть что-то инфантильное, следовательно, невинное? У них не растет борода, личики у них кругленькие либо овальные, глаза огромные, носы маленькие, а губки бантиком. Все они, даже пятидесятилетние, кажутся девочками. И вот этим-то они легко обманывают вас, мужчин. Но пусть их вид не вводит тебя в заблуждение. Я сама женщина, знаю женщин и говорю с твердой уверенностью, что нет ни одной, ни единой, которая не была бы обманщицей, изменницей, не была бы неверной, неискренней и фальшивой. Только следует сказать, что, с точки зрения самих женщин, фальшивость эта особого рода, и она имеет другое название. В этом все дело. Они фальшивы только в отношениях с мужчинами, а в остальном — нет.

Мой муж криво усмехнулся, глядя в тарелку. Потом спросил:

— Как же называется эта, как ты говоришь, особого рода фальшивость?

— Она называется: фантазия, независимость, власть, свобода, любовь к приключениям, жажда жизни и тому подобное.

— Все это, конечно, заслуживает уважения. Но приведи пример.

— Пример? Да я могла бы привести тебе тысячу примеров.

— Мне достаточно одного.

Застигнутая врасплох, я начинаю нервничать, кусать губы, сметать со скатерти хлебные крошки.

— Подай ему примеры, экий дотошный! Ну, что тебе сказать? Например, я знакома с одной еще молодой, очень красивой женщиной, которая из-за своей неумной фантазии, мании независимости, желания власти, потребности свободы, любви к приключениям, одним словом, из-за своей жажды жизни попала в самую невероятную историю.

— Какую историю?

— После нескольких лет ухаживания одного богатого и старого мужчины она, наконец, стала его любовницей с условием, что после каждой их встречи он будет давать ей определенную сумму денег.

— Какая же это невероятная история? Самая простая и, к сожалению, банальная вещь!

— Погоди. Эту сумму денег она целиком передает другому мужчине, на этот раз молодому, в которого влюблена. Деньги идут на нужды террористической группы. Юноша тоже влюблен в нее, но она упорно ему отказывает. Их отношения чисто платонические.

— Так она из тех, кто торгует собой ради так называемого дела?

— Нет, только с тех пор, как они полюбили друг друга, она торгует собой ради него.

— Между прочим, ты говоришь, что фальшивость женщин, по их представлениям, называется «независимость». Независимость от кого?

— Независимость от мужа. Другой независимости быть не может.

— Хорошенькое дело! Но как это?

— Все упирается в материальную зависимость, поскольку она живет с мужем в его доме. Как известно, можно обойтись без чего угодно, только не без крыши над головой. Отсюда единственная и подлинная зависимость женщины от хозяина этой крыши.

— То есть от мужа?

— Да.

— Таким образом, эти несчастные женщины больше всего боятся, что их вышвырнут на улицу. И в отместку за эту зависимость они устраивают так называемые «невероятные истории».

— Что-то вроде этого.

После завтрака муж идет отдыхать. Он старше меня, годится мне в отцы. И в самом деле, он по-отечески заботлив, ласков, снисходителен и, на мое счастье, витает в облаках. Что касается меня, то я, несмотря на симпатию, которую испытываю к нему, не считаю его ни отцом, ни мужем, а, как уже объяснила ему, считаю хозяином крыши. Да еще крыши, которая прикрывает четыреста квадратных метров роскошной квартиры на самом верхнем этаже дома в районе Париоли. А уж если говорить, как я завишу от него, то надо сказать, что у меня нет ни гроша за душой, и если он меня вышвырнет на улицу, то я вынуждена буду вернуться к родным, в провинцию.

Размышляя обо всем этом, я иду в другой конец квартиры, забираюсь в своей комнате и, понизив голос до шепота, два раза звоню по телефону. Пока я разговариваю, я, словно зачарованная, гляжу в открытую дверь балкона: сегодня — прекрасный летний воскресный день; у моего мужа какие-то дела в городе, и поэтому он меня держит при себе в эти жаркие дни успенья, к моему тайному удовольствию, потому что я ненавижу дачу и тех, кто туда ездит. Кажется, что яркий солнечный свет, падая на зеленые, застывшие в неподвижности листья американского плюща, постепенно превращается в тишину. Именно такие воскресные дни я люблю.

Закончив оба разговора, я открываю шкаф и выбираю платье для этого времени дня. Нужно нечто скромное, строгое, элегантное: пожалуй, шелковое платьице, напоминающее фартук, с двумя карманами спереди и с пояском. Потом я подхожу к зеркалу подвести глаза. Мне многие говорили, что я похожа на одну царицу древнего Египта, на ее знаменитое изваяние, и иногда, вот как сейчас, когда я смотрюсь в зеркало, я сама попадаю под обаяние моего худого и страстного лица, моих блестящих, выпуклых глаз, моего тонкого, хорошо очерченного носа, моих чувственных, с горькой складкой, губ. Я не могу удержаться и целую свое отражение в зеркале.

Я спускаюсь в лифте вниз, через вестибюль выхожу на улицу. Свежий легкий ветерок набрасывается на меня, облепляя шелком юбки мои ноги и живот. Машина стоит тут, рядом, одна-единственная на всей улице, залитой солнцем, — шикарная, огромная машина.

Мой муж говорит, что за рулем своей неподвижной, устремленной вперед головой, венчающей длинную тонкую шею, я особенно напоминаю египетскую царицу. Он говорит, что я в самом деле похожа на царицу древности в царской колеснице.

Я включаю мотор, раздается сильный, громкий металлический скрежет, а я тем временем снизу бросаю взгляд наверх, на наш дом. Там все, в том числе и мой муж, кажется, заснули.

На третьем этаже две большие, оранжевого цвета, маркизы надуваются от ветерка, а потом опадают.

Так, так, так, так, так, машина выскальзывает из спокойной улочки на прямой длинный проспект с платанами, трамвайной линией и домами с закрытыми окнами. Вокруг тихо и пустынно. У светофоров я одна жду, пока красный свет сменится зеленым. Я терпеливо жду, хотя, можно сказать, сгораю от нетерпения: то, что заставляет меня быть нетерпеливой, становится для меня еще более привлекательным, потому что я умею терпеть.

Так, так, так, так, так, одна-единственная машина с умеренной скоростью следует по пригородному проспекту от светофора к светофору. Я веду машину спокойно, положив обе руки на руль и сидя почти неподвижно. Потом беру кассету с записью «Весны священной» Стравинского и вставляю в магнитофон. Это как раз то что надо, чтобы сопровождать и подбадривать меня в моей поездке через весь город. Я регулирую звук, потом от зажигалки прикуриваю сигарету.

Так, так, так, так, так, машина пересекает мост через Тибр, минует площадь Понте-Мильвио, взбирается вверх по улице Кассиа, доезжает до развилки Камиллучча, поворачивает налево. Вот она поднимается на гору Монте-Марио, поросшую густыми садами, в тени которых скрыты невидимые виллы. Первый поворот, второй, третий. Я бросаю сигарету, облизываю языком сухие губы.

Вот и ворота. Я останавливаю машину в тени, выхожу из нее, проскальзываю сквозь приоткрытые створки ворот, не спеша иду по широкой, усыпанной гравием площадке. Руки мои в карманах платья, глаза опущены. С другого конца площадки на меня смотрят три этажа закрытых окон виллы. Большой серо-бело-розовый датский дог идет мне навстречу, дружелюбно обнюхивает

меня, узнает и медленно удаляется в сторону стеклянной оранжереи с тропическими растениями.

Вот в дверях виллы, по бокам которых стоят две терракотовые чаши с геранью, появляется человек: это слуга. Когда я приближаюсь к двери, он отходит в сторону и пропускает меня вперед.

Сколько времени я провожу в вилле? Приблизительно часа полтора. Потом я выхожу, иду по площадке, усыпанной гравием, держа руки в карманах и опустив голову, как и пришла. Датский дог дружелюбно обнюхивает меня, узнает и медленно удаляется в сторону оранжереи. Когда я толкаю тяжелую створку ворот, то замечаю, что солнце, которое недавно освещало верхнюю часть виллы, теперь совсем исчезло, оставив весь фасад в тени.

Вот я на улице, легкий ветерок овеивает меня, облепляя шелком платья мои ноги и живот. Я сажусь в машину, завожу ее и уезжаю.

Так, так, так, так, так, как прекрасно чувствуешь себя после того, как совсем недавно было скверно. Теперь я снова хочу, чтобы моя поездка никогда не кончалась. Хотя бы для того, чтобы снова почувствовать себя египетской царицей: точеный профиль венчает тонкую шею; обе руки на руле, а у рта пролегла складка от горького испытания. Я вставляю другую кассету, на этот раз «Болеро» Равеля. Машина начинает спускаться к улице Кассиа, делая поворот за поворотом. Какой необыкновенный день, какой изумительный день! Я веду машину одной рукой, второй делаю всякие дела: зажигаю сигарету, провожу ладонью по гладким черным волосам, собранным на затылке в маленький блестящий пучок; застегиваю нижнюю пуговицу на платье, почему-то оставшуюся незастегнутой; на ощупь пересчитываю купюры в большом тяжелом конверте, который лежит в сумке возле меня. Какой необычайно легкий и ясный день!

Машина пересекает площадь Понте-Мильвио, едет по набережной Лунготевере, справа раскинулись мраморные развалины римского Форума. Машина поворачивает на мост, который находится на одном уровне с верхушкой колоннады, минует несколько светофоров, скользит на средней скорости в игривой тени платановой аллеи. В одном из участков аллеи молодая красивая черноволосая женщина, одетая в зеленую майку и черные брю-

ки, почти бросается под машину, чтобы остановить ее. Я резко торможу; девушка приближается и разговаривает со мной; я беру конверт с деньгами и протягиваю его ей; она в свою очередь кладет его в сумку, висящую на плече, прощается со мной и отходит. Я уезжаю.

Так, так, так, так, так, машина скользит под платанами, потом останавливается в каком-то месте. Я выключаю «Болеро», зажигаю сигарету и курю, сидя неподвижно, словно раздумывая о чем-то. Мое лицо ничего не выражает, я это знаю и довольна, что это так. Выкурив сигарету, я завожу машину и еду вверх по улице, которая ведет к моему дому на холме Париоли.

Немного позднее, приняв душ и надев халат, я сижу на балконе, наступил тихий и спокойный летний вечер. Мой муж перед ужином тоже приходит и садится на балконе. Мы снова говорим о женщинах; история моей приятельницы, у которой двое мужчин: один — богатый и старый, другой — бедный и молодой, и которая спит с первым, чтобы материально поддержать политические дела второго, с которым не спит, интригует его. Тогда я сообщаю последние новости, которые узнала об этой странной женщине: на обычном месте свиданий молодого человека не оказалось, он прислал за деньгами девушку, вероятно, свою новую подругу. Моя приятельница, столкнувшись с такой переменой, которая нарушает и без того нелегкое равновесие, чувствует потребность серьезно пересмотреть создавшуюся ситуацию, прежде чем решить, как ей следует поступать дальше.



ГРОМ И МОЛНИЯ

Время от времени я срываюсь и устраиваю то, что на моем собственном жаргоне называется «трамтарарам», — грозу с громом. Что это значит? А вот что: постепенно, месяцами, а то и годами, во мне накапливается ненависть. К чему именно, не знаю, но она становится все сильнее, сгущается наподобие грозовых туч на горизонте в погожий летний день. Потом вдруг — достаточно любого, предлога! — ненависть эта взрывается, и только тогда я обнаруживаю.

против кого она направлена; я раздражаюсь потоком слов, хоть и яростных, но вполне справедливых и точных, и таким образом, в некоем состоянии аффекта, отвожу душу. Это как циклон, устоять против него невозможно никому, и мне в первую очередь. Какая из моих гроз была самой важной и запоминающейся? Конечно, та, которую я в восемнадцать лет обрушила на своего отца, ветеринарного врача, всю жизнь прослужившего в Д., сонном провинциальном городишке. В тот раз я исходила криком три часа кряду, без перерыва, в присутствии матери, оторопевших сестер и братьев. Что я кричала? Да все, что приходило в голову: поносила отца, нашу семью, город — все на свете. Я кричала, что мне осточертела эта жалкая жизнь в провинции, что я хочу жить, а не прозябать, что, если так будет продолжаться, я удеру с шофером транзитного грузовика или выйду на панель. Я кричала, что не могу больше выносить их добропорядочность, что буржуазная мораль не по мне, что я рождена авантюристкой международного класса. К сожалению, я кричала также, что мне опротивели мои родители, и перечислила все их недостатки, физические и нравственные. Чего я только не наговорила! Гроза моя разразилась подобно смерчу, засасывающему с земли всякую нечисть, чтобы потом выплюнуть ее обратно, только на много километров дальше. Так было и с моей грозой. Как она кончилась, эта моя гроза в восемнадцать лет? Очень плохо: удрученная тем, что так гнусно обошлась с родителями, и не имея сил продолжать жить по-прежнему, я выскочила замуж. За первого встречного. И я уже чувствую: новая гроза не за горами, фактически тучи начали сгущаться с того самого момента, когда я произнесла в церкви сакраментальное «да».

Вот он, мой первый встречный. Входит в просторнейшую гостиную нашей сверхизысканной, сверхшикарной квартиры, пробирается между креслами и диванами, жалкий, безликий, незначительный: одет в темно-серый костюм, как какой-нибудь третьесортный клерк или адвокатик; очкастый, лысый, разумеется небритый, с неизменной траурной повязкой на рукаве по поводу смерти очередного дальнего родственника; и галстук черный, и носовой платок с черной каемкой. Ходит он вразвалку, как-то неуверенно — может быть, оттого, что кривоногий. В руке зажата кипа помятых газет. Меня

мутит от одного их вида, разжимается долго сдерживаемая пружина злости. Я взрываюсь:

— Опять ты со своими газетами! Сколько можно читать газет? Пять, десять, пятнадцать? Римские, миланские, здешние — не знаю уж, сколько их тут, в твоём поганом городе, выходит! Что ты в них ищешь, в этих своих гнусных газетах, хотела бы я знать! Будь спокоен, ни о тебе, ни обо мне в них не напишут. Лично я их даже в руки не беру, Газеты читают те, кто живет, кто действительно участвует в жизни, у кого она есть, жизнь, а мы с тобой, разве мы живем? Нет, дорогой мой, мы не живем, мы существуем, так на кой нам сдались газеты?! Вон тем кустам на террасе они нужны? Так же и нам.

Он стоит передо мной, некрасивый, жалкий, смотрит на меня через свои огромные очки — возможно, хочет что-нибудь возразить, но я не даю:

— И вообще пришло время объяснить: ты мне надоел, опостылела мне эта наша семейная жизнь и вся эта затея, сил моих больше нет. Да, у нас квартира, которая обошлась в полмиллиарда, и обставил ее знаменитый архитектор, каждая вещь весит центнер и стоит миллионы, но чем мы в этой квартире занимаемся? Ничем, ровно ничем. Хотя, впрочем, нет: ведем семейную жизнь. Ах, ах, семья! Ладно, поговорим о семье, надо же когда-нибудь и об этом. У тебя культ семьи, я не возражаю, пожалуйста, на здоровье, но зачем навязывать его мне? Отдаешь ли ты себе отчет в том, что я в этой нашей квартире, обошедшейся в полмиллиарда, никого, кроме твоей родни, не вижу? Родственников у тебя, извини за выражение, как собак нерезаных. Семья! Кто-кто, а я знаю, что такое семейная жизнь. Это значит иметь кучу братьев и сестер, зятьев и золовок, тетушек и дядюшек, дедушек и бабушек, племянников и племянниц, и всех корми обедами и ужинами, изо дня в день, изо дня в день. Это значит торчать все вечера у телевизора бок о бок со старой волосатой обезьяной, которая приходится тебе мамашей, и с не менее волосатой макакой — твоей незамужней сестрицей. Это значит часами ублажать свекровь и золовку — глазеть вместе с ними на витрины и ходить по магазинам, не делая ни одной покупки. Впрочем, зачем мне покупки? К чему туалеты, драгоценности, меха, как другим женщинам? Чтобы выпендриваться перед твоими родителями?

Что это он? Уронил газеты, шарит в кармане, дрожащей рукой закуривает сигарету. Я знаю, из его близких никто с ним в жизни так не разговаривал, но я уже закусила удила, и то, что он явно расстроился, не только не умерило мой раж, но распалило еще больше:

— Да, у меня есть семья, и, можно сказать, безупречная. Кое в чем даже слишком безупречная — например, по части религии. Да, уж на этот счет ничего не скажешь: богу вы молитесь истово, можно подумать, что он у вас особый, для вашего личного пользования, — и бог, и Иисус, и мадонна, и целый сонм святых — все в вашем полном распоряжении. И паломничество в святые места вы устраиваете, и молитвы с утра до вечера шепчете — насчет недостатка набожности в этом доме беспокоиться нечего, не квартира в фешенебельном квартале Париоли, а монастырь, храм. Чего только у нас нет: и образки, и ладанки, и фигурки святых, и четки, привезенные из Лурда, и бутылки с иорданской водой из Иерусалима! А уж фотографий епископов и монсеньоров с личными надписями и благословениями не счесть. Но я в бога не верю, нисколько, понятно? Я, когда жила дома, в церковь ходила только для того, чтобы уважить родителей, да и то лишь по воскресеньям, а не как здесь, ежеутренне!

Он курит и на меня поглядывает, поглядывает на меня и курит. Я его никогда таким не видела, даже как-то боязно стало, но гром еще не отгремел, гроза еще не разрядилась:

— И знаешь, что для меня особенно невыносимо в этой нашей распрекрасной семейной жизни? Ваша манера разговаривать. Я итальянка, мой язык итальянский, и я ни бельмеса не смыслю в том, что вы говорите. Черт вас знает, о чем вы между собой судачите, о чем шепчетесь! О капиталовложениях, что ли? О текущих счетах в итальянских и швейцарских банках? Об акциях, облигациях, ценных бумагах, о золоте в слитках и в монетах, да? Я знаю, ты деловой человек — видно, много зарабатываешь, но это не причина, чтобы разговаривать в моем присутствии на своем непонятном наречии. Чего вы боитесь? Что я разболтаю насчет ваших заграничных капиталов? Что я выкраду ключ от сейфа? Зачем все эти тайны, все эти разговоры на диалекте? Я из бедной семьи, но я гордая, и денег твоих мне не надо. Плевать мне на твои деньги! Так что мо-

жете говорить при мне и по-итальянски, можете сколько угодно обсуждать свои прибыли и проценты, я все равно вас не замечаю и не слышу!

Он отошел к дальнему столу, где стояла пепельница, погасил только что начатую сигарету, не спеша вернулся ко мне и остановился, глубоко засунув руки в карманы пиджака. Тут разверзлась последняя туча моей гробы:

— И наконец, должна сказать тебе следующее: на мой вкус ты слишком буржуазен, слишком придержи-ваешься традиций, слишком серьезен. Посмотри хотя бы, как ты одет. Можно подумать, что ты служишь в похоронном бюро! Ты же бываешь на улице, неужели ты не видишь, как одевается молодежь? Джинсы, рубашки навывпуск, сандалии! Бороды, длинные шевелюры, гитары! Для меня ты и все твоё семейство, начиная с твоих придурковатых сестер и кончая балбесами братьями, слишком благопристойны. Раз уж я сегодня разоткровенничалась, скажу тебе сейчас то, чего никогда в жизни никому не говорила: знаешь, каков мой идеал мужчины? Да, да, ты отгадал: Алэн Делон, когда он играет гангстера, вора, грабителя — в общем, преступника. Да, таков мой идеал: красавец, бесстрашный человек, который ничего и никого не боится, чуть что — хватается за пистолет; не жизнь, а легенда. Алэн Делон. Ночные бары, шикарные отели, из Парижа в Нью-Йорк, из Нью-Йорка в Рио-де-Жанейро. Из Рио в Париж. Вот чего ты добился своим культом семьи, своей набожностью, своей моралью, своей добропорядочностью: твоя жена мечтает быть женой гангстера.

Вот и все: гроза прошла, гром отгремел — я отвела душу. Но тут мне вдруг стало страшновато. Еще и потому, что муж смотрел на меня взглядом, какого я у него не замечала, взглядом новым, пристальным, решительным и в каком-то смысле бесчеловечным. Он пошел прямо на меня, мелко шагая негнушимися ногами; приблизившись, вынул одну руку из кармана и — раз, раз, раз! — отхлестал по щекам, причем как-то невероятно оскорбительно. Не знаю, как я устояла на ногах, я глянула на него, взвывая нехорошим голосом — мне показалось, я вижу этого человека в первый раз, — сорвалась с места и кинулась в переднюю, потом кубарем — вниз по лестнице. Наконец я на улице; замедляю шаг и направляюсь к парку, неподалеку от нашего дома.

На большой лужайке играют дети, вокруг — скамьи. Я выбрала незанятую, села и попыталась собраться с мыслями. Но затрещины, видно, были такой силы, что я никак не могу успокоиться. Мимо проходят люди, плакать у всех на виду стыдно. На скамейке кто-то оставил до меня газету, я беру ее в руки и притворяюсь, будто поглощена чтением. Слезы каплют на бумагу, застилают глаза.

Потом туман мало-помалу рассеялся, стало видно лучше. И тут вдруг на первой полосе еще сквозь слезы, но уже отчетливо я различаю фотографию... Знакомое лицо; всматриваюсь: так и есть — это он, его физиономия. физиономия человека, которого я, выходя за него замуж, про себя окрестила не слишком лестным эпитетом «первый встречный».

Разворачиваю газету, смотрю — ему посвящены две колонки — и невольно вспоминаю, как я ему крикнула, что о нас с ним в газетах не напишут. Однако посмотрим, о чем речь.

Я стала читать и не поверила своим глазам. Ничего из того, о чем говорилось в этих двух колонках, я никогда о нем не знала, все это он от меня скрывал, речь шла о грабежах, убийствах, преступных сговорах, о наркотиках, о проституции. Да, да, и о проституции. Помешено и его интервью с каким-то журналистом, в котором он, само собой разумеется, все отрицает. В заключительной фразе я расслышала знакомую интонацию: «Шутить изволите. Я ничего не знаю. Я честный семьянин».

Теперь понятно, почему сегодня утром, когда он держал в руке эту кипу газет, у него был такой расстроенный, убитый вид. Он впервые в жизни попал в газеты и чувствовал себя так, словно с него при всем честном народе и, главное, при мне сорвали маску. А я-то кричала ему в лицо, что мой идеал мужчины — гангстер! Чего хотела, то и получила.

Гром прогремел, но сверкнула и молния, и молния эта попала прямо в меня. Испепелила!

А теперь давайте разберемся. Я вышла замуж за порядочного человека, думала, он как стеклышко, а он оказался преступником. Спрашивается, что же мне надо было делать? Выйти замуж за уголовника, чтобы впоследствии обнаружить, что он — чистая душа, человек с большой буквы? Или же искать себе мужа в другом

месте, неведомо где, подыскивать себе что-нибудь совсем иное, невиданное, чтобы избежать этой дилеммы, которой по сути дела — так мне подсказывает чутье — не существует? Увы, я сама кругом виновата, ошиблась, но в чем же все-таки была моя ошибка?



КОМПЛЕКС ЭЛЕКТРЫ

рач-психоаналитик, который два года лечит нас, моего брата и меня, говорит, что из двух близнецов один обычно сильнее другого и он руководит поступками более слабого. Вполне возможно, по крайней мере в нашем случае так оно и есть. Я нахожусь под влиянием Серджо, холодная логика его мышления околдовывает и покоряет меня. Правда, оба мы слабовольны, неуверенны, непоследовательны, но Серджо хотя бы удалось овладеть лексикой психоанализа, скрыться за маской ободряющих слов, а мне — нет.

Но зато у меня есть одно преимущество перед Серджо: странное чувство сознания того, что я была вместе с ним еще до нашего рождения, что я прошла с ним испытания, начиная от того абсолютного ничто, которое предшествует жизни.

Это чувство позволяет мне иметь с Серджо, как бы это выразиться, ту биологическую близость, которой не могут знать ни одна пара обычных братьев и сестер. Близость, идущая от сознания того, что мы дополняли друг друга в материнской утробе, были одним человеком, хотя и состояли из двух тел.

Я раздумываю обо всем этом, направляясь к Серджо после того, как мне позвонили по телефону и сообщили отныне уже банальную вещь, которую мы, впрочем, предвидели и предугадывали, что наш отец похищен, что он в добром здравии и что мы, дети, должны теперь ожидать второго звонка, когда похитители сообщат нам, сколько надо заплатить, чтобы получить отца целым и невредимым. Почему, говорю я, мы предвидели и предугадывали это? Не только потому, что наш отец так называемый делец, да к тому же еще крупный, и что

это — не знаю почему — могло случиться в любой момент, а еще и потому, именно потому, что этого мы оба ожидали и почти, как вы поймете, рассчитывали на это. Мы даже заключили пари: Серджи говорил, что отца похитят рано утром, когда он поедет в офис: я же утверждала, что похищение произойдет поздней ночью, когда он отправится, как он имел обыкновение делать каждый вечер, в дом своей любовницы, от которой имел ребенка. Серджи заявлял, что в споре мой довод, будто отца похитят ночью, объясняется моей ненавистью к этой женщине, которая после смерти нашей матери надеялась женить отца на себе и таким образом стать нашей мачехой. Возможно. Как бы то ни было, Серджи выиграл пари: нашего отца похитили рано утром, вероятно в тот момент, когда он на машине выезжал из парка нашей виллы.

Я шагаю через две ступеньки по крутой лестнице старинного здания, на самом верху которого находится квартира Серджи, останавливаюсь запыхавшись у двери и нетерпеливо нажимаю на кнопку звонка. Я жду долго, потом слышу возню, дверь открывается, в ту минуту, когда я вхожу, обнаженная белая женская фигура мелькает в прихожей и скрывается во мраке коридора. Я направляюсь прямо в кабинет Серджи и вхожу туда. Тут я сразу окунаюсь в успокаивающую меня атмосферу псевдонаучной и инфантильной невозмутимости моего брата. Яркое октябрьское солнце сквозь окно освещает огромный стол из стекла и стали, множество карандашей и ручек, воткнутых в два кожаных стакана, электрическую пишущую машинку. Книжные стеллажи из чистого блестящего хромированного металла выглядят весело: книги, все новые, расставлены скорее по цвету переплетов, чем по содержанию. Здесь есть все из домашней техники: телевизор, радио, проигрыватель, кинокамера. Я подхожу к окну и выглядываю в него: далеко внизу в большом дворе, возле вереницы машин, стоящих под колоннадой, разговаривает группа шоферов. Тут я вздрагиваю и резко оборачиваюсь, услышав голос Серджи, который говорит:

— Каким образом ты очутилась в наших краях? Ну, так что, это произошло?

Я молча смотрю на него и киваю головой. Он весь, от плеч до ступней, закутан в зеленую махровую простыню, из треугольного отверстия этого подобия тоги пря-

мо и вызывающе торчит светловолосая голова. Он только что встал и принял душ, длинные белые босые ноги оставляют мокрые отпечатки на сером ковре, покрывающем весь пол. Он очень худой, начиная от ног и кончая костлявым лицом; глубоко сидящие голубые глаза смотрят всегда чуть хмуро и устало. Он садится на край письменного стола, из-под простыни выглядывают его скрещенные белые дряблые ноги. Он спокойно спрашивает:

— Когда это случилось?

— Сегодня, в семь утра, когда он на машине выезжал из нашего парка. Спустя полчаса мне позвонили по телефону. Я ничего никому не сообщила, а явилась сюда.

— Итак, я выиграл пари.

— Да, ты выиграл. Что теперь будем делать?

— Будем точно действовать согласно выработанному плану.

Вот и приехали! И верно, с обоюдного согласия мы, Серджо и я, разработали кое-какой план действий на случай возможного похищения нашего отца. План вообще-то был очень прост: на шантаж бандитов мы ответим категорическим «нет». Но сейчас после ответа Серджо, звучащего совершенно по-военному, меня вдруг охватила страшная тревога: как бывает, когда офицер отдает солдату, стоящему по стойке «смирно», приказ, выполнить который невозможно, хотя заранее было решено поступить именно так. В полной растерянности я лепечу:

— Выработанный план! Но ты понимаешь, что это практически смертный приговор нашему отцу?

— Ничего подобного. Мы не приговариваем его к смерти. Мы оставляем право выбора за бандитами. Речь идет не о смертном приговоре, а о ходе, который в покере называется «проверим». Бандиты утверждают, что у них на руках среди карт есть джокер смерти. Ну, а отказываясь платить выкуп, мы обеспечиваем себе две вещи: мы заглянем в их карты, чтобы определить, не блефуют ли они, и поставим их перед фактом выбора, который касается только их самих, а нас освобождает от всякой ответственности. Если они блефуют, наш отец вернется домой, не потеряв ни одного центезимо, что для него же лучше, в противном случае мы навсегда избавимся от человека, которого ненавидим.

— А мы в самом деле его ненавидим?

— Я бы сказал да, разве не так?

— Но почему мы его ненавидим?

— Об этом мы уже говорили сто раз. Короче: мы ненавидим его, потому что разочаровались в нем.

— А достаточно ли одного разочарования, чтобы желать человеку смерти?

— Как сказать! Если разочарование сильное и если к тому же этот человек твой отец, то я бы сказал «да».

— А ты считаешь, разочарование было сильное?

— Гм, обнаружить, что твой отец мошенник, — это достаточно сильное разочарование, не так ли?

Я, все еще в отчаянии, возражаю:

— Допустим, что бандиты нам его вернут без выкупа. Как мы сможем объяснить отцу наше поведение? Не скажет ли он, что мы хотели обречь его на смерть?

— Я уверен, что он так и скажет. А разве не этого мы желали все время?

— Чего?

— Окончательного объяснения с нашим отцом. Ведь мы оба трусы, объяснение с ним нас всегда пугало, теперь же мы вынуждены будем это сделать. Наконец-то все станет ясно.

Серджи холоден, предельно холоден, но на этот раз его холодность не успокаивает меня, а, наоборот, усиливает мою тревогу. Да, это холодность ученого, но я знаю — и знаю, что он знает, — это ученость мнимая, всего-навсего обычная поза. Я говорю с тяжелым вздохом:

— Дело в том, что раньше я его безумно любила. Представь себе, в детстве я считала его верхом совершенства. Я говорила себе почти с испугом: «Мой отец — само совершенство».

Серджи одобрительно кивает головой:

— Самый типичный комплекс Электры. У меня же наоборот — Эдипов комплекс. Но так как наша мать умерла, то оба комплекса поменялись местами. Наш отец стал для тебя матерью, и таким образом ты, как Электра, желаешь его смерти, чтобы я целиком принадлежал только тебе, поскольку я, в свою очередь, стал для тебя твоим отцом. Ты, со своей стороны, стала для меня матерью, и поэтому я желаю, чтобы ты целиком принадлежала мне, и вследствие этого хочу смерти нашего отца.

Зачарованная потоком слов, я не возражаю, но моя тревога не уменьшается, а растет. Я говорю:

— Электра или не Электра, но я действительно считала его до такой степени совершенным, что даже его недостатки принимала за достоинства. Помню, как однажды в детстве я сказала своей подруге: «А вот мой отец хромает, а твой нет». Девочка была так поражена моим хвастовством, что тут же, не найдя ничего лучшего, возразила мне: «Зато мой отец — левша».

Серджи смотрит на меня внимательно, холодно, снисходительно и молчит. Я собираю всю свою решимость и говорю:

— А что бы ты сказал, если бы я предложила тебе забыть наш план и заплатить выкуп?

Он отвечает не моргнув глазом:

— Я сказал бы, что ты как была, так и остаешься чувствительной идиоткой. Но с точки зрения, так сказать, экспериментальной, я с удовлетворением отметил бы яркое подтверждение некоторых отклонений от комплекса Электры, которые я давно в тебе наблюдаю.

— Одним словом, ты отказался бы от нашего плана?

— Если ты так хочешь, то да.

— Ладно, я так хочу.

Кто знает, не испытывает ли он сейчас облегчение от моего ответа, который освобождает его от страшных последствий? Во всяком случае, он снова вошел в роль моего покровителя, как всегда он должен продемонстрировать свою невозмутимость и свое превосходство: ничто не отражается на его застывшем лице. Он говорит:

— Хорошо, мы заплатим выкуп. А пока я позвоню нашим адвокатам.

Я тотчас же встаю, в глубине души довольная тем, что он снова направляет меня и я следую за ним. Я поспешно говорю:

— Я ухажу, все отдам в твои руки, делай все сам. Об одном только прошу: никакой шумихи в газетах о нашей огромной, душераздирающей любви к отцу. Никакой сыновней любви!

— Будь спокойна, я все сделаю.

Я выхожу и начинаю медленно спускаться по лестнице. Пока я спускаюсь, я не могу не представить себя, что произошло бы, если бы мы последовали нашему плану. Я воображаю второй звонок по телефону:

— Итак, что вы решили?

- Мы решили не платить выкуп!
- Но вы знаете, что произойдет, если вы не заплатите?
- Конечно, знаем, но все равно не заплатим.
- Но разве у вас нет родственных чувств?
- Кажется, нет.
- Как же так, ваш отец всю жизнь работал на вас, а вы таким образом его отблагодарили?
- Ну да, так и отблагодарили.
- Но что вы за дети? У вас нет страха божьего?
- Страх божий оставьте при себе, ладно?
- Но что у вас вместо сердца? Камень?
- Еще какой камень! Что вы от нас хотите? Мы люди не старомодные, как вы, мы, к сожалению, современная семья. Вы когда-нибудь слышали о Фрейде?
- Это кто такой? Иностранец? Имейте в виду, мы не желаем, чтоб всякие иностранцы путались у нас под ногами.
- Вы никогда не слышали об Эдиповом комплексе?
- Комплекс? При чем здесь эти выкрутасы? Мы с вами не на танцах! Речь идет о жизни вашего отца.
- Вы никогда не слышали об Электре?
- Электре? Да кто эта Электра? Тебя разве не Сильвия зовут?
- Увы, да, идиот, меня зовут Сильвия...



СУПЕР-ТЕЛО

некоторых пор мой муж как бы делит меня на две совершенно разные части: одна — раздражающая, ненужная, отрицательная, вторая — лестная, необходимая, положительная. Мне нетрудно было понять, что одна часть — это та, что идет от шеи вверх, а вторая — от шеи вниз. Стоит мне о чем-нибудь заговорить, как муж меня обрывает, начинает передразнивать и обзывать кретинкой. Когда же я лежу или молча расхаживаю перед ним, взгляд его останавливается на мне со странным выражением одобрения, к которому примешивается оттенок сожаления. Вполне естественно, что это создает некую раздвоенность и у меня. Я все

чаще сбиваюсь, робею, речь моя становится невнятной, путаной, не могу отделаться от мысли, что муж все время думает: «Какая же ты у меня все-таки кретинка!» Напротив, когда я лежу или хожу, а он на меня смотрит, у меня появляется желание позировать, получше смотреться, завлекать. И я угадываю ход его мысли: «Подумать только, какое у этой моей кретинки-жены великодушное тело!»

Чтобы лучше понять, что за человек мой муж, надо знать, что он — кинопродюсер, из тех, о ком говорят: выбился в люди. Об искусстве он думает меньше всего, выпускает коммерческие фильмы, преимущественно скабрзные. Именно в связи со съемками одного такого фильма я, популярная дива эротического кино, с ним и познакомилась. Он в меня влюбился; я прекрасно видела, что он за человек: сказать по правде, довольно неотесанный. Но добрый, ласковый, и я, в конце концов, уступила его настояниям, согласилась выйти за него замуж. После того как мы поженились, я, однако, заявила ему ультиматум: мне осточертело демонстрировать крупным планом на экране свои соблазнительные формы, и я потребовала, чтобы он дал мне главную роль в серьезном художественном фильме; в противном случае, — заявила я, — засяду дома. Сначала он обещал мне все, что я хотела. Но когда страсть поутихла, явно начал подумывать о том, чтобы я сыграла героиню одного из его эротических фильмов. Вслух он мне об этом не говорил, не осмеливался, но всячески давал понять — своим взглядом, как я уже говорила, полным восхищения и, в то же время, сожаления.

Это восхищение-сожаление особенно усилилось в последнее время, после того как с треском провалился фильм, на который он делал решающую ставку. Муж мой с тех пор стал невыносим, совершенно перестал владеть собой, чуть что — закатывал сцену.

Осуждающе-восторженные взгляды его участились и отяжелели настолько, что у меня появилось тягостное чувство: я все время ощущала свое тело, постоянно беспокоилась: «Как там моя правая грудь? Выглядывает наружу или мирно поживает в чашке бюстгальтера? А живот? Белеет, голый, между кофточкой и брюками, или серьезно и положительно прикрыт выше пупка поясом? И что с правой ягодицей? Не ерзает ли больше, чем левая?»

Как-то вечером, когда мы с мужем сидели в гостиной, я — в одном, он — в другом углу дивана, перед телевизором, не в силах совладать с собой, я вскочила и, уже не думая о том, как там ведет себя моя правая грудь, живот или левая ягодица, побежала выключать телевизор. Потом вернулась на прежнее место и говорю своему благоверному:

— Скажи, ведь твой последний фильм с треском провалился, так?

Он огрызнулся:

— Не мели чепуху. С фильмом все в порядке. Имеет большой успех.

— Почему же он меньше чем через неделю сошел с экрана?

— Ты, как всегда, ни черта не понимаешь. У кинотеатров свои обязательства. Увидишь, что будет, когда пойдет вторым экраном. Наверстают упущенное с лихвой.

— Газеты писали, что фильм не только плохой и пошлый, но и скучнейший. Видимо, на сей раз критики правы.

— Критики ничего не смыслят. Этот фильм даст кучу денег.

Мы замолкли, глядя друг на друга, как дуэлянты перед схваткой. Первый шаг сделала я:

— Я твоя жена, я тебя люблю, и мне тяжело видеть, как ты нервничаешь, места себе не находишь. Ответь мне откровенно, что бы ты сказал, если бы я заявила: ладно, из любви к тебе я откажусь от мысли о серьезном, оригинальном фильме и соглашусь сыграть более или менее обнаженную героиню эротического фильма, где я, или, точнее, мое тело, а еще точнее, мой бюст, мой живот, моя задница имеют такой успех?

Откуда только при его тучности и одышке такая прыть: он кинулся к моим ногам, стянул с одной ноги туфлю, перещеловал каждый палец и закричал:

— Ура, ура, ура! Наконец-то я узнаю свою дорогую, свою ненаглядную Лучиллу!

Значит, я попала в точку: единственная его надежда — заставить меня вернуться к прежней, прославившей меня профессии. Восторженно-сожалеющий взгляд, каким он все чаще и чаще на меня смотрел, это был взгляд бизнесмена, сожалеющего, что капитал пропадает зря, не дает дохода. Я дернула ногой, которую он, обезумев от радости, осыпал поцелуями, — удар при-

шелся в лицо, — поднялась во весь свой внушительный рост и прошипела:

— Ты с некоторых пор смотришь на меня, как смотрел работоровец на свой живой товар: прикидывая, сколько можно выручить. Так вот, этому не бывать. Ты не будешь мной торговать ни сегодня, ни завтра, никогда! К твоему великому ужасу, эта пышная грудь опадет, будет болтаться как пустые карманы, повиснет дряблыми складками похожий на изношенную продуктовую сумку живот, раздадутся бока. Но пока эти перемены не наступят, ни одного кадра с моим участием ты не снимешь. А теперь прощай.

Он упал назад и глядел на меня, ощупывая разбитую губу. Я угадала по движению губ, что он сейчас бросит мне свое обычное «Кретинка!», и опередила его, выкрикнула:

— Нет, я не кретинка, запомни, заруби себе на носу: я далеко не кретинка и скоро тебе это докажу!

С этими словами я кинулась вон из комнаты. Однако до чего же скверная походка — неуклюжая и в то же время развязная — у женщины моего типа, когда она не контролирует с точностью до миллиметра каждое свое движение...

Вызов, который я бросила своему мужу, не был ни случайным, ни неожиданным. Я с некоторых пор чувствовала себя более уверенно, потому что месяца за два до этого Джильдо, директор кинокомпании, конкурирующей с фирмой моего мужа, сделал мне заманчивое предложение. «Художественный фильм? Оригинальное произведение?! — воскликнул этот культурный, воспитанный, вполне современный молодой человек, снимая очки и пристально в меня вглядываясь, как бы желая глубже заглянуть в мои глаза, с самого начала установить близкие, истинно человеческие отношения. — Лучилла, моя дорогая, иначе, как художественный фильм, фильм оригинальный, я для вас и не мыслю; но пока суд да дело, вы тоже подумайте, не торопитесь. Когда примете решение, приходите. Если надумаете прийти в рабочее время, приходите сюда, не то прямо домой. В любое время. Я буду ждать».

Я дала, как говорится, принципиальное согласие, но в глубине души сознавала, что, для того чтобы оставить мужа, который, конечно, не смирится с моим намерением сниматься в чужом фильме, мне понадобится

предлог. Теперь предлог предоставился, и я, в чем была, в брюках с кофтенкой, выскочила в прихожую, а оттуда — на улицу. Джильдо жил недалеко от нас; я пробежала две-три безлюдные, респектабельные улочки нашего квартала, мимо автомобилей, длинной вереницей выстроившихся вдоль пустых тротуаров. Я бежала, чувствовала, что некрасиво трясу телесами, и проклинала своего мужа, по вине которого у меня выработалась эта привычка к постоянному самоконтролю. Я бежала и твердила себе, что позор мой скоро кончится, что я начну сниматься в фильме, который будет меня достоин, и окончательно позабуду о своем теле. Вот, наконец, парадное, вот звонок, вот решетка микрофона. Раздался, как всегда, учтивый голос Джильдо: «Кто там?» Я, задыхаясь, выпалила: «Это я, Лучилла, открой! Я убежала из дома, ушла от мужа, надо поговорить!»

Собственно, что было между нами такого, что давало мне основание обращаться к нему в подобном тоне? По правде говоря, ничего, если не считать его обещания занять меня в серьезном фильме. Но для меня это значило все, ведь единственное, что мне оставалось в жизни, это надежда на самовыражение.

Парадное приоткрылось, издав слабый скрип, очень похожий на голос Джильдо; я вошла, взбежала вверх по лестнице и, вихляя бедрами, колышась всем своим мощным, неугомонным телом, не переводя дыхания, позвонила. Джильдо отпер мне дверь, и я, рыдая, кинулась ему на шею.

Не случилось ли вам навязывать человеку роль, к которой он не подготовлен? Именно это и произошло у нас с Джильдо. Когда, ласково прижимая меня к себе, он закрыл дверь и повел в гостиную, я вдруг отчетливо поняла, что роль любовника не для него. Рука Джильдо едва касалась моего плеча, тело напряглось, чтобы мы, боже упаси, не соприкоснулись, голову мою он придерживал подбородком, словно опасался, как бы я не потянулась к его губам. Он подвел меня к дивану, а сам сел на почтительном расстоянии напротив. Уняв слезы, я сказала:

— Простите меня, но ведь не каждый день случается бросать мужа.

Снимая очки и устремив на меня свой гипнотический взгляд, Джильдо ответил:

— Ну, что ты. Понимаю и сочувствую.

Тут я взглянула на него другими глазами, стараясь определить, что же мне в нем, помимо излишней благовоспитанности, не нравится. И я поняла что. Глаза! Красивые, темные, глубокие, неизменно внимательные, как у гипнотизера, пристально на тебя устремленные, они составляли неприятный контраст с носом и ртом: нос чуть набок, приплюснутый, а рот хоть и пухлый, но бесформенный. Можно было подумать, что глаза у него такие от рождения, а нос и рот слеплены на скорую руку — после автомобильной катастрофы.

Джилдо улыбнулся и добавил:

— Сейчас я расскажу, как я тебя мыслю в нашем фильме. Слушай внимательно, потому что никаких текстов еще нет, ничего еще не решено. Но я тебя вижу так явственно, словно ты уже на экране, в готовом фильме, а я — в просмотром зале.

Помолчав минутку, он продолжал:

— Передо мной очень красивая женщина, переживающая психологическую драму. У этой женщины есть ум, есть душа, однако люди упорно не замечают ничего, кроме ее тела. И тогда она, из мести, решает быть такой, какой все хотят ее видеть: только великолепным, аппетитным куском мяса. Преследуя свою цель, она впадает в крайность, перебарщивает, словом, ведет себя как эротоманка. Сходится с одним, потом, тут же, — с другим, с третьим, с четвертым. Она меняет любовников как перчатки, тело ее неутомимо, перед ее наготой не может устоять никто. Я вижу, как она поднимается по лестнице, входит в дом, бросается на кровать, разгуливает по комнатам, выглядывает в окно, выходит на балкон. При этом единственное ее одеяние — это ее плотская красота, беспрестанно демонстрируемое тело. Но, повторяю: эта женщина ведет себя так не потому, что это ей нравится, эта жизнь ей опостылела, и ведет она ее только в отместку за то, что люди ее не понимают. Она как бы говорит: вы желали видеть во мне лишь тело? Прекрасно. Я буду такой, какой вы хотите меня видеть. Более того, это будет не просто тело, а «супертело». Ну? Что скажешь? Фильм так и можно было бы назвать: «Супертело».

Пока он разглагольствовал — не спеша, почти в ритме воображаемого фильма, где мне была уготована главная роль, я обдумала свой ответ. И отчеканила:

— Теперь я тебе скажу, что вижу я: ловкача-продюсера, который хорошо понимает, как рентабельно показывать меня голой, и, заморочив мне голову разговорами о психологической драме, хочет заставить сняться в зауряднейшем эротическом фильме. Я вижу, как этот ловкач разводит передо мной турусы на колесах, полагая, что я — кретинка, которую можно обвести вокруг пальца. И наконец, я вижу, как вышеупомянутая кретинка, оставив господина продюсера с носом, возвращается к мужу, — тот по крайней мере не знает, что такое психологическая драма, и думает только о том, чтобы делать деньги.

С тем я и ушла — вернулась домой, спать, рядом со своим торговцем живым товаром. В тот вечер я поставила крест на серьезном фильме. Но муж тоже не предлагал мне больше сниматься в кино.



ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ

о мне живут две особы или, если угодно, одна, но двуликая особа, с двумя сторонами, как у луны. И как у луны, одна сторона всем известна и всегда одинакова, а другая неизвестна не только другим, но и в какой-то степени мне самой. Этой второй, никому не известной стороны могло бы вовсе и не быть: ведь то, о чем люди не догадываются, в сущности, не существует. Изнанку своей личности, даже если я ее не знаю и не показываю другим, я все же «ощущаю». И это смутное чувство, что невидимая и непохожая на лицевую сторону изнанка существует за моим открытым лицом, на моем затылке, изнанка, обращенная в мир за моими плечами, приводит к тому, что я безотказно, старательно и как подобает включаюсь в повседневную жизнь и в то же время, как бы выразиться поточнее, «отклеиваюсь». Да, отклеиваюсь, то есть чувствую себя отрешенной от дел в тот самый момент, когда я ими занимаюсь. Видели ли вы, как иногда от старинной мебели внезапно отклеивается какой-нибудь кусок, который, казалось, составлял с ней единое целое? Рассмотрев его, вы замечаете, что поверхность старой высохшей древесины по-

крыта чем-то вроде слегка поблескивающей пленки старого клея. Мебель сломалась невесть сколько веков тому назад, и кто-то, тоже отдавший концы в незапамятные времена, скрепил ее клеем, но в один прекрасный день клей не выдержал и кусок отвалился. Теперь, наверное, потребуется новый, столь же хороший, как и прежний, клей, но поди угадай какой. Так вот, в повседневной жизни я и есть такой кусок, который с виду соединен с мебелью, а на самом деле не составляет с ней целого.

«Несклеенной» и прилежной я ежедневно, с восьми вечера до шести утра, выступаю отличной молодой и красивой женой пожилого судьи, с шести до девяти вечера — отменной мачехой двух детей от первого брака судьи, с половины девятого до половины второго — образцовой служащей банка. Но при чем тут часы? Дело в том, что вся моя жизнь расписана по часам, все выходящее за их пределы исключается. Каждый день я встаю в шесть, занимаюсь своим туалетом, одеваюсь, бужу детей, помогаю им умыться и одеться, готовлю завтрак для всех. Затем мой муж уезжает на машине, сначала отвозит детей к монашкам в школу, где их держат до вечера, а потом едет в суд. Пешком я иду до банка, расположенного неподалеку от дома. В банке я занимаюсь до полвторого с таким серьезным и прилежным видом, что сослуживцы в шутку зовут меня мисс Прилежание. Затем я возвращаюсь пешком домой. Почасовая домработница закупила уже все необходимое по списку, который я составляю для нее каждый вечер, прежде чем лечь спать. Я иду в кухню, открываю пакеты и кульки, зажигаю горелки, готовлю легкий обед для себя и своего мужа. С приездом мужа мы садимся за стол. После обеда я мою посуду и прибираю, затем мы переходим в спальню: это — время любви, моему мужу нравится заниматься ею, потому что вечером он чувствует себя усталым. В четыре часа он удаляется на работу, и вскоре прибывают дети. Не давая себе отдохнуть ни минуты, я готовлю для них полдник, смотрю вместе с ними телевизор, помогаю им делать домашние задания, делаю им ужин и укладываю спать. Уже восемь, и муж возвращается домой. Он садится за газеты, а я бегу к себе в комнату, надеваю красивое платье, накрашиваюсь, причесываюсь, и мы идем вместе ужинать в ресторан или к друзьям, а затем — в кино. Тут,

однако, я сдаю, ибо годами я ежедневно недосыпаю по крайней мере два часа. Так я начинаю клевать носом, где бы я ни находилась: за столом, в ресторане, в кино, рядом с мужем за рулем. Люблю ли я своего мужа? Мы согласны в том, что я его люблю. Впрочем, у меня нет времени задуматься над такими вещами.

И все же, несмотря на жизнь мисс Прилежания, я не увлечена своими делами, я все время чувствую себя, как я уже сказала, отклеенной. Кстати, я утверждала, что изнанка моей души не известна не только другим, но и мне самой. Это не совсем так: при умении разбираться в людях об обратной стороне моей души можно догадаться по моей физиономии. Опишу себя, а вы судите сами. Я блондинка, высокая и худощавая, с лицом, несколько напоминающим лики немецких святых, стоящих в нишах готических церквей. У меня треугольное лицо, в котором широкую часть занимает высокий крупный лоб, а узкую — мясистый нежный подбородок. У меня орлиный нос и тонкие губы благородной формы, но мои подслеповатые глаза голубоватого цвета нарушают аристократическую строгость лица, пугают уклончивым, скрытым выражением, холодностью и коварством, которые делают их похожими на глаза зверя, который может укусить при первом же подходящем случае.

Подходящий случай представился, наконец, на четвертый год моего супружества. Одним ноябрьским утром я шла на работу под мелким, морозящим дождем. Вдруг за рулем большой темной машины, стоявшей напротив моего банка, я увидела мужчину, делавшего фотографии. Я заметила его уже издалека: быстрым и опытным движением он подносил к глазу маленький фотоаппарат, щелкал три, четыре, пять раз подряд. Затем прятал руку и несколько минут созерцал пустоту. Потом он снова начинал фотографировать. Что он снимал? Сомнений не было: вход в банк. Я прошла еще немного и рассмотрела его лучше: судя по плечам, это был коренастый мужчина с широким лицом, курносый носом, красивым разрезом губ: чем-то он напоминал изображение молодого Наполеона на почтовых открытках. Тут я прошла мимо него, он опустил руку и взглянул на меня, словно ожидая, когда я исчезну. Вдруг, неожиданно

для самой себя, я подмигнула ему, поддавшись неведомому инстинкту. Увидев, что я подмигиваю, он кивнул головой, словно давая понять, что мой жест не остался незамеченным. Твердым шагом, закутанная в свой пламенеющий красный плащ, я перешла через дорогу и смешалась с группой служащих у входа в банк. Когда я обернулась, машины уже не было.

Прошло две недели. Однажды утром я вышла из банка, направляясь домой. По дороге я заметила, что не разделяю облегчения и радости предвоскресного дня, волнами распространявшихся на улицах, по мере того как опустевали учреждения и школы, а заключенные в них — подвижники труда или учебы, обретая свободу, устремлялись домой. Я же шла без всякого облегчения и радости, думая уже об обеде, который надо приготовить, о посуде, которую надо мыть, о постели, в которую придется лечь с мужем. Внезапно я подняла глаза и прямо перед собой увидела фотографа-любителя, следовавшего на своей машине за мной по пятам. Наши глаза встретились, и тут он обратился ко мне с короткой фразой непечатного содержания. Я не стала колебаться. Кивнула головой, он затормозил, открыл дверцу, и я села в машину.

Мы отъехали не очень далеко — на пустынную набережную Тибра, остановились, и он, словно исполняя заранее задуманный план, попытался меня поцеловать. Сидя неподвижно, он был похож, как я уже говорила, на молодого Наполеона, но едва на его лице мелькало какое-либо выражение, как в нем проявлялась, хотя и не без приятности, вульгарность мелкого гангстера с периферии. Оттолкнув его, я сказала: «Убери лапы, для этого всегда найдется время. А сейчас скажи, что тебе от меня нужно».

— Я хочу тебя, — самоуверенно ответил он.

— Нет, тебе нужна не только я. Если бы ты хотел только меня, то это означало бы, что ты — фетишист.

— Фетишист? Что это такое?

— Человек, который, подобно тебе, любит не только другого человека, но и предметы, которые с ним связаны. Например, вход в банк, где я работаю.

— Это как же?

— Как же? А так: две недели тому назад, в половине девятого утра. Сколько снимков ты нащелкал? По-моему, штук двадцать.

— От тебя ничего не скроешь. Кто ты? Дьявол?

Так началась наша история, которая в конце концов наполнила черными заголовками страницы газет. Бесполезно рассказывать вам, как произошло ограбление. Это был «классический случай», по выражению хроникеров. Если вы хотите знать, как было дело, обратитесь к черной хронике, опубликованной в газетах в том году. Мне не хочется говорить и о немалой роли, которую я сыграла в этой истории. Для меня это было бы небезопасно, потому что она осталась в тени и я по-прежнему являюсь для своих коллег по банку прежней мисс Прилежание. Единственно, что мне хочется добавить, это то, что ограбление произошло в обеденное время, когда в банке мало служащих и он закрыт для клиентов. Было около четырех, и я сбежала из дома, едва вырвавшись из объятий своего мужа. В моем распоряжении было около часа, прежде чем дети вернутся из школы. Я должна была ждать за рулем традиционно угнанной машины возвращения с «дела» моего гангстера и его товарища. Поверите ли? Несмотря на сильное сердцебиение, привычная усталость усыпила меня за рулем. Это был непреодолимый, чудесный и блаженный сон. Во сне я по-своему участвовала в ограблении банка. Мне снилось, что я заперта в сейфе, но внезапно его распахивает мой гангстер и я с радостным криком бросаюсь ему в объятия. Но в этот самый момент я пробудилась оттого, что он тряс меня за руку, бормоча сквозь зубы проклятья. Немедленно, даже не оглянувшись вокруг, я механически включила зажигание, и мы поехали.

После ограбления банка мы не виделись полгода. Он не хотел, чтобы мы встречались, утверждая, что полиция наверняка анализирует образ поведения каждого банковского служащего. Мы, однако, договорились, что через полгода я сойду с ним, превратившись из мисс Прилежание в мадонну с автоматом или в нечто подобное, как несомненно, узнав правду, презрительно назвали бы меня мои прежние товарищи по работе.

Итак, я продолжала жить обычной жизнью, которую делила между домом и банком. Однажды, в ту пору, я заметила, что у меня кончился одеколон. После обеда в тот день я провожала на машине своего мужа на аэродром: он улетал в Кальяри по делам службы.

На обратном пути я вспомнила про одеколон и остановила машину на одной из улиц на окраине перед парфюмерным магазином, на вывеске которого было обозначено имя парижского парфюмера, изготовлявшего как раз этот одеколон. Парфюмерная лавка, едва я в нее вошла, ослепила меня блеском множества бутылочек, флаконов и баночек с туалетной водой и лосьонами, выстроившихся вдоль стен в витринах за стеклом. Так что на какой-то момент от моего взгляда ускользнул мой гангстер, который, стоя за прилавком, обслуживал клиентку средних лет, просившую не помню какую помаду редкого оттенка. Мой гангстер разложил на прилавке перед клиенткой разные тюбики с помадой и, открывая то один, то другой, слегка смазывал ими тыльную сторону ладони, растирал пятно пальцем и затем показывал его клиентке, что-то убедительно и долго приговаривая тихим голосом. Но клиентка смотрела и недовольно качала головой — это была не та помада, которую она искала.

Мой гангстер не говорил, что он владеет столь роскошным магазином. О нем я знала только, что он живет со старушкой матерью и двумя детьми и что жена его бросила и уехала с другим в Милан. Но я поняла, что он давно был парфюмером, может быть, годами занимался этим делом, ибо разговор, который он вел с клиенткой, был невозможен в устах человека, не имеющего отношения к этой профессии. Для меня профессиональная отточенность этого разговора явилась светом молнии в ночи, на какую-то секунду освещающей все вокруг в мельчайших деталях. Я, в общем, поняла, что ошиблась. Я спутала хищного сокола с кротом-затворником. Тогда, в ту минуту мгновенного прозрения, я раскинула умом и усекла, что и мой муж, и этот человек стояли друг друга. И у моего гангстера было двое детей, о которых мне пришлось бы заботиться, и он тоже потребовал бы, чтобы я гнула дома спину. Что же касается работы, то уж лучше служить в банке, чем стоять за прилавком в парфюмерном магазине, хотя бы уж потому, что в банк надо ходить только по утрам. Правда, была еще любовь, но я заметила, что теперь, после обнаружения этого магазина, я чувствовала себя перед своим сообщником столь же неприкаянной, как и перед лицом своего мужа. Так что я не стала ждать, когда клиентка подберет нужную ей помаду. Я поверну-

лась спиной и вышла из магазина. На пороге, однако, я обернулась, он глядел теперь на меня из-за плеча клиентки. Я резко замотала головой. Он не дурак и, наверное, понял, потому что никогда меня больше не искал. Кто знает, может, он не доверял мне как компаньонке. В конце концов, между магазином и банком разницы нет. Не побоялся ли он, что я в своей неисправимости могу повторить ограбление, но на этот раз ему в ущерб и вдобавок в компании с настоящим гангстером, из тех, которые нападают на банки в преступных целях, а не для приобретения парфюмерного магазина?

СОДЕРЖАНИЕ

Г. Смирнов. Моравиа-новеллист	3
* Грезы лентяя. Перевод Е. Дмитриевой	19
* Одиночество. Перевод Я. Лесюка	24
* Скверная зима. Перевод Я. Лесюка	50
* Конец одной связи. Перевод Я. Лесюка	64
* Усталая куртизанка. Перевод Л. Вершинина	74
* Возвращение с отдыха. Перевод Л. Вершинина	85
* Ошибка. Перевод Л. Вершинина	104
* Падение. Перевод Л. Вершинина	117
* Бегство в Испанию. Перевод Г. Муравьевой	131
* Смерть Лукана. Перевод Г. Муравьевой	135
* Тщеславный. Перевод Е. Дмитриевой	138
* Обжора. Перевод Е. Дмитриевой	143
* Скупой. Перевод В. Хинкиса	147
* Рождественский яндюк. Перевод Е. Дмитриевой	192
* Дьявол на отдыхе. Перевод Е. Дмитриевой	196
* Беспольный визит. Перевод Г. Муравьевой	199
Воры в церкви. Перевод З. Потаповой	204
Ромул и Рем. Перевод Ю. Добровольской	210
Табу. Перевод Т. Блантер	217
Девушка из Чочарни. Перевод Р. Хлодовского	224
Это вполне естественно. Перевод Г. Богемского	231
Вечер воспоминаний. Перевод Г. Богемского	239
Банк любви. Перевод Р. Хлодовского	247
Теперь мы квиты. Перевод Я. Лесюка	254
Клементина. Перевод Г. Богемского	261
Трельяж. Перевод Г. Богемского	268
Ты спала, мама! Перевод С. Бушуевой	274
Ну как, тебе легче? Перевод Я. Лесюка	280
Приказывай: я подчиняюсь. Перевод Г. Богемского	285
Эприка Баиле. Перевод Г. Богемского	291
Механические слуги. Перевод Г. Богемского	296
Зловещие приметы. Перевод Г. Богемского	302
Серединка-наполовинку. Перевод Е. Солоновича	307

Рай. Перевод Ю. Добровольской	313
Игра. Перевод Г. Богемского	320
Банда взломщиков. Перевод Ю. Добровольской	325
Любительница праздников. Перевод Ю. Добровольской	330
Красивее, чем ты. Перевод Ю. Добровольской	335
Скучные люди. Перевод Ю. Добровольской	340
Вы слишком бедны! Перевод Ю. Добровольской	344
Семеро детей. Перевод Г. Богемского	348
Другая жизнь. Перевод Г. Богемского	353
Знаменитость. Перевод Г. Богемского	358
Единственное и множественное. Перевод Г. Богемского	364
Хорошая дочь. Перевод Г. Богемского	368
Любовница толпы. Перевод Г. Богемского	373
Материнская любовь. Перевод Г. Богемского	378
* Египетская царица. Перевод Т. Блантер	384
* Гром и молния. Перевод Ю. Добровольской	389
* Комплекс Электры. Перевод Т. Блантер	395
* Супертею. Перевод Ю. Добровольской	400
* Обратная сторона луны. Перевод Г. Смирнова	406

М79

Моравиа Альберто

Рассказы. Пер. с ит./Сост. Л. Вершинина.
Вступ. статья Г. Смирнова. — М.: Худож. лит.,
1981. 414 с.

Альберто Моравиа — крупнейший прозаик современной Италии. В книгу вошли рассказы разных лет из сборников: «Несчастный влюбленный», «Эпидемия», «Римские рассказы», «Рай» и др. С присущим ему мастерством автор описывает быт и нравы буржуазного общества.

М 70304-259
028(01)-81 161-81 4703000000

И(Ит)

АЛЬБЕРТО МОРАВИА

Рассказы

Редактор Н. Кулиш

Художественный редактор И. Сальникова

Технический редактор Л. Ковнацкая

Корректоры Т. Максимови, М. Миримская

ИБ № 1902

Сдано в набор 28.11.80. Подписано в печать 02.04.81. Формат 84×108/32.
Бумага тип. № 1. Гарнитура «Обыкновенная». Печать высокая. 21,84
усл. печ. л. 21,84 усл. кр.-отт. 23,336 уч.-изд. л. Тираж 50 000 экз. Изд.
№ У1-112. Зак. № 06168. Цена 2 р. 70 к. Ордена Трудового Красно-
го Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП,
Москва, В-78, Ново-Васманная, 19.

Набор и матрицы изготовлены в ордена Ленина комбинате печати
издательства «Радляська Україна», 252047, Киев-47, Брест-Литов-
ский проспект, 94.

**В 1981 году
в издательстве
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»**

выйдет книга:

**Н. МАКИАВЕЛЛИ.
ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ**